



РУССКИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД В XIX ВЕКЕ

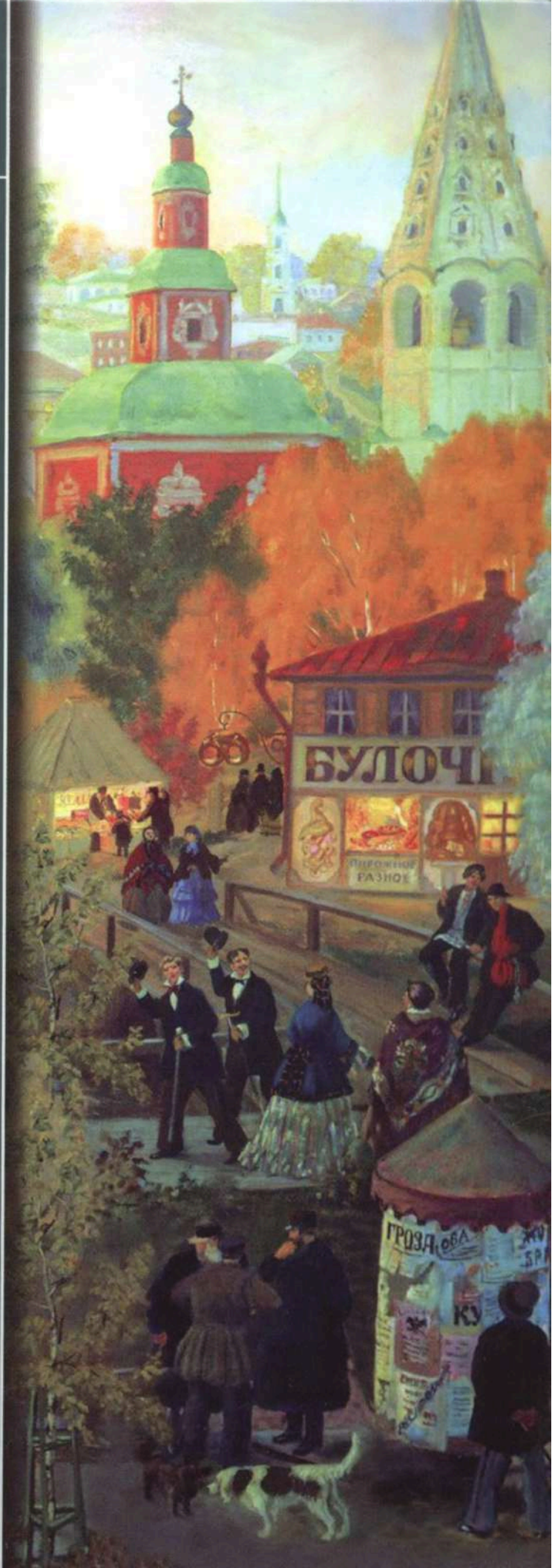


ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Алексей Митрофанов

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

РУССКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА В XIX ВЕКЕ







ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



ПОВСЕДНЕВНАЯ

Алексей Митрофанов



МОСКВА

ЖИЗНЬ

РУССКОГО
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ГОРОДА В XIX ВЕКЕ:
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ · 2013

УДК 94(47)“18”
ББК 63.3(2)52-22
М 67



*Серийное оформление
Сергея ЛЮБАЕВА*

знак информационной
продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03558-4

© Митрофанов А. Г., 2013
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2013



Название книги, конечно, условно, как и само слово «провинция». Когда говорят о ней, чаще всего имеют в виду не деревни – города. Города крупные, но не столичные. Большей частью – губернские, однако не без исключений. Иной уездный городок с легкостью давал фору собственной губернской столице. А, к примеру, Иваново-Вознесенск (ныне Иваново) и вовсе числился заштатным городом, входящим в Шуйский уезд. Тем не менее гремел на всю Россию – как-никак текстильная столица, – в то время как о существовании Шуи вообще мало кто знал. Или Царское Село (ныне Пушкин), формально числившееся уездным городом Санкт-Петербургской губернии, а на деле – царская резиденция, покруче губернских Владимира или Саратова.

Поразмыслив, мы решили отказаться от формального подхода (например, брать исключительно губернские города, или города с определенной численностью населения, или еще какие-нибудь) и, невзирая на статусы и статистические изыскания, воссоздать дух русской провинции, ее вкус, ароматы и звуки. Отважившись на этот шаг, мы пошли дальше и отказались от формальных рамок XIX века. Иначе нам пришлось бы согласиться с тем, что Россия 1801 и 1899 годов имела схожий вкус и звуки тоже схожие. А это, разумеется, не так. В итоге мы ограничились периодом между крестьянской реформой 1861 года и началом Первой

мировой войны. То есть, с одной стороны, оставили за рамками помещичье самодурство с крепостными театрами и роговыми оркестрами, а с другой – эшелоны с ранеными, членов царской фамилии, щиплющих корпию, вездесущий запах карболки и йода. Но и здесь рамки не строгие. Какие-то черты из жизни русской провинции никак не изменились из-за упомянутой реформы, а некоторые предвестники неотвратимой трагедии возникли еще до 1914 года – войны, народные волнения, терроризм народовольцев.

Черты мы решили забрать, а вот от предвестников отказаться. Поскольку наша главная задача, как уже говорилось, – провинциальные ароматы и звуки. А они в русской провинции были особенные, настраивали на неспешный, безмятежный, сокровенный лад и не располагали к политической борьбе.

Однако эта книга – не сусальная сказка, идеализирующая быт Воронежа и Костромы в духе современных воспевателей «России, которую мы потеряли». В провинции разыгрывались такие страсти и страстишки, что, как говорится, хоть святых выноси. Острые впечатления вам гарантированы. Но и щемящий дух безвозвратно ушедшей русской провинциальной жизни гарантирован тоже.

Еще одно важное уточнение – речь в книге пойдет именно о русской провинции. Мы оставляем за скобками окраины империи, в которых городская жизнь существенно отличалась от среднероссийской. В одних случаях (Кавказ, Туркестан, Прибалтика) эти отличия заключались в иной истории, ином населении, иной религии, в других (Сибирь) – в своеобразии городов-острогов, где большую часть населения составляли военные либо ссыльные. Даже на Украине и в Белоруссии, во многом сходных с Россией, города имели свои особенности, рассмотрение которых уведет нас слишком далеко от заявленной темы.

Надо сказать, что российские губернии по числу городов уступали более густонаселенным польским или украинским. В 1863 году на территории 50 губерний, относившихся к Европейской России, находилось 360 городов. В 1897 году их было уже 475 (во всей импе-

рии – 933). По переписи населения, предпринятой в том же 1897 году, в городах проживало всего 13,4 процента населения страны – 16,8 миллиона человек. В крупнейшем из провинциальных городов, Саратове, проживало всего 130 тысяч человек – вдесятеро меньше, чем в Санкт-Петербурге. Больше 100 тысяч человек жило также в Казани, Ростове-на-Дону, Туле и Астрахани, а к 1917 году в эту группу вошли Иваново-Вознесенск, Самара, Нижний Новгород и Ярославль. Материалы той же переписи содержат данные о социальном составе городского населения – правда, по всей империи. В промышленности работало 30,9 процента горожан (вместе с членами семей), в торговле – 17 процентов, в услужении – 14,5, в сельском хозяйстве – 9,4 процента. Военные и чиновники составляли 9 процентов, рантье и пенсионеры – 7,1, служащие транспорта и связи – 5,9, представители духовенства и свободных профессий – 4,3 процента.

Эти статистические данные сухи, но без них не обойтись – они составляют, так сказать, скелет нашего повествования, не давая ему растечься по древу занимательной российской жизни. Напоследок еще немного статистики: в 1897 году из 475 городов Европейской России 48 были губернскими (не считая столиц), 332 – уездными, 50 – заштатными, 37 – представляли собой посады, а еще семь – пригороды тех же столиц. 90 процентов городов имели население меньше 10 тысяч человек, а многие были меньше крупных сел. Такие города после 1917 года были переведены в разряд сельских поселений, зато появилось много новых – сегодня в Российской Федерации 1100 городов и живет в них уже 74 процента населения. Довольны ли эти люди своей жизнью, стали ли они счастливее, здоровее, богаче, чем их предки в XIX столетии, – вопрос сложный, отвечать на который не нам.

* * *

Приступая к изучению русской провинции, следует уяснить, кто и как писал о ней. Попытки постичь и осмыслить ее жизнь начали предприниматься еще в первой половине XIX столетия. Конечно, многочисленные

путешественники, да и сами провинциалы и раньше присматривались к городам и писали о них. Но касалось это по большей части скучных статистических подробностей. Сколько в городе торговых лавок? Есть ли кремль? В каком он состоянии? Тучны ли монастырские доходы? Много ли незамужних девок и строги ли их нравы? Такой подход не удивителен – ведь путешествовали в основном купцы и офицеры (разумеется, солдаты тоже путешествовали, но по причине почти тотальной безграмотности от описаний воздерживались). Вот и получались у них то военные донесения, то маркетинговые исследования потенциального рынка, а чаще сочетание того и другого.

А в XIX веке в России возникли писатели. То есть литераторы, старающиеся не ради красного словца и прославления власть имущих («Императрикс Екатерина, о! поехала в Царское Село» – пусть и пародия на Тредиаковского, но больно уж хорошая и точная), а ради развлечения читателей и чтобы через это заработать. Во всем своем многообразии в стране начался литературный процесс.

Писатель – субъект любопытный, а значит, и склонный к перемене мест. А что ни место, то картина, которую, разумеется, следует обрисовать словами, проанализировать и вывести в конце концов мораль – а как же без морали?

Вот, например, Иван Аксаков – о прекрасном городе на Волге, Ярославле: «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, с старинными прекрасными церквями, башнями и воротами; город с физиономией. Калуга не имеет никакой физиономии или физиономию чисто казенную, Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения, прежней исторической жизни. Церквей – бездна, и почти ни одной – новой архитектуры; почти все пятиглавые, с оградами, с зеленым двором или садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри внутри города, с каменными стенами и башнями, и вы поймете, как это скрашивает город, а тут же Которосль и Волга с набережными, с мостами и с перевозами. Что же касается до простого народа, то мужика вы почти и не встретите, т. е. мужика-землепашца, а встречается вам на каждом

шагу мужик промышленный, фабрикант, торговец, человек бывалый и обтертый, одевающийся в купеческий долгополый кафтан, с фуражкой, жилетом и галстуком... Роскошь в городе страшная. Мебель, квартиры, одежда – все это старается перещеголять и самый Петербург».

Тут вам и анамнез, и диагноз – разве что курс лечения не назначен.

Литератор Филипп Диомидович Нефедов препарировал свой родной город Иваново-Вознесенск: «Вознесенский посад, составляющий, так сказать, предместье русского Манчестера... поразительно походит на обыкновенное село: те же чумазые избы и избенки, крытые соломой и тесом, те же кабаки и даже тот же неизменный трактир с чудовищно-пузатым самоваром на вывеске. Потом идут какие-то пустыри и, наконец, только центр, где находятся торговые ряды, весьма, правда, пустынные, и проходит главная улица, напоминает что-то смаживающее на уездный город. Самое Иваново еще больше поражает непривычный глаз жителя столицы: изрытое оврагами, оно состоит из множества кривых и неправильно расположенных улиц, перемежаемых узенькими переулками; постройки большей частью деревянные, целые улицы сплошь состоят из черных изб («черные» или «курные» избы – с печью без выводной трубы для дыма. – А. М.). И только местами, рядом с какой-нибудь разваленной хижинкой крестьянина, встречается громадная фабрика с пыхтящими паровиками или большой каменный дом богача-фабриканта с штофными драпри на окнах. Прибавьте ко всему этому базарную площадь с торговыми лавками, трактиры и бесчисленное множество кабаков, попадающихся чуть ли не на каждом шагу, и перед нами налицо весь русский Манчестер с его внешней стороны».

Вот что Александр Островский писал о Торжке: «Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Замечательнее других – вид с левого берега, с бульвара, на противоположную сторону, на старый город, который возвышается кругом городской площади в виде амфитеатра. Хорош также вид с правой стороны, с старинно-

го земляного вала; впрочем, лезть туда найдется немного охотников. Собственно старый город был на правом берегу – там и соборы, и гостиный двор, и площадь, а левый берег обстроился и украсился только благодаря петербургскому шоссе».

А вот Тарас Шевченко – об Астрахани: «Астрахань – это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанной рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутум. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма не живописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия...»

И во всем этом – стремление подобрать к городу бирочку и поставить его с этой бирочкой на полочку своих литературных достижений. Однако со временем любовь к подобным бирочкам пошла на спад, а чувства начали преобладать над разумом. Писатели (да и не только писатели) научились любоваться русской провинцией, восхищаться, очаровываться ею, петь ее. Главное – впечатление, а самое сильное впечатление – первое.

«Я вышел на палубу и остановился в изумлении: пароход, чуть пошевеливая колесами, пробирался среди бесчисленного множества плотов и барок, составлявших почти одну сплошную массу во всю ширину реки. Мы были в Рыбинске, но я не видел еще города, а только огоньки в окнах его домов, сверкающие в темноте, на высоком правом берегу Волги. Я проснулся очень рано и тотчас же пошел в город. Богатые каменные дома, тянущиеся стройным рядом по высокому берегу, прекрасная, устланная камнем набережная с хорошенькими перилами, отличный тротуар вдоль набережной – все показывало, что жители Рыбинска люди не бедные. Город еще спал, только в открытых окнах трактировловые постукивали чашками. С высокой набережной

открывался прекрасный и очень оригинальный вид на широкую реку, на бесчисленные суда, на противоположный берег, застроенный складочными магазинами, амбарами и сараями. Рыбинская пристань тянется на несколько верст, а суда располагаются у берега правильными отделениями, смотря по тому, с каким они грузом и куда идут».

Это педагог Константин Ушинский.

«К 2 часам увидели мы с последнего перевала Екатеринбург. Широко раскинутый, как и все сибирские города, он производил своими зелеными крышами и шестью стройными церквями весьма приятное впечатление, которое остается и по въезде в него. Особенно хороша та часть города, где разливается, наподобие большого озера, р. Исеть, протекающая весь город. Здесь виден островок с различными увеселительными местами, который летом должен иметь прелестный вид, как и вообще вся окрестность... Екатеринбург один из лучших сибирских городов, виденных нами; ряды красивых домов, базар и прекрасные церкви имеют почти величественный вид. К сожалению, улицы его находятся в ужасном состоянии... Это были не просто испорченные мостовые, но все улицы и площади были покрыты сплошной массой грязи. Эта масса походила на асфальт, который, казалось, должен отвердеть с минуты на минуту, но не твердел, и извозчики развозили своих пассажиров, забрасывая их грязью, в которую колеса уходили по ступицу. Несмотря на то, что под руками имеются отличные ломки гранита, горожане привезли лишь несколько тротуарных плит и камней для исправления улицы, но не принимались за дело, как бы не надеясь достигнуть желанной цели. А между тем придется же приняться за это и даже с энергией, потому что необходима не только поправка, но нужно сделать все заново. Или почва, на которой построен город, содержит в себе много золота, и хотят сделать эти сокровища более недоступными?»

Это знаменитый Альфред Брем – пусть немец, но объехавший большую часть Сибири и вполне вписавшийся в русскую литературно-градоведческую традицию. Радостные, печальные – главное: эмоции.

Писательница Валентина Дмитриева рассказывала о своем визите в Сочи, тогда еще не ставший городом: «В 1903 году я в первый раз приехала в Сочи. Был великолепный июньский вечер, когда пароход “Черномор” остановился на рейде. Солнце пурпурное опускалось в море лазурное, весь берег утопал в золотом сиянии, вечерний бриз навевал оттуда запахи роз и магнолии... Вдоль всего города тянулись три главные улицы: Московская, Приморская и Подгорная, застроенные небольшими, по большей части одноэтажными домами, сверху донизу увитыми розами и глициниями. Их розовые, лиловые, белые, красные каскады струились вдоль стен, скрывая совершенно фасады домов, и город казался сплошным сараем».

В то время Сочи еще только отстраивался, ездили туда мало и с опаской, и было непонятно, по большому счету, чем он станет – курортом или простым уездным городком. По этой причине наблюдения Валентины Иовны представляли для современников большую ценность.

Публицист Николай Лейкин рассказывал о своем знакомстве с Вологдой: «Пролетка петербургского типа, но без верха прыгала по длинной широкой улице с мостовой из крупного бульжника. Улица, как бульвар, была обсажена березами с белыми стволами. Длинной чередой тянулись деревянные дома, некоторые вновь построенные и украшенные резьбой, а два-три из них даже с зеркальными стеклами. Чувствовался недостаток владельцев, домовитость, видно было, что все это строилось для себя, а не для сдачи внаем. Дома чередовались с садами, но опять-таки засаженными исключительно березами. Редко где выглядывали из-за массивного тесового забора тополь или рябина. Виднелась вывеска агента страхового общества, вывеска конторщика транспортных кладей... Вологда... имеет много садов, бульваров и утопает в зелени. Насаждения эти состоят только из берез, и поэтому Вологду можно назвать березовым городом. Здесь не вымерзают, как я узнал, и другие породы деревьев, но у вологжан уж такая страсть к березам. Повсюду виднеются белые стволы. Бульвар березовый, сады березовые, около церквей в оградах

березы. В городе по улицам, по площадям, по пустырям ведутся новые насаждения, и они состоят из березок. Загородное гулянье, состоящее из клуба местного пожарного общества, находится в березовой роще».

Ефим Бабецкий, тоже публицист, описал Ростов-на-Дону: «Когда свежий человек попадает в Ростов-на-Дону, энергическая физиономия вечно занятого, всегда куда-то спешащего ростовского жителя сейчас бросается ему в глаза. Тихой с “размерцем”, плавной и покачивающейся походки... вы тут не заметите. Даже дамы и те двигаются по ростовским панелям быстро и порывисто, точно им тоже некогда. Указанная особенность – черта, прирожденная всякому портовому городу с преобладающим торговым населением... В Ростове, очевидно, все люди деловые. В этом, конечно, очень много хорошего, в особенности принимая во внимание китайскую, кажется, поговорку о том, что труд – лучшая охрана добродетели, – но все же эта попадающаяся на каждом шагу фигура с классическим кошельком – начинает вас тяготить».

В том же ключе – первые впечатления Бориса Зайцева о Ярославле: «Ярославль начинается с извозчика, который вас везет. Говор на “о”, с сокращением гласных (“понима-ть”, “зна-ть”) сразу дает круглое и крепкое впечатление русского. Очень здорового, симпатичного и способного народа, живущего тут. Это потом оправдывается повсюду: недаром ярославцы издавна славятся людьми прочными, жизненными и сметливыми».

Удивительно все. Пролетка петербургского типа – ну надо же! Извозчик с говором на «о» – вот это да! Деловые люди, интересно-интересно. Улица, обсаженная березами с белыми стволами, – повод для очередного восторга. Были бы вместо них липы с черными стволами – восхищали бы не меньше.

Особая история – когда на город смотрит человек, который провел в нем часть своей насыщенной событиями жизни. Вырос в провинции, уехал в столицы за счастьем – и счастье наше. Вернулся на родину совершенно другим человеком, столичной штучкой. И что же увидел? Да то же, что и уроженец столицы. Вот, например, заметки Михаила Нестерова: «Вот уже прошла

неделя, как я в Уфе, которая, несмотря на все усилия цивилизации, все та же немудреная, занесенная снегом, полуазиатская... По ней нетрудно представить себе сибирские города и городки. Начиная с обывателей, закутанных с ног до головы, едущих гуськом в кошевках, и кончая сильными сорокаградусными морозами, яркими звездами, которые в морозные ночи будто играют на небе; им словно тоже холодно, и они прячутся...»

Начало описательное, статистическое то и дело пробивалось, никуда не пряталось. Но, как правило, сопровождалось передачей настроения, даже если автор не имел никакого отношения к миру искусств. И вот мы читаем в серьезном отчете Николая Андреевича Ермакова «Астрахань и Астраханская губерния. Описание края и общественной и частной жизни во время одиннадцатимесячного пребывания в нем»: «Вообще город выстроен весь по плану и... его смело бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда расстилаются перед зрителем картины, хотя не обширные, но красивые, в которых над пестрыми массами крытых черепицею домов резко и гордо возвышаются 34 храма, большею частью огромные, оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый кремль с колоссальною грандиозною громадою своего пятиглавого собора венчает пейзаж, по местам освеженный... зеленью и озаренный яркими лучами здешнего знойного солнца».

Сосчитать скрупулезно количество храмов и приплести под конец озарение солнцем – это ли не курьез? Нет, не курьез – очарование русской провинции свое берет, кого угодно сделает поэтом.

Ближе к концу столетия массовым делается увлечение историей и краеведческими штудиями. В первую очередь это касается столиц, усадеб, археологических захоронений. Но и провинция не остается за рамками. Краеведы познают родимый край. Журнал «Русский турист», орган общества велосипедистов-туристов, в частности, пишет про Ростов-на-Дону: «Это центр торговли юга, сердце промышленности... Город растет с американской скоростью... Главная улица, Садовая – это Невский Ростова. Действительно, улица эта вполне

может равняться с нашим петербургским Невским, хотя ширина ее и меньше Невского. Тротуары асфальтовые; кроме того, со стороны, прилегающей к мостовой – аллее, чего нет в Петербурге. Освещение электрическое, очень хорошее; расстояние между фонарями значительно меньше, чем в Петербурге. Дома каменные, весьма красивой, легкой архитектуры. Особенное внимание заслуживает новый городской дом – дивно красив и массивен. Магазины чисто европейской наружности. Масса фабрик и заводов. Здесь знаменитые табачные фабрики Асмолова и Кушнарера, табак которых курит вся Россия. Вероятно, скоро наступит время, что купцы Кавказа перестанут ездить в Москву, а все дела свои будут иметь в Ростове».

Живой, в чем-то задорный стиль туристов-велосипедистов разделяют профессиональные историки. Один из них, Александр Ильин, писал все про тот же Ростов: «Ростов-на-Дону, представляя из себя в настоящее время крупный торгово-промышленный центр юго-востока России, обязан своим процветанием исключительно благоприятным географическим условиям, которые и создали его судьбу.. Ростов рос и развивался сам собою.. Было время, когда в землях Приазовья гремел Таганрог, но время это безвозвратно ушло в область преданий. Таганрог теперь живет воспоминаниями о прошлом величии, тогда как Ростов живет настоящим и, прогрессируя из года в год, свое будущее представляет себе в самом привлекательном виде».

А вот историк С. Д. Шереметев пишет об уездном Зарайске: «Солнце уже было высоко и сильно пригревало, когда мы вышли из Зарайского собора и спустились к Осетру. Здесь, за мостом, начинается Веневский тракт.. Вид с противоположного берега Осетра на город очень хорош, и чем дальше удаляешься по направлению к Веневу, тем он становится лучше. За речкою Изнанкою начинается большак, обсаженный еще уцелевшими старыми ветлами. Широко расстилаются поля по обеим сторонам дороги. Кое-где островком покажется роща и мелькнет вдали крест сельского храма.. Оглянешься еще раз – и древний Зарайск с своим Кремлем кажется вам сказочным городом; скоро он исчезнет совсем – и

перед вами одна большая дорога с однообразною вереницею нагнувшихся ив».

Краевед Юрий Шамурин тоже восхищается Ростовом, но уже Великим: «Ростов, небольшой уездный город, поддерживает “европейскую репутацию” Ярославской губернии... В городе тихо, мирно, много зелени. Нет беспробудного пьянства столицы, нет озлобленных лиц и ругани. Какая-то монастырская или древнерусская степенность царит в городе. Совершенно неуловимые черты сближают древние памятники ярославских городов с их теперешней жизнью. Остатки старины стоят на площадях и улицах, как прочный фундамент той жизни, что шумит теперь вокруг них. Здесь не чувствуется разрыва между прошлым и настоящим, и это впечатление глубокой почвенности жизни и культуры придает памятникам старины особое серьезное значение, выдвигает их как нужную и важную сторону жизни. В русских городах крайне редко приходится чувствовать эту связь истории и современности, и нигде не чувствуется она так сильно, очевидно и упорно, как в Ростове».

Краевед И. Золотницкий – о Царском Селе: «Царское Село – один из самых благоустроенных уездных городов. Прямые, широкие и довольно чистые улицы, красивые и чистые постройки, отсутствие режущих глаз бедных кварталов и слободок с полуразвалившимися домиками – все это производит приятное впечатление на людей, привыкших видеть в уездном городе бедное, скучное и грязное захолустье». Тут господин Золотницкий слукавил: Царское Село в первую очередь императорская резиденция, а вовсе не уездный город. Но главное – стиль.

Классика жанра – братья А. и Г. Лукомские, путеводитель по городу Костроме: «На фоне черного неба, когда покровом жутким ночь окружит все стены зданий, ярко освещенных огнем фонаря, они покажутся еще живее, еще фееричнее. Выглядывают тогда изподлобья темные окна домов, а те, которые озарены изнутри светом, позволят нам увидеть иную жизнь, ту, что за стенами, за геранью и за занавеской кружевной, у лампы, на мебели старинной, и у рододендрона широколистого. Так сладостно бывает вечером, бродя по улицам пустынным, уйти в миры чужие, облететь мечтою все эти

маленькие домики, увидеть весь уют патриархального уклада, мир предрассудков и ограниченного счастья всех этих маленьких людей, ушедших целиком в жизнь своего родного провинциального городка...

Над старинными стенами свешиваются низко и ласково, покрытые инеем, отяжелевшие ветви деревьев; придавая фантастический вид всему окружающему, возвышаются покрытые шапками снега стройные ели; выглядывают из-за крыш лохматые кедры, или, рисующие на темном небе, как иней на стекле узор из страусовых перьев, березы. Насупились в конусообразные верхушки башней монастыря, покрытые снегом и охраняющие златоверхие храмы, что за высокими стенами. Занесены высокими сугробами снега широкие лестницы паперти, колокольни, церкви, калиточки и ворота заснувших особняков купеческих и барских, со светящимися оконцами, покрытыми радужными узорами. Снег лежит и на оградах, и на фонарях, и на гнездах ворон, черными стаями с криком громоздящихся на обледенелых сучьях старых деревьев».

Что это? Научный труд или поэтические экзерсисы? Произведение высоколобых ученых или беллетристов-романтиков? Воздействие русской провинции непредсказуемо.

А провинциальные города между тем сами становятся героями литературы – наряду с томными барышнями и бравыми офицерами.

«Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса, – лес – как туча за ним; он обнял город, продвинулся к смирной Оке и отразился в ней, отемнив и бесконечно углубляя светлую воду... Сад раскинулся на горе, через вершины яблонь, слив и груш, в росе, тяжелой как ртуть, мне виден весь город, с его пестрыми церквями, желтой недавно окрашенной тюрьмой и желтым казначейством».

Это рассказ Максима Горького «Губин». А город Мямлин – он в действительности Муром. Стоит он в окружении знаменитых муромских лесов, и ничего особо страшного нет в этом окружении.

А вот почти забытый писатель Иван Василенко о Белгороде: «Я хожу по улицам Градобельска и считаю

церкви. За три дня насчитал тридцать шесть. А жителей в городе не больше сорока тысяч. Интересно, чем они занимаются? Неужели только тем, что ходят по церквям? Чаше всех тут бросаются в глаза попы и монахи. Ими хоть пруд пруди. И очень много учащихся. В таком маленьком городке есть и мужская гимназия, и две женские, и духовная семинария, и реальное училище, и учительская семинария, и женское епархиальное училище. А возглавляются они старейшим в России учительским институтом. Чтобы стать его воспитанником, я и приехал в этот уездный городок с уютными полутораэтажными домами и огромными раскидистыми тополями по обеим сторонам немощеных улиц...

До вечера я бродил по городу. Прожив здесь четыре месяца, я так и не удосужился осмотреть его весь. Добрел я и до той окраинной улицы, где стоял длинный закопченный сарай. По тяжелому запаху было нетрудно догадаться, что это и был салотопенный завод».

Градобельск – Белгород. Мямлин – Муром. Герои – прототипы. Все как у людей.

Даже если города не укрываются под псевдонимами, они нередко предстают живыми персонажами. Поэт Анатолий Мариенгоф писал о Нижнем Новгороде: «Нижний! Длинные заборы мышинового цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многоготоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередине города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом – пьяные монополюшки под зелеными вывесками.

Чего больше? Ох, монополек!

Пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!»

Пожалуй, ярче всех прочих описал провинциальный город Федор Сологуб: «Плывем на пароходе по Волге, видим – Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся.

- Стук, стук!
- Кто тут?
- Кострома дома?
- Дома.
- Что делает?
- Спит.

Дело было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на каменном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке.

Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, – нечего бояться костромского губернатора, – он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась.

- Кто тут был?

Кто тут был, того и след простыл, Костромушка».

Это – воплощение и квинтэссенция мифа о провинциальном русском городе. Сонном, ленивом, степенном, благодушном, беззлобном, терпимом, хлебосольном, монархолюбивом. А впрочем, только ли о мифе речь? Может быть, она действительно такая – русская провинция эпохи Сологуба?

Что ж, не теряя больше времени, приступим к детальному рассмотрению этого феномена.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Логично было бы разбить эту главу на четкие подглавки – дом дворянина, дом мещанина, дом крестьянина, дом офицера, дом священника. Но нет у нас такой возможности – ведь в избранный нами период истории в русской провинции перемешались и сословия, и достатки. Бывший крепостной, поднявшийся на торговле пенькой или дегтем, отстраивает четырехэтажные хоромы, а потомственный дворянин снимает у него угол под лестницей.

Тем не менее какие-то закономерности все же присутствуют. В частности, самый богатый дом в городе, за редким исключением, – дом губернатора. Неудивительно, ведь губернатор – это главный и полномочный представитель самого государства. А государство уж никак не позволит себе в этом плане ударить в грязь лицом. В частности, дом, выстроенный для ростовского градоначальника, вообще вошел в поэзию:

Он благороден был, как замок –
тот старый и могучий дом.
Жильцов необычайных самых
подозревал я в доме том.
Недаром высилась достойно
от башенки невдалеке
фигура гипсового воина
с копьём в откинутой руке.

А вот и другая постройка: «От восточных кремлевских ворот на восток же простирается длинная Московская улица, застроенная сплошь каменными домами под

одну крышу. При начале этой улицы недалеко от кремля вы встречаете прекрасную площадь с красивым садиком в середине и обставленную кругом великолепными постройками... Здесь вы видите длинный двухэтажный дом, имеющий 20 окон на площадь и в нижнем этаже столько же лавок. Этот красивый дом, покрашенный светло-голубою, здешней медною краской, крытый белой черепицей, и в бельэтаже которого находится квартира начальника губернии, имеет прекрасную наружность: изящного рисунка балкон с навесом, в окнах жалюзи и характер архитектуры чрезвычайно грациозный».

Это воспоминания об Астрахани. Подобный дом – на самом деле исключение из правила. Губернатор – и лавки! Экое некомильфо! Впрочем, как раз в Астрахани это самое соседство никого не удивляло и не принижало статус губернатора. Город волжский, каспийский, заполненный множеством торговых подворий, включая бухарское и персидское. Город-порт, город-купец, живущий именно торговлей и, вследствие своей многонациональности и, соответственно, отсутствия общего современного бога, поклоняющийся древнеримскому Меркурию. А значит, помещения для торговли вполне уместны в доме первого лица – тем более если его архитектура отличается «чрезвычайной грациозностью».

Иной раз возведение резиденции для губернатора было делом и хлопотным, и даже курьезным. Вот, например, в центре Уфы в конце позапрошлого века решили возвести новую Троицкую церковь. Но дальше фундамента дело не двинулось – поскольку эта церковь вышла бы на «неблизком расстоянии от домов жилых, то прихожане признали постройку ее делом для себя невыгодным... Деньги, оставшиеся от закупки материалов, в 1808 году отобраны были начальством».

В конце концов на том фундаменте начали возводить обычный дом. Его почти что завершили, но затем забросили, он долго стоял недостроенный, без крыши, и был, в конце концов, куплен казной. Журнал присутствия Уфимского губернского правления об этом сообщал: «По недостатку в г. Уфе удобных домов для размещения начальника губернии в 1859 г. с Высочайшего разре-

шения приобретен в казну покупкою для этой надобности выстроенный дом коллежской советницей Жуковской с находящимся при нем деревянным флигелем за 12 тыс. рублей».

Правда, покупку эту все-таки нельзя было назвать удачной. В том же присутственном журнале говорилось: «В старом доме в продолжении всей зимы была необыкновенная сырость, вероятно, от того, что стены много лет стояли без крыши, сырость впиталась в них и с началом оттопки дома выступила наружу». Больше того, губернатор «при осмотре заметил, что дом этот состоит только в парадных и приемных комнатах, а для домашней семейной жизни помещения нет, посему приказал изменить расположение комнат... При этом необходимо было переделывать уже сделанное и делать вновь против первоначального проекта, именно, закладывать двери и окна, пробивать таковые вновь в стенах, делать пристройки, прибавлять потолки, устраивать лестницы и переделывать печи».

В конце концов дом все же привели в приемлемое состояние. И не только приемлемое – он стал одним из красивейших зданий Уфы.

А во Владимире случилась другая, грустная история. Там губернаторская резиденция тоже обращала на себя внимание – роскошный особняк-дворец с великолепной колоннадой в стиле классицизма и садом-цветником с видом на реку Клязьму – по всеобщему признанию, лучший вид во всем Владимире. Выстроить его распорядился губернатор (и по совместительству поэт) Иван Михайлович Долгоруков. До этого он проживал в другом дворце, ничуть не хуже. Но когда у Долгорукова скончалась жена, он не мог больше оставаться в старой резиденции, где все напоминало об усопшей – и выстроил резиденцию новую, разумеется, на казенные деньги. Там он обжился, залечил душевные раны – и женился повторно. Собственно, ради новой супруги сад-цветник и разбили.

Днем в этих домах решались важные проблемы, по вечерам же закатывались шикарные балы. Не потому что губернаторы все были сплошь весельчаки – им это вменялось в обязанность, и на подобные мероприятия

даже выделялись специальные деньги. Считалось, что такое «неформальное общение» с элитой города улучшит взаимоотношения начальника губернии (обычно – человека пришлого, чужого) с влиятельными старожилками.

А вот тверской губернатор Афанасий Сомов на том сэкономил. Один из современников писал: «Он давал гласным обед с дешевеньким вином, не тратя лишних ни своих денег, ни казенных, отпускаемых губернатору на “представительство”. В три года раз он давал такой же обед тверскому дворянству.. и так как был очень скуп, то этими двумя обедами считал свои обязанности по “представительству” выполненными. Над этой слабостью его местное общество посмеивалось, но вообще было очень довольным своим губернатором». Сомов, между прочим, сильно рисковал – ведь присвоение денег, выделенных на «приветливое гостеприимство», было чистейшей воды казнокрадством.

Кстати, руководителям Тверской губернии, в сравнении с коллегами, неплохо подфартило. Ведь их резиденция располагалась не где-нибудь, а в бывшем царском путевом дворце. Несмотря на смену пользователя, дворец все так же числился в ведении Министерства двора, и этим самым министерством для его обслуживания выделялось 10 тысяч рублей в год – прямая экономия для губернаторского кошелька.

По традиции именно в доме губернатора устраивались встречи губернского начальства с населением. Проходило это строго и официально. Вот, например, как представляли жителям Самары нового губернатора В. В. Якунина: «В общем зале губернаторского дома собираются в мундирах старшие служащие всех ведомств, предводители дворянства, представители земств и города. Губернатор, тоже в мундире, выходит из внутренних комнат, говорит, обыкновенно, краткую речь и обходит по очереди всех собравшихся, которых ему представляет вице-губернатор. Окончив обход, губернатор просит всех помочь ему в трудном деле управления губернией, кланяется и уходит к себе».

А спустя несколько дней – ясное дело, бал. В русской провинции балы были делом обычным. Главный редак-

тор «Костромских губернских ведомостей» фон Крузе отмечал: «В настоящую зиму Кострома веселится более, нежели когда-нибудь. Для истинного и общественного веселья нужны не великолепные залы, не пышные и роскошные балы, но радушные хозяева и веселые гости; в тех и других здесь нет недостатка. Если общество костромское немногочисленно, то к чести его должно сказать, что в нем заметны единодушие и приязнь, а это главное в небольшом городе. Здесь все слито в одно; нет слоев в обществе, нет интриг и зависти, как нет гордости и церемонности; везде согласие и простота, оттого и все приятно. Бывают премилые частные вечера, где гости, ожидаемые и встречаемые радушными хозяевами, веселятся от души до поздней ночи, без натянутости, и не привозят домой скуки».

Конечно, балы и прочие праздники устраивали не только губернаторы, но и обычные дворяне, причем по любому поводу – например, отмечая день рождения. Вот что писал о собственном рождении художник-баталист Василий Верещагин, родившийся в Череповце: «14 октября 1842 года в день папашина рождения вечером, когда во всех комнатах играли в карты, я явился на свет – подали шипучки и поздравили предводителя и предводительшу с Василием Васильевичем номер два».

Отец художника действительно был предводителем дворянства, но не слишком выделялся из общей массы череповчан: «Отец был не блестящ, с довольно мещанским умом и нравственностью, не блестящ, но и не глуп». Соответствующим образом он проводил свои досуги: «Среднего роста, с брюшком, или, как мы, смеясь, называли, с “наросточком”, он был красивой симпатичной наружности. Голос имел мягкий и пел довольно приятно.. Был он большой домосед, и любимое занятие его составляло читать лежа на диване и время от времени дремать».

Тем не менее у лежебоки-предводителя был весьма солидный кабинет: «Обставлен старинной мебелью красного дерева. Чрезвычайно пузатые кресла и стулья покрыты черной волосяной материей. Задняя стена кабинета чуть ли не вся заставлена широчайшим книжным шкафом со стеклом, с выдвигаемыми дверцами. На

верхних полках помещаются бесконечные ряды непеплетенных “Отечественных записок” и “Библиотеки для чтения”. На средней красуется “Путешествие Дюмон-Дюрвиля” в толстых кожаных желтых переплетах, а пониже тянется длинный ряд какого-то энциклопедического словаря в сафьяновых переплетах. По стенам, оклеенным старинными зелеными обоями, развешены сабли, удочки и мухобойки. Кафельная печь, разрисованная синими кувшинчиками, помещается в углу и занимает порядочную долю комнаты. Среди же самого кабинета стоит большой письменный стол на выгнутых ножках. На нем аккуратно разложены приходно-расходные книги, тетради, разные письменные принадлежности и вазочка карельской березы с табаком».

Мать художника была личностью не менее симпатичной: «Как говорят, в молодости красавица, высокая стройная брюнетка. Она осталась после матери ребенком и воспитание получила под надзором старика отца, умного и набожного. Характера была открытого; горе ли, радость, все равно, не могла скрыть, должна была непременно с кем-либо поделиться... Зная отлично французский язык, почитывала иногда повести и романы; была хорошая рукодельница и часто вышивала шерстью по канве, русским швом по полотну, плела кружева, но всего более любила она принимать гостей и угощать их, хлебосолка была». Впрочем, предавалась она и иным досугам: «В белой ночной кофточке, откинувшись назад, сидела в креслах мамаша и, покуривая тоненькую папироску, как бы любовалась собою в зеркало. Позади за креслом любимая ее горничная Варюша причесывала ее голову. Чесание это продолжалось обыкновенно чуть не до полудня. Вот Варюша отделила тоненькую прядь черных волос, быстро наматывает себе на указательный палец, старательно снимает колечко и затем прикалывает его шпилькой барыне на висок».

Но оставим в покое предводителя дворянства и перейдем к более распространенному типу провинциальной недвижимости – дому городского обывателя среднего достатка.

«Краткая молитва – одевание – умывание (мылом или розовой водой), посещение заутрени или молитвы

дома, занятие хозяйственными делами (а для хозяина и исполнение своих обязанностей вне дома). Если при этом оказывается свободное время, хозяин занимался чтением, хозяйка – шитьем. В десять часов – посещение обедни, в полдень – обед, потом – отдых и снова дела до шести часов, когда слушали вечерню». Это формула, выведенная историком Н. Костомаровым применительно к городу Мурому. И хотя Муром – центр не губернский, а уездный, формула эта работала практически во всех более-менее зажиточных провинциальных городах России. А Муром – зажиточный город, купеческий, недаром стоит на Оке – второй по значению реки Европейской России.

Семейства побогаче, разумеется, имели собственные дома. Кто деревянные, а кто и кирпичные. Выбор материала не был напрямую связан с материальным положением – каменный дом конечно же дороже и престижнее, но деревянный здоровее, в нем и дышится иначе. А перед домом в обязательном порядке – сад.

В таком вполне солидном доме в тихой части Тулы провел свое детство писатель Викентий Вересаев. Он вспоминал об этих временах с ностальгией, как многие выходцы из провинции: «Тихая Верхне-Дворянская улица... Одноэтажные особнячки, и вокруг них – сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гонят пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаках пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине – город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящим солнцем кресты колоколен».

Конечно же свой сад был и у Вересаевых. «Этот сад был для нас огромным, разнообразным миром, с ним у меня связаны самые светлые и поэтические впечатления детства», – признавался Викентий Викентьевич. И пояснял: «Сад вначале был, как и все соседские, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Все росли и ширились крепкие клены и ясени, все больше ввысь возносились березы».

Трогательны и уютны воспоминания писателя о домашнем быте: «В комнате было темно. В соседней комнате накрывали ужинать. Я сидел с ребятами на диване и рассказывал им сказку. Эту сказку я им уж много раз рассказывал, но они ее очень любят и все просят еще». Или: «У нас в Туле была кошка. Дымчато-серая. С острою мордою – вернейший знак, что хорошо ловит мышей... Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно, призывно мурлыкая, терлась о ноги мамы... Мама одобрительно гладила кошку по голове; кошка еще и еще пижала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили».

Неплохой дом в центре Нижнего Новгорода занимали и родители Николая Добролюбова. Сам революционный критик вспоминал о нем так: «Большой каменный дом... возбуждал удивление... Он был очень легкой архитектуры, расположен очень симметрично, украшения его были просты и благородны». А другой жилец этого дома, некоторое время там квартировавший Александр Улыбышев, восхищался не домом, а видом из добролюбовских окон: «Из открытых окон является великолепнейший вид в России: кремль на горе с зубчатой стеною и пятиглавым собором, блестящая, как серебро, при свете полной луны, глубокая пропасть, наполненная темной зеленью и лачугами, через которую идет Лыкова дамба; амфитеатр противоположенной части города, спускающегося там живописными уступами до самой реки; наконец необъятная, величественно-суровая панорама Волги. Таких ландшафтных картин мало в Европе».

В Уфе прошло детство писателя С. Т. Аксакова. Дворяне Аксаковы не бедствовали – Сергей Тимофеевич описывал свое жилище в автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука»: «Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина на три над зем-

лей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна».

В хорошем положении оказывалось офицерство. Актриса Елена Гоголева вспоминала о своем детстве в Судогде: «Это было очень давно. Мой отец был кадровым офицером русской армии. После сильного ранения на русско-японской войне он был назначен воинским начальником в Судогду. Моя мать обожала театр, и будучи очень энергичной женщиной, собрала людей и организовала в Судогде любительский драматический кружок. Мне было всего шесть лет. Мама играла, конечно, все центральные роли в спектаклях, которые ставились драматическим коллективом. И если там бывала какая-нибудь маленькая ролька, то поручалась она мне. Мы играли “Русскую свадьбу”, но главным образом шла “Майорид” и саму Майорид играла мама. Помню, нам полагался в Судогде большой дом с огромным садом и даже маленьким озером. Был и двор с курами и индюком, которых я очень боялась, бегая во дворе. Дом был деревянный, очень большой – все это хозяйство по должности полагалось отцу. В Судогде мы жили не очень долго, по-моему, года два или полтора».

Типичная картина – высокопоставленный военный и его жена, «барынька», со скуки создавшая для таких же экзальтированных обывательниц театральный кружок. А вокруг – нищета, беспросветность и серость маленького унылого уездного городка. «Горе где? – В Судогде». Эту пословицу еще до революции сложили сами судогодцы. Непродолжительное пребывание семейства Гоголевых было для них тем еще аттракционом.

Впрочем, не всегда огромный дом был кстати. М. Е. Салтыков-Щедрин писал своему брату из Рязани: «Мы нанимаем довольно большой, но весьма неудобный дом, за который платим в год 600 р., кроме отопления, которое здесь не дешевле петербургского, а печей

множество. Комнат очень много, а удобств никаких, так что, будь у нас дети, некуда бы поместить... Расчеты мои на дешевизну жизни мало оправдались... Хотя большинство провизии и дешевле петербургского, но зато ее вдвое больше выходит. А средства мои между тем убавились, потому что я не могу писать, за множеством служебных занятий, и следовательно, не могу ничего для себя приобретать».

Можно лишь посочувствовать известному писателю, исправлявшему, кстати сказать, в Рязани должность вице-губернатора.

На примере Салтыкова-Щедрина, да и на множестве иных примеров видно – размер дома не имел принципиального значения. С большим домом и хлопот побольше, и протопить его сложнее, и до домочадцев докричишься не всегда. А в маленьких домах – свое очарование. Вот, например, как братья Лукомские описывали дом Акатовых – памятник архитектуры Костромы, площадь всего 75 квадратных метров: «Небольшой, украшенный колоннами, образующими между капителями светелочку, а между пьедесталами своими подвальный этаж. Оконца последнего, затиснутые этими базами, дают много настроения: кажется, что вот в таком, именно, домике могли жить те “три сестры” Чехова, которые так стремились “в Москву”. Весь домик, с балконом от него отходящим, с ветвями дерева, свешивающимися над ним, с старенькой калиточкою и мертвенно-бледною окраскою, ночью, освещенный ярким, белым электрическим светом, когда вокруг – пелена искрящегося снега и лишь черные окна глядят как глазные впадины черепа – производит потрясающее впечатление, которое еще более увеличивается, когда в окне мелькнет сквозь кружевную занавеску пламя зажженной лампы, или за стеклом, покрытым фантастическим узором инея, пройдет грустная и одинокая фигура».

И они же о другом шедевре, тоже костромском: «Потрясает... домик Богоявленской... Весь фасад его не производит даже особенного впечатления. Лишь четыре колонки разнообразят плоское тело домика и дают ему приятные членения. Но когда вы увидите за балюстрадой из старинных балясин, в цокольном этаже, ушед-

шем в землю на три аршина и отделенном этой стенкой с балюстрадой от тротуара – окна и живущих там, тоже за кружевными занавесками, людей, а на окне пестрые игрушки и горшочки с геранью и гелиотропом – вы останетесь невольно и заглянете в эти оконца, и призадумаетесь над судьбами этих людей. Мечта отнесет вас далеко, далеко от них в шумную столицу, к ярко освещенным магазинным окнам, к блеску вестибюлей и бельэтажных зал парадных улиц – и даже занесенные снегом жалкие избушки какой-нибудь деревни, пронесшейся в окне железнодорожного вагона, не произведут на вас такого впечатления, как эта пародия на комфорт, как это стремление не отстать от культуры в условиях захолустной жизни».

Вряд ли счастье обывателей тогда, как и сейчас, зависело именно от размеров их жилища.

Если же говорить о зданиях феноменальных в том или ином смысле, то они, как правило, принадлежали купцам, которые совсем недавно сколотили состояние, традиций толком не имели и фантазировали отчаяннейшим образом. Каких только чудес не возводили в своих владениях купцы! Например, в Ростове-на-Дону напротив городского сада стоит дом, вывезенный из Генуи. Простой российский хлебник, владелец зерновых складов и мельницы господин Супрунов, гуляя итальянскими очаровательными улочками, вдруг увидел дом своей судьбы. Особенно понравилась ему отделка мрамором и разноцветными пластинками. Он постучался в дверь и предложил хозяину продать свою недвижимость. Тот никуда переезжать конечно же не собирался и ответил вежливым отказом. Но хлебник Супрунов не отставал, все прибавлял в цене, и итальянец наконец-то согласился – сделка выглядела чересчур уж выгодной, чтобы от нее отказываться. Дом быстренько разобрали, погрузили на баржу и доставили на берега тихого Дона. Но хлебнику недолго довелось наслаждаться воплощенной мечтой – в годы «красного террора» он лишился дома, а заодно и жизни.

В Архангельске на Поморской улице стоит двухэтажный дом Екатерины Плотниковой, тоже купчихи и большой ценительницы красоты. Первый этаж пред-

принимательница отвела под мелкие кафе и магазинчики, а во втором организовала для себя жилые помещения, интерьеры которых были точнейшим образом скопированы с интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе.

А что такого? И купчихе радость, и народу есть о чем посплетничать.

Главным приоритетом в провинциальной купеческой архитектуре конечно же было богатство постройки. Или еще примитивнее – сумма, в которую дом обошелся хозяину. В Нижнем Новгороде, например, красуется «Дом-миллионер» – дворец Рукавишниковых, который обошелся владельцу ровно в миллион – ни рублем больше и ни рублем меньше. Писатель Иван Рукавишников, выходец из купеческого рода, описал строительство дома в биографическом романе: «Будущий дом велик и прекрасен. Тысяча каменщиков будут строить. Чертежи-планы из Москвы и из Петербурга. И будет дом-дворец. И во дворце – сто комнат. И зал в два света. И лестница – мрамор, какого нет нигде. И будет дворец тот стоить ровно миллион... Пусть весь город ахнет. Пусть со всей Волги полюбоваться съезжаются. Где стоять дворцу тому? Не в улице же узкой, где дома по обе стороны. А на набережной на верхней».

Стоит отметить, что в состав этого дворца вошла маленькая хибарка – она принадлежала престарелой тетушке, которая принципиально не хотела покидать свое привычное гнездо. Пришлось со всех сторон обстроить ее новым домом.

Порой происхождение купеческих дворцов было совсем курьезным. В частности, в один прекрасный день российский император Александр III предложил купцу Сергею Худякову приобрести участок земли в тогда еще совсем не популярном Сочи. Худяков всячески отнекивался, но тут в разговор вмешалась его супруга. Она сказала: «А помнишь, Сережа, когда мы были еще очень молодыми людьми, ты ухаживал за мной и всегда обещал, что когда разбогатеет, построишь дачу в красивом месте и назовешь ее моим именем? Сколько уже лет прошло, а как помнится...» Худякову ничего не оставалось, как действительно построить в Сочи дачу

и назвать ее «Надежда». В наши дни это известнейший «Дендрарий».

Впрочем, забавные истории, связанные с возведением домов, были присущи не одним только купцам. В частности, в Царском Селе некий путеец В. Савицкий каким-то образом разжился некоторым количеством мрамора и гранита. И объявил архитектурный конкурс, в условиях которого была такая фраза: «Ввиду наличности у владельца запаса гранитных камней желательна отделка цоколя и выступающих частей фасада гранитом, а заполнение облицовочным кирпичом и майоликой». Архитектор В. Васильев, выигравший конкурс, честно выполнил условия заказчика. В итоге на царскосельской улице возник довольно симпатичный особняк в стиле модерн с преобладанием гранитно-мраморных мотивов.

Курьезными нам показались бы сегодня ритуалы, связанные с новосельем. В частности, калужское семейство купцов Раковых перед вселением в новый роскошный дом, построенный не где-нибудь, а на пересечении двух главных улиц, рассылало знатым и богатым горожанам приглашения такого содержания: «Петр Степанович и Надежда Васильевна Раковы покорнейше просят Вас почтить своим присутствием торжество освящения нового дома и магазина... сего 17 апреля 1911 года и откусать хлеба-соли. Молебствие имеет быть в доме в 2 часа дня». Впоследствии внучка хозяина вспоминала всю эту «хлеб-соль»: «Переезд в новый дом в детской памяти моей мамы, тогда девочки 10 лет, запечатлелся огромным количеством тортов, которые весь город дарил нашей семье на новоселье. Торты олицетворяли собой хлеб-соль и должны были принести в дом благополучие и достаток. Тортов было столько, что просто съесть их было невозможно. Ими угощали друзей и гостей, их дарили знакомым, но все равно кладовки оставались заполненными этими тортами».

Внутреннее убранство и сам быт купцов по большей части были скромными, даже чересчур – в противовес внешнему лоску их недвижимости. Вот, например, воспоминания костромича о жизни одной семьи тамошних предпринимателей: «Два брата и сестра Акатовы

занимали большой каменный двухэтажный с антресолями дом на Русиной улице, на углу с Губернаторским переулком. Жили они очень замкнуто и скупно, хотя в деньгах не нуждались. Друг другу говорили: “Вы, братец”, “Вы, сестрица”. Все они были пожилые, но рано осиротели. Поэтому за ними сохранилось прозвание Малолетки.

Домой они к себе во избежание лишних расходов никого не приглашали, никуда не ходили. Однажды один из братьев заболел и пришлось вызвать врача, который обнаружил, что оба братца спят в овальной комнате, некогда гостиной. Спят на двух узеньких диванчиках, обитых черной клеенкой, без какого-либо признака спального белья. Вместо подушки – старое свернутое изношенное пальто. В комнате из мебели стоял треногий стул и железный рукомоиник, из таза которого исходил одуряющий запах, ясно указывающий, что этот умывальник использовался также в качестве ночной посуды».

Единственно, на чем не старались экономить, – это чай, который пили до пяти раз на дню. Ярославский обыватель С. Дмитриев описывал своего рода чайный распорядок одного купеческого дома: «Хозяева пили чай и уходили утром в лавку; затем вставали женщины-хозяйки и тоже пили чай. Ольга Александровна выходила ежедневно за обедню, но к женскому чаю поспевала. В час дня обедал Константин Михайлович. В два часа – Геннадий Михайлович. Оба обедали в темной комнате рядом с кухней и после обеда уходили опять в лавку. Часа в 3–4 обедала женская половина. Около шести часов хозяева возвращались из лавки и пили немножко чаю. Часов в 8, иногда позднее, был чай с разной пищей, и горячей, и холодной, так что-то между ужином и закуской. Наконец все расходились по своим комнатам, и большинство членов семейства укладывалось спать».

А вот воспоминания другого ярославца, Варфоломея Вахромеева: «Моя жизнь началась в нашем особняке на Ильинской площади. Родители и мы, дети, занимали весь верхний этаж дома. В одной половине были комнаты родителей, в другой – детские комнаты; их разделяла большая лестничная площадка. Она служила прихожей

и гардеробной и потому была соответствующим образом обставлена. Дверь из нее вела на чердак.

Мои первые детские впечатления так врезались в память, что я до сих пор их хорошо помню. Они возникают перед моим внутренним взором как отдельные кадры.

...Я вхожу в ванную комнату на маминой половине; в ней разливается сильный приятный запах обваренных отрубей. Моя няня Матрена ласково смотрит на меня и говорит: “Сейчас будем купать ребеночка”. У мамы только что родился мальчик – брат Александр. Меня к маме не пускают, около мамы хлопочут акушерка, горничная и няня, а я предоставлен сам себе. Это осень 1906 года, и мне всего лишь два с половиной года.

...Мама сидит на низкой табуретке в детской комнате для маленьких, что около ее спальни, и кормит Алю грудью. Я верчусь вокруг нее. Мама спрашивает меня, шутя: “Ты тоже хочешь попробовать?” Я морщусь и отворачиваюсь от нее.

...Папа выходит из своего кабинета с подвязанными вверх усами, его подбородок и щеки в мыле, он брился и идет умываться в ванную комнату.

...Я болен и лежу в своей постельке с пологом (я пока еще на маминой половине), а Алю с няней поместили в хорной комнате, которая рядом, через площадку. Старшая сестра Катя в маминой гостиной за стенкой без конца повторяет на фортепьяно одну и ту же фразу; у меня жар, и ее музыка меня раздражает.

...Няня приводит меня к дедушке, я здороваюсь с ним, он целует меня и дарит золотую монету. Сегодня день моего рождения – 5 марта! Бабушка выдвигает из-под кушетки в своей туалетной комнате большой ящик с деревянными солдатиками и позволяет мне осторожно поиграть ими. Она бережет их как память: это игрушки Миши, ее покойного сына, которого она очень любила. Он умер мальчиком.

...Наш большой, светлый, золотисто-желтый зал сияет чистотой. Во всю его длину выстроились столы “покоем” (буквой «П». – А. М.). Официанты из гостиницы заканчивают сервировку стола. Старших никого нет. Сестра Муся и мы с няней идем вдоль столов посмот-

реть на это “удивительное чудо”. Подходим к середине стола, няня показывает на два прибора и говорит, что это – для жениха и невесты. В тот момент мы еще не можем сообразить, что происходит, и лишь к концу дня нам становится ясно. У нас в доме – свадьба! Дядя Сережа (папин брат) женится на тете Ксене (Ксении Геннадиевне Ямановской). В то время, как мы осматривали накрывавшиеся столы, взрослые были на венчании. Нас пустили вниз только после того, как закончился обед и начался бал»

Что это за семейство? Как ни странно, именно купеческое. В предыдущей части нашего повествования мы несколько сгустили краски, увлеклись купеческой экзотикой. В действительности здесь тоже нельзя провести четкую черту, которая бы отделила быт мещанский от купеческого, дом дворянский от чиновничьего. Да – какие-то особенности, некоторые тенденции, но и не более того. Русской провинции свойственна мягкость переходов, неопределенность дефиниций.

Описание города Рыбинска, вышедшее в 1911 году, свидетельствовало: «Рыбинцы, разумея о купцах и мещанах, все генерально вежливы, искательны и гостеприимны, но богатые и не без кичливости, однако ж и те слабость свою стараются прикрывать гибкостью. Бесперывное почти занятие с иногородними по торговле много действует на образование их в обращении, и многие мастерски умеют разведывать о нуждах своих по коммерции побочным и для жителей других мест малоизвестным образом. Иногда даже употребляют лесть и униженность; впрочем, по кредиту пекутся быть всегда верными, разве молодые и маломощные запутываются, и то изредка при вольном обращении денег в роскоши, но не в распутстве. Словом, рыбинцы ласковы, но не всегда простодушны, а паче где замешается интерес; гостеприимны, но редко без намерения; доброжелательны, но без потери своих выгод; не скупы, но и не щедры; предприимчивы, но мало предусмотрительны; да к тому же и не твердохарактерны. А во всех делах их чаятельность и надежда – вождь, прибыль – мета».

Столь же практичны были жители этого города в своем быту: «Рыбинцы живут довольно хорошо и трез-

во, но без роскоши, пищу употребляют здоровую, но не-лакомую. Круг знакомств насчет обоюдных угощений ищет всяк, кроме родства и свойства, между равными себе. В домах наблюдают чистоту и опрятность, а паче богатые, кои еще тем один против другого и щеголяют, так что есть дома внутри очень хорошо расписаны, а у многих и мебель красного дерева; да и у бедных у редкого чтоб не была горница общекотурена или бумажками цветными обита; употребление же чая до такой степени дошло, что и последний мещанин за стыд поставляет не иметь у себя в городе самовара».

Столичным жителям уклад провинциальной жизни, разумеется, казался диким. Даже тем, кто в провинции вырос. Антон Павлович Чехов, например, описывал очередной визит на родину, в маленький Таганрог: «Возле дома – лавка, похожая на коробку из-под яичного мыла. Крыльцо переживает агонию и парадного в нем осталось только одно – идеальная чистота.

Дядя такой же, как и был, но заметно поседел. По-прежнему ласков, мягок и искренен. Людмила Павловна, “радая”, забыла засыпать дорогого чая и вообще находит нужным извиняться...

Что сильно бросается в глаза, так это необыкновенная ласковость детей к родителям и в отношениях друг к другу...

В 8 часов вечера дядя, его домочадцы, Ирина, собака, крысы, живущие в кладовой, кролики – все сладко спало и дрыхло. Волей-неволей пришлось самому ложиться спать. Сплю я в гостиной на диване. Диван еще не вырос, короткий по-прежнему, а потому мне приходится, укладываясь в постель, неприлично задирать ноги вверх или же спускать их на пол. Вспоминаю Прокруста и его ложе».

Если бы отец писателя не обанкротился, если бы всему семейству не пришлось прятаться в Москве от кредиторов – глядишь, не было в нашей литературе ни «Смерти чиновника», ни «Попрыгуньи», зато сам Антон Павлович жил бы всю жизнь в Таганроге, торговал бы колониальными товарами и не предъявлял бы претензий к удобной, наверное, лавочке, пусть и похожей на коробку из-под мыла.

А вот как был устроен дом модистки во Владимире: «Перед домом был небольшой палисадник с кустами шиповника и сирени и лестница в несколько ступенек, спускавшаяся к двум дверям. В одну из них мы и позвонили. Дрогнули занавески на окне второго этажа, и через несколько минут послышались быстрые спускавшиеся по лестнице шаги. Дверь открыла немолодая, очень подтянутая женщина с пристальным и необыкновенно энергичным взглядом. Поздоровавшись, она любезно повела нас по крутой лестнице в свою “святая святых” – обитель, где протекала ее жизнь и рождалось совершенно особое творчество. Так состоялось мое знакомство с “местной достопримечательностью”, замечательным человеком, прекрасной портнихой Екатериной Семеновной Богдановой (в замужестве Фокиной). Это знакомство длилось много-много лет.

Поднявшись наверх, где таинство творчества рождало удивительные модели одежды, я оказалась перед дверью с портьерой из бархата болотного цвета. Легким движением отогнув портьеру, Екатерина Семеновна ввела нас в гостиную. Это была большая комната. На двух подоконниках цвели нежно-розовые альпийские фиалки. Их тончайший аромат растекался по всей гостиной. Между окнами стояло огромное трюмо в резной раме, со столиком, на котором покоилась большая пепельница, изображавшая ракушку с русалкой. Трюмо, достигавшее потолка, выглядело величественным. В зеркале отражались стены гостиной с фотографическими портретами, разными безделушками, и от этого комната казалась очень большой. Были в ней и причудливая мебель с резными изгибами ножек и подлокотников кресел, и фортепиано, на котором, как я позже узнала, играла старинные вальсы и романсы хозяйка, и большие ковры по одной из стен и на полу. Какая-то особая таинственная тишина царила в гостиной. Перед иконой Николая Чудотворца мирно светилась лампадка. Время как будто остановилось, и прошлая эпоха, запутавшись в плюшевых занавесках, притаилась в углах комнаты».

Были конечно же в провинции и нарушители спокойствия. Не столько жулики и хулиганы – их злоде-

яния, как ни странно, вполне укладывались в тамошний жизненный уклад, – сколько интеллигенция, зачастую презиравшая «узколобых мещан». Вот, например, как был устроен боровский и калужский быт семейства Циолковских, по словам самого Константина Эдуардовича, «отца космонавтики»: «Я любил пошутить. У меня был большой воздушный насос, который отлично воспроизводил неприличные звуки. Через перегородку жили хозяева и слышали эти звуки. Жаловались жене: “Только что соберется хорошая компания, а он начнет орудовать своей поганой машиной”... У меня сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали бумажные куколки, пробивались молнией дыры, загорались огни, вертелись колеса, блистали иллюминации и светились вензеля. Толпа одновременно поражалась громовым ударам. Между прочим, я предлагал желающим попробовать ложкой невидимого варенья. Соблазнившиеся угощением получали электрический удар. Любовались и дивились на электрического осьминога, который хватал всякого своими ногами за нос или за пальцы. Волосы становились дыбом, и выскакивали искры из каждой части тела. Кошка и насекомые также избегали моих экспериментов. Надувался водородом резиновый мешок и тщательно уравнивался посредством бумажной лодочки с песком. Как живой, он бродил из комнаты в комнату, следуя воздушным течениям, поднимаясь и опускаясь».

Как это непровинциально!

Даже такие привычные праздники, как Рождество, воспринимались в провинции особо сокровенно. Одна из представительниц семейства Суздальцевых (город Муром) вспоминала: «Нарядная елка – таинственный стук в окно Деда Мороза, которого мы никогда не видели, но слышали его голос и стук. К этому празднику мы готовились заранее. Мама покупала цветной гофрированной бумаги: красной, синей, желтой, зеленой, голубой, а однажды раздобыла даже золотой и серебряной, только не гофрированной. Под руководством неугомонной мамы мы делали игрушки сами. Хлопушки, цепи, коробочки, рог изобилия, бонбоньерки. Из картона вырезали разных зверюшек: зайца, лису, медведя –

и обклеивали золотой и серебряной бумагой. У нас в детской стоял довольно большой круглый стол с ящиками. Мы все рассаживались: я, сестра Таня, брат Вова, сестра Мара, а меньшая сестренка Ася только смотрела. Правда, чтобы она нам не мешала и не плакала, мы давали ей обрезки золотой бумаги, и она тоже что-то мастерила».

А мемуарист Ф. Куприянов вспоминал о христославах в Богородске: «Быстро одеваюсь и бегу в переднюю, где на пороге в залу, на специальном коврикe стоят ребяташки и поют “Христос рождается...”. Двери в переднюю почти не закрываются. Одна гурьба сменяет другую. Тут и совсем малыши, которые путем и слов-то не знают, тут и организованные тройки из певчих, которые поют очень хорошо.

Стою рядом с ребятами и подпеваю им.

Ребята из певчих даже и коротенький, простенький концерт споют.

Какое оживление, какие радостные, красные от мороза лица и какие звонкие голоса; невольно и тебя поднимает на какую-то высокую ступень. Приходили совсем малыши. Начнут петь, а слов-то и не знают, тогда подходили мои старшие братья и совместно преодолевали все трудности. Как же эти ребята были довольны...

И так в течение двух-трех часов приходили замерзшие, заснеженные, радостные ребяташки и пели...

Христославы получали по три копейки, а кто рассказывал рацею – пятачок».

Будущий философ В. В. Розанов писал о своем детстве в Костроме: «Бывало, выбежишь на двор и обведешь вокруг глазами: нет, все черно в воздухе, еще ни один огонек не зажегся на колокольнях окрестных церквей! Переждешь время – и опять войдешь. – “Начинается”... Вот появились два-три-шесть-десять, больше, больше и больше огоньков на высокой колокольне Покровской церкви; оглянулся назад – горит Козьмы и Дамиана церковь; направо – зажигается церковь Алексия Божия человека. И так хорошо станет на душе. Войдешь в теплую комнату, а тут на чистой скатерти, под салфетками, благоухают кулич, пасха и красные яички. Поднесешь нос к куличу (ребенком был) – райский запах. “Как хорошо!”

И как хорошо, что есть вера, и как хорошо, что она – с куличами, пасхой, яйцами, с горящими на колокольнях плашками, а, в конце концов – и с нашей мамашей, которая теперь одевается к заутрене, и с братишками, и с сестренками, и с “своим домиком”. У нас был свой домик. И все это, бывало, представляешь вместе и нераздельно».

А еще провинциалы были большей частью домоседами. Вечера старались проводить не на гуляньях, не в кабаках, а дома, чтобы затем рано «тихим образом» лечь спать. В немалой мере, что греха таить, тому способствовало скверное состояние городских инфраструктур. Актер В. Н. Давыдов писал о городе Орле: «Живописный Орел мне нравился, хотя удобств в городе не было никаких. Непролазная грязь, отсутствие водопровода, газа и уборных делали жизнь не особенно привлекательной, но орловцы, видно, привыкли ко всему этому и недочетов городского благоустройства совершенно не ощущали... Общественной жизни почти не было. Здесь жители ценили домашний уют, тепло семейного очага и деревню... По домам играли в картишки, занимались разведением тирольских канареек, по вечерам любители ходили друг к другу слушать их пение, некоторые возились с цветами и любили похвастаться цветущей камелией или азалией. Все жили за ставнями, жили тепло, сытно и уютно».

И, соответственно, готовили «за ставнями» получше, чем в ином роскошном ресторане. Вот воспоминания одного архангелогородца: «В жаркой кухне мы нашли бабушку, в фартуке, с покрасневшимся от жара лицом. Она пекла блины. Рядом с плитой на табуретке стояла большая емкость с тестом, в другой было растопленное масло. Длинный ряд маленьких чугунных сковородок с толстым дном выстроился на плите. Бабушка работала сосредоточенно, ее руки так и мелькали с одного конца к другому. На каждую сковородку наливалось немного масла, затем тесто. К тому времени, когда оно налито в последнюю сковородку, приходило время переворачивать блин на первой, а когда все были перевернуты, с первой сковородки можно было снимать готовый блин и класть его на шесток. Бабушка снова и снова повторя-

ла все операции, пока не появлялась горка золотистых тонких блинов, не тяжелых и не жирных, а полупрозрачных и очень вкусных. Их уносили на стол и немедленно начинали есть, несколько слоев сразу. На столе – миски со сметаной, икрой, большой выбор варений из диких ягод».

В основном же в Архангельске употребляли беломорскую треску – за что архангелогородцев часто называли «трескоедами».

Если же готовить не хотелось, а кухарку не держали, то в особых случаях в дом приглашался проходящий повар. Об одном из них писал уже упоминавшийся богородский обитатель Федор Куприянов: «Федор Андреевич был кондитер, но в несколько ином понимании, чем теперь. Он был организатором обедов свадебных, юбилейных, похоронных и прочих. Зарабатывал поэтому от случая к случаю. Однако случаи, для которых требовался именно такой организатор, в Богородске происходили довольно часто.

Федор Андреевич был в свое время поваром, и, по видимому, хорошим. Потом купил себе домик и очень тихо и скромно жил. Когда потребовалось больше средств, он ходил сам готовить по особым случаям. Потом потребовалось не только готовить, но и сервировать, для чего уже нужен был капитал.

Мама хорошо знала Федора Андреевича еще с детства. Поэтому он пришел к ней с поклоном и просьбой помочь. О маминой доброте люди были слышаны может быть даже больше, чем мы сами. Мама купила ему посуды на 48 человек и, можно сказать, подарила. Так Федор Андреевич стал “кондитером”.

Он был маленького роста, со стриженными усиками, розовощекий и всегда улыбающийся. По-моему, его все любили, и профессия-то у него была такая – всем угождать.

У него была посуда, свои люди, столы, белье. Когда было нужно, это привозилось, расставлялось и сервировалось. Приглашались знакомые официанты и повара даже из Москвы.

Все было чин чинном, как в хорошем ресторане. Сам Федор Андреевич тоже был во фраке и катался колом во все стороны».

Особенная радость – сад. Или же огород. А может быть, все вместе – кто как решит. У большинства провинциальных домиков были свои земельные угодья. У кого, опять-таки, поменьше, у кого побольше – но на атмосферу, как и в случае с домами, те размеры не влияли.

Жизнь тех садов – особенная жизнь. Тамбовчанка Ю. Левшина писала в своих мемуарах: «В нашем саду было много цветов – и многолетних, и однолетних. Ими в основном занималась мама. Были ирисы, пионы, флоксы, астры. Букеты их все лето стояли в комнатах – на столах, подоконниках, пианино. И папа часто писал натюрморты с букетами цветов, собранных мамой или (позднее) мной...

Цветение в саду начиналось ранней весной. У южной стороны дома под окнами спальни раньше всего начал таять снег. И вот, однажды проснувшись, глянешь в солнечное окно и увидишь, как сквозь хрупкий снежок проклеваются стрелочки-листья подснежника. А на другой день и сам голубенький снежок улыбается наступающей весне...

В самом конце апреля – начале мая обычно зацветала черемуха. У нас в саду она распускалась раньше, чем начинали продавать лесную. Наверное, потому, что она росла на солнце, а не в низине, как в лесу...

После черемухи цвели вишни, сливы, яблони. Всегда казалось странным, что цветение вишен начиналось даже раньше, чем на них появлялись свежие, будто ликовые, листочки... На яблонях – крупные, с розовым нежным окоем цветки. И аромат неопишуемой свежести, точно настоящий на солнце, и нагретой им земли наполняет сад и входит в комнаты через открытые окна и балконную дверь.

А потом пойдут ирисы. Эти цветы с их прямыми стеблями и саблевидными листьями, не ярко-зеленого, а серебристого, с оттенком в голубизну, цвета, с изящной формы прозрачным и неподвижным, как бы застывшим в своей причудливости, точно фарфоровым цветком всегда казались мне немножко неземными, искусственными...

Из весенних цветов еще были в нашем саду фиалки, махровые, красные, нежно-душистые тюльпаны, пионы.

И сирень, сирень... Сказочно много сирени, традиционно розово-голубоватой и белой».

А костромской педагог А. Смирнов так описывал свои угодья: «Земля наша разделялась на две части: двор (северная часть) и огород (южная часть). На дворе в северо-западном углу находился старый домик, с тремя окнами на улицу. Против него в северо-восточном углу – новое строение, заключавшее в себе погреб, сарай и конюшню с большой сенницей над ними. Между домом и этим строением шли ворота и забор. В юго-восточном углу двора был новый небольшой флигель, а в юго-западном – изба. Между ними был колодезь...

При входе в сад представлялась тотчас невдалеке от калитки огромная старая яблоня. За ней восточная часть огорода состояла из гряд, расположенных четырехугольниками, отделенными друг от друга дорожками, которые были обсажены кустами смородины и крыжовника. Западная половина огорода состояла из гряд, расположенных отчасти продольно, отчасти поперек, и отделенная от соседнего огорода рядом берез, черемухи и рябин. Со всех трех сторон огород наш окружали соседние огороды; за ними к юго-востоку расстилалось огромное поле, на котором в семик было большое гуляние, поле оканчивалось Черной речкой, впадавшей в Волгу, за речкой видно было кладбище, а за ним поднималась полукругом в гору обсаженная берегами большая саратовская дорога».

В некоторых городах практиковался свой, фирменный садоводческий стиль. В частности, Владимир почему-то славился вишневыми садами. Еще Александр Герцен примечал: «Калуга производит тесто, Владимир – вишни, Тула – пистолеты и самовары, Тверь извозничает, Ярославль – человек торговый».

А Петр Калайдович, профессор Московского университета, не мог сдерживать восхищение: «Между многими любопытными вещами в городе Владимире более всех обращают на себя внимание сады вишневые, как по своему множеству, так и потому, что жители владимирские от них немаловажный торг производят.

Владимир расположен на высоких горах при р. Клязьме, окружающей город с восточной стороны. Множество садов придает ему прелестный вид, а особенно весною, когда деревья цветут, и летом, когда плоды созревают. Сады сии увеличивают собою обширность города, который в длину простирается на 3 версты и 300 сажений, в ширину на одну с половиной версту, а в окружности имеет более 10 верст. Предместья городские похожи на красивые села, окруженные садами, и вся зальбедская сторона с горы кажется более лесом, нежели городской частью. Во Владимире считают около 400 садов больших и малых. Сады называются по именам своих хозяев, теперешних или прежних, так, например, большой Патриарший сад до сих пор удерживает свое название: он принадлежал в старину Патриарху Всероссийскому. Лучшими садами теперь почитаются Новиковский, Алферовский и Веверовский...

Когда вишни созреют, то наряжается ужасное множество сборщиков и сборщиц садов, и с первых чисел июля во всем городе начинается праздник Помоны. На всех улицах вы увидите толпы поющего народа с полными решетами вишен, собранными в садах и переносимыми до погребов, где бывает складка ягод».

Некоторые особенно рачительные обыватели скупали, по возможности, соседские сады и создавали настоящие ботанические шедевры. Вот, например, описание «садика» Андрея Титова, предпринимателя, жителя Ростова Великого: «Как входишь – сразу бордюр из махровых левкоев, душистый табак, который распускался вечером с необыкновенным ароматом. Направо были розы на длинных грядках, эти розы из Франции выпишывались... После роз был сиреневый кружок, диаметром 5 метров, небольшой, а в середине его лавочки. Дальше беседка очень красивая, большая, а в ней терраса, буфет с посудой (мы здесь пили чай), а далее еще беседка, ажурная, из длинных полос дерева, и в ней еще три лавочки. В самом центре сада стоял фонтан, а в середине его – скульптура, ангел (мальчик с крылышками) с трубкой, из нее вода лилась, разбрызгиваясь. Направо от нее яблони росли, сливы и другие фруктовые деревья. А пруд какой был! В нем рыбы плавали».

Такое предприятие могло дать фору и столичным увеселительным садам.

А уж праздники в частных садах – бесподобнейшее удовольствие. В одном из них, в Ростове-на-Дону, состоялась свадьба физиолога Ивана Павлова и юной ростовчанки Серафимы Карчевской. Юная супруга вспоминала: «Что за чудный вечер был в день нашей свадьбы. Тихий, лунный, безоблачный! Садик, в который были открыты окна и двери, благоухал розами. Собрались только самые близкие наши друзья... В саду в беседке устроили танцы. Музыку изображал отец Киечки, ударяя ножом по бутылке, а все мы превесело танцевали. Никогда не забыть мне этого вечера. И Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием».

Вроде бы ты и на улице – а все-таки дома.

* * *

Но все выглядело по-другому, если в доме не было достатка. Путь в бедность часто начинался с малого – например с принятия решения пустить к себе жильцов. Ярославец С. Дмитриев писал: «На имеющиеся у нас капиталы решено было приобрести две кушетки (кровати дороги!) – одну мне, другую квартиранту, – стульев, стол, посуды, самовар и тогда подыскать подходящую квартиру. “Пошла работа!”

Квартиру мать нашла быстро: на Нечете, в центре города, в мезонине. Дом этот и сейчас стоит, и проходя мимо него, я вспоминаю те годы, годы начала моей жизни, лучшие годы моей жизни.

На улицу выходила большая, в три окна, комната, во двор смотрело тоже три окна, но два в комнате, а одно в кухне; сняли дом за семь рублей в месяц со своими дровами и керосином.

Стулья и другую мелочь мать перетаскивала сама, а кушетки перетаскать наняла зимогоров (бродяг. – А. М.), всегда находящихся около мебельных магазинов в ожидании чего-нибудь снести и подзаработать.

Квартиру обставили, повесили иконы в углах, какие-то занавесочки на карнизах (окна были маленькие), но не ситцевые: мать, бывая часто у Разживиных и Огняновых, уже отвыкла от деревенских порядков.

На другой день мать приколотила на дверях, выходящих на улицу, записку: “Сдается комната со столом в мезонине”. Вход с улицы был и в мезонин, и во второй этаж. Меня по целым дням дома не было, и мать сдавала комнату сама. Когда я пришел вечером со службы, мать сказала, что находится подходящий квартирант. Она просила его зайти завтра утром пораньше, чтобы я “поговорил с ним сам”. А что я должен был говорить с ним сам, когда я в этом деле вполне ничего не понимал?

Но студент (квартирант) пришел около 8 часов утра – Сергей Павлович Нелидов (из Нижнего Новгорода), сын, не помню точно, директора или инспектора народных училищ Нижегородской губернии, приехал учиться в Ярославский юридический лицей...

Студент Нелидов мне очень понравился, и мы его пустили в комнату, выходящую на улицу окнами. Условились за 20 рублей в месяц давать ему, кроме комнаты с нашими дровами и керосином, еще обед, ужин и два раза в день – утром и вечером – самовар. Чай и сахар его, стирка белья тоже его.

Я уже наглядился у Огняновых кое-какому обращению с “господами”, по выражению матери, и учил и показывал ей, матери, как нужно подавать кушанья, резать к столу хлеб и т. п.

Нелидов оказался человеком симпатичным и простым. По вечерам он не брал самовара, а приходил к нам пить чай. Сидел подолгу с нами, а потом уводил меня к себе, рассказывал, что у них семья большая: четыре брата, все учащиеся. Младший, Александр, неудачник, не хочет серьезно учиться в Кологриве Костромской губернии в земледельческом училище им. Чиждова».

Вроде бы Дмитриевым повезло – жилец оказался приличный. Но все равно было нарушено уединение, прайвеси – одна из главных ценностей провинциальной жизни. Кучкование – ценность столичная, там это здорово, а в провинции – смерть.

В Уфе снимал квартиру еще не знаменитый тогда Федор Шаляпин. Сам он об этом писал: «Жил я у прачки, в маленькой и грязной подвальной комнатке, окно которой выходило прямо на тротуар. На моем горизонте мелькали ноги прохожих и разгуливали озабоченные

куры. Кровать мне заменяли деревянные козлы, на которых был постлан старый жидкий матрац, набитый не то соломой, не то сеном. Белья постельного что-то не припомню, но одеяло, из пестрых лоскутков сшитое, точно было. В углу комнаты на стенке висело кривое зеркальце, все оно было засижено мухами».

Впрочем, положение юного баса скрашивало то, что в Федора Ивановича влюбилась дочка прачки, «очень красивая, хотя и рябая». Она подкармливала бедного певца «какими-то особыми котлетами, которые буквально плавали в масле».

Впрочем, сдача и съём жилья – вещь временная, оставляющая надежду на другую судьбу и на лучшее будущее. Страшнее, когда люди так живут всю свою жизнь. Современник писал о Самаре: «Если теперь заглянуть в жилища, то убедимся, что большинство маленьких квартир тесны, переполнены народом и содержатся очень грязно, на первом плане вонючая лохань, переполненная помоями, следующая комната – гостиная. В ней сборная мебель, косое зеркало, неизбежная вязаная салфетка на столе, и на ней всегда красуется изломанная грязная гребенка, которою все чешутся – и хозяева, и гости. Третья комната обыкновенно так называемый “мертвый угол”: это комнатка без окон, совершенно темная, глухая, заваленная хламом, в ней стоит деревянная кровать с пуховиками – это спальня».

Да, провинциальной идиллией здесь и не пахнет. Но ничего не поделаешь – немалая часть обитателей провинции жила именно так. Больше того, по мере наступления прогресса жизнь многих обывателей не улучшалась, как логично было бы предположить, а, напротив, становилась хуже. И правда, одно дело – проживать почти что в девственном лесу, где все, что называется, стерильно, и совсем другое – сохранять здоровые условия существования среди «каменных джунглей», какими постепенно становились многие города, особенно промышленные. Взять, к примеру, Брянск. Городской фельдшер Меримзон писал в 1878 году в тамошнюю управу: «При исполнении возложенных на меня обязанностей я бываю иногда поставлен в необходимость лечить тех больных, обстановка которых поистине

ужасна. Сырая, тесная, нередко нетопленая квартира, неимение не только сколько-нибудь подходящей пищи, но и насущного хлеба; присмотра, столь необходимого условия при каком бы то ни было лечении, и того в большинстве случаев нет, так что приходится исполнять обязанности и фельдшера, и прислуги. Само собою разумеется, что при такой обстановке никакое лечение не может облегчить страданий бедняка. Если ко всему этому прибавить недостаток медикаментов, от которого, главным образом, страдают опять те же бедняки, не имеющие средств приобрести лекарства за свой счет, то это будет составлять понятие о трудностях лечения больных этого рода».

А вот запись окружного инженера 2-го округа Замосковских горных заводов К. Иордана в инспекторской книге Брянского завода о неприглядном состоянии жилищ рабочих: «Осмотрев 23 июня 1892 г. некоторые помещения для рабочих, устроенные при Брянском рельсопрокатном и механическом заводе, я нахожу, что они совершенно неудовлетворительны в гигиеническом и санитарном отношении. Помещения устроены по нескольким типам: для одного семейства, для двух и для артели рабочих. Все они отличаются друг от друга только размерами, условия же жизни всюду одинаковы и в громадном большинстве случаев не только не привлекательные, но и безусловно вредные. Скученность и теснота в помещениях настолько велики, что рабочие, чтобы вдыхать сколько-нибудь сносный воздух, прибегают к самопомощи, а именно, при всех казармах устраивают нечто вроде барачков из теса и горбылей, с просвечивающими стенами и кое-какой крышей, без окон...

Все здесь изложенное относится по преимуществу к жителям семейным, где по сознанию ли самих живущих, либо же по чувству самосохранения еще поддерживается кое-какая чистота и опрятность. Но в казармах для артелей рабочих тщетно было бы искать той и другой. Тут без всякого преувеличения можно лишь делать сравнения с помещениями для домашнего скота, до такой степени они своим неопрятным видом и грязью мало напоминают о жилье людей. Даже летом,

когда окна и двери настежь открыты, воздух в них сперт и удушлив: по стенам, нарам, скамьям видны следы слизи и плесени, а полы едва заметны от налипшей на них грязи».

Еще один крупный промышленный город – Ижевск: «О домашнем комфорте ижевский оружейник почти не имеет понятия. Некрашенный деревянный стол, два-три таких же стула и по стенкам лавки да еще угловой шкафчик для посуды составляют почти всю мебель... Кровать находится в редком доме, да ее и поставить было бы некуда... Спят обыкновенно на полатах или на печи, а если уж очень жарко, то на полу».

Словом, известный роман «Мать» Максима Горького написан был, по сути, на документальном материале.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Обедали мы во Владимире. Это очень недурной городок, и если судить по той улице, через которую мы проезжали, то – не хуже Нижнего; но кондуктор говорит, что только одна улица порядочная и есть во всем Владимире».

Это критик Николай Добролюбов пишет о типичном губернском городе. Да, провинциальный город – не Москва, тем более не Петербург. Улиц там, конечно, много, но жизнь, как правило, вращается вокруг одной из них. На нее, как на шампур, нанизаны главные городские достопримечательности – кафедральный собор, торговые ряды, городская гимназия, пожарная и полицейская часть, городской бульвар или парк. Именно здесь, на главной улице, и происходит вся общественная жизнь. Именно на ней – дорогие магазины, лучшие гостиницы и самые роскошные дома. Да и названия у этой улицы всегда красивые, нарядные – Садовая, Дворянская, Московская, Миллионная. Или Спасская, Всехсвятская, Троицкая – это уже в честь кафедрального собора, главного храма города.

Кажется, что эта улица должна быть такой же нарядной, парадной, ухоженной, как ее название. Но нет: «Бесконечные прямые улицы во всю ширину загустели грязью. Лошади с трудом тащили экипаж. Даже на Главном проспекте – ни проехать, ни пройти. Чуть получше было возле громады кафедрального собора в центре, вокруг которого стояли красивые каменные здания, пестрели вывесками магазины. Но как только свернули

в переулки, так опять лошади зашлепали по грязи». Это описание города Екатеринбург, вовсе не последнего по статусу и по богатству города России.

Главную улицу пытались украшать, облагораживать. Например мостить. И что же? Результат плачевный. Николай Лесков писал в романе «Некуда» о городе Орле: «Спокойное движение тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в Московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся, неровным плитам безобразнейшей мостовой».

А в Тамбове в середине XIX века вообще дерзнули укатать главную улицу в асфальт. Не всю, а для начала только тротуары. Но, как нетрудно догадаться, ничего хорошего из этого не вышло. Вороватые и мало сведущие в тонкостях дорожных дел ремонтники, прежде чем положить асфальт, вытащили из земли булыжник. Асфальт плюхали прямо на грунт. Разумеется, спустя несколько месяцев улица вновь нуждалась в асфальтировании. Тамбовская газета сообщала в 1881 году: «Большая вполне оправдывает свое название: она длинна, достаточно широка и может похвастаться многочисленными приманками для пылкого юношества... если не принимать в счет благовидных тротуаров, идти по которым нужно осмотрительно, прибавать к штиблетам калоши, чтобы последние не остались в грязи, а в морозное время необходимо упражняться по законам равновесия, дабы сохранить в целостности затылок».

Под стать главной улице была и Соборная площадь. Газета «Рязанская жизнь» сообщала: «Соборная площадь – место, предназначенное для поломки обывательских ног. Не ремонтировалась и не подметалась со времен татарского нашествия». Правда, ближе к новому, XX столетию за основные улицы провинциальных городов взялись всерьез. Литератор Н. Вирта писал о Тамбове: «Большая улица, самая длинная и чистая, застроенная казенными домами, была средоточием властей гражданских, военных и духовных. Все учреждения помещались на этой улице, а во дворе, близ кафедрального собора, жил губернатор. На той же улице в реальном

училище, в гимназии и в духовных заведениях приобщали к наукам детей благородных лиц».

Как ни странно, даже асфальт в конце концов прижился. Газета «Тамбовские отклики» сообщала в 1914 году: «Вчера начались работы по нивелированию Большой улицы, по окончании которых она будет залита горячим асфальтом. В некоторых местах скрыто будет до аршина земли. Центр улицы, как известно, будет замощен булыжником, основанием для которого будет песок. Боковые же части будут заливаются раскаленным асфальтом на прочном бетонном основании. По условию с подрядчиком Пикулиным все работы должны быть закончены к 1 июля».

Одно лишь слово «нивелирование» здесь вызывает уважение и даже трепет.

Правовед Владимир Танеев писал в своих мемуарах «Воспитание Шумского» про город Владимир: «Через весь город шла Дворянская улица, широкая, прямая, мощеная, с домами, редко где опороченными вывеской. В центре была обыкновенная большая площадь. На ней два древних собора, присутственные места, дворянское собрание, губернаторский дом. Бульвар из тенистых лип окружал площадь, шел к берегу и кончался у обрыва. Недалеко, на Дворянской улице, стоял Гостиный двор, с арками. Малолюдный, без обширной торговли, без фабрик, без увеселений, он считался одним из самых ничтожных губернских городов. Но на самом деле он был естественным, необходимым и полным жизни центром всей Опольщины. Жизнь кипела на базарной площади и около постоянных дворов».

Восхищался и П. Сумароков: «Поутру вступили мы в Кострому. Правильная улица довела нас до площади с пирамидою посередине, указали нам за нею гостиницу, и мы вкусно пообедали стерлядями. Строения благополучные, и на всех улицах хорошие мостовые, великая опрятность. Площадь, о которой мы уже упомянули, окружена каменными лавками, каланча с фронтоном и колоннами легкой архитектуры занимает один ее бок, посреди стоит деревянный на время памятник с надписью «Площадь Сусанина». Площадь эта походит на распущенный веер, к ней прилегают 9 улиц, и при одной

точке видишь все их притяжения. Мало таких приятных, веселых по наружности городов России. Кострома – как щеголевато одетая игрушка».

А улице Большой Садовой – главной улице Ростова-на-Дону – даже стихи посвящали:

Меж улиц, проулков великих и малых,
Широких и узких, мощеных и грязных...
Есть улица в городе нашем одна,
Садовой великой зовется она.

Один из путешественников так писал о ней сто с лишним лет тому назад: «Начало этой улицы очень не презентабельно... но чем вы поднимаетесь выше, тем более ваше внимание привлекает красота и размеры домов, большинство которых только что с иголочки, блещут новизною, нарядностью и особенным, чисто местным стилем – смесью мавританского с обыкновенным нашим губернским».

Провинциальный – но притом торговый и богатый – Ростов постоянно прихорашивался. За ним тянулся и соседний «младший брат» – уездный Таганрог. Инженер В. Соболев писал в начале прошлого столетия: «Внешний вид (Таганрога. – А. М.) производит на всякого приезжающего хорошее впечатление благодаря правильной распланировке довольно широких улиц и переулков, которые в большинстве вымощены крепким песчаником с бордюрными камнями... С обеих сторон мостовых устроены очень густые аллеи из деревьев: тополей, канадского и пирамидального, и из белой акации. Эти аллеи представляют главнейшее украшение города».

Сказочник Павел Бажов писал о главной улице уже упоминавшегося Екатеринбурга: «Здесь с Уктусской улицы повернули на Главный проспект – лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекла внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями – это да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные: “Жорж Блок”, “Барон де Суконтен”, “Швартэ”, а сверху какой-то неведомый “Нотариус”».

Сама по себе эта главная улица была непохожа на остальные. Посередине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов.

В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют “кислые щи”, “баварский квас”, ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городской. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными. На этой же части пути увидел вывеску: “Продажа металлов... графини Стенбок-Фермор”».

Внешность провинциальных жителей, выбравшихся на прогулку на главную улицу, тоже была феноменом. «Ярославские губернские ведомости» сообщали о жителях своего города: «Употребляемая жителями одежда обыкновенная, как и в других городах. Мужчины, почти все, одеваются летом в кафтаны, суконные и китайчатые, синие и других цветов, а зимой в шубы, полушубки и тулупы, крытые сукном, плисом, бумажною саржей и китайкой... подпоясываются более шелковыми, нежели каламенковыми кушаками; на голове носят летом поярковые и пуховые круглые шляпы, а зимой немецкие и русские шапки; на ногах – сапоги и валенки. В немецком платье ходят и бороды бреют немногие.

Женщины одеваются так же, более в русское платье. Обыкновенный наряд их в летнее время, по праздничным и воскресным дням, составляют юбки, называемые здесь полушубками, холодные епанечки (юбки и полушубки), обложенные по краям широким золотым и серебряным позументом, парчовые, шелковые, штофные, гарнитуровые, канаватные, тафтяные, ситцевые, выбойчатые и проч. ... также кофточки, шугаи и черные салопы. Этот же наряд служит и зимою; сверх того употребляются тогда теплые парчовые, бархатные, штофные и других материй епанечки с фраком и по краям собольими, куньими и прочими опушками, так же коротенькие, гарнитуровые, шелковые и китайчатые шубки на заячьем и беличьем меху, с рукавами, с высоким назади

перехватом или лифом и множеством частых боров и складок. На голове носят шелковые простые или шитые золотом и серебром платки, с такою же по краям бахромою. На шею надевают снизки из многих ниток жемчуга, иногда с разными камнями, а при них еще снизку жемчужную же широкую для креста, а на руки зарукавные, простые или с камнями. Рукава у рубашек батистовые или из тонкой кисеи, с кружевными манжетами, длиною только по локоть, но широкие и всегда накрахмаленные, чтобы были пушистые и не обминались. Обуваются в башмаки и полубашмаки».

Поверим автору в том, что одежда ярославцев была и вправду типовой, и воздержимся от описания гардероба жителей других российских городов.

* * *

Впрочем, столь радостно смотрелся только центр, главные улицы русской провинции. В общем же состояние провинциальных городов, увы, ни в какие ворота не лезло. Один из журналистов сообщал о состоянии тамбовских улиц: «При поездках в экипажах на самых бойких улицах седоку от толчков приходилось ежеминутно подпрыгивать в экипаже, рискуя откусить себе язык и подвергнуться другим неприятностям. Вследствие толчков на ухабах некоторым пассажирам доводится и совсем выскакивать из экипажей». Увы, Большая улица принадлежала именно к числу таких особо «бойких».

Публицист В. Я. Светлов писал в 1902 году о Таганроге: «Таганрог – очень неинтересный город для принужденных постоянно обитать в нем и, главным образом, неинтересный по климатическим условиям: жара в нем стоит неестественная, доходящая летом до 48–50 градусов, а холод зимою до 20 и больше...

Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города: улицы пустынные, как в Помпее, ставни у всех домов наглухо заперты...

С внешней стороны Таганрог довольно красив, главным образом, своей правильной планировкой, тенистыми бульварами, обсаженными белыми акациями,

каштанами и платанами, опрятными каменными домиками в один редко в два этажа и кажущейся чистой, но именно только кажущейся. Не имея канализации, водопровода и стоков, город не может быть действительно чистым; в особенности отвратительно в нем содержание ассенизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от мчащегося с грохотом обоза».

В описании одной из улиц города Самары сообщалось: «По Саратовской улице вследствие сыпуче-песчаного грунта в летнее время нет никакой возможности ездить, особенно между Заводской и Москательной улицами, почему большая часть обывателей старается объезжать ее другими улицами... ибо в летнее время песок до того разрыхляется, что тяжелые пожарные снаряды уходят в него по ступицу».

Харьковский путешественник сетовал на грязь Ростова-на-Дону: «Для пыли при такой ширине улиц – широкий простор, а для мостовых – совершенная погибель, так как чем шире площадь замощения, тем труднее ее сохранить. Ширина улиц ведет к тому, что каждая улица замощена только по бокам... Пыль на середине ростовских улиц лежит в огромном количестве и последствием такой меры “благоразумной экономии” является равномерное распределение этой ростовской лавы: – каждая улица засыпает прохожих пылью, так сказать, своего собственного приготовления... Улицы в Ростове поливаются, но поливных кранов там нет, а пользуются услугами знаменитой “пожарной бочки”, снабженной лейкою. Выходит очень комично. Необыкновенно пыльная, широчайшая улица поливается так, как узенькая аллея в хорошо расчищенном английском садике. Такой способ поливки, понятно, не достигает своей прямой цели, а только составляет “статью” в росписи городских расходов».

(Заметим в скобках: можно подумать, что в Харькове положение было значительно лучше.)

Губернатор Симбирска А. П. Гевлич жаловался в Пе-

тербург: «В городе Симбирске издавна существует обыкновение выпускать коров на улицы, как бы на пастбища, что от сего, кроме нечистоты и помешательства в езде, происходили разные несчастные случаи и что хотя к прекращению такого беспорядка, со стороны городской полиции, были принимаемы меры, но все распоряжения... остались недействительными, и коровы... особенно зимою и весной, собираются на улицах стадами, причиняют затруднения проезжающим и опасение проходящим, не говоря уже о нечистоте и безобразии, несовместимых с благоустройством губернского города».

Но в столице ему, разумеется, помочь не могли.

Даже находившийся совсем рядом с Москвой и, скажем так, раскрученный Сергиев Посад и то страдал от грязи. Посадский староста писал в 1895 году: «Наши улицы, за незначительным исключением, остаются незамощенными, а если некоторые из них и замощены, то крайне неудовлетворительно... В сухое время они покрываются толстым слоем пыли, которая при езде по ним и при ветре поднимается целыми тучами и носится над всем Посадом. Во время дождливой погоды большинство таких улиц покрывается или прямо водою... или такую липкую и вязкую грязью, что по некоторым из них не только пройти, но и проехать невозможно. На этих улицах образовались лощины, рытвины и канавы, в которых тонут не только возы с кладью, но даже прогоняемый по ним скот. В случае пожара по таким улицам... проезд пожарного обоза буквально невозможен. Положение безвыходное».

Не порадовал чистотой и Сочи, новоявленный курорт. Историк С. Доратовский писал в 1911 году: «Со стороны города все же мало делается для приезжих больных и здоровых людей. А ими только город и живет. Улицы грязны в дожди и пыльны в засуху; канавы грязны, засорены; тротуаров нет – ходят около канав по тропинкам и после каждого дождя везде стоят лужи целыми часами; заборы в колючках. Та красота, которой любуются с борта парохода или из автомобиля, проезжая по шоссе, утрачивается при остановке на более продолжительное время и резко выделяется даже мелочное внешнее не-

благоустройство. Отсутствие водопровода, канализации и т. п. крупных и дорогих сооружений не так резко ощущается на первый раз, как сумма мелких, надоедливых недочетов благоустройства городской жизни».

Может показаться даже, что грязь была своего рода общепринятым стандартом русских провинциальных городов.

Апофеоз этой темы – калужская Венская улица. С чего, казалось бы, в губернском среднерусском городе называть улицу в честь недоступной большей части калужан столицы Австрии? А дело было так. В начале XIX века на окраине Калуге появилась новая улица. Новая-то новая, но настолько мерзкая, что горожане сразу дали ей название – Говенская. Каким-то чудом через некоторое время это нехорошее название проникло в документы и было за улицей официально закреплено. Лишь спустя десятилетие какой-то умник в городской калужской думе все-таки смекнул, что так негоже, и поставил на повестку дня вопрос с Говенской улицей. Поскольку калужане к этому моменту окончательно привыкли к колоритному названию, его решили кардинально не менять, а лишь урезать первый слог. И вышла – Венская, одна из самых грязных улиц города Калуги.

Разумеется, случались исключения приятные. В частности, в Уфе существовал своеобразный памятник роду Аксаковых – улица Фроловская. Собственно, памятником являлась не вся улица, а лишь деревья, высаженные посередине. Дело в том, что те деревья, превратившие простую улицу в уютнейший бульвар, были посажены под руководством Софьи Александровны Аксаковой-Шишковой, невестки знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В честь этого посадки часто называли «Софьюшкинской аллеей».

Но это – именно что исключения.

И было еще исключение – городские набережные. Близость к воде придавала им свежесть, а практически полное отсутствие на набережных магазинов, лавочек и прочих очагов цивилизации мешало набережным загрязниться так, как загрязнялись улицы. По набережным меньше ездили и больше ходили. «Набережная на

Волге уж куда как хороша», – писал о ярославской набережной Михаил Островский.

Доходило до того, что в городах пытались обустроить набережные искусственным путем. Весьма красноречивая история случилась в Астрахани. Еще Петр Великий велел проложить по центру города канал, дабы его облагородить. Но строительство канала протекало очень медленно, а к началу XIX столетия вообще заглохло. Ту часть, которую удалось вырыть, использовали для сбрасывания мусора и слива нечистот, и канал приобрел прозвище «канава». Дело исправил астраханский рыбный промышленник Варваций, выделивший на сооружение канала 200 тысяч собственных рублей. Зато благодаря каналу тот промышленник вошел в историю и, более того, в литературу. Поэтесса Н. Мордовина посвятила ему трогательное стихотворение:

Этот грек – он много знал
И умел послужить Отчизне,
Оставляя след своей жизни,
Он задумал сделать канал...

Грек, богатств своих не щадя,
Да и сил не щадя немало,
За собой мужиков ведя,
Дал дорогу воде канала.

За свои дела человек
Ни наград не ждал, ни оваций.
Но запомнил город навек
Имя доброе – грек Варваций.

И в 1839 году «Астраханские губернские ведомости» наконец-то с гордостью рапортовали: «Цель Великого Петра вполне исполнена. Низменные болотистые части города осушены этим Каналом, который сверх того доставляет жителям воду и облегчает доставку жизненных припасов в самую середину города. Канал имеет в длину более двух верст с половиною и до 20 сажен в ширину. С обеих сторон устроена деревянная набережная, обсаженная ветлами. В воспоминание благодетельного поступка Варвация Канал переименован из Астраханского в Варвациевский».

Правда, унижительное прозвище «канава» за каналом сохранилось. Один из гостей города, некто Н. Ермаков,

писал о нем: «Сажень в ста от моей квартиры улицу пересекает Канава, через которую перекинут деревянный (Полицейский) мост, возле которого влево, над водою Канава, деревянная же постройка для крещенского Иордана. Канава обложена, с обеих сторон, деревянною набережною с широкими тротуарами, с мостками и съездами и обстроена по обеим сторонам довольно красивыми зданиями. Отчего на ней во многих пунктах открываются преживописные виды».

«Канава эта, – заключал гость города, – один из прекраснейших памятников гражданской доблести».

Правда, слово «канал» тоже было в ходу. Один из авторов журнала под названием «Вестник промышленности» рекомендовал прибывшим в Астрахань: «Советую вам прямо ехать на Канал, по сторонам его живут почти все флотские офицеры. Эта улица – одна из самых аристократических».

Впрочем, далеко не всем нравился тот канал. В частности, поэт Тарас Шевченко так писал о нем: «Перед вечером вышел я, как говорится, и себя показать, и на людей посмотреть. Вышел я на набережную Канала. Здесь это английская набережная, в нравственном отношении, а в физическом – деревянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться времени его построения, узнал только, что он построен на кошт некого богатого грека Варвараца. Честь и слава покойному Эллину».

Даже фамилию благотворителя переврал, подлец...

Но мало было проложить канал – следовало еще поддерживать его приличное существование. С этим, увы, дело обстояло плохо. К началу прошлого столетия по Астрахани даже поползло стихотворение:

Пахнет скверно на Канаве...
Время попросту губя,
Люди в праздничной забаве
Ходят, мучая себя...

К счастью, нашелся новый меценат – рыбный предприниматель Лионозов. Он, правда, умер раньше, чем начались работы по усовершенствованию канала, но

это лишь прибавило делу патетики и пафоса (в частности, в Голландии был изготовлен специальный землесос, который получил название «Память Лионозова»). Благодаря той «памяти» обогатилось множество весьма далеких от проекта обывателей. «Астраханский вестник» сообщал: «На работе землесоса на Кутуме кладоискатели лезут на трубу, из которой льется пульпа, и в грунте разыскивают старинные монеты, которых на дне Кутума очень много».

Славный землесос и впрямь сначала снарядили на Кутум, а в скором времени работы вообще затихли. Сначала война, а затем революция – до Канавы ли тут?

* * *

Отдельная тема – кремли. Немалая часть русских городов из них, собственно говоря, и вышла. То есть поначалу ставилось именно каменное укрепление – кремль. Потом укрепление могло расширяться, а могло оставаться таким же, как раньше. Его могли сносить, на его месте строить новый побольше – а могли и не сносить. В любом случае именно кремль поначалу был синонимом слова «город», «ограда» – горожане жили именно внутри кремлевских стен, защищая себя, таким образом, от злого и коварного врага.

В какой-то момент кремль становился тесноват, вокруг него образовывались так называемые посады. Эти «застенные» районы разрастались, а кремль занимал, соответственно, все меньшую часть городской территории. Он почитался как памятник. Им гордились, в нем устраивали музеи и выставки. Вот, к примеру, что писал в 1895 году журнал «Русское обозрение» о нижегородской крепости: «Древние храмы... тесно насыпаны наверху, внутри кремлевской ограды, и высыпали и за стены и под стены, слезая к самому берегу, забираясь в глубокие ложки, разделяющие крутые холмы Нижнего Новгорода, вползая на самые лбища этих холмов, и венчая их везде, где только можно было уместиться церкви, своими весело сверкающими на утреннем солнце православными крестами».

Историка и писателя П. Мельникова-Печерского

в первую очередь радовали сами крепостные стены: «Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд, ниже его за решеткой густо разросшийся сад, в нем одинокая златоглавая церковь. Еще ниже зубчатой каменной лентой смелыми уступами сбегает с высоты древние кремлевские стены и тянутся по низу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами, узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены, крытые проемы среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена стародавние, когда и стены и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела».

Другой писатель, Петр Боборыкин, вспоминал о своих детских нижегородских впечатлениях: «И староцерковное, и гражданское зодчество привлекало: одна из кремлевских церквей, с царской вышкой в виде узкого балкончика, соборная колокольня, “Строгоновская” церковь на Нижне-базарной улице, единственный дом конца XVII столетия на Почайне, где останавливался Петр Великий, все башни и самые стены кремля, его великолепное положение на холмах, как ни у одной старой крепости в Европе. Мы все знали, что строил его итальянский зодчий по имени Марк Фрязин. И эта связь с Италией Возрождения, еще не осознаваемая нами, смутно чувствовалась. Понятно было бы и нам, что только тогдашний европеец, земляк Микеланджело, Браманте и других великих “фряжских” зодчих, мог задумать и выполнить такое сооружение. Башни были все к тому времени обезображены крышами, которыми отсекали старинные украшения. Нам тогда об этом никто не рассказывал. Хорошо и то, что учитель рисования водил тех, кто лучше рисует, снимать с натуры кремль...»

Разве что Тарас Шевченко по своей привычке отзывался о кремле критически – он утверждал, что главная нижегородская достопримечательность напоминает «квадратную ступу с пятью короткими толкачами». А в первые десятилетия советской власти можно было встретить в массовых путеводителях такие строки: «На страже благополучия господствующих классов и на костях раздавленной мордвы и своих русских “хрис-

тианских” рабов в четырнадцатом веке вырастает на высоком волжском берегу каменный кремль с высокими зубчатыми стенами, грозными боевыми башнями и многочисленной артиллерией. И до сих пор между Советской площадью, Зеленским съездом и Кооперативной улицей стоит этот памятник алчного феодализма и царского самодержавия; свидетель жутких страниц кровавого прошлого».

Впрочем, и то и другое свидетельство было, пожалуй что, вызвано необходимостью. Тарас Григорьевич был верен образу ниспровергателя устоев, а с советской просветительской литературой все совсем уж просто – можно на парочку столетий ошибиться (все-таки строительство Нижегородского кремля было окончено в XVI веке, а никак не в XIV) – главное, призвать снести очередной «памятник алчного феодализма» или превратить его в нечто полезное вроде тюрьмы.

В кремле можно было, при желании, откопать всякого рода редкости. Забавен, в частности, визит историка и литератора Михаила Погодина в Вологду. Видного гостя из Москвы определили на постой в самом кремле. Он восхищался своей резиденцией, располагавшейся «в прекрасной отдельной комнате, только что отделанной и назначенной быть кабинетом преосвященного. Около двенадцати окон в три стороны. Из одних виден собор, из других поле и часть города».

Радовал Погодина и архиерейский обед (он, по словам историка, имел «характер новости»). А вот «древлехранилище» одновременно и порадовало и обескуражило. Погодин вспоминал: «Забрался в одно из пустых отделений архиерейского дома с позволения преосвященного, который услышал о каких-то бумагах, там валяющихся. Эта кладовая есть нечто отличное в своем роде, заслуживающее особого описания, чтоб дать понятие о тех местах, где ныне надо искать рукописей. Представьте себе огромный дом в три больших этажа, из которых выломаны все полы и потолки, и осталась одна железная черная крыша. Какое-то ужасающее пространство! Вверху едва только достаете вы глазом несколько стропил, а по сторонам видите выдолбленные гнезда... В первой половине этого пространства стоят

лари с мукой, крупой, овсом. На полу на длинных рогожах навален лук. В этой половине нет ничего страшного, но вдаль вы видите темные горы, на горах нагроможденные, с какими-то пустотами между собою, и усовами, которые выдаются из их наружной поверхности».

Дальнейший путь к заветным антикам потребовал от кабинетного ученого немалой отваги: «Взволнованное деревянное море! Где же хранятся вещи? “А вот здесь, пойдете дальше”, – сказал старый монах. Приближаясь со страхом и трепетом и чуть-чуть замечаю, что вся эта безобразная куча накрыта вверху, на самом верху, черными дощатыми плоскостями. “Надо подниматься наверх”, – сказал монах. Меня так и обдало страхом. Где же лестница? “Здесь”. Мы пробрались кое-как в промежутках моря, натываясь беспрестанно головою, плечами, спиной на клыки деревянных чудовищ, зиявших из своих ущелий. Лестница ступеней в тридцать вела на морскую поверхность. Но какая лестница? В которой ни одной ступеньки не было на месте, лестница, которой, верно, триста лет. Надо было держаться беспрестанно за ее стенки и искать хоть таких мест, откуда упасть было б легче. На Везувий, Монблан и Лилиенштайн поднимался я гораздо смелее и спокойнее. Взошли. Черные плоскости оказались старыми иконами, на которых остались едва приметные следы древних изображений.

Между тем я все еще не видал никакой кладовой. “Куда же еще идти?” – спросил я даже с досадой монаха. “В тот угол”. По тонким лестницам, сквозь которые видна была морская бездна и которые тряслись под нашими ногами, едва доставая, кажется, своими концами до перекладин, мы пошли к углу отгороженному или лучше сказать, не отгороженному, а заслоненному такими же черными плоскостями. Монах принялся отодвигать и отворачивать одну из них. Ей-Богу, было страшно!»

Впрочем, господин Погодин был вознагражден за свои доблести: «Что же я увидел там? Сотни фигур, изваянных из дерева, коих, впрочем, в полумраке я не смог разглядеть порядочно. Мне объяснили, что это деревянные изображения Спасителя, отобранные в разные

времена у раскольников. “Покойный преосвященный приказал мне спрятать их подальше”. Ну уж подлинно они спрятаны далеко, без замков и дверей... Под деревянными фигурами валялись лоскутки. Я начал их шарить. Вынул лист: харатейный из триоди; вынул другой: послесловие к книге, печатанной при Михаиле Федоровиче. Но пыль поднималась столбом».

По поводу сохранности кремлевских экспонатов был у Погодина весьма красноречивый диалог с монахом:

- Как вы втащили их сюда?
- Втащили кое-как.
- Как вы приходите сюда?
- Ходим как-нибудь.
- Да ведь это очень опасно?
- Опасно.
- А можно устроить все это полегче?
- Можно.
- Да для чего же вы не устроите?
- Да так! Ведь сюда не часто ходишь.

«Каков народец русский!» – заключил Михаил Петрович после этой содержательной беседы.

«Полегче» посещение хранилища было устроено лишь в 1896 году, когда под него отвели надвратную церковь рядом с Софийским собором.

Но наряду с интересом к российским кремлям возникла другая тенденция – сноса старинных полуразрушенных стен. Ведь уже в то время ощущался дефицит земли, а тут – бессмысленные развалюхи в самом центре города. В частности, снесли тверской, серпуховский, можайский, вяземский, калужский, ярославский и владимирский кремли, а также стены дмитровского и рязанского кремля. Чуть было не снесли смоленский – за него заступился сам царь Александр II. Он заявил: «Смоленская городская стена, представляющая собою один из древнейших памятников Отечественной истории, назначена к сломке. Было бы желательно более внимательное охранение древних памятников, имеющих, подобно Смоленской стене, особое историческое значение».

И кремль принялись реставрировать.

Одна из важных частей коммунального устройства города – снабжение его водой. Вплоть до второй половины XIX века воду черпали из рек – абы какую. Другое дело, что в то время экология была гораздо лучше и подобная вода, по большей части, опасности не представляла. Если и случались происшествия, то больше курьезного характера. В частности, в 1861 году вода в реке Клязьме неожиданно окрасилась в желтый цвет. Жители города Владимира сразу же запаниковали, но химический анализ показал: вредные примеси в воде отсутствуют, пить ее можно. Просто благодаря каким-то непонятым факторам в воде в несколько раз повысилось содержание железа, что и вызвало ее сомнительный окрас.

Все обошлось для владимирцев благополучно, а трактирщики так вовсе получили выгоду – для получения привычного цвета чая теперь требовалось значительно меньше заварки.

Спустя несколько лет история вдруг повторилась. Но во Владимире тогда уже существовал водопровод, и губернатор просто-напросто велел снабдить его особыми «цедилками» – фильтрами, выражаясь современным языком.

Кстати, владимирский водопровод – один из первых в российской провинции. И его возведение не обошлось без занятной истории. В 1864 году немецкий инженер Карл Дилль предложил городу проект водопровода. В качестве основания для резервуара емкостью восемь тысяч ведер он предложил использовать знаменитые Золотые ворота – памятник архитектуры XII века.

Владимирцы, тогда еще не научившиеся ценить собственную старину, обрадовались. А городской голова так и вовсе обмолвился: «Золотые ворота как будто нарочно строились для того, чтобы поместить в них резервуар для снабжения города водою». Во «Владимирских губернских ведомостях» появилась на сей счет заметка: «Помещение резервуара избрано, подобно как на Сухаревой башне в Москве, на Золотых воротах, которых верхний этаж будет служить центральным бассейном и от него уже будут строиться фонтаны... Этот дельный

проект, уменьшающий значительно издержки на возведение новой башни... дает возможность употребить ныне бесполезное здание на необходимое общественное дело».

Дело, казалось, было на мази. Но тут произошло несчастье: «На большой дороге у Золотых ворот, обрушившейся на 5-аршинном пространстве глубины землю сдавило в канаве, где клали водопроводные трубы, двоих чернорабочих и машиниста, из которых один (временнообязанный крестьянин Гаврила Иванов 24-х лет) через час помер». Дело потребовало долгого расследования, до получения результатов все работы приостановили. И во время этой остановки вдруг опомнились: а для чего портить ворота, если рядом – высоченный Козлов вал. И в 1868 году на том валу установили водонапорную башню. За счет естественной высоты вала она была сравнительно невелика, зато с возложенными на нее обязанностями справлялась полностью.

Кстати, автором проекта башни был все тот же Карл Карлович Дилль.

Приблизительно тогда же начали строить водопровод в Ростове-на-Дону. Там тоже решили воспользоваться природным ресурсом – а именно так называемым «Богатым колодезем» или «Богатым источником», вода из которого била буквально ключом. Воспользовались. Накопали рядышком еще колодцев. Но, увы, источник оказался не настолько сильным, как предполагали. В день удавалось вытягивать из земных недр всего-навсего двести ведер воды. Впрочем, через год сломался и сам водопровод. Его восстановили лишь спустя десятилетие, и в новой городской водоснабжающей системе «Богатому источнику» была отведена роль более чем скромная. Однако и она со временем сделалась непосильной – вода из источника стала вдруг изобиловать вредными и неприятными примесями. Причины оказались малосимпатичными – на расстоянии пятидесяти метров от колодезя прорвало канализационную трубу. Кроме того, обнаружился «вредный обычай ростовских ассенизаторов опоражничать ночью бочки в смотровые колодцы». «Богатый источник» пришлось перекрыть.

В 1864 году была построена одна из красивейших

водонапорных башен – муромская. Ее, а также всю водопроводную систему выстроил на собственные деньги городской голова купец Алексей Ермаков. В результате еще при закладке башни в ее фундамент заложили дощечку с надписью: «В память сего полезного учреждения отныне и во веки веков да будет башня сия именоваться башнею господина Ермакова».

А в 1867 году газета «Владимирские губернские ведомости» (Муром относился к Владимирской губернии, как и сегодня относится к Владимирской области) подвела своего рода итоги: «30 августа, в день тезоименитства Государя Императора и Государя Наследника Цесаревича в городе Муроме праздновался с особенной торжественностью. В этот день предположительно было отпраздновать трехлетнюю годовщину муромского водопровода. В течение этих трех лет Муром украсился многими великолепными фонтанами. При открытии водопровода в 1864 г. их было только 6, теперь их 17. Роскошное устройство их служит большим украшением города. Польза несомненна, вода во всех частях города, устроены фонтаны даже за городом на ярмарке и на Бяхеревой горе, куда в недавнем времени выселилось несколько домов из оврагов».

Городские власти во все времена старались использовать высотные сооружения на все 150 процентов. Сейчас их украшают многочисленные гроздья антенн. Во времена же, о которых мы рассказываем, антенн в помине не было и на водонапорные башни сажали дозорного – чтобы пожары высматривал. Так было, например, с калужской башней. А некто Герман Зотов вспоминал о башне подмосковного города Богородска: «Одной из достопримечательностей... являлась водонапорная башня, которая снабжала весь город питьевой водой. На каждом перекрестке находились водяные колонки, ими пользовались жители прилегающих улиц. Для меня отец заказал жестянику два маленьких ведра, и я помогал ему носить воду. Дома воду держали в деревянных кадучках».

Насосная станция, которая подавала воду на водонапорную башню, располагалась на берегу Клязьмы. Работала она круглосуточно. Когда емкость в башне была

наполнена полностью, излишек воды по трубе сбрасывался в Клязьму. Около этого слива находился плот, с которого женщины полоскали белье, а мы ловили рыбу и видели мощную струю сбрасываемой воды.

Эта башня, помимо снабжения города водой, служила и пожарным постом. Наш класс третьего или четвертого года обучения водили на экскурсию на эту башню. Со смотровой площадки открывалась красивейшая панорама города и его далеких окрестностей, так что дежурному пожарнику было легко определить место пожара».

Были и курьезные сооружения. В частности, жители Иваново-Вознесенска гордились восхитительным колодецем, воздвигнутым здесь в конце XIX века. Он был выполнен в виде деревянного сруба, покрытого двускатной крышей и увенчанного деревянной головой барана (тот колодець служил для того, чтобы поить животных, правда, чаще не баранов, а лошадей). В результате это место так и стало называться – «Барашек». А в скором времени одной из близлежащих улиц даже присвоили официальное название – улица Барашек. Так же, «Барашком», называли находившийся здесь раньше рынок.

А в 1892 году газеты Тамбова сообщали: «Городская управа доложила городской думе, что избранная ею комиссия по устранению неисправностей по городскому водопроводу, между прочим, находит необходимым для разъездов техника по надзору за водопроводом, дать ему лошадь и человека... По этому вопросу дума разрешила городской управе израсходовать на покупку лошади до 150 рублей, нанять человека для ухода за лошастью, приняв содержание его и лошади на счет водопроводной сметы».

Водопровод был вещью затратной, и далеко не все расходы можно было сразу же предусмотреть и предпринять.

* * *

Рука об руку с проблемой водоснабжения шла другая, так сказать, противоположная проблема – вывоз нечистот. Этот вопрос, одновременно коммунальный

и экологический, неоднократно стоял на повестке дня городских дум по всей России. По большому-то счету решение всегда было одно – наладить вывоз отходов жизнедеятельности из многочисленных выгребных ям. Знаменитый в XIX столетии доктор А. Малышев писал о городе Воронеже: «Горячки и лихорадки будут существовать в Воронеже до тех пор, пока воронежцы не позаботятся о чистоте своих жилищ, об иссушении болот и уничтожении мусорных куч и буераков с водой». Но не получалось. То жара вдруг ускорит процесс разложения, то ассенизаторы напьются и начнут расшвыривать свой малоприятный груз направо и налево, то банальным образом на что-нибудь не хватит денег. И хотя уже в 1870-е годы в русских городах стали появляться первые канализационные трубы, они считались роскошью, позволить содержать такое чудо могли только очень богатые люди. Бедным же оставалось лишь платить за вывоз содержимого выгребных ям. Кто не платил – тех штрафовали. Но процесс штрафования воздуха, что называется, не озонировал.

Занятнее всего этот вопрос решался в городе Калуге. Там жил незаурядный человек – изобретатель и предприниматель Бялобжецкий. Он добился монополии на вывоз содержимого выгребных ям, брал за свои услуги сущие гроши, а нечистоты сваливал на своем хуторе «Билибинка». Там все это хозяйство перебраживало, упаковывалось в мешки и вторично продавалось калужанам – уже как удобрение под романтичным названием «пудрет».

Но таких энтузиастов, разумеется, на всю Россию не хватало. И ситуация была такая, что могла обрадовать, увы, одних только фельетонистов. К примеру, автора заметки в газете «Тульская молва» за 1908 год: «Наибольшую славу.. Тула создала себе как лучший в России лечебный курорт.. Наименьший процент смертности падает на город Тулу. Объясняется это тем, что редкие микроорганизмы могут жить в исключительно антисанитарной обстановке дворов и улиц. Случайно попадая в Тулу, болезнетворные микробы или разлетаются в паническом ужасе во все стороны, поспешно затыкая носы, или (это относится к наиболее выносливым) влачат

жалкое существование и погибают, наконец, мучительной смертью. Так, например, доказано, что холерный вибрион, занесенный в Тулу, немедленно сам заболевает азиатской холерой и через минуту-две умирает в страшных судорогах. Оттого-то холерные эпидемии, свирепствующие в других городах, не раз обходили Тулу за сто верст, предпочитая сделать крюк, чем рисковать здоровьем и жизнью».

Правда, ситуацию в то время облегчал довольно развитый вторичный рынок всякой дряни. По улицам русских городов расхаживали старьевщики и истошным голосом орали:

– Чугуны, тряпье собираю!

Сегодня такое «тряпье» чаще всего просто выбрасывается. Тогда же обменивалось – на детские свистульки, резиновые мячики, рыболовные крючки или что-нибудь еще такое же полезное в хозяйстве.

Вообще, если сейчас мы чаще говорим о том, что человек губит природу, то тогда стояла ровно противоположная проблема. Природа вытворяла с человеком что хотела, а человек был слабым и беспомощным. Одни лишь наводнения чего стоили! Вот, к примеру, описание такого бедствия в Кронштадте, оставленное офицером Мышлаевским: «Часов в 10 утра мой хозяин (имеется в виду, естественно, домохозяин. – А. М.), старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается... Между тем вода стала входить к нам во двор... Вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась все более и более, стала приподнимать пол, я, по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши хотел идти в канцелярию своего экипажа, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить... Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но ее силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить

ее, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигала до крыш... люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи.

Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.

По счастью моему, разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на нее и сел верхом».

Кстати, наводнения обычно приходились на весну, когда подобные купания в ледяной воде могли стоять здоровья и даже жизни.

А во Владимире в 1880 году вдруг совершенно нестати наступила не одна, а две зимы. «Владимирские губернские ведомости» так писали об этом: «В одни сутки... сформировалась здесь вторая зима, именно около тех чисел, в которые большей частью бывали оттепели. Первая зима, с хорошим санным путем, установившаяся было с 16 октября, держалась только 2 недели; наступившие в начале ноября оттепели с сильными дождями совершенно ее уничтожили, и после того были такие теплые дни, что напоминали весеннее время.

Быстрая перемена погоды не осталась без последствий: от сильных дождей вода в Клязьме поднялась и поломала лед, движением которого разорвало наплавной мост и снесло его на четверть версты, где мост был остановлен и собран для восстановления езды через реку. Отвести мост назад было невозможно, потому что обыкновенное его место было занято надвинувшимся сверху реки льдом, который от наступивших морозов снова закрепило. Таким образом, чтобы переехать реку мостом, нужно было делать не весьма удобные объезды по обоим берегам. Но еще хорошо, что успели собрать мост, иначе переезд и вовсе был бы невозможен, так как до 21 числа санного пути не существовало. Разрывы моста от осенних паводков, случавшиеся и прежде, могут повториться и на будущее время, до тех пор, пока не будет устроен через Клязьму постоянный мост».

Такие игрища природы были далеко не редкими и хлопот доставляли значительно больше, чем в наши

дни (сейчас от этого как минимум мосты не рвет). Но горожане все больше задумывались об экологии в современном смысле слова. И к началу XX века в провинциальных русских городах сделался популярным праздник древонасаждения. В частности, он проходил в Ростове-на-Дону. В 1909 году там создалась, как водится, особая комиссия (на этот раз «по древонасаждению»), и секретарь той комиссии послал в городскую управу соответствующую бумагу. В бумаге, среди прочих обстоятельств, излагались цели праздника, которые весьма напоминали идеологию субботников: «Насаждение садов, парков, рощ и т. д., в которых принимают участие учащиеся, является культурной мерой; оно приучает подрастающее поколение любить растения, холить их, беречь и в то же время трудиться сообща».

Управа не углядела в том никакой революционной заразы, дала свое добро, и весной следующего года состоялся первый капиталистический субботник. Кстати, средства на его организацию предоставили, можно сказать, сами детишки – в городском театре дали в пользу праздника древонасаждения благотворительную оперу «Грибной переполох». Сбор от нее составил 908 рублей 50 копеек. Одновременно с этим проходила агитационная работа. Детям в школах и гимназиях подробно объясняли, для чего нужны деревья и почему именно они, учащиеся, должны эти деревья насаждать.

Наконец 7 апреля праздник состоялся. Сбор был назначен на раннее утро, на 8 часов. На Таганрогском проспекте прекратилось движение транспорта – он был занят колоннами юных озеленителей. Над колоннами красовались плакаты с названиями гимназий, а также пространные лозунги: «В Ростове-на-Дону душно и пыльно, ветры, мало кислорода, эпидемии, высокий процент смертности. В борьбе с этим бичом нашего города следует сажать деревья, бульвары, скверы, сады и парки». Попадались среди них и лаконичные воззвания. К примеру, такое: «Сажайте деревья! Любите растения!» Возглавлял процессию градоначальник собственной персоной.

В 9 часов коляска с градоначальником тронулась, а за ним – и все шествие, растянутое на несколько квар-

талов. Зрелище было красивым – за его внешний вид отвечал композитор Михаил Фабианович Гнесин. «Мой проект оформления праздника был полностью воплощен в жизнь», – вспоминал он впоследствии.

Вскоре колонны пришли к месту будущего парка (на севере города, в то время там была простая степь), но до работы было еще далеко. Первым делом, естественно, отслужили молебен. Потом прослушали торжественную речь градоначальника. Исполнили «Боже, царя храни». И лишь после этого приступили к посадке деревьев.

Больше всего поражает сейчас продолжительность этой работы – всего полчаса. За это время было «освоено» десять тысяч саженцев. После чего состоялся совместный завтрак – походная постная каша, приготовленная здесь же казаками, бутерброды, лимонад и чай.

* * *

Одна из серьезнейших частей городского хозяйства – освещение улиц. В домах каждый выкручивался как мог. Но об улицах и площадях, особенно главных, должны были заботиться именно городские власти. А не позаботятся – глядишь, какой-нибудь несчастный обыватель спяну руки-ноги поломает или лихой человек у кого кошелек украдет. Греха потом не оберешься. С одной стороны – по начальству затаскают, с другой – пресса со своими фельетонами, да и вообще – маленький город, все друг друга знают, стыдно, чай, перед своими-то.

Вот и старались – кто во что горазд.

История городского освещения в России, в общем, мало отличается от мировой. Сначала масляные фонари. Затем – керосиновые, спирто-скипидарные. Новая эпоха – газ. Действительно – эпоха. «Камско-Волжская газета» сообщала: «Освещение газом есть одно из последних изобретений XIX века, так богатого изобретениями, упростившими и облегчавшими жизнь человека».

Городской фонарщик становился все более знаковой, таинственной и культовой фигурой. Казалось бы,

чего тут делать-то – подняться на фонарь, зажечь горелку, спуститься вниз, перебежать к следующему фонарю. И так несколько десятков раз. Однако про фонарщиков слагали песни и даже посвящали им задачки в гимназических учебниках по арифметике: «Фонарщик зажигает фонари на городской улице, перебегая с одной панели на другую. Длина улицы одна верста триста сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между соседними фонарями – сорок сажен. Скорость фонарщика двадцать сажен в минуту. Всего на улице шестьдесят четыре фонаря. Спрашивается – за сколько времени он выполнит свою работу?»

То есть полтора часа работы – и на боковую.

Проще всего дело обстоит в регионах, богатых всевозможными полезными ископаемыми. Доходило до курьеза. Александр Дюма, будучи в Астрахани, отмечал странную природу городского освещения: «Русские власти одно время надумали прорыть артезианский колодец, но на глубине ста тридцати метров зонд вместо воды, которая, по ожиданиям, должна была забить фонтаном, наткнулся на углекислый газ. Это обстоятельство использовали для уличного освещения: с наступлением вечера газ зажигали, и он горел до утра следующего дня, распространяя яркий свет. Фонтан стал фонарем».

Это восьмое чудо света находилось в самом конце Советской улицы, на Полицейской площади (в нынешнем Морском саду) и, в общем-то, без преувеличения считалось местной достопримечательностью. Даже серьезные «Астраханские губернские ведомости» уделяли внимание этому несостоявшемуся водоему: «Сообщали, что во вторник вечером на Полицейской площади был зажжен в особо устроенном фонаре выходящий из артезианского колодца газ, который со временем может осветить улицы Астрахани». И нисколько не задумывались над абсурдностью той фразы – «выходящий из артезианского колодца газ». Как будто бы артезианские колодцы для того и предназначены.

А ближе к концу века появилось электричество, которое отнюдь не каждый встретил на ура. В частности, «Казанский телеграф» серьезно выражал свои сомнения: «Интересно бы знать мнение врачей о влиянии

вольтовой дуги на глаз человека, так как казанскому обывателю приходится ежедневно во время электрического освещения города любоваться прекрасным зрелищем: спускается фонарь, снимается с него шар и начинается регулировка механизма, которая затягивается на полчаса, в течение которого проходящей публике предоставляется право безвозмездно портить себе глаза. Надо устранить регулировку фонарей на улице, так как не каждый из обывателей знает пагубное действие электрического света от вольтовой дуги на глаза и мозг человека, поэтому горе тому, кто, увлекшись прекрасным зрелищем, остановится полюбоваться им!»

Со временем, однако, опасения пропали.

Изобретатели, особенно в провинции, продолжали искать новые, более эффективные способы освещения улиц. В частности, в 1912 году в городе Суздале торжественно открыли керосино-калильный фонарь. Очевидец писал: «На обочине главной магистрали... поставили высокий столб с кронштейном наверху и прикрепленным к нему особой формы фонарем с белой горелкой внутри. На столбе на высоте человеческого роста устроен деревянный ящичек с запором, а внутри ящичка – рукоятка, от которой идет вверх по столбу к фонарю витая проволока. К моменту первой пробы фонаря собралась целая толпа любопытных, ожидающих прибытия “специалиста” из пожарников. Но вот он прибыл и начинает приготовления. Публика подалась ближе. Специалист открывает ящичек и, действуя рукояткой, спускает фонарь вниз и открывает дверцу его. Вот внутри фонаря вспыхивает слабый огонек, рабочий начинает действовать воздушным способом, и вдруг все вздрогнули от неожиданного шума и яркого ослепительного белого света фонаря. Народ в восхищении, крики удовольствия, аплодисменты».

Но этот вид освещения в Суздале не прижился – очень уж очевидными были преимущества электроэнергии.

Электрическое освещение входило в жизнь провинции не разом. В частности, в 1896 году в Ростове-на-Дону на главной улице появились первые «фонари Яблочкова». «С сего дня Большая Садовая будет освещаться сорока электрическими фонарями по тысяче свечей!» –

ликовали газеты. Но до совершенства было еще далеко, и в путеводителе 1909 года с прискорбием значилось: «Освещается город Ростов-на-Дону различно. Большая Садовая улица и часть Пушкинской улицы между Таганрогским проспектом и Николаевским переулком, дорога к вокзалу и Вокзальная площадь освещаются электрическими фонарями; другие более значительные улицы освещаются газом, а окраины пользуются керосином и доньне. В настоящее время идет разработка вопроса относительно электрического освещения и других улиц города, но, конечно, не известно, когда задача эта будет осуществлена».

Что говорить – ведь даже с керосином ситуация была довольно далека от идеальной. В частности, на рубеже веков в Ростове решили вдруг улучшить быт бедняцкого района Богатыновка и осветить его. Повесили на каждом перекрестке по два фонаря, а после почему-то пожалели и освещение уполовинили, оставив лишь по одному светильнику. Журналисты иронизировали: «Если к этому прибавить еще то обстоятельство, что фонарщик, желая получить выгоду на керосине, никогда не пускает в фонарях полного пламени, и они мигают как свечка, то можно будет сказать, нисколько не преувеличивая, что Богатый источник освещается исключительно луною».

Прогресс, однако, шел вперед и никого не спрашивал. Еще далеко не во всех городах появились электрические фонари, а полным ходом уже проходила телефонизация. В частности, в Воронеже первый звонок произошел еще в 1884 году. Купец Петров звонил домой своей супруге и произнес буквально следующие слова:

– Алло! Это Прасковья Никаноровна? Слушай, мне тут новую мануфактуру привезли. Запрягай Орлика и вместе с Глашенькой ко мне...

Дальнейшие слова заглушил шум аплодисментов – госпожа Петрова пригласила на осмотр телефона уйму родственников и знакомцев.

Годом позже губернатор города Калуги К. Н. Жуков выдал уникальнейший патент: «Дано сие свидетельство кандидату прав С.-Петербургского университета Павлу Михайловичу Голубицкому в том, что с разре-

шения Министерства внутренних дел им в августе месяце с. г. устроено в г. Калуге телефонное сообщение системы его, г-на Голубицкого, между губернаторским домом, губернским правлением, квартирою полицмейстера, городским полицейским управлением, губернским тюремным замком и 2-й полицейской частью, с постановкой в канцелярии губернатора центрального соединенного бюро. Аппараты его, Голубицкого, ясно и отчетливо передают слова, и вообще же телефонное сообщение, действуя вполне удовлетворительно, на расстоянии около 6 верст, приносит существенную пользу в деле быстрого сообщения между означенными правительственными учреждениями, облегчая тем их канцелярскую переписку, что удостоверяет подписью и приложением казенной печати.

Причитающийся гербовый сбор уплачен».

Правда, телефон П. Голубицкого довольно скоро вытеснили европейские компании.

* * *

К городскому коммунальному хозяйству можно с некоторой степенью условности отнести и возведение бюстов, монументов, триумфальных арок и прочих украшений города. Оно и к экологии имеет отношение – правда, визуальной. Без подобных малых (или же, наоборот, гигантских) скульптурных форм облик российской провинции был бы совершенно иным.

Чаще всего подобным образом увековечивали, разумеется, царей. Случалось, сразу многих. Самым известным провинциальным скульптурным памятником был (да и сейчас остается) монумент «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Решение о его создании принималось на высоком уровне. 27 марта 1857 года министр внутренних дел С. Ланской подал записку «О сооружении в Новгороде памятника первому Русскому Государю Рюрику». Прицел делался на грядущий юбилей – в 1862 году Россия собиралась шумно праздновать тысячелетие царствующего рода Рюриковичей. Поэтому записка пришлась кстати. Впрочем, ее сразу доработали – решили Рюриком не ограничиваться, а совместить в

монументе побольше достойных особ. Сам император, сидя в Петербурге, наложил на это дело положительную резолюцию. «Совершенно с этим согласен», – написал царь.

Сразу же возник коммерческий проект. Автором его был некий Кренке, командир Гвардейского саперного батальона. Он писал: «Если от всех сословий государства: дворян служащих и неслужащих, духовенства, купечества, мещан и крестьян, обоих полов и всех возрастов собрать по 1 копейке с души, а желающие могут вносить и более, по собственному произволу, то при народонаселении России свыше 60 миллионов составит-ся капитал свыше 600 000 рублей».

Собрано, однако, было всего-навсего 72 с половиной тысячи. Не каждый россиянин пожелал расстаться с заработанной тяжким трудом копеейкой.

В конкурсе победил художник Михаил Микешин – фигура, широко известная в узких кругах. Он обучал царских дочек рисованию и вообще был персонажем светским. Николай Лесков вывел его под образом художника Истомина: «У него бывали любовницы во всех общественных слоях, начиная с академических натурщиц до... ну, да до самых неприступных Диан и грандесс, покровительствующих искусствам. Последнее обстоятельство имело на художественную натуру Истомина свое неотразимое влияние. Красивое, часто дышавшее истинным вдохновением и страстью, лицо Истомина стало дерзким, вызывающим и надменным; назло своим врагам и завистникам он начал выставлять на вид и напоказ все выгоды своего положения – квартиру свою он обратил в самую роскошную студию, одевался богато, жил весело, о женщинах говорил нехотя с гримасами, пренебрежительно и всегда цинично».

Проект вышел достаточно странным. Огромный колокол, плавно переходящий кверху в царскую «державу». Вокруг колокола – статуи своего рода *vip*-персон: Рюрик, с которого, собственно, все и началось, Владимир Святой, Дмитрий Донской, Иван III, Михаил Федорович и Петр I. А ниже – барельеф с изображениями еще 109 персонажей российской истории.

Клодт, Бруни и многие другие не менее известные творцы лично явились к Михаилу Осиповичу, осмотрели его наработки и признали все это весьма далеким от искусства. Тем временем государь отнял у Константина Тона (который в то время возводил храм Христа Спасителя) лучшую в России мастерскую и отдал ее своему любимцу. В результате господин Микешин нажил еще одного врага, на этот раз из архитекторов.

Разумеется, проект неоднократно изменялся. В частности, Микешин не поместил в разделе «государственных людей» Николая I, к тому времени скончавшегося.

– А батюшка? – поинтересовался новый император Александр Николаевич.

Пришлось добавить.

Новгородцы же пообещали, что если на памятнике появится изображение Ивана Грозного, то в следующую же ночь это изображение окажется на дне реки. Грозного на всякий случай отменили.

В мае 1861 года памятник был торжественно заложен. Простой новгородский учитель об этом писал: «Закладка происходила при многочисленном, как говорится, стечении народа; но, к сожалению, присутствовали при этой торжественной церемонии немногие избранные власти, а прочий православный люд, plebs любовался изящным забором с домиками, воздвигнутыми на время постройки монумента».

А в сентябре 1862 года памятник открыли в присутствии самого царского семейства, специально ради этого приплывшего в Великий Новгород на двух роскошных пароходах с далекими от православия названиями – «Кокетка» и «Красотка».

Сразу же выпустили книгу, посвященную новому монументу. Книга называлась «Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике 1000-летия Крещения России», содержала в адрес памятника отзывы отнюдь не лестные, хотя и деликатные: «Из 53 представленных проектов и эскизов памятника избран проект художника Микешина, как наиболее соответствующий мысли правительства, по инициативе которого сооружался памятник. Не зная недостатков прочих проектов, мы не осуждаем рисунок г. Мике-

шина: может быть, в наше скудное талантами время его проект был лучше всех, представленных на состязание».

* * *

Среди отдельных монументов императорам лидировал Петр Великий. Первый памятник ему за пределами столиц был открыт на Плацпарадной площади Кронштадта в 1841 году. Для малообразованных на постаменте указали: «Петру Первому – основателю Кронштадта». Автором памятника был французский скульптор Н. Жако, а отливал его наш родной российский немец Клодт.

Второй памятник преобразователю России открыли в 1860 году в Воронеже. Планы его создания возникли задолго до этого, но собранные на это пожертвования странным образом оказались разворованы (в хищении был обвинен предводитель дворянства Н. Шишкин). На время о памятнике позабыли, а позже он был воплощен в довольно скромном виде – фигура императора, который опирается на якорь. Это был первый в городе скульптурный памятник. Открытие его сопровождалось салютом, парадной проходкой Азовского полка и, естественно, обедом на 400 персон в зале Дворянского собрания.

Памятник сделался одним из символов Воронежа. У него встречались горожане, а приезжие могли спокойно отдохнуть от непривычной суеты на лавочке у монумента. Александр Эртель описывал подобные сладостные минуты: «У статуи Петра было безлюдно. Николай сел на скамеечку – у него подкашивались ноги от усталости – и бесцельно устремил глаза в пространство. Внизу развевался по холмам город: пестрели крыши, толпились дома, выступали церкви; дальше обозначалась широко проторенною дорогой извилистая река, чернели слободы, еще дальше, еще дальше – белая, однообразная, настоящая степная равнина уходила без конца. Мало-помалу на Николая повеяло от этой равнины привычным ему впечатлением простора и тишины. Он начинал успокаиваться, приходил в себя, собирать рассеянные мысли».

Памятник стал также местом и официальным, представительским. Именно здесь, когда в 1914 году воронежцы готовились к визиту царя Николая II, установили гигантскую триумфальную арку. Один только двуглавый орел, размещавшийся посередине, весил 20 пудов.

Естественно, как и любой известный монумент, он обрастал всевозможными историями и легендами. Например, Владимир Гиляровский, будучи в Воронеже, увидел статую Петра, взглянул по направлению его протянутой руки и сочинил такой экспромт:

Смотрите, русское дворянство,
Петр Первый и по смерти строг, —
Глядит на интендантство,
А пальцем кажет на острог!

Самый, пожалуй что, известный провинциальный памятник Петру был установлен в 1903 году в Таганроге. Автор его – скульптор М. М. Антокольский. Антон Павлович Чехов, будучи в Италии, с ним познакомился и там же уговорил мэтра выполнить заказ для своего родного города. Марк Матвеевич работал над статуей там же, в Италии. При этом постоянно посылал в Россию письма приблизительно такого плана: «Пожалуйста, узнайте хорошенько, носил ли Петр плащ? Пришлите мне те эстампы, которые сделаны с петровских монет».

Результат превзошел ожидания. Сам Чехов писал: «Это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветский конкурс, и о лучшем даже мечтать нельзя»

Пик установки царских памятников пришелся на начало XX века – страна готовилась к великолепному празднеству трехсотлетия царствующего дома Романовых. Особая нагрузка приходилась, разумеется, на Кострому – ведь именно в этом городе в Ипатьевском монастыре многочисленные депутации упрашивали сесть на трон первого царя династии Михаила Федоровича. И уже в 1903 году городской голова отдал распоряжение – установить по этому случаю приличный памятник. Однако император (без него подобные дела, ясное дело, не решались) дал свое добро лишь в 1909

году. Обстоятельные костромичи, всячески старавшиеся избежать ненужной спешки, были поставлены перед ее необходимостью, можно сказать, самым героем монумента.

Пришлось к 1913 году приурочить не открытие, а всего-навсего закладку монумента, что, впрочем, не умалило торжественности события. Памятный набор, нарочно выполненный после этого события, докладывал: «В тот самый момент, когда Государь Император, окруженный Августейшею Семьею и Особами Императорской Фамилии, стал на пьедестал сооружаемого русским народом в ознаменование трехсотлетнего подвига дома Романовых памятника, неожиданно, как бы по мановению незримой десницы, над площадью пронесся порыв ветра – громадный стяг с изображением государственного герба заколыхался над головами Их Величеств, и казалось, будто громадный Императорский орел, паря в воздухе, приосенил победными крылами немеркнувшей славы верховного Вождя Русского народа, и Его Августейшую Семью и всех представителей славного рода Романовых».

К церемонии были заблаговременно исполнены необходимые аксессуары по доступным, в общем, ценам: «Серебряный молоток и лопатка, выписанные из Петербурга, стоимостью в 180 руб., 40 мраморных кирпичиков с именною гравировкой для Их Императорских Величеств, лиц Императорской Фамилии, Его Высокопреосвященства Архиепископа Костромского и Галичского и Костромского губернатора – 600 руб., мраморная плита для покрытия кирпичиков – стоимостью 25 руб., металлическая доска с соответствующим выгравированным текстом – 50 рублей». И так далее. А места на зрительских трибунах предоставлялись по цене от 6 и до 10 рублей.

Увы, через год началась мировая война, и до революции успели изготовить только постамент.

Вполне царским был и другой костромской памятник – патриоту Ивану Сусанину. В действительности, он лишь так назывался, а представлял из себя высоченную колонну, увенчанную бюстом Михаила Федоровича. Сам же патриот, погибший, как известно, именно за

этого царя, изображен был в виде маленького мужичка, коленопреклонившегося перед бюстом. Автором этого произведения был известный ваятель В. И. Демут-Малиновский.

Уже упоминавшиеся критики-искусствоведы братья Лукомские выразили недовольство памятником: «Композиция его... относится к тому периоду творчества Демут-Малиновского, когда он находился уже под влиянием национальных тенденций и в творчестве своем не лишен был даже ложного пафоса. Этим пафосом дышит и фигура коленопреклоненного Сусанина, поставленного на чрезмерно широкий и массивный, по отношению к тонкой и элегантной тосканской колонне, пьедестал. На колонне вверху бюст царя, Михаила Федоровича в шапке Мономаха, изображенного отроком. На пьедестале надписи и барельефы, представляющие убиение Сусанина поляками. Исполнение барельефа несколько грубоватое и не лишено ложных тенденций в выработке костюмов и лиц. Вокруг самого памятника сохранилась прекрасная решетка, украшенная арматурами из доспехов и распластанными Николаевскими орлами. По углам, что особенно редко, во всей сохранности, стоят четыре фонаря, современных памятнику. К сожалению, решетка сквера недавно и, кстати сказать, совершенно ненужно здесь устроенного, – очень плоха; сюда было бы уместнее перенести решетку, погибающую на Верхне-Набережной улице».

Но, как уже упоминалось, главными заказчиками царских памятников были сами цари. Их в костромском памятнике все устраивало. Когда в 1913 году в город приехал на закладку так и не построенного монумента Николай II с семьей, памятник был одним из центров проведения торжественных мероприятий: «Около Сусанинского сквера были поставлены воспитанницы городских детских приютов, а вдоль Романовского сквера – воспитанницы женских гимназий и других женских школ... Все свободное пространство улиц, за учащимися и старшинами, а также равно и тротуары, Сусанинская площадь, другие свободные места, особенно галерея торговых рядов были заняты толпою народа».

«Царская» аура ложилась и на памятники, посвященные столетию победы над Наполеоном. Эта волна пронеслась по России годом раньше, и на тот раз основным центром был Смоленск. Один памятник тогда уже существовал – часовня, выстроенная в 1841 году. Но патриотические чувства требовали выплеска, и к юбилею в городе соорудили целый памятный бульвар с бюстами военачальников, символическим оружием, нарядными мостиками и прочей атрибутикой – благо соседство древней крепости располагало к пафосу.

Главным же монументом стал так называемый «памятник с орлами», выполненный по проекту инженер-подполковника Н. Шуцмана. Памятник был аллегорией. Он представлял из себя скалу (то есть Россию), по которой карабкается воин в древних галльских доспехах (наполеоновский воин-захватчик). На скале гнездо с двумя орлами (русская монархическая государственность), и эти орлы отбивают воина от гнезда. Кстати, по неофициальной версии, это был памятник примирения и прощения. Якобы незадолго до торжеств в Смоленск приехал французский представитель господин Матон и попросил разрешения установить здесь памятник погибшим воинам, но только французским. В чем Матону было, разумеется, отказано. Ему, однако, намекнули, что учтут означенные благородные порывы. И якобы благодаря визиту представителя француз был представлен именно в роли вполне благородного галла, а не как-нибудь более гадостно.

* * *

Что касается памятников деятелям науки и культуры, то здесь предпочитали героев давно усопших, страсти по которым улеглись, и потому подвоха от подобных изваяний никто не ожидал. В частности, когда в 1832 году в Архангельске открыли памятник Михайле Ломоносову работы скульптора Мартоса, идею приняли на ура. Об открытии памятника «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «Собравшиеся организованно прошествовали к памятнику от кафедрального собора. Там в присутствии большого числа горожан, предста-

вителей всех сословий, произносились речи, учащиеся читали свои стихи, играл оркестр Архангельского порта, были исполнены положенная на музыку ода М. В. Ломоносова “Хвала всевышнему владыке” и специально сочиненный кант. Вечером пьедестал памятника и ступеньки под оным были иллюминированы».

Первоначально памятник поставили на Ломоносовском лугу (название возникло одновременно с открытием статуи). Но довольно быстро стало ясно: поставили не там, где следовало. «Архангельские губернские ведомости» сообщали, что памятник «расположен весьма неудобно, на низкой, болотистой площади, в стороне от главной линии городского сообщения. Для проходящих и проезжающих по Троицкому проспекту памятник теряется вдаль, и подойти к нему ближе нельзя ни зимою, ни в большую часть лета. Зимою площадь занесена снегом, в начале и конце короткого лета она непроходима, как болото». К тому моменту площадь получила новое, солидное название – Ломоносовский луг. Но это не смутило отцов города, и памятник перенесли. Его описание оставил сам автор, Иван Петрович Мартос: «Ломоносов представлен стоящим на северном полушарии для означения, что есть северный поэт, и взирающим на величественное небесное явление с восторгом и умилением; гений, или ангел разума, подает ему лиру... На лире изображено вензелевое имя императрицы Елизаветы Петровны, коея века он был певец». В 1917 году жители Архангельска сбросили памятник «царскому прислужнику» с постамента. Он долго пролежал спрятым под какой-то лодкой и лишь много лет спустя был установлен во дворе местного университета.

Нормально прошла подготовка к открытию в 1847 году в Казани памятника поэту и царедворцу Державину – эта фигура также не вызывала опасения у властей. Правда, не обошлось без курьезов. Когда пароход с камнем для постамента причалил к берегу, высоколобые умы из университета принялись кумекать – как бы эту дуру неподъемную с судна на берег переправить и доставить к месту назначения, да ничего при этом не порушить (дуру, разумеется, в первую очередь), да чтобы никто не пострадал. А приказчик при судне тем време-

нем свесился с борта и обратился к праздной публике с воззванием:

– Народ православный! Вот приехал Держава, и перевезти его надо, а как это сделать, если ты не поможешь? Народ православный! Помоги перевезти Державу!

«Православный народ» быстренько соорудил громаднейшие санки (дело было летом, но колеса, разумеется, не выдержали бы) и на них доставил эту «Державу» туда, куда нужно. Вскоре памятник торжественно открыли – на месте, лично выбранном царем, то есть перед театром, но почему-то анатомическим. И лишь спустя 23 года памятник перенесли к более подходящему театру – оперному.

А вот с деятелями культуры было несколько сложнее. Неоднозначные они какие-то. То ли положительные, то ли отрицательные. Чуть ли не у каждого в кармане фига. В любой момент может достать ее, пусть даже и покойник. Поэтому инициаторы на всякий случай осторожничали. Установили, в частности, в 1845 году в Симбирске памятник Карамзину – в месте самом подходящем, перед городской гимназией. Автор – скульптор С. Гальберг. Подобно костромскому памятнику Сусанину, сам герой здесь занимал место второстепенное – довольствовался барельефчиком на постаменте. Венчала же тот самый постамент богиня Клио. Вроде бы ничего страшного. И что же получилось?

Ученик скульптора Н. Рамазанов писал об этом: «Некоторые из опытных художников осуждали Гальберга, зачем он поставил на пьедестал Клио, а не самого Карамзина. Впрочем, это предпочтение Клио, надо полагать, было сделано по какому-нибудь постороннему настоянию; доказательством тому служат два прекрасных глиняных эскиза статуй Карамзина, сделанных рукою Гальберга и составляющих теперь собственность пишущего эти строки».

А памятник и впрямь обескураживал. Поэт Н. Языков писал о нем Гоголю: «Памятник, воздвигаемый в Симбирске Карамзину, уже привезен на место. Народ смотрит на статую Клио и толкует, кто это: дочь ли Карамзина или жена его? Несчастный вовсе не понимает, что это богиня истории! Не нахожу слов выразить тебе мою досаду, что в честь такого человека воздвигают вековую бессмыслицу».

В результате памятник получил прозвище «чугунная баба».

О том, какую роль играли и гимназия, и памятник в сознании простых симбирцев, писал актер В. Андреев-Бурлак: «На лучшей площади города Приволжска, как пленница, за решеткой, охраняемая четырьмя фонарями стоит, на гранитном пьедестале, фигура богини Клио. Каким образом попала она на этот, до сих пор еще дикий берег Волги? Она, гречанка, в своей легкой тунике, в эту зимнюю сторону? Полунагая в этот строго-нравственный город? Клио! Оглянись! Где ты? Чем окружена? Где ты нашла портики, колоннады, ниши с обнаженными статуями? Есть ли тут хоть что-нибудь греческое? Ионические, дорические ордера чужды этому городу. Здесь у нас есть свой, целомудренно-казарменный стиль. Посмотри – слева казармы, с надписью: “Дом градского общества”; прямо не дом, а какая-то стена с окнами; справа... Вот так срезался!.. Справа слышится греческая речь!.. Что ж это такое? Уж в Приволжске ли я?.. Это галлюцинация! В русском городе греческое учреждение! – Ну, конечно, галлюцинация... Нет! Речь льется с новой силой...

– Что это за учреждение? – спрашиваю я какого-то господина.

– Это болезненный нарост на нашей жизни, – высокопарно и вместе с тем грустно промолвил он и скрылся.

Ничего не понимаю. Дом умалишенных, что ли? Подхожу ближе. – Батюшки – гимназия... Караул!.. Вот тебе и греческое учреждение! – Ну, прости, Клио! Теперь я буду только удивляться твоему патриотизму. Чтоб услышать родные звуки, ты более 20 лет занимаешь этот пьедестал и, в своей южной одежде, с классическим терпением, переносишь наш, не совсем приятный для классицизма, климат. Теперь я не возмущаюсь даже твоей чересчур откровенной туникой. Кто знает? Может быть, со временем классицизм приберет к рукам даже парижских модисток и камелий, которые с высоты своего классически модного величия предпишут всем нашим барыням носить хоть летом классические туники. О, тогда, Клио, я уверен, ты будешь в холе. Теперь

ты почернела от времени, позеленела от сырости. Твои прекрасные волосы, туника и даже лицо носят на себе отпечаток нецеремонного обращения приволжских пернатых. Они не уважают ничего классического... Тогда сама полиция взглянет на тебя благосклонно, и юпитерообразный полицмейстер города Приволжска издаст приказ отчистить тебя, а дерзких пернатых ловить и представлять по начальству. Счастливого будет время. Тогда, наверное, все узнают, в ознаменование чего ты тут поставлена».

Вот так. Нарост на обществе. Клио в тунике. Запущенность, глупость и ханжество.

А вот ситуация, казалось, совсем безобидная. Установка в центре города Смоленска памятника Михаилу Ивановичу Глинке, автору патриотической оперы «Жизнь за царя».

В газете «Смоленский вестник» появилась информация: «В 1870 году в среде смоленских дворян возникла мысль об устройстве памятника Михаилу Ивановичу Глинке, как гениальному русскому композитору и как дворянину Смоленской губернии. Эта мысль принята была всеми вполне сочувственно; вскоре была подана просьба к г. министру внутренних дел об исходатайствовании высочайшего разрешения на открытие с этой целью по всей России подписки».

Все проходило вроде бы нормально. И в 1885 году тот же «Смоленский вестник» сообщал уже об открытии: «Парусиновое покрывало, скрывавшее дотоле памятник, упало, и глазам всех представился величественный монумент композитору, которому еще не было равного в России. В то же мгновение по мановению жезла г. Балакирева с эстрады раздались звуки гимна «Славься», исполненного хором и оркестром с колокольным звоном».

Поражало и меню праздничной трапезы: «Суп-пюре барятинской, консоме тортю, тартолетты долгоруковские, крокеты скобелевские, буше Смоленск, тимбали пушкинские, стерляди Паскевич, филей Эрмитаж, соус Мадера, гранит апельсиновый, жаркое: вальдшнепы, рябчики, бекасы, цыплята; салат, пломбир Глинки, десерт».

А где же интрига? Интрига в ограде. Критик В. Стасов писал о ней так: «Решетка к памятнику Глинки совершенно необычная и, смело скажу, совершенно беспримерная. Подобной решетки нигде до сих пор не бывало в Европе. Она вся составлена из нот, точно из золотого музыкального кружева. По счастью, к осуществлению ее не встретилось никакого сопротивления».

Между тем к сопротивлению действительно готовились. Вдруг власти заподозрят в этих нотах – тайнопись, крамолу, черта рогатого? Все могло быть – но обошлось. И уже упоминавшийся «Смоленский вестник» снова – на сей раз с видимым облегчением – писал: «Эта решетка так художественно задумана и так мастерски исполнена, что она является как бы вторым монументом нашему гениальному композитору. В ней все соединено: и оригинальность замысла, и монументальная прочность, и артистическая работа. Она вся железная, ручного кузнечного дела, легкая, изящная, но скована на века. И кружево – монумент! Она вся почти составлена из нот – творений великого человека, чью статую она будет ограждать».

Памятник был принят без купюр.

Установка монумента в каком-нибудь губернском городе нередко делалась событием масштаба государственного, но уже не на уровне царя и министерств, а для городского «высшего света». Вот, в частности, как описывал столичный стихотворец Сергей Городецкий церемонию открытия памятника воронежскому поэту Ивану Никитину: «Народ набился во все прилегающие улицы... Ветер треплет покрывало... Вышел городской голова с цепью и открыл памятник... Надо перо Гоголя или Андрея Белого, чтобы описать городского голову и его речь... Памятник очень хорош... Никитин сидит в глубокой задумчивости, опустив руки. Сходство, по-видимому, полное. Племянницы прослезились, вспомнили, зашептали: “Как живой!”... Момент, когда упал покров, был сильный: какой-то молчаливый вздох пронесся над толпой, и все глазами впились в представшего поэта».

Кстати, с самим Городецким на открытии произошел конфуз – его, известного поэта, до обидного проигнорировали: «Мои бедные алоцветы понемногу обрывала

толпа, да и вынести их было мне, записанному в самом конце, когда все смешалось, невозможно. Да и не вызвали, по правде сказать, меня».

Правда, у свидетелей того события было иное мнение на его счет. Одна из участниц церемонии писала: «Если бы он не явился каким-то генералом от литературы, а связался бы с какой-нибудь общественной организацией... то и выступление его произвело бы надлежащее впечатление, и “бедные цветочки” не были бы растоптаны под ногами толпы».

ХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ

Губернская власть была организована довольно сложно. Ее постоянно пытались упростить, в результате чего она – дело знакомое – усложнялась еще больше, так что порой в нововведениях путались не только обыватели, но и сами чиновники. Законодательной базой для этого было «Общее учреждение губернное», по которому управлялись 50 губерний Европейской России (на окраинах были свои особенности, закрепленные в законе).

Главой местной власти считался губернатор. В «Общем учреждении» говорилось, что «губернаторы как непосредственные начальники вверенных им Высочайшей Государя Императора волей губерний суть первые в оных блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы государства и повсеместного точного исполнения законов <...> Имея постоянное и тщательное попечение о благе жителей всех сословий управляемого ими края и вникая в истинное его положение и нужды, они обязаны действием данной им власти охранять повсюду общественное спокойствие, безопасность всех и каждого и соблюдение установленных правил порядка и благочиния».

При этом на деле губернатор контролировал только губернное правление и полицию; все другие учреждения – не говоря уже о земствах – ему не подчинялись, а действовали по указанию своих центральных ведомств. Важнейшим из них была Казенная палата, подчинявшаяся Министерству финансов. К другим губернским

учреждениям относились: управление земледелия и государственных имуществ, фабричная инспекция (в подчинении Министерства торговли и промышленности), землеустроительная комиссия, акцизное управление (тоже подведомственное Министерству финансов) и дирекция народных училищ. Кроме того, после реформ 1860-х годов были созданы губернские присутствия – межведомственные комиссии под председательством губернатора, решающие наиболее важные вопросы. Надо сказать, что такие важные области, как суд, высшее и среднее образование, транспорт и связь, не имели губернских учреждений и не подчинялись местному начальству.

Еще со времен Екатерины II в Европейской России существовало местное самоуправление в виде городских дум, избираемых по сословиям. Городская реформа 1870 года заменила их бессословными думами, которые выбирали исполнительный орган – городскую управу во главе с головой. Согласно «Городовому положению» 1892 года, небольшие города, не имевшие средств на содержание думы и управы, могли управляться по упрощенной системе. Их жители избирали собрание из 12–15 уполномоченных, которые, в свою очередь, выбирали городского старосту и его помощников. Самоуправление занималось городским благоустройством, здравоохранением, продовольственным обеспечением, а также «учреждением и развитием местной торговли и промышленности».

В большинстве провинциальных городов городская дума и губернское правление делили одно здание на двоих – отчасти из экономии, а частью затем, чтобы госслужащие и общественность могли приглядывать друг за другом. Логичным образом все в том же главном здании располагались и присутственные места чиновников. Одним словом, это был большой правительственный дом, в котором проходили официальные, полуофициальные и совершенно неофициальные события. Порой было непонятно, к какому именно разряду событие отнести.

Вот, к примеру, случай из жизни кронштадтской городской думы, описанный протоиереем П. Левинским:

«На особом столе приготовлена была закуска. Все закусили и заняли свои места за столами. Обед начался. Вдруг входит почему-то запоздавший генерал Николай Александрович Чижииков, в то время вице-президент Кронштадтского попечительного о тюрьмах комитета, и с некоторым смущением один направляется к столу с закуской. Никто из нас не догадался встретить пришедшего, а отец Иоанн, сидевший во главе стола, сейчас же поднялся со своего места и пошел к нему навстречу. Мало того: с неподражаемым радушием сам повел запоздалого гостя к столу с закусками, налил ему вина и сам выпил вместе с ним, разговаривая, поджидал его у стола, пока тот не кончил закусывать, и вместе с ним сел за обеденный стол, предоставив ему место рядом с собой».

Правда, в итоге слегка сбилась вся обеденная церемония, но зато Иоанн Кронштадтский (а это был, разумеется, он) проявил заботу о госте.

Ну и какого плана это происшествие? Официальное? Неофициальное? Житийное?

Конфигурация и логистика правительственных помещений были подчас самые неожиданные. Один владимирский мемуарист писал: «Мы видим перед собой двухэтажное деревянное старое здание с двухскатной крышей. В нем помещались: наверху Городская Дума, в нижнем этаже манеж, то есть городской караульный гарнизон; рядом стоял дом с пестрой деревянной будкой для часового с небольшим колоколом для сигнала. Рано утром и по вечерам наше внимание привлекали разводы караулов под барабан с исполнением гимна и чтением молитв, после чего дежурный караул отправлялся на место дежурств в острог и арестантские роты, а также для охраны военных пакгаузов в самом городе и на его окраине».

То есть главные чиновники Владимира, по сути говоря, сидели в конюшне!

Но самая, пожалуй, колоритная правительственная постройка находилась в городе Ростове-на-Дону. Она и называлась соответствующим образом – Городской дом. Он появился на Большой Садовой улице в 1899 году. Эта постройка административна по определению – она предназначалась специально для ростовской думы

и управы. Перед архитектором Померанцевым, незадолго до того прославившим себя постройкой московского ГУМа (в то время – Торговых рядов), заранее поставили задачу сделать дом самый красивый в городе. Что он и выполнил – в традициях своей эпохи, разумеется. Не пожалели денег на иллюминацию – установили на фасаде около тысячи «лампочек накаливания разных цветов... в металлических звездах и инициалах... с добавлением двух звезд и гирлянд к ним до крайних балконов». Словом, отстроили, на радость жителям, роскошное и не лишенное притом изящества сооружение. А также совершеннейший объект для всевозможных анекдотов и насмешек.

Как известно, отношение русского человека к высокопоставленным чиновникам отнюдь не восхищенное. Это – увы, традиция, к тому же постоянно укрепляемая поведением самих руководителей народной жизни. Город Ростов, конечно, не был исключением и, более того, в силу типично южной откровенности и темпераментности стоял в этом отношении одним из первых.

О бессмысленности (если не зловредности) трудов ростовских думских деятелей было даже сложено стихотворение:

В собраньях думы прения ведутся,
Работает исправно там язык.
Слова текут, бесплодно льются, льются,
Их поглощает жадный Темерник.

(Заметим в скобках, что Темерник – всего лишь узкая речушка, протекающая через город.)

Некомпетентность высокопоставленных ростовчан была темой очень популярной среди жителей. Если верить местной прессе, то эта некомпетентность подчас доходила до элементарной и, безусловно, позорной неграмотности. Вот, например, фельетон из «Приазовского края», в котором журналист (псевдоним – Пикквик) моделирует свою беседу с неким думцем:

«– Зачем вы, господин Пикквик, употребляете в своих “Злобах дня” оскорбительные выражения по адресу почтенных людей?

– Какие выражения?

– Да вот вы недавно назвали одного гласного думы гуманистом. Разве же так можно? Ведь это заслуженный человек, первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин...

– Но откуда же вы взяли, что слово “гуманист” – оскорбительное слово?

– Ну уж оставьте! Вы в самом деле думаете, что мы, коли не учились в гимназиях да университетах, так, значит, и совсем невежды?»

Время от времени в думе случались всякие скандальные и вместе с тем курьезные события, которые давали хлеб сотрудникам юмористических журналов всероссийского значения. Например, ростовский городской голова Горбачев распорядился не пускать на заседания думы одного журналиста. Тот, будучи высококлассным профессионалом, все же проникал в зал заседаний, а его потом оттуда выводили полицейские. Журнал «Будильник» на это откликнулся карикатурой и подписью: «Странные вещи происходят в ростовской думе! Если г. Горбачев не терпит никакой критики, то ему бы не ростовским головой, а китайским идиолом быть надлежало. Это было бы более подходящее для него амплу».

А «Стрекоза» и вовсе опубликовала специально сочиненную к тому случаю басню:

Какой-то бургомистр, не в меру своевольный,
Печатью местной недовольный,
Швейцару, из солдат, строжайше приказал
Отнюдь не допускать беднягу в думский зал.
«Пускай-ка посидит на хорах! –
Со злобой молвил он во взорах. –
Туда ее. Поближе к паукам.
Чтоб знала, как перечить нам.
Посмотрим, хорошо ль ей будет слушать там!»...

Вместе с тем, несмотря на насмешки, польза от думцев была – город все-таки жил, строился, развивался. И Городской дом у горожан скорее все-таки ассоциировался не с курьезами и склоками, а со счастливыми или же неудачными покупками – первый этаж главной ростовской достопримечательности был отведен под магазины.

Это условие, так же как эстетическое лидерство

постройки, было заранее поставлено перед маститым Померанцевым. Более того, еще до окончания строительства были составлены и приняты условия, весьма выгодные для господ арендаторов: «Устройство внутренних лестниц на антресоли и в подвальные помещения относится к обязанности города... Отопление магазинов (центральное) относится к обязанности города и на его счет... Город обязан также устроить на свой счет провода для магазинов для пользования центральным освещением... Арендаторы пользуются бесплатно водопроводом и канализационными устройствами». Неудивительно, что помещения охотно разбирались лучшими коммерческими фирмами Ростова-на-Дону.

Здесь расположились магазины модные, писчебумажные, гастрономические. Некоторые были уникальными и предлагали те товары, которые нигде больше нельзя было купить не только в городе, но и на всем юге России. К примеру, фирма С. Черткова была эксклюзивным представителем германского производителя пластинок «Лирофон» и германской же граммофонной фирмы «Карл Линдштрем», продукция которой числилась среди лучших в мире. Вот, например, описание одного из агрегатов этой фирмы – «Парлофон»: «Замечательно изящный красивый корпус Африканского маго́ни (черное дерево. – А. М.), бока с 3-х сторон отделаны греческой серебряной пилястрой. Механизм “Парлофон” никелированный последней конструкции, при заводе играет 12 минут... Концертная мембрана “Эксибишн” – одна из лучших существующих мембран».

Магазины Городского дома составляли своего рода элитное торговое товарищество, общавшееся с городскими властями на равных. Время от времени к думцам поступали такие бумаги: «Покорнейше просим дозволить приглашенному нами для привлечения публики оркестру играть в определенные дни и часы во дворе городского дома». Думцы обычно не отказывали. Город не такой уж и большой, зачем же портить отношения с хорошими и, главное, небедными людьми?

Страсти, подобные ростовским, разумеется, разыгрывались не везде. Более характерной была ситуация орловская. Тамошний литератор П. И. Кречетов писал:

«Думу составляли исключительно купцы из числа тех, у которых бороды подлиннее и животы пообъемистее... Невзирая на всю несложность городских дел, гласные – купцы собирались в думу неохотно. Они были домоседами и любили больше сидеть около своих крупитчатых купчих... Бывало орловский голова Д. С. Волков чуть не плакал, умоляя, убеждая гласных явиться на заседание думы. Но тщетны были просьбы головы – гласные не являлись, вследствие чего решение даже важных вопросов приходилось откладывать чуть ли не 20 раз».

Вот это – по-нашему!

* * *

Весьма своеобразным властным учреждением была так называемая духовная консистория при архиерее – высшем церковном начальнике губернии. Как нетрудно догадаться, она ведала и назначениями на духовные должности, и распределениями денежных потоков. В результате консистория считалась чуть ли не самым коррумпированным властным органом в провинциальном городе. Ярославский обыватель С. В. Дмитриев писал: «В консисторию без взятки не ходи ни духовное, ни штатское лицо! Даже противно и стыдно становилось за людей, чиновников консистории, до чего они измелъчали в своем взяточничестве, вернее лихоимстве! Когда, например, я усыновлял своих ребят, незадолго перед первой мировой войной, то понадобилась мне справка из консистории о крещении детей, так как церковные книги (метрические) сдавались ежегодно в консисторию, куда я и явился за справкой. Ходил я раза три-четыре, наконец мне один знакомый семинарист Михайловский сказал: “Да ты, Сергей Васильевич, дай чиновнику-то рублишко, вот и вся недолга, а то в наше божественное учреждение проходишь...” Я так и сделал. Чиновник, взявший “рубличко”, предложил мне тут же сесть, сейчас же достал книгу, списал с нее что требовалось, сбегал поставить печать и “с почтением” вручил мне нужную справку».

А купец Титов, житель Ростова Великого, описывал тот властный орган в стихотворной форме:

В Консistorии, в зале большой,
Архиерейский синклит заседает,
Но не видит Владыка слепой,
Как «Петруха» дела направляет.

Сей Петруха Басманов, злодей,
Не утрет слез вдовицы несчастной,
Что напишет рукой загребущей своей,
Скреплено будет подписью властной.

Благодушный владыка заснет,
Табакеркой своею играя,
А Петруха в то время берет,
Одно место двоим обещаю.

И наутро те двое придут...
Раздается Владычное слово:
«Пусть в училище вдвое дадут», –
И места обещаются снова.

Но Петруха Басманов не спит,
Не страшится Владычного гнева,
За указом явиться велит,
Обирая и справа, и слева.

В той же ярославской консистории служил секретарем премилый во всех отношениях обыватель – Аполлинарий Платонович Крылов. Известный краевед и церковный историк (и то и другое – абсолютно бесребренические поприща), он, заступив на эту должность, вдруг переменялся абсолютно. И в Ярославле появилась поговорка: «Аще пал в беду какую, или жаждеши прияти приход себе или сыну позлачнее – возьми в руки динарий и найди, где живет Аполлинарий».

За «динарии» тот краевед готов был, как говорится, собственную дочь живьем жарить.

От скуки и от пьянства в консисториях случались просто невообразимые истории. Вот один такой случай. Писец костромской консистории Константин Благовещенский, будучи сильно пьян, столкнулся с консисторским же столоначальником Чулковым. Чулков, ясное дело, принялся его ругать. Ругал долго и, скорее всего, нудно. Благовещенскому это надоело, он вытащил револьвер «смит-вессон», выстрелил в Чулкова и пошел в кабак – видимо, праздновать победу.

Там его и повязали буквально через несколько минут. Писец был пьян настолько, что вообще не помнил всю

эту историю. Ему казалось, что он так с утра в том кабаке и просидел, а на службе вообще не появлялся.

Впрочем, писца наказали не строго. Он был пьян настолько, что не смог попасть даже в стоящего перед ним человека. Чулков, как говорится, отделался легким испугом.

Дела, что разбирались в консисториях, тоже были подчас весьма курьезными. Вот, к примеру, какое письмо пришло в 1906 году епископу Калужскому и Боровскому Вениамину от Фрола Титова Сорокина: «Имея у себя совершеннолетнего сына Адриана и не имея в доме своем кроме больной и престарелой жены работницы, я вздумал в нынешний мясоед женить сына, для чего и сосватал ему невесту крестьянскую девицу Татьяну, о чем и уведомил своего приходского священника о. Александра Воронцова. Но священник мне объявил, что венчать моего Адриана не будет потому что будто бы он идиот. Я, находя такой отказ не основательным по следующим основаниям: 1. Не имея никаких причин, указанных в законе Гражданском т. 10, часть 1, ст. от 1-ой до 25-ой о союзе брачном, а также и всем и каждому, как на нашей улице так и на соседней с ней известно, что сын мой Адриан здоров и все работы свойственно по возрасту исполняет, как и другие в его возрасте и 2. что сын мой в минувшем 1905 году призывался к отбытию воинской повинности и по освидетельствовании в присутствии был как льготный 1-го разряда зачислен в ратники ополчения о чем и выдано ему свидетельство за № 1435-м, следовательно из всего ясно, что сын мой не идиот, а иначе он не был бы принят в ополчение, да и не мог бы работать, а если по мнению о. Воронцова не так развит сравнительно с другими, то это не есть законной причины к отказу повенчать его. Представляя при сем Вашему Преосвященству по видимости его свидетельство, выданное из рекрутского присутствия, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Преосвященство сделать свое Архипастырское распоряжение нашему причту о повенчании моего сына Адриана как не имеющего тому указанных в законе Гражданском препятствий. Свидетельство прошу мне возвратить».

Конечно, архиерей не стал вникать в этот бред и пе-

редал послание Сорокина в консисторию. Там, разумеется, первым делом потребовали объяснений у священника Александра Воронцова. И батюшка дал показания: «Сын крестьянина Титова, он же Сорокин, Адриан был известен мне лишь только на исповеди, причем у меня составилось мнение о нем, как о человеке слабоумном. В настоящем году, когда отец его Фрол вздумал женить своего сына Адриана, я, чтобы проверить сложившиеся у меня о нем убеждения, просил прислать означенного Адриана для испытаний. Фрол прислал сына, и в разговоре с ним оказалось, что молитв он не знает ни одной и на все мои вопросы давал ответы неудовлетворительные, так например: на мой вопрос: у кого больше денег, если у меня 80 копеек, а у него 1 рубль, он ответил: “у вас всегда больше денег”; на вопрос, сколько у него на руках пальцев, он ответил: “много”, а сколько именно, сказать не мог и кроме того не мог отличить правой руки от левой и т. д.

Ввиду такой умственной неразвитости и незнания же молитв я, несмотря на его работоспособность и зачислении его, Адриана в ратники ополчения (где однако сбора он еще не отбывал), отказал Фролу в повенчании в настоящем мясоеде сына его Адриана, а предложил ему 1. поучить сына молитвам, 2. дожидаться учебного сбора, когда бы выяснилась вполне способность его к службе и 3. заставлять его возможно чаще возвращаться в кругу людей, через что он может развиваться, так как до сего времени он избегал людского общества».

Вениамин, однако, принял судьбоносное решение – невзирая ни на что, женить «означенного Адриана».

* * *

Одним из видных властных органов считалось земское собрание, учрежденное после земской реформы 1864 года. Правда, его деятельность более касалась реальностей не городских, а сельских – открытие школ, медицинское обслуживание, санитарная пропаганда и пр. Но само здание земства находилось, разумеется, в губернском городе. Там же устраивались многочисленные земские мероприятия. В том, что касается вне-

шнего вида, земское собрание подчас не уступало думе. В начале прошлого столетия тамбовские газеты предвкушали появление новинки: «Новое здание, слившись со старым, займет пространство до угла Араповской и протянется до здания земской типографии. Новый земский дом обещает быть чуть ли не первым по грандиозности и красоте зданием города».

Со всей губернии шли в земство слезные послания такого рода: «Положение Приказниковского училища весьма безотрадное. Оно стоит на краю деревни, почти в поле, на возвышенном месте; кругом нет ни деревца. Оно выстроено еще в 1889 году из старого материала. Небольшие окна его находятся низко над землей. Полуразвалившееся крыльцо разделяет это здание на две половины: в одной – класс, в другой – комната для учащего и кухня. Эти два помещения разделяются холодными сенями. Опишу сперва обстановку класса. В нем нет раздевальни. У входа висят 60 полушубков, отступя шаг, стоит стол учащего, а за ним – рядами парты, числом 11... Класная доска одна, на ней черная краска от времени уж начала стираться, а посредине нее образовалась трещина насквозь. Эту доску приходится переставлять то в одну половину класса... то в другую...

Ни счетов, ни глобуса не имеется. Школьного шкафа для книг нет, устроено только помещение для них, а именно: место за печкой отгорожено дверями, здесь набиты полочки, на которых и разложены книги. В результате такого устройства шкафа все книги в нем ежедневно покрываются пылью, а за лето многие из них изъедаются мышами. Печка в классе занимает много места, она требует поправки, так как растрескалась, и наверху ее каждый год сторож замазывает глиной. Вот какова класная обстановка. Квартира учащего в этом отношении не уступает классу. Это небольшая комната с перегородкой, которой отделена кухня. Посреди комнаты стоит “спасительница”, железная печка. Комната оклеена белыми обоями, которые источены мышами. Пол под ногами скрипит и “ходит”. Одна половина на самом ходу вот-вот проломится. Обстановка такова: стол, три табурета и старая железная кровать. В этой комнате зимой бывает очень холодно. Спасешься

только железной печкой, в большие морозы она топится непрестанно. И так жить еще можно, были бы присланы деньги на содержание училища».

Подобные прошения часто не имели результата – земства, куда входило много представителей интеллигенции, хоть и горели желанием исправить положение, но располагали довольно скудными финансовыми средствами. Правда, земские собрания получили право облагать население сборами и повинностями, но собирались деньги крайне плохо. В бедных губерниях у крестьян просто не было возможности заплатить лишнюю копейку (земский сбор составлял от четверти копейки до 17 копеек с десятины в зависимости от плодородности почвы), а в зажиточных они просто не видели необходимости оплачивать какие-то там школы и больницы – «деды наши без них обходились, а мы чем лучше?». Да и помещики часто не рвались помогать земствам, хотя председателями собраний всегда назначались местные предводители дворянства. В итоге многие земцы выполняли свои обязанности бесплатно, из чистого энтузиазма.

Земский деятель – особый тип провинциального интеллигента. Череповецкий городской голова И. Милютин писал: «Среди земцев было немало хороших людей. В числе первых можно считать Н. В. Верещагина. Этот молодой человек был достаточно образован, принадлежал к хорошему роду череповецких дворян. После сделанного им почина в деревне втолковать крестьянам о разных полезных нововведениях он вошел в среду горожан, много говорил им нового, интересного, видимо, искренне желал добра Обществу. Помнится мне, как будто это было вчера, является в город молодой человек из дворян в дубленом полушубке, опоясанном кушаком, в барашковой шапке, в рукавицах. Часто хаживал из усадьбы отца, 18 верст в город и обратно пешком... Вслед за Верещагиным, а точнее рядом с ним, появился в Череповце еще один молодой человек, такой же симпатичный и так же из местных дворян – Александр Николаевич Попов. Первым делом его было открытие 35 школ в уезде. Вместе со школами он организовал удовлетворительно медицинскую часть в уезде».

Был известен еще один земский врач — П. И. Грязнов. Он защитил диссертацию «Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медико-топография Череповецкого уезда». Увы, но выводы его были неутешительны: «Из нашего исследования очевидно, как плохи жизненные условия населения, как ничтожна производительность его труда и как малы средства его в борьбе против неблагоприятных жизненных условий».

Существовал своего рода земский этикет, подчас непостижимый. Вдруг ни с того ни с сего смоленский съезд земских врачей прерывает свою работу, для того чтобы послать приветственную телеграмму Д. Жбанкову, бывшему земскому врачу: «Многоуважаемый Дмитрий Николаевич! Съезд врачей Смоленской губернии выражает глубокое сожаление, что он лишен возможности пользоваться Вашим участием в его работе. С чувством искренней благодарности, вспоминая Вас и Ваши заслуги на пользу врачебно-санитарной организации в губернии, съезд просит Вас, как хранителя и проводника лучших земских традиций, принять выражение нашего искреннего уважения и наш привет».

Жбанков сразу же отвечает, тоже телеграммой: «Горячо приветствую Смоленских земских товарищей, снова собравшихся для общего дела. С искренним удовольствием вспоминаю о нашей совместной работе на прошлых съездах и чту память главных инициаторов этих съездов А. Н. Попова и Н. А. Рачинского. От всей души желаю, чтобы дружные и плодотворные занятия представителей земства и земских врачей достигли идеала дорогой земской медицины: “Земский врач в один день может обойти весь свой участок!” Только при этом условии земская медицина приобретает свой истинный характер — быть преимущественно предупредительно-санитарной. Только при этом условии она выполнит завет нашего учителя Н. И. Пирогова: земской медицине придется бороться с невежеством и предрассудками народных масс и видоизменять все их мировоззрение».

Без подобных церемоний, вероятно, было невозможно существование такого замечательного типажа,

как земский деятель, несущий просвещение в темные, невежественные массы.

Кстати, многие просветительские мероприятия устраивались именно в домах земских собраний. В частности, «Смоленский вестник» сообщал в 1909 году: «Интересная лекция. Завтра в зале губернской земской управы инженером-механиком Аронтрихер прочитана будет интересная лекция об успехах воздухоплавания. Лекция будет сопровождаться туманными картинками. Содержание лекции: 1) история развития воздухоплавания, 2) принципы полета тел легче воздуха, 3) воздушные шары, 4) первые управляемые шары, 5) современные управляемые аэростаты и их различные системы, 6) принципы полета тел тяжелее воздуха, 7) полет птиц, 8) сравнение человека и птицы, 9) историческое развитие системы тяжелее воздуха, 10) последние успехи авиации (Состязание в Реймсе), 11) Аэропланы. Сравнение аэропланов и аэростатов и их значение в жизни человечества. Начало ровно в 6 час. вечера».

В муромской земской управе, в свою очередь, проходили «публичные чтения религиозного и нравственного воспитания». Газета «Современные известия» писала об этом мероприятии: «Отрадное явление составляют в Муроме народные чтения под руководством умнейшего соборного протоиерея Орфанова – местного археолога. Отец протоиерей Орфанов настолько заинтересовал публику чтениями, что на них менее 200 человек никогда не бывает, а иногда приход простой публики доходит до 500 человек и более. Чтения расположены так: сначала читается какая-либо или божественная или духовно-полезная статья, а потом певчие поют какой-либо стих. Бывает, но весьма редко, что и полковая музыка дает свой труд при чтениях, что весьма разнообразит чтения и приносит пользу и удовольствие муромским жителям низшего класса...» Не обошлось, однако, без ложки дегтя. Организатор чтений поручик И. Бурцев (он же предводитель муромского дворянства) заявлял, что «чтения эти бывают весьма многолюдны; пол же в зале не представляет достаточного обеспечения безопасности вследствие излишней тяжести, он находит необходимым доложить об этом земскому собранию и

тем сложить с себя ответственность в случае какого-либо несчастья».

Со временем народ научился ценить заботу земцев. В революционном 1905 году крестьяне Судогодского уезда Владимирской области обратились в земство с необычной просьбой: «На примере войны с Японией мы убедились, какое преимущество имеет обученный японец перед нашим темным солдатом-мужиком. Убеждены также, что обученный человек является лучшим “народным представителем”, при свете учения в гору пойдет и крестьянское благосостояние. Обращаемся к земству как к единственному учреждению, которое приходит на помощь мужику в деле образования: выстройте в нашей деревне школу, Бога ради, и выведите нас из тьмы невежества. Для школы даем землю и просим устроить на ней опытный огород и сад с пчельником».

Земская школьная комиссия, конечно, умилилась. И постановила... отказать. «Ввиду того, что в 2,5 верстах отстраивается школа в д. Овцино, строить еще школу не надобно».

* * *

Вообще говоря, провинциальный общественно-политический истеблишмент – явление, достойное отдельного исследования. И, по большому счету, не так важно, в какой именно должности состоит тот или иной деятель и в каком городе он проживает. Хотя бы в силу бешеной ротации подобных граждан. Сегодня он возглавляет земство в Калуге, завтра судебную палату в Саратове, а послезавтра баллотируется во владимирскую думу. Личности же среди этих граждан случались презанятные.

Вот воспоминания одного костромича: «Сегодня великий день и страшный для многоуважаемого Григория Галактионовича Набатова: сегодня выборы в Головы городские. Велико и страшно для Набатова, потому что ему ужасно хочется вновь остаться при этой должности, но сильная партия его вовсе не желает. После обеда, данной Г. Г. гласным выборным, и после присяги поехали в дом городского Общества для выбора. Пред-

ложено было прежде сделать записки, которых более оказалось на Чернова, следовательно, и предложили его первого баллотировать. Долго, очень долго он ломался, отговариваясь, но наконец согласился, и положено было за него из семидесяти одного пятьдесят семь белых шаров. Конечно, после этого бедный Г. Г. отказался баллотироваться, да и его даже никто и не просил. Но все-таки в память его двенадцатилетней службы, то есть с начала нового городского положения, постановили избрать его Почетным гражданином города Костромы и повесить его портрет в городской Думе. После поехали поздравлять в дом Василия Ивановича Чернова».

Впрочем, это – всего лишь начало истории. Продолжение же таково: «Сегодня злобою дня был в Думе вопрос об обеде в честь прежнего Городского Головы Г. Г. Набатова и назначении его звания Почетного гражданина города Костромы и о помещении его портрета в здании Городской Думы. Первый вопрос бесспорно сошел, но второй и третий повлекли за собою бурные сцены, вся Дума бедного Григория Галактионовича была рассмотрена, все его сорокадвухлетние, но более двенадцатилетние деяния были строго оценены, так что, как выразился Ширкий, гласный, ему делали в этот вечер инквизицию. После долгих прений едва ли могли удостоить его звания Почетного гражданина города Костромы, но вопрос о портрете провалился с полным фиаско...

Заседание окончилось. Вот собралась партия гласных для совета о чествовании Набатова. Вдруг Аристов обращается к отцу, говоря: «Просим вас, Михаил Николаевич, ехать завтра просить Набатова на обед»... Отец на это ответил, что ему ехать совестно».

Совестно, не совестно – а ехать надо: «Во втором часу пополудни я с отцом поехал на обед в Думу. Но только вступили в крыльцо, как Зотов, Стоюнин потащили отца ехать с ними к Набатову вторично приглашать. Тут же говорили о скандале отца с Аристовым, будто бы многие осуждают Аристова, а я с Аристовым чтобы не сходилась и не здоровался. Приехал губернатор. Затем, после всех уж, едет юбиляр, и как только вступил он на крыльцо, музыка заиграла, и, предшествуемый Черно-

вым, он вошел в зал. Минута была торжественная, тут уж все враги преклонились.

Обед – сошло все хорошо. Губернатор исполнил просьбу купцов, сказал очень радушное слово Набатову, ставя высоко его сорокадвухлетнее служение, речь его была покрыта громким “ура!”. Аристов говорил несколько разных бессвязных речей, не доведших чуть до скандала, и очень крупного, следующим: вдруг он начинает восхвалять доблести настоящего губернатора и при этом критиковать бывших... Конечно, следовало бы Андреевскому протестовать против этого, но он смолчал. Но Негребецкий, председатель окружного суда, сказал Аристову, сидящему с ним рядом, разве за то только он восхваляет губернатора, что тот много пьет. Слышал ли это губернатор или нет, но смолчал, а я думаю, что слышал, потому это было близко, но только вдруг вскакивает Скалон, начиная против этого резко протестовать Негребецкому. Спасибо Прозоркевичу, он быстро очутился около Скалона и успел его успокоить, иначе бы вышел громадный скандал».

Такими вот «громадными скандалами» подчас и жил провинциальный политический бомонд.

Трогательным интриганом был симбирский губернатор М. Магницкий. Он настолько часто менял свои взгляды, что князь Вяземский даже сочинил об этом стихотворение:

N.N., вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке,
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе
Он щеголяет ханжеством.

А литератор Владимир Панаев писал, что Магницкий время от времени даже «выходит из кареты, несмотря на грязь и холод, чтобы принять благословение бегавшего по симбирским улицам так называемого Блаженного в надежде, что об этом дойдет до князя Голицына, а через него, может быть, и до государя».

Своеобразен был самопиар у костромского чинов-

ника средней руки, некого Аристов. Один из современников писал о нем: «Василий Васильевич Аристов, по образованию инженер, был фабричным инспектором, однако инженерными знаниями не блистал, удача на служебном поприще не имел, но принимал деятельное участие в общественной жизни. Имея небольшой деревянный дом на Смоленской улице, много лет был избираем в гласные думы. Будучи характера желчного, всегда был в оппозиции, подвергая критике на заседаниях думы деятельность членов управы. Выступал по любым вопросам. Однажды, желая укусить одного из членов управы, заявил на заседании думы, что в городе плохо освещают улицы, указав, что вчера не горели два керосиновых фонаря на таком-то перекрестке. На это соответствующий член управы реагировал заявлением, что для освещения городская управа отпускает достаточное количество керосина, а если фонари не горели, то виноваты фонарщики. Так как заявление сделано таким уважаемым гласным, то оно в проверке не нуждается, и фонарщики, виновные в этом, будут оштрафованы. Аристов метил не в фонарщиков и был очень недоволен, что не удалась его демагогия.

Для увеличения своего авторитета он садился по вечерам за письменный стол в своем доме, освещенный керосиновой лампой, причем занавески нарочито отсутствовали. Проходящие обыватели могли лицезреть сидящего Василия Васильевича, думающего о благе городских дел».

Общее место русского провинциального топ-менеджмента – самодурство, взяточничество и отсутствие ума. Как уживались в них эти три качества – не вполне ясно. Вроде бы для того, чтобы брать взятки, нужны мозги – хотя бы затем, чтобы не попадаться. Но, вероятно, взяточничество, как и казнокрадство, было в России делом фактически неподсудным – главное не забывать делиться с высшим руководством. Вот и смеялись горожане над своими славными руководителями, а те делали вид, что ничего не замечали, лишь прилежно прикладывали новую копейку к своему уже сложившемуся капиталу.

Глупость городских чиновников сомнению не под-

вергалась. Вот, например, в ярославской газете под названием «Северный край» была опубликована безобидная детская сказка Ариадны Тырковой «Глупый тюлень». Кто-то из местных острословов обратил внимание на то, что Борис Штюмер – тогдашний ярославский губернатор – внешне напоминает тюленя. И все. Кличка «Глупый тюлень» накрепко прилипла к бедному губернатору. Невзирая на то, что сама Ариадна Владимировна, в будущем видный лидер партии кадетов, публично призналась, что отнюдь не имела в виду губернатора в качестве прототипа своего героя.

Но нет, как говорится, дыма без огня. И множество российских губернаторов и их ближайших подчиненных только и делали, что подтверждали тезис об умственной несостоятельности провинциального административного олимпа. Забавная история произошла со смоленским губернатором П. Трубецким по прозвищу Петух. Из Смоленска этого достойнейшего господина вместе с кличкой (так уж вышло) перевели в Орел, и уже там он разругался с тамошним архиереем Крижановским по кличке Козел. Николай Лесков писал о том, что было дальше: «Душа местного дворянского общества, бессменный старшина дворянского клуба, человек очень умный и еще более – очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник отставной майор А. Х. Шульц, стал олицетворением местной гласности, придумав оригинальный способ сатиры: на окне своего дома он стал представлять двух забавных кукол, олицетворявших губернатора и архиерея – красного петуха в игрушечной каске, с золочеными шпорами и бакенбардами и бородатого козла с монашеским клобуком. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как состояли дела князя с архиереем, то есть кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова

задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, “как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся”. Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной».

Любопытен и симптоматичен был калужский губернатор Егор Толстой. О нем осталась вот такая малолестная характеристика: «Каждый праздник он непременно в церкви, каждый праздник у него по всему дому в каждом угле горят лампы и по всему дому носится запах деревянного масла и ладана. Разные батюшки, матушки, сборщики, странники, богомолки с просвирками не выходили у него из дома... Неторопливость, неспешность были отличительной чертой служебной деятельности графа. Он прямо объявил, что в гражданской службе нет нужных и спешных дел, и положительно не признавал надписей на бумагах: “весьма нужное”, “срочное” и т. п. Он говаривал: “А в гражданской бумажной службе какие-такие могут быть экстренности? Не все ли равно бумаге лежать в том или другом месте?”...

Закон был в полнейшем попрании... Взятничество было сплошное, повальное. Не брал только ленивый, и первые брали чиновники особых поручений богомольного губернатора. Под шумок его акафистов и молебнов они, бывало, как заберутся в Боровск или Сухиничи... служащие раскольничьими гнездами, так у бедных раскольников только карманы трещат по всем швам. Вообще губерния представляла завоеванную страну, отданную на разграбление завоевателям...

Граф просидел в Калуге где-то года три или четыре. Можно себе представить, какие авгиевы конюшни оставил он своим преемникам».

Впрочем, сочувствовать этим преемникам нет особой охоты. Во всяком случае, ближайшему – Петру Алексеевичу Булгакову. Калужский чиновник Н. Сахаров так описывал этого тезку первого императора России: «Это был мужчина большой, смуглый, пучеглазый, весь бритый, пародируя Петра 1-го, по Калуге ходил с увесистой палкой, при случае пуская ее в дело. Вставал вместе с

курами и в шесть часов утра принимал уже с докладом чиновников... Циничен был он – феноменально...

Застав в губернском правлении невообразимую медленность и массу неразрешенных дел и бумаг, накопленных в неторопливое правление своего богомольного предшественника, он прежде всего самым позорнейшим образом разругал советников, секретарей, столоначальников, приказал им являться на службу в восемь часов утра и заниматься до двух. В четыре снова являться и сидеть до полуночи, назначив кратчайший срок для приведения делопроизводства в порядок. Чтобы канцелярия сидела на своих местах и не отлынивала от дела, выбегая во двор курить, губернатор приставил к дверям военных часовых с ружьями, которые сопровождали чиновника даже в известных экстренных случаях...

К массе ходивших по губернии разнообразных рассказов о крайнем его деспотизме, самодурстве, грубости, хроника его времени что-то не присоединяет рассказов ни о каких его мероприятиях по поводу нравственной чистоты служебного полчища. Оно по-прежнему казнокрадствовало, лихоимствовало, самоуправствовало... а при данном губернаторе, сообразно его темпераменту и системе, действовало быстрее и стремительнее».

За Булгаковым пришел еще один Толстой, на этот раз Дмитрий: «Это был человек хотя приличный, корректный, а как администратор, личность бесцветная, бледная, не оставившая по себе никаких ярких воспоминаний... О таких деятелях хронологи обычно упоминают лишь только для полноты хронологической номенклатуры. Граф, может быть, и таил в себе какие-нибудь таланты, но как гоголевский прокурор не обнаруживал их по скромности... Свободное время от служебной повинности старый холостяк заполнял преферансом, журфиксами, раутами, на которых, говорят, скука была смертная. Впрочем, он не чужд был литературы и что-то такое писал».

И такие перечни сменяющих друг друга личностей можно вести до бесконечности – в духе «Истории одного города». Разве что город был на самом деле не один, а сотни.

Однажды, например, ославился костромской губер-

натор А. Веретенников. Он выпустил глупейшее постановление, в соответствии с которым каждый домовладелец обязан был купить на собственные сбережения и вывесить на улицу большой яркий фонарь, на котором были бы написаны название улицы и номер дома. Больше того, за счет того же самого домовладельца следовало жечь фонарь все темное время суток и следить, чтобы керосин не кончился, иначе – штраф. Для северной и небогатой Костромы, в которой зимой темное время суток практически не прекращалось, лишних денег ни на фонари, ни на горючее не было ни у кого, а номерами домов никто и никогда не интересовался (город маленький, и так известно, кто где живет), это была мера, мягко говоря, непопулярная.

Но здесь, что называется, нашла коса на камень. Один из членов костромского суда, некто Власов, отказался покупать фонарь. Его приговорили к штрафу в 50 рублей – он отказался выплачивать штраф. Самому Веретенникову уже стало неловко – он лично ездил к Власову (напоминаю: город маленький и все друг друга знают), умолял его смириться, заплатить этот несчастный штраф и, поговаривают, даже деньги предлагал, чтобы Власову на штраф не тратиться. Тот – ни в какую.

В соответствии с законом того времени назначили аукцион на власовское имущество – для уплаты штрафа. Первым лотом шла скверная пепельница. Кто-то из приятелей Власова сразу же предложил за нее необходимую сумму – все те же 50 рублей, после чего с брезгливым выражением лица вручил пепельницу хозяину – ему такая дрянь была, конечно, ни к чему.

Аукцион закончился, но дело продолжалось. Власов подал в Сенат жалобу на веретенниковское постановление. Жалоба, естественно, шла через все того же Веретенникова. Чуть ли не на коленях он стоял, просил, чтобы Власов отозвал свой документ. Тот, однако же, был непреклонен.

Жалоба оказалась в Сенате, где сразу же отменили дурацкое постановление – в столице все прекрасно понимали и про деньги, и про ночи, и про размеры города, и про керосин.

Жители Костромы вздохнули с облегчением.

Кстати, иной раз губернаторы демонстрировали весьма и весьма завидную смекалку. К примеру, А. Загряжский – руководитель Симбирской губернии, – для того чтобы его пускали в девичьи покои дочери князя М. Баратаева, притворялся старушкой. Один из современников писал: «Он так хорошо загримировался и играл свою роль, что сам отец указал, как пройти к дочери. Загряжский похвастался и опозорил имя девушки. Дворянство ополчилось против него, стали грозить скандалом и даже кулачной расправой... И в конце концов Загряжский вынужден был удалиться отнюдь не почетно».

Естественно, друзья Загряжского опровергали эту милую подробность жизни первого лица Симбирска. И так же естественно, что мало кто прислушивался к доводам этих друзей.

Даже когда губернатор умирал, на него как-то не распространялся принцип «либо хорошо, либо ничего». Вот, например, что сообщал «на смерть» другого симбирского губернатора Д. Еремеева некто А. Родионов: «Умер этот бесстыжий и красивый человек; по душе – добрый и готовый помочь как хороший товарищ, но... промотавший огромное свое состояние и пустивший семью чуть ли не по миру! Умер он 65-ти, но еще красивый и готовый поволочиться за каждой юбкой!!!»

Симбирску вообще «везло» на губернаторов. Практически у каждого из них был некий пунктик, придававший ему более чем самобытные черты. Чего стоит, например, такая вот характеристика: «Теренин, крепостник в высшей степени, симбирский дворянин и помещик, необразованный, бывший военный; с брюшком, непредставительный, плохой работник, ухаживавший за архиереями и губернаторами, пока сам был небольшой птицею, держал себя гордо, надменно в сношениях с низшими, а иногда и равными, был с высшими же и равными натянуто любезен (двойственно). Имел наружный военный лоск. Любил собачью охоту, почему в своем имении держал не только охотничьи своры, но целый собачий двор... Был гостеприимен, хлебосолен».

Кто-то поражал одной лишь своей внешностью. Например, о губернаторе Хомутове сообщалось: «Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с

большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество. Жена его – маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова». А некто Лукьянович, например, был донельзя ленив. Один из его современников писал: «Симбирский губернатор Лукьянович... был человек простой, добрый, большой хлебосол, любивший хорошо пожить, но не заниматься делами и особенно письменными, которые он вполне предоставлял своему секретарю, а сам только подписывал бумаги, исполняя эту обязанность по необходимости и не всегда терпеливо. Про него рассказывают анекдот: в одно прекрасное утро он мечтал у себя в кабинете о предстоящем пикнике, как увидел входящего к нему секретаря с огромною кипой бумаг для подписи; недовольный таким визитом, он сказал секретарю: “Что же вы, Яким Сергеевич, бумаги-то всё ко мне, да ко мне, а деньги-то всё себе, да себе – так возьмите же и бумаги себе”».

Астраханский губернатор Бекетов прославился тем, что писал трогательные вирши:

Не кидай притворных взоров
И не тщишь меня смущать.
Не старайся излеченны
Раны тщетно растравлять.

Я твою неверность знаю
И уж боле не пылаю
Тем огнем, что сердце жгло,
Уж и так в безмерной скуке,

В горьком плаче,
В смертной муке
Дней немало протекло...

И так далее.

Но самое, пожалуй, замечательное происшествие случилось с губернатором Воронежа князем В. Трубецким. Педагог Н. Бунаков писал об этом: «Князь любил покутить, и в его воронежской жизни был случай, доказавший, что губерния могла бы прекрасно процветать и без губернатора. Это случилось так. Один раз кучер привез выпившего и заснувшего в карете князя домой; постоял, постоял у крыльца и, полагая, что барин вышел, отпряг

лошадей, а карету задвинул в сарай, который, конечно, запер. Наступило утро, князя нет; проходит день, князя все нет. Но дела в губернии и в городе все-таки шли своим порядком и без участия губернатора, который нашелся только тогда, когда кучер вздумал помыть карету: оказалось, что по сараю расхаживает губернатор».

Действительно, без губернаторов – проще. Особенно без тех, которые описывались Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». А ведь большинство из них имело прототипы. Один из них служил писателю моделью в Туле с декабря 1866 года по октябрь 1867 года, когда тот возглавлял Казенную палату. После чего был снят с высокой должности по повелению самого Александра II с убийственной формулировкой – как «чиновник, проникнутый идеями, не согласными с видами государственной пользы».

Естественно, что Салтыков-Щедрин не оставлял свои литературные труды и на казенной службе. Именно в это время возник наиболее зловещий образ «Истории одного города» – губернатор Прыщ.

Майор Иван Пантелеевич Прыщ выглядел молодцом: «Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый».

Прыщ был самым демократичным губернатором города Глухова. Однако именно при нем жители наслаждались необыкновенным процветанием: «Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление».

Однако Иван Пантелеевич имел некоторые стран-

ности – спать, например, ложился на ледник, к тому же издавал запахи трюфелей и прочей гастрономии. В результате выяснилось, что у губернатора была нафаршированная голова и ее сожрал глуповский предводитель дворянства.

В то время, когда Салтыков-Щедрин руководил палатой, в Туле губернаторствовал генерал Шидловский, отличавшийся невероятным тупоумием. И, без сомнения, Михаил Евграфович воспел в «Истории одного города» вполне определенного градоначальника.

* * *

От губернаторов не отставали и деятели рангом ниже. Собирабельный образ такого чиновника вывел А. Ремизов в повести «Неуемный бубен»: «Двадцати лет начал он свою судебскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов – все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.

Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! – председателя первого суда помнит.

Вон Адриан Николаевич, правда, волосу много, архиерейским гребнем не продерешь, а успел-таки ноги пропить, и сколько там ни мудрит секретарь Лыков, сажая безногого параличного писца для обуздания в архивный шкаф под замок, пропьет и последнюю свою голову. Нет, Стратилатов не чета Адриану Николаевичу, и столы-то их не рядом, а друг против друга, и недаром пишущую машину между ними поставили: водки Иван Семенович отродясь не знал, что это за водка, да и кандидатская пушка в тоненьком мундштуке никогда не соблазняла его, не курил.

– А зато жив и здоров, – пояснял Стратилатов, – прожил шестьдесят лет, проживу и сотню, проживу сотню,

дотяну до другой: в первые времена по пять сот благочестивые люди жили и все такое. <...>

Шестьдесят лет стукнуло Стратилатову – седьмой десяток пошел, сорок лет как сидит он в суде да бумаги переписывает и за все сорок лет не пропустил ни одного дня и во все дни никогда не отлынивал от дела, а перемены, как видно – какая же перемена? – в бане под паром, подбери он только живот, и совсем за своего помощника Забалуева сойти может, а Забалуев писарь – ёра-мальчишка...

Всякий день поутру часов в семь, когда по домам еще бродит сон, последний, но зато самый сладкий и такой крепкий, что ни стуком дров, ни колокольным звоном – а звонят и в Прокопьевском и в Зачатьевском, и в приходских церквах – никакими силами, кажется, не одолеть и не выгнать его за дверь в сени, когда одни лишь торговки с молоком и корзинами идут на базар и кричат, как только умеют кричать одни лишь торговки, да бегут чиновники в казенную палату, в этот ранний заботливый час, проходя по Поперечно-Кошачьей, легко столкнуться лицом к лицу с Стратилатовым.

Зимою он в ватном пальто, на шею намотан красный гарусный шарф, летом в сером люстриновом пиджачке и в серой жокейской шапочке с пуговкою, из кармана непременно торчит пестрый платок, под мышкою синий мешочек с сахаром, и всегда калоши.

И если бы вдруг под каким-нибудь волшебным глазом так все изменилось: перескочили бы усики-пушок, долгий нос, малиновый румянец и сама гладкая, смазанная деревянным маслом стратилатовская плешь на другую и совсем непоказанную голову, на полицеймейстерскую – на самого Жигановского, а жигановские усы на председателя – старичка чахоточного, безвозвратно перетерявшего за упорными болезнями всю свою природную отклику, а сам Стратилатов превратился бы в какого-нибудь кита, свинью, мышь или белую лебедью поднялся бы со стаей лебедей над Волгою, все равно по одному синему мешочку и калошам ни с чем его не спутаешь».

У этого образа был прототип – реальный костромской чиновник, некто Полетаев, служивший в город-

ском суде. О другом судебном чиновнике писал костромич Чумаков: «В окружном суде был товарищем прокурора некий Кошуро-Масальский, стяжавший себе недобрую славу на политических процессах, на которых он неизменно добивался осуждения обвиняемых. Такая его усердная деятельность была замечена свыше, и он назначен был харьковским вице-губернатором. На новом месте он продолжал свою усердную службу царю и отечеству, начал громить разные общественные учреждения, возбуждив к себе всеобщую ненависть. Все его деяния не встречали отпора со стороны его начальства. Губернатор Катеринич фактически делами не занимался, так как больше проводил время в разъездах.

Приехав на Пасху уже вице-губернатором в Кострому, где еще жила его семья, он явился на пасхальную заутреню в церковь Иоанна Богослова, где был прихожанином, в сопровождении двух городских в полном вооружении – слева сабля, справа револьвер. Эти два городских простояли всю службу за спиной Масальского, прикрывая его от всех прочих. Когда он двинулся к выходу, городские следовали за ним по пятам. Все это вызвало много разговоров, так как до сих пор никто не являлся в церковь под охраной полиции, ибо трудно было предположить, чтобы там произошло какое-либо покушение. Даже в очень обостренные времена 1905 года не было слышно о покушениях в церквях.

Будучи вице-губернатором в Харькове, он приказал, чтобы телефонные барышни при вызове из его личного телефона обязательно спрашивали не “что угодно?”, как всех, а прибавляли “Ваше превосходительство”. Так что, если бы телефоном воспользовался лакей, то он тоже именовался бы превосходительством.

Так как деятельность Масальского стала приобретать скандальный характер своим произволом, то в “Русском слове” появился фельетон Дорошевича под названием “Харьковская вице-губерния”, в котором разрисовывалась деятельность этого помпадур. В конце концов высшие власти во избежание больших осложнений сочли за благо убрать его из Харькова и назначили его на спокойное и хорошо оплачиваемое место члена Государственного совета.

При отъезде он погрузился с семьей и домочадцами в вагон, который был прицеплен к петербургскому поезду. Вскоре в вагон явился контролер с требованием предъявить проездные билеты. Тут он обнаружил, что у Масальского имеется установленная литера для бесплатного проезда к новому месту работы, а остальные пассажиры расположились в вагоне без всяких документов – были зайцами. Контролер предложил на выбор: взять билеты или вагон будет отцеплен. Так как Масальский не привык к подобному противодействию, он начал орать, но вагон был отцеплен, и ему в конце концов, несмотря на посылаемые срочные телеграммы с жалобами, пришлось взять на всех билеты. Этот случай был, конечно, использован печатью, но на дальнейшую карьеру Масальского не повлиял».

Тот же Чумаков описывал прелюбопытнейшую парочку: «В акцизном губернском управлении служил чиновник Бельченко, был он толстенький, кругленький, лысоватый, и лицо его было полно добродушия. Жена же у него была значительно моложе его, этак лет 35-ти, очень следила за собой, боясь потерять фигуру, была очень стройной. Звали ее Конкордия Николаевна, а за глаза Корочкой. Поэтому мужа ее, Александра Александровича именовали Мякишем. Когда они шли по улице, говорили: “Смотрите, Корочка идет с Мякишем”».

* * *

Разумеется, не все чиновники были персонами трагикомическими. Взять хоть того же Салтыкова-Щедрина, неоднократно состоявшего при разных госучреждениях в разных же, но не малых должностях. В частности, в 1858 году он вступил в должность рязанского вице-губернатора. Он сразу удивил своих будущих сослуживцев невиданной ими до этого демократичностью. Один из современников писал: «Салтыков приехал без всякой помпы, запыленный, в простом тарантасе, – совсем, казалось, точно и не вице-губернатор, а самый простой чиновник». Поразил он и своим подходом к службе. Другие очевидцы вспоминали: «Быстр он был на понимание всего, с чем бы ни пришлось ему встретиться,

до такой степени, что самую запутанную, написанную старым приказным слогом бумагу читал он, близко поднося ее к своим близоруким глазам, настолько скоро, что по движению его носа слева направо и обратно, по мере того, как глаза его пробегали строчки, можно было судить о стремительности процесса усвоения им всего прочитанного. Прочтя бумагу, он брал перо и сразу полагал на бумаге резолюцию, поражающую проникновенно ясным пониманием того, что необходимо-го, справедливого и полезного для дела по этой бумаге нужно было сделать».

Здесь же, в здании губернского правления, при Салтыкове оборудована была современнейшая типография. Понятно, что книжное дело было для писателя стихией близкой. И неудивительно, что он воспользовался своими петербургскими знакомствами. Писал, к примеру, В. П. Безобразову, в то время редактировавшему журнал Министерства государственного имущества: «С величайшим удовольствием узнал я, многоуважаемый Владимир Павлович, об открытии Вами типографии и словолитни. По этому случаю у меня к Вам следующая всепокорнейшая просьба. Здешняя губернская типография имеет нужду в шрифте, и потому было бы весьма желательно, если бы Вы согласились исполнить заказ типографии и выслать полный шрифт с тем, чтобы типография выплатила Вам сумму по третям... Если это дело для Вас возможное, то благоволите прислать ко мне: образцы шрифтов, в чем заключается полный шрифт, т. е. обыкновенный с подлежащим количеством петита, цецеро, латинских букв и т. д.».

Шрифты были получены. Дело с типографией пошло.

Салтыков-Щедрин вновь оказался в Рязани в 1867 году. На этот раз он заступил в должность руководителя казенной палаты, располагавшейся все в том же доме. И снова поразил своих сотрудников: «Салтыков занимался в палате делом очень усердно, скоро и внимательно. Обладал быстрым соображением и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им сочиненные,

представляли в некотором роде литературную редкость».

Но в основном рязанцев поражало следующее: «При нем не брали взятки, или так называемых благодарностей... не пороли чиновников и не сажали их под арест».

Такого странного начальника жителем города еще не доводилось видеть.

В перерыве между этими назначениями были и другие, в том числе должность вице-губернатора Твери в 1860–1862 годах. Поначалу нового чиновника встретили настороженно. Одной из причин для того послужил как раз поиск жилища. Некто А. А. Головачев писал в одном из писем: «У нас на каждом шагу делаются гадости, а вежливый Нос (Павел Трофимович Баранов, губернатор. – А. М.) смотрит на все с телячьим взглядом. Салтыкова, поступившего на место Иванова, я еще не видел, но разные штуки его сильно не нравятся мне с первого раза. Например, посылать за полицмейстером для отыскания ему квартиры и принимать частного пристава в лакейской; это такие выходки, от которых воняет за несколько комнат».

Поначалу Салтыкову-Щедрину дали весьма нелестное прозвание. Другой житель Твери писал: «По уездам предписано сделать выборы предводителей по представлению Носа вежливого... Эта выходка Носа вежливого окончательно доказывает его лакейскую душу. Скрежет зубовой вступил уже недели две с половиною в должность, и, как слышно, дает чувствовать себя».

«Скрежет зубовой» и есть Михаил Евграфович.

Впрочем, в скором времени жители города, что называется, сменили гнев на милость. А в официальной справке, данной Салтыкову-Щедрину, значились такие его качества: «Вице-губернатор Салтыков сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных».

Несмотря на это, Салтыков-Щедрин катастрофически не уживался со своими сослуживцами – как низшими, так и высшими. Был, что называется, не того поля ягодой.

Относилось это и к другому литератору, И. С. Аксакову. Он занимал должность товарища председателя уго-

ловной палаты в Калуге и признавался: «До сих пор ни с кем, кроме Унковских, не познакомился и решительно так же чужд Калуге, ее жителям, ее интересам, как какому-нибудь Моршанску».

Саму же службу он описывал в стихах:

Трудись, молодой герой-чиновник,
Не пожалей, смотри, себя.
И государственный сановник
Представит к ордену тебя!!!

...А дома пусто, безотрадно,
И, будто в ссылке, дни мои
Проходят вяло и досадно,
Так утомительно нещадны,
Без песен, дружбы и любви.

Еще один писатель, А. Ф. Писемский, служил в городе Костроме губернским секретарем палаты государственных имуществ. Впечатления свои описывал впоследствии в романе «Люди сороковых годов»: «Вихров затем принялся читать бумаги от губернатора: одною из них ему предписывалось произвести дознание о буйствах и грубостях, учиненных арестантами местного острога смотрителю, а другою – поручалось отправиться в село Учню и сломать там раскольничью моленную. Вихров на первых порах и не понял – какого роду было последнее поручение.

– А скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда село Уч-ня? – спросил он исправника.

– Верст сорок, – отвечал тот.

– Мне завтра надо будет ехать туда, – продолжал Вихров.

– В таком уж случае, – начал исправник несколько меланхолическим голосом, – позвольте мне предложить вам экипаж мой; почтовые лошади вас туда не повезут, потому что тракт этот торговый.

– Но я возьму обывательских, – возразил Вихров.

Исправник на это грустно усмехнулся.

– Здесь об обывательских лошадях и помину нет; мои лошади такие же казенные».

В том же романе – характерное письмо героя к двоюродной сестре: «Пишу к вам это письмо, кузина, из ди-

кого, но на прелестнейшем месте стоящего, села Учни. Я здесь со страшным делом: я по поручению начальства ломаю и рушу раскольничью моленную и через несколько часов около пяти тысяч человек оставлю без храма, – и эти добряки слушаются меня, не вздернут меня на воздух, не разорвут на кусочки; но они знают, кажется, хорошо по опыту, что этого им не простят. Вы, с вашей женскою наивностью, может быть, спросите, для чего же это делают? Для пользы, сударыня, государства, – для того, чтобы все было ровно, гладко, однообразно; а того не ведают, что только неровные горы, разнообразные леса и извилистые реки и придают красоту земле и что они даже лучше всяких крепостей защищают страну от неприятеля».

Неудивительно, что вскоре Писемский покинул службу. Покинул не без сожаления. Писал: «Принужден с моей семьей жить в захолустной деревнюшке в тесном холодном флигелишке; положим мне ничто: зачем не был подлецом чиновником, но чем же семья виновата?»

Но со своей совестью поделаться ничего не мог.

Люди такого плана, разумеется, не приживались в мире госчиновников. Вот, например, как описывал некий калужский обыватель Гусев своего брата-чиновника: «Старший брат Коля учился в Уездном училище, где и кончил курс. Поступил на службу в Палату Гражданского Суда чиновником. Жалования он в то время получал, кажется, 10 р. В молодости имел характер веселый, живой, большой танцор. Он очень много читал и тем значительно развил себя. К службе, как видно, способен был, но, кажется, ленив, а особенно не сдержан на язык к старым начальникам, но в высшей степени справедлив и честен, что, конечно, не нравилось старшим, у которых взятки были на первом плане, а особенно в суде. Почерк он имел прекрасный, грамотно и хорошо составлял (а не переписывал) бумаги. За справедливость и честность его считали неуживчивым, а собственно, его боялись. Поэтому он, переходя с места на место, в конце концов совершенно бросил службу и занялся быть ходатаем по делам меньшей братии».

«ОТ ЧИСТОГО СЛУЖИВОГО СЕРДЦА»

Обычно в самом центре города, на главной улице, стояло здание в стиле ампир, увенчанное высоченной каланчой. Там находились полицейский участок и пожарная команда. Как правило, их совмещали – ведь и пожар, и преступление требовали оперативности, отваги, ловкости, самоотверженности. Именно в этом доме с каланчой обыватель искал помощи и спасения. Если он, конечно, не убийца, не смутьян – те обходили каланчу стороной.

Хотя ничего страшного там по большому счету не было. А внешняя ампирная солидность сполна компенсировалась внутренней обшарпанностью. Калужский полицмейстер Е. И. Трояновский жаловался калужскому же городскому голове: «Имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего о командировании господина городского архитектора для тщательного осмотра крыши на здании 1 части и определения причины постоянной ее течи при бесконечных, но бесполезных починках. Помимо особого одолжения, которое Вы окажете лично мне, приказав устранить эту неисправность, переделка крыши нужна действительно для сбережения городского здания. Это единственный дом в городе (из тех, которые я знаю), где крыша течет 14 лет постоянно и приходится во время всякого сильного дождя выносить всю мебель в коридор, спасать рояль, подставляя все ведра и тазы, а так как при этом две горничные не успевают собирать в ведра воду с окон при боковом дожде с ветром, то приходится всем членам

моей семьи принимать участие в спасении имущества и хорошего пола в приемных комнатах. Надо полагать, что очень скоро провалится и весь потолок, который не мог не сгнить.

Кроме того, прошу попутно приказать осмотреть и переделать единственную кладовую в моей квартире, которую я освободил от имущества еще зимою, так как г. архитектор вполне справедливо предупредил меня о возможности ее падения вследствие образовавшихся сквозных трещин, постепенно увеличивающихся».

У головы, однако же, своих проблем хватало, тем более что полицейские числились не по городскому, а по государственному ведомству.

Впрочем, с деньгами случалась пуганица. В той же Калуге исполняющий обязанности помощника полицмейстера писал на адрес городского головы: «По закону 31 января 1906 года штаты городских Калужской городской полиции изменены с увеличением содержания в размере 13 100 рублей в год. В настоящем году от казны городу пособие на полицию отпущено только 6550 рублей, но и те, согласно требованию МВД, подлежат удержанию в уплату городского долга казне за содержание полиции. Между тем, ввиду того, что еще ниоткуда не поступало дополнительного содержания городским, израсходованы на этот предмет другие ассигнования, как то: содержание личного состава, канцелярские, сыскные. Так что не имеется сумм не только на выдачу 20 октября жалования личному составу, но даже нечем рассчитывать увольняемых теперь городских. Ввиду изложенного, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие сделать распоряжение о взносе в казначейство в мое распоряжение на содержание городских по закону 1906 года 13 100 рублей с получением настоящего отношения».

Ничего, как-то разбирались. И калужский губернатор, в свою очередь, уведомлял полицмейстера: «Что касается полицейских будок, то 13 лет назад я застал их еще достаточное количество, стоящих, по большей части, по концам улиц; те будки были старинного восьмиугольного типа с печью посредине, последняя была так велика, что оставляла по сторонам пространство по

аршину ширины, занятое нарами, куда ложились спать, жить могли только двое, ночуя по очереди. Все упомянутые будки за старостью и негодностью были уже оставлены, а служили лишь ночными притонами для бездомных гуляк, которые могли быть легко задавлены, почему я потребовал уборки их и замены новыми. Управа предпочла временное назначение квартирных денег по 2 руб. в месяц, оставив только выстроенные новые будки: у Смоленской заставы, у Каменного моста и у дома Губернатора. Желая прийти на помощь городу и городовым, я построил на засыпанных мною рву у Мясных рядов и пруда у церкви Жен Мироносиц две новые будки хозяйственным способом без всяких ассигнований со стороны Управы, употребив на это все годное от разобранных старых и все старые телеграфные столбы, отстоявшие к тому времени установленный пятилетний срок. Третья большая будка-казарма на две половины для 8-и городских построена мною же арестантским трудом на углу Нижней Садовой улицы на месте, которое в данное время Дума постановила продать».

Какой уж тут священный трепет?

Сами сотрудники полиции тоже были не особенно страшны. Вот, к примеру, отзыв одного костромича: «В девяностых годах жандармским управлением командовал генерал Виктор Ксенофонович Никольский. Был он стар, глух, дела вел адъютант. Он же проводил время больше в клубе и в гостях, играя в винт или преферанс. Благо в те времена было в Костроме “тихо” и не было “беспорядков”. В виде общественной нагрузки он был казначеем нескольких общественных организаций, что-то вроде человеколюбивого общества, ведомства императрицы Марии и тому подобного. Периодически делались ревизии, но каждый раз проверка только какого-нибудь одного общества. Много лет все было в ажуре. Но однажды сделали ревизию одновременно. Когда приходила проверка, Никольский сказал, что не ожидал одновременной проверки и потому поедет домой за деньгами другой организации. Члены ревизионной комиссии ждали возвращения генерала, ждали и, не дождавшись, разошлись. Кто-то предложил, чтобы не выносить сор из избы, собрать деньги и выставить

акт о благополучном состоянии денежных средств. Так и было сделано, благо сумма была что-то около 300 рублей. Но после этого случая Никольский подал в отставку, благо что пенсию по старости он уже выслужил».

Провинциальный полицейский не был суперменом, действовал подчас нелепо, неумело. Архангельская пресса сообщала в 1914 году: «В субботу, 15 марта г. А-в, проходя вечером по Буяновой улице, услышал чьи-то стоны. Осмотревшись, А-в заметил против магазина Березина две барахтающиеся на снегу человеческие фигуры и подошел к ним. Оказалось, на снегу мучилась болями женщина, причем растерявшийся ее муж не знал, что делать. А-в вызвал к месту случившегося городского и попросил его посодействовать отправлению роженицы в родильный приют, но городской исполнить просьбу отказался, а вызвался отправить женщину почти в бессознательном состоянии в полицию. Г. А-в в свою очередь отказался от “медвежьей услуги” городского, и женщина была отправлена им на квартиру, где и разрешилась от бремени, причем г. А-ву пришлось во время родов заменить роль повивальной бабки».

Случались проколы и по части одежды. Калужский губернатор пенял полицмейстеру: «Мною замечено, что классные чины калужской городской полиции появляются на улицах небрежно одетыми. Так, например, вчера, 10 апреля, помощник пристава 3 части Данишевский, проходя по городу вместе с приставом 3 части Денисовым, позволил себе надеть фуражку на затылок, и пристав не счел своим долгом заметить это Данишевскому. Ввиду чего предписываю Вашему Высокородию сделать замечание Данишевскому и Денисову, разъяснив им, что высшие чины полиции как в отношении форменной одежды, так и во всем прочем должны служить примером для низших чинов полиции».

А еще высшие полицейские чины были вынуждены перед каждым праздником предупредить личный состав, чтобы тот воздерживался от дурацких «поздравлений» обывателей – дескать, эта традиция давно уж себя изжила. Городовые скорбели – на подобных «поздравлениях», когда в ответ на добрые слова тебе дают пятак, а то и рубль, они недурно зарабатывали. Но начальство

было непреклонно – как можно брать деньги от того, кто завтра, может быть, окажется преступником? С каким же лицом ты его поведешь в околоток?

Борис же Зайцев вспоминал печальную историю: «Мне было одиннадцать лет, я носил ранец и длинное гимназическое пальто с серебряными пуговицами. Однажды, в сентябре, нагруженный латинскими глаголами, я сумрачно брел под ослепительным солнцем домой, по Никольской. На углу Спасо-Жировки мне встретился городской. На веревке он тащил собачонку. Петля давила ей шею. Она билась и упиралась...

– Куда вы ее тащите?

Городской посмотрел равнодушно и скорей недружелюбно.

– Известно куда. Топить.

– Отпустите ее, за что так мучить...

Городской сплюнул и мрачно сказал:

– Пошел-ка ты, барин, в ...

Я хорошо помню тот осенний день, пену на мордочке собаки, пыль, спину городского и ту клумбу цветов у нас в саду на Спасо-Жировке, вокруг которой я все бегал, задыхаясь от рыданий.

Так встретил я впервые казнь. Так в первый раз я возненавидел власть и государство».

Жизнь в городе более-менее оживала в предвкушении визитов государя или же его ближайших родственников. Тут следовало не ударить в грязь лицом и выступить на высоте. Актер П. Медведев писал о Самаре: «Сонное царство просыпается... Весь город красится, развалившиеся заборы и хибарушки тоже красят: бабы домашним способом разводят охру, мел, помелом и венником, взамен кистей, окрашивают хибарушки и заборы... Готовые вывески переписываются. Полиция приказывает снять вывеску: “Иванов, портной из Парижа”, а она висела десятки лет. Мостовые чинят, немощеные улицы ровняют, мусор убирают, плотники воздвигают величественные триумфальные ворота, арки. Полиция суетится, ругается и обязательно дерется. Городовым делается репетиция, чтобы они поспедали всюду, где повезут Его Императорское Высочество. Чтобы Его Высочество видел, что полиции в городе много – для

этого она должна перебегать ближайшими переулками. Их одевают в новые с иголки мундиры и другие принадлежности, выдаются белые перчатки... Делают репетицию лошадям, которые повезут цесаревича, чтобы не испугались и не понесли, для чего выставляют народ, арестантов, полицейских по обеим сторонам от пристани до собора: они кричат во все горло “ура! ура!” – посредине едет коляска и в ней квартальный, изображающий особу Его Императорского Высочества. Лестно!»

Костромской губернатор Стремоухов в ожидании царской семьи в 1913 году выпустил «Объявление жителям города Костромы»: «Объявляю ко всеобщему сведению, что всякое движение по реке Волге в пределах от Татарской слободы и выше на версту стоянки Царской пристани, находящейся у левого берега реки Волги против дер. Козелина, а также и по реке Костроме от наплавного моста до впадения ее в Волгу лодок частных лиц будет прекращено с 12 часов ночи на 19-е мая и до 6 час. утра 21 мая. Наблюдение за выполнением этого требования возлагается на костромского полицмейстера и костромского исправника, а также на соответствующих районных и участковых начальников береговой охраны. Движение же лодок по реке Волге ниже Татарской слободы и выше Царской пристани регулируется распоряжением чинов Судоходного надзора и местной полиции».

Но высокопоставленные гости уезжали – и все возвращалось на круги своя.

Своего рода полицейской элитой считалось сыскное отделение: Служба сыщиков была овеяна романтикой, и от них требовалось гораздо больше, чем от простых полицейских. Взять, к примеру, такой циркуляр: «Надзиратели сыскного отделения и городовые обязаны: 1) ознакомиться с планом города и местностью; 2) установить квартиры лиц, занимающихся преступными делами; 3) установить их знакомства и родственные связи; 4) установить лиц, занимающихся покупкой краденого, их местожительство и методы сбыта принятого; 5) должны знать все тайные дома терпимости и лиц, занимающихся тайной проституцией; 6) иметь строгое наблюдение за лицами, освобожденными из разных заключений; 7) по обнаружению лиц, проживающих без

паспорта, разыскиваемых судебными властями и занимающихся преступным деянием, задерживать немедленно лишь тогда, когда имеются против него улики; 8) пользоваться всякими слухами и в пределах города таковые негласно проверять; 9) все добытые сведения два раза в день (во время утреннего и вечернего рапорта) представлять начальнику сыскного отделения письменно; 10) в случае получения сведений о нахождении где-либо тайной типографии, бомбы, склада оружия – об этом немедленно и лично докладывать начальнику отделения; 11) отправляясь для розыска (обыска) в дом, надзиратели сыскного отделения должны от местной части брать околоточного надзирателя или городского, смотря по важности обыска, но допускается эта акция и без сообщения – в экстренном случае; 12) составленные протоколы предъявлять начальнику сыска; 13) каждый надзиратель должен иметь записную книжку с отрывным листом (если ему понадобится доставить в сыскное отделение кого-либо, писать в листке имя и адрес и передавать ближайшему городскому для исполнения; 14) надзирателям и городским в удостоверение своей личности иметь при себе билет за подписью полицмейстера и начальника сыскного отделения».

Не везде такое отделение существовало. Костромские полицейские, к примеру, добивались, чтобы его открыли – и всё никак. Пришлось им пуститься на крайние действия. Полицейские тайком организовали покушение на фабриканта Зотова. Дело подали начальству как политическое. Трюк сработал, в Костроме был срочно создан сыск. Больше того – городу выделили кругленькую сумму на доносчиков и провокаторов, которые в спешном порядке были завербованы. Они целыми днями торчали в трактирах и якобы выискивали там крамолу. А на самом деле просто пропивали свое далеко не малое пособие – крамола в городе отсутствовала напрочь.

* * *

Преступления, однако же, случались, и преступники существовали – как же им не быть? Среди них попадались и маститые граждане. Например Петр Ильич Чай-

ковский, композитор. Он проживал в Таганроге инкогнито у своего брата Ипполита Ильича. В этом городе он не был «публичной фигурой» и отдыхал от суеты столиц. Ипполит Ильич вспоминал об одном из визитов Петра Ильича: «В этот приезд брат был в хорошем расположении духа. Так, гуляя с нами по многолюдной Петровской улице, идя рядом с Софьей Петровной (супругой Ипполита Ильича. – А. М.), он совсем неожиданно спросил ее: “Хочешь, я сделаю сейчас сюрприз? – Начну танцевать, мне-то ничего, меня никто здесь не знает (это очень его радовало), а вот тебе, которую весь Таганрог знает, тебе будет... неловко”. И лишь стоило моей жене высказать сомнение, как брат Петр, седовласый человек, приговаривая: “Так вот же тебе... на”, выделывал при всем честном народе немислимые па».

Пойман не был, но общественный порядок нарушал.

Привлекал к себе внимание полиции и калужский обыватель К. Циолковский. Лаборант здешней гимназии писал в мемуарах: «Мне не раз доводилось видеть, как два человека пожилого возраста – один в крылатке и котелке, а другой в форме ведомства народного просвещения – горячо и громко о чем-то спорят, стоя на проезжей части дороги, чертя доказательства зонтиком на песке. Однажды спор привлек внимание не только прохожих: им заинтересовался городской и поспешил в участок за указаниями. А те двое долго чертили что-то на земле, потом пожали друг другу руки и собрались уже разойтись, но в это время появился запыхавшийся городской. Он приложил руку к козырьку фуражки и, когда спорщики ушли, сообщил собравшимся, что это были “ученый Циолковский и его превосходительство господин директор гимназии Щербаков”, постовой рассказал нам, что в участке получил приказание не беспокоить их».

Впрочем, Циолковский был тот еще нарушитель порядка. Случалось, что в ходе своих исключительно научных экспериментов он запускал воздушного змея с горящими лучинами, затем терял его, и дальше змей летел самостоятельно, рассыпая лучины по крышам калужских и боровских деревянных домов. А если обходилось без таких эксцессов, обыватель все равно пугался,

истово крестился и гадал: «Что это такое в небе – адская звезда, или чудака-учитель снова пускает свою жуткую птицу с огнем?»

В той же Калуге как-то раз чуть было не попался баснописец Иван Андреевич Крылов. Играл с приятелями в карты в кабачке, а это запрещалось. Быстро спустил всю наличность, благо ее с собой было немного, и отправился домой. Когда же вышел из трактира, то увидел, как к нему подъехала кибитка с полицейскими, ехавшими «накрывать» притон. Крылов быстро смекнул, в чем дело, и, не выходя на главную улицу, улизнул, что называется, дворами. Хвастался потом, что проигрыш его здорово спас. Ведь если бы игра шла хорошо, сидел бы он в том кабачке и дальше.

В городе Шуе одно время содержались пленные иностранцы: «В доме купца Чулкова со двором и кухней, с пекарней и столовой, со всеми приспособлениями для помещения военнопленных турок». Шуйские жители к ним отнеслись вполне доброжелательно. Возникла лишь одна серьезная проблема – как им мыться. Горожане всячески отказывались «омывать их в своей бане» из боязни «осквернения магометанами». Но решили и этот вопрос – устроили военнопленным «два чулана, в которых находятся печи».

Но самый почетный преступник из тех, кому определили для жизни провинцию, содержался в Калуге. Это был пленный Шамиль, легендарный имам Дагестана и Чечни. Историк Д. Малинин так описывал калужское «сидение» Шамиля: «На углу следующего пересечения Золотаревской улицы, против Одигитриевской церкви, находится дом Шамиля, где ныне помещается городское четырехклассное училище. Шамилю (родился в 1797 г. в Дагестане) местожительством была назначена Калуга 11 сентября 1859 г., когда он ехал уже в Россию. Для него подыскали дом – особняк подполковника Сухотина за 900 руб. в год. Это трехэтажное здание простого казенного типа, с интересными, впрочем, по замыслу барельефами, только боковой стороной выходит на улицу; фасад же и надворные постройки находятся внутри двора, обнесенного невысокой каменной оградой; только один лишь флигель, представляющий со-

бой одноэтажное каменное здание, лицевым фасадом выходит на улицу. В трех этажах дома, соединявшихся один с другим каменной лестницей, было 13 комнат, расположенных коридорной системой. Лучшие комнаты бельэтажа предназначены были для самого Шамиля; одна из них – диванная палатка – была с наружной дверью, выходившей на балкон с восточной стороны дома, к которой прилегал довольно большой тенистый сад. (Теперь дом подвергнут переделке.)

Шамиль прибыл 10 октября 1859 г. с сопровождавшим его полков. Богуславским на 3 экипажах с конвоем. Его встретили комендант и губернская администрация. Но дом не был еще готов, почему Шамиль остановился в гостинице “Сoulona”. Интерес жителей к нему был велик, и литографированные портреты Шамиля и членов его семьи были раскуплены нарасхват. Народ толпился перед гостиницей. Переезд в дом совершился 12 ноября. Шамиль остался доволен помещением и вниманием калужан, приславших ему на новоселье хлеб-соль.

В январе 1860 г. прибыла семья Шамиля; всего с прислугой 22 человека (2 жены, 2 сына, 4 дочери, 2 зятя и 2 невестки – 12 человек). Жены имама жили в верхнем этаже и держались в затворничестве. На содержание пленников отпускалось 15 тыс. руб. в год, не считая найма, ремонта и обстановки дома. Кроме того, государь подарил Шамилю прекрасную коляску и четверку лошадей. Шамиля развлекали. Его знакомили с семейными домами высшего общества, возили на балы, концерты, в цирк, театр. Он посещал школы, больницы. Театр он любил, а его присутствие очень занимало публику. Но более 10 часов Шамиль не засиживался. В гимназии имама более всего интересовали естественный и физический кабинеты, а в последнем особенно магнит. Шамиль любил детей; добрым кунаком его был предвод. дворянства А. С. Щукин. В своей жизни грозный кавказец был прост, в пище умерен; вставал очень рано; обычно занимался чтением арабских рукописей или Корана. 26 августа 1866 г. Шамиль в дворянском собрании в торжественной обстановке принес присягу на подданство и верность императору, а осенью ездил в С.-Петербург на свадьбу Александра III».

Уклад жизни имама вызывал любопытство. Одна молитва чего стоила: «Молитву они выполняли на газоне... Прислуга, сопровождавшая их, расстилала ковер, на который они становились на колени, сняв обувь. Музыка (в саду), если она играла, на это время умолкала. Публика из любопытствующих останавливалась и смотрела, как они молятся. По окончании молитвы они опять смешивались с публикой, продолжая гулять до времени, которое сами назначали».

Сам Шамиль относился с симпатией к жителям города и даже утверждал, что назначение ему для жительства Калуги признает монаршей милостью.

Действительно, могли бы и в Сибирь отправить.

* * *

В Астрахани до сих пор стоит архитектурный памятник – дом Федорова или «Дом со львами». Действительно, ворота этого особняка украшены парочкой диковатых львов.

Владелец же того шедевра был блистательной, притом вполне преступной личностью. Один из современников так отзывался о нем: «Кирилл Федоров происходил из пономарских детей Тамбовской губернии. Кое-как обучившись грамоте, он случайно добрался до Астрахани и определился в казенное Соляное Правление, вначале сторожем, потом писцом. По прошествии некоторого времени, изобличенный в похищении из архива, за взятку, документов, он был наказан плетьюми, но, несмотря на это, оставлен за свою опытность на службе, в том же правлении... Однажды он буквально обобрал свою воспитанницу, отец которой перед смертью назначил Федорова опекуном. Начался процесс, и дело дошло до очистительной присяги. Федоров в белой рубахе, с черной свечой в руках, босыми ногами прошел в собор при звоне колоколов и дал присягу, что денег не получал. Эта церемония совершена при громадном стечении народа, по всем правилам очистительной присяги. Но вслед за тем совесть его так заговорила, что деньги он возвратил».

Впрочем, не все сходило Федорову с рук. Однажды,

например, он оскандалился во время очень важного мероприятия – званого обеда, который предприимчивый делец давал сенаторам. Один из современников об этом писал: «Марта 25. Служил в соборе преосвященный Платон. Кушал он и сенаторы у титулярного советника Кириллы Федорова. При сем случае произошло следующее приключение. Коллежский ассессор Сергей Уваров-Юдин, пришедши в дом Федорова, протиснулся в тот самый покой, где находились и сидели гости, и, обратившись к сенаторам, говорит: ваше высокопревосходительство, знаете ли вы, у кого обедаете? Хозяин сего дома есть государственный вор! Все, что видите и что будете кушать, это он украл у государя. Услышав сие, все онемели и не знали, что на сие ответить. Образумившись, сенатор фон Визин сказал ему: “Поди, братец, вон!” “Я пойду, сударь, – ответил Юдин, – но вам стыдно, что вы, блюстители правосудия, будете кушать у государственного вора” – и с тем вышел. Вот сцена! Мало, думаю, в целом столетии сего случается».

Но таких артистов было не так много. В основном преступления в русской провинции носили характер негромкий, а преступниками были не ученые с писателями, не колоритные личности, а обыкновенный обыватель – «мужичонка-лиходея – рожа варешкой».

Вот, например, один из документов – выражаясь современным языком, заявление Родиона Андреева, служавшего Троице-Сергиевой лавры: «Сего марта 24-го дня пополуночи в 12-м часу, шедши я из Лавры домой, нес свои сапоги взятые лаврской семинарии риторики у учеников для починки и, поровнявшись против питейного дома, называемого Залупиха, что в Кокуеве, увидел вышедших из онога Сергиевского посада цеховых голову Ивана Никитина Щербакова, Герасима Малютина и Михаила Загвоскина, которые, остановивши меня, проговаривали такие слова, что-де им велено таких людей ловить, которые производят мастерство, а потому и требовали чтоб я оные сапоги заложил во оном питейном дому и их поил вином. А как я им оных не дал, то они и начли у меня силою отнимать, почему и принужден я был от них бежать, из коих Щербаков и Малютин, догнавши меня у самого моего двора, стали держать, а

Загвоскин начал меня бить палкою, которая имеется и теперь у меня, и они, конечно б, меня прибили до полусмерти, если б не сбежались на крик соседи».

В другой раз, в городе Самаре, во двор дома 4 по улице Саратовской зашел бродячий фокусник-китаец. Продемонстрировав свое искусство, он, как водится, снял шапку и подошел к публике. На что один из зрителей, плотник и член Союза русского народа, закричал:

– Иностранцы еще и деньги в России собирают!

А после слов перешел к действию – избил несчастного факира и вышвырнул его за ворота.

Тамбовские губернские ведомости в 1884 году сообщали: «16 сего июня в 8 часов вечера тамбовский мещанин Алексей Казаков и крестьянин Тамбовского уезда села Сурены Козьма Решетов, разбив на части лежавшее около Девичьего моста одно колено чугунной водопроводной трубы и сложив в мешки, намерены были этот чугун и молоток, коим разбивали трубы, похитить, но были тут же пойманы и доставлены в Первую часть, откуда, вместе с протоколом дознания, переданы к мировому судье».

Во множестве случались и «экономические» преступления. Пресса Иваново-Вознесенска, в частности, сообщала: «Вчера... разбиралось дело крестьянина... Галкина, обвинявшегося в беспатентной торговле вином в своей съестной лавочке... Галкин продал Галицину полбутылки казенного вина за 33 коп. Это было замечено городовым Петрушкиным, вследствие чего у Галкина был произведен обыск и найдены одна четверть казенного вина и еще остаток в графине. Обвиняемый не признал себя виновным, говоря, что в это время сильно пьянствовал и что продавал ли он Галицину полбутылки “казенки” или нет, – не помнит... Больше всего Галкин настаивает на своем пьянстве, что отрицает городовой Петрушкин».

Кто побогаче – откупался или нанимал местную звезду адвокатуры. Были, например, в Самаре некие купцы Аржановы – одна из богатейших самарских фамилий. Неудивительно, что этим господам иной раз позволялось то, что вряд ли бы простили рядовому обывателю. Однажды, например, один из тех Аржановых, будучи

сильно пьян, ударил кучера. Тот подал в суд. Естественно, миллионера оправдали полностью. Главный довод адвоката звучал так:

– Господин Аржанов не мог ударить кучера уже потому, что был в таком подпитии, что не смог встать с саженью.

На что же рассчитывал кучер? Видимо, на откуп Аржанова, на предложение взять деньги и отозвать заявление.

Кучеру не повезло – прогадал.

Правда, не всё вокруг монастыря было столь благостно. Писатель В. Маслович отмечал в записной книжке: «Теперь мы в Белгороде. Здесь праздник и ярмарка, а потому и довольно шумно. Въезд в город очень изрядный: 14 или 15 церквей делают хороший вид. Мы нашли постоялый, порядочный дом. Какая редкая сцена перед нашими окошками! Дорого бы за нее заплатил какой-нибудь вельможа-римлянин; а нам она ничего не стоит. Два русских, пьяный старикашка, а другой молодой трезвый парень, неизвестно за что поссорились и дело дошло до драки. Подобно двум разъяренным атлетам, вцепились они в волосы друг другу, глаза их сверкали... Молодость взяла верх и повалила на землю старость, однако и старость не плошала и до тех пор не выпустила из рук волос своего победителя, пока не пришло несколько человек их разнять. Град бранных слов, прямо русских, раздался в ушах зрителей. Война между атлетами возобновилась и в новом виде. Начался славнейший поединок на палках, ребра обоих трещали, так плоско щелкали они друг друга! Вряд ли история гимнастических игр имеет столь славный пример единоборства, какой случился в Белгороде подле женского монастыря».

А вот душещипательное происшествие, случившееся в городе Архангельске: «Приехавшие на Маргаритинскую ярмарку специалисты по части вытаскивания кошельков из чужих карманов продолжают с успехом гастролировать в Архангельске. На днях из кармана молодого рабочего “гастролер” вытащил кошелек с деньгами, в котором находилось около 40 рублей. Обнаружив кражу, парень заплакал, так как в украденных деньгах заключался весь его навигационный заработок.

Хотя кража и была обнаружена вскоре, но вор, несмотря на тщательные розыски, обнаружен не был».

В том же Архангельске «под настилом Варакинской пристани, почти ежедневно после 12 часов дня собираются “любители” – игроки в карты. Играют на щепках, застеленных рогожей, и благодаря всегда примыкающим к игре темным личностям, многие проигрывают порядочные суммы. В игре часто принимают участие и дети, играют газетчики, нередко проигрывая не только дневной, но и весь свой месячный заработок. Иногда в азарте проигрываются часы, обувь и одежда».

Там же: «В субботу, 13 сентября на рынке произошла драка. Торговец Ябл-ов, поссорившись из-за чего-то с одной торговкой, облил ее кипятком из чайника. “Вскипяченная” торговка не осталась в долгу, и в результате побоища он, избитый, с проломленной головой, и она – ошпаренная».

И еще архангельские происшествия: «13 марта архангельский окружной суд разобрал дело о крестьянине И. К. Толченове, написавшем письмо на имя ярославского купца Байбородина, в котором обозвал его “сукиным сыном” и т. п. Мировой судья приговорил Толченова к 7 дням ареста при полиции».

«9 января между 7 и 8 часами вечера в молочную лавку кр. Архангельского уезда Владимира Зотова, находящуюся по Петербургскому пр. между почтамтской и Успенской ул., вошли трое неизвестных мужчин и с револьверами в руках потребовали у находившегося в лавке хозяина поднять “руки вверх”, затем вынули из кассы выручку 25 руб. и, захватив с собой несколько табаку и конфет, вышли из лавки, где, сев в запряженную лошадь, скрылись».

«27 января мещанка София Бородавко выпустила со двора своего дома принадлежавшего ей поросенка и спустя полчаса обнаружила поросенка убитым. Стоимость поросенка 40 рублей. О случившемся заявлено полиции».

Как говорится, и не знаешь – то ли плакать тут, то ли смеяться.

Особая опасность, разумеется, подстерегала в местах, будто бы специально отведенных для преступни-

ков – это были рынки, ярмарки, трущобы. «Северный край» извещал: «На улицах Ярославля на каждом шагу попадаются нищие. В редком городе можно встретить столько нищих, выпрашивающих подаяние и пристающих к прохожим. В Ярославле нищие как-то особенно бросаются в глаза.

Обыватели жалуются на это. Их беспокоят попрошайки...

Среди нищих есть дети. Голодные, оборванные, дрожащие от холода, дети протягивают руки и вымаливают “копеечку”. Только одну копейку. Дети раздражают прохожих, надоедают им, неотступно преследуя их по всей улице. Тоненькими голосами, со всевозможными припевами, они бегут за “господами” и не отступают даже от палки».

Не отставал и Ростов-на-Дону: «Группа жителей Богатынского поселения обратилась к полицмейстеру с коллективным заявлением о беспорядках, происходящих в последнее время на Богатынском спуске. Хулиганы среди бела дня нападают на прохожих, грабят и избивают их. Жители же не решаются принять меры к задержанию этих лиц, терроризировавших все местное население, из боязни быть избитыми или даже убитыми. Дерзость хулиганов доходит до того, что они нападают на целые обозы едущих с берега драгилей и тащат с дрог клади. Ночью же обыватели буквально трепещут за свою жизнь и не решаются выходить из квартир».

Подобные «черные дыры» на карте российского провинциального города – вовсе не редкость. Если в Ростове-на-Дону это была Богатыновка или Богатый Колодезь, то в Саратове – Глебучев овраг. Литератор Орешин описывал жизнь той клоаки: «Глебучев овраг через весь Саратов тянется: от Волги до Вокзала, и живет в овраге сплошная нищета. Розовые, голубые, синие домишки друг на друге как грибы поганые, лепятся на крутосклонах, того и гляди, верхний домишко на своего нижнего соседа загремит. В летнюю пору банная вода посередине оврага течет, растет колючий репей, свиньи в воде лежат, ребята на свиньях верхом катаются. Весенняя вода в овраге разливалась саженой на пять, бурлила, клокотала, гудела и несла через весь город дохлых собак, кошек,

бревна, поленья, щепу. Овражные жители охотились за щепой и поленьями. Народишко бедный, домишки рваны, заборишки худы – жили, как птицы».

Оставил свои впечатления о Саратове и Николай Чернышевский: «Разнокалиберная мелюзга всех полунищенских положений, вне прочно установившихся бедных сословий, вся и очень честная и не очень честная бесприютная мелюзга от актеров жалчайшего театришка до вовсе голодных бездомников – все это мелкое, многочисленное население города, разорывшееся от непосильных подушных податей и постоянно находившееся под угрозой попасть в работный дом, где заключенные занимались тяжелым трудом и подвергались истязаниям».

10 ноября 1859 года в реке Волге рядом с Костромой было обнаружено тело молодой мещанки Александры Клыковой. Установили, что Клыкова покончила с собой из-за того, что над ней издевалась свекровь. Так как прообразом города Калинова, в котором происходит действие пьесы А. Н. Островского «Гроза», считается именно Кострома, то многие подумали, что именно история с несчастной Александрой дала толчок писательскому замыслу. Но подвела хронология – Островский сочинял свою «Грозу» с июля по октябрь все того же 1859 года. Похоже, этот случай был типичным для середины XIX века.

Несладкой была жизнь и у провинциальных полицейских. А еще «веселее» жилось представителям судебных органов. Взять, к примеру, преступление, совершенное в городе Костроме священником П. Розановым. И три показания свидетелей.

Первое: «Три года тому назад я была на вечеру у Алексея Васильевича Птицына, где находились свящ. Петр Розанов и священнич. жена Екатерина Понизовская. Во время танцев последней свящ. Розанов при проходе в дверях, где стояла Понизовская, дотронулся двумя пальцами до цветка, бывшего на голове Понизовской, на что последняя крайне обиделась и начала крупно укорять свящ. Розанова в том, что он позволяет себе делать дерзости, и начала беспокойно ходить по комнате. Свящ. Розанов некоторые ее движения передразнил, что более всего расстроило Понизовскую».

Второе: «Три года назад, хотя я и был на вечере у Алексея Васильева Птицына вместе со священником Петром Розановым, но ссоры между священником Розановым и Понизовской вначале никакой не заметил. Оскорбления Розанов Понизовской никакого не наносил. Все были в веселом настроении духа, и если священник Розанов допустил шутку относительно головного убора г. Понизовской, то всеми и принято было это за шутку, а не за оскорбление. И если Понизовская по своей щепетильности приняла это за оскорбление, то она отлично, помимо священника Розанова, поносила не совсем лестными словами кое-кого и других, бывших на вечере и выпивших хотя бы по одной рюмке... На вечере у Птицына священник Розанов был не выпивши или пьян, а просто в веселом настроении духа».

Третье: «На брачном пиру в моем доме были священники Павел Понизовский и Петр Розанов и вместе с прочими гостями, которых было человек 40, сидели за ужином в общей комнате. За ужином я не видал и не слышал ничего неприятного между свящ. Розановым и священнической женою Екатериной Понизовской, бывшей тут же, хотя разговор по-видимому был общий. Священник Понизовский, не дождавшись конца ужина, ушел домой, а священник Розанов досидел до конца, но был только несколько выпивши, явился же в мой дом совершенно трезвым. В отдельной комнате, где были новобрачные, был после ужина и священник Розанов. Входявши в эту комнату, я сразу заметил, что между свящ. Розановым и свящ. женою Понизовскою нет настоящего мира. По обязанности хозяина, я пожелал им этого мира, на что Понизовская ответила: “Это ничего не значит. Это все одно, что пыль на руке, сдунул – и ничего нет”».

И вот три года идет суд, показатели свидетелей разнятся – они и в момент собственно преступления мало что соображали по причине горячительных напитков, а тут и подавно не помнят вообще ничего. А начальство напирает, требует результатов расследования.

При этом далеко не все преступления доходили до полиции. Случалось, что они замалчивались как дела семейные. Вот, например, костромской обыватель пи-

сал в дневнике: «Сегодняшний день, двадцать первое марта, вербное воскресенье, останется у меня навсегда в памяти. Чуть было не свершилась над нами беда, и великая: едва не вырвала смерть одного из членов нашей семьи, а могло даже случиться – и не одного. Первый рок выпадал на долю нашей сестрицы Маруси, но, видно, чья-нибудь молитва дошла до Господа, и беда миновалась. Конечно, я тут не мог быть главным виновником случая, но только был свидетелем посторонним и, конечно, могущим отклонить, но почему-то не сделал этого. Вот за эту-то ошибку я мог всю жизнь мучиться как преступник.

Дело было так: по обыкновению, с утра, помолясь за заутреней и обедней, после домашнего чая Петя отправился в лавку, а несколько спустя приехал и я с папашею. Папаше в двенадцать часов нужно было ехать к губернатору на совещание, а потому я с Петею и поехал из лавки раньше на полчаса. Я остался у тетушки Александры Дмитриевны, зашел ее поздравить с именинником – сегодня день Саши, брата. Выпивши у нее чашку чаю, возвратился домой в двенадцать часов дня.

Вслед за мною в мою комнату вошел брат Петя и, подойдя к форточке, сделал выстрел из револьвера, взятого им у Улегина. Я тотчас же ему стал говорить, что это дурные и опасные шалости, но он не принял это к сведению. На первый выстрел пришли Маруся и Миша из своих комнат: первая и стала Петю просить повторить выстрел. Но я не видел тут опасности, не протестовал против этого, и он выстрелил. Но вот собирается третий раз, роковой. Но револьвер почему-то несколько заартачился, а потому он взял его в руки и стал перевертывать барабан с пулями, дуло же направлено было от себя, а напротив, несколько в стороне, стояла Маруся у стола. Курок был поднят, а потому барабан, дойдя до известной точки, должен был получить удар от курка, что и совершилось.

Выстрел – и Маруся схватилась тотчас за бок, момент ужасный. Сердце у меня замерло, на вопросы, что с нею, она говорит, что “здесь больно”, указывая на живот, на ней лица не было. Братья также испугались, но я на них не смотрел, вся мысль моя была о ней, тотчас я ее послал

в ее комнату раздеваться, а сам бросился вниз звать Анну Ивановну и бабушку и готовить лошадей за доктором. Но, сойдя на первую лестницу, я уже встретил старух, они бежали вверх. После они говорили мне, на мне лица не было, но разве в подобную минуту можно быть иначе?

Сбежавши с одной лестницы, мне тотчас пришла мысль, что револьвер у Пети, и как бы он в испуге с собою что-нибудь не сделал, а потому бросился к нему – он был у Маруси, в кругу всех, но я все-таки револьвер убрал. Благодаря Создателю, оказалась с нею только одна контузия – на животе сорвало кожу. Пуля пробила платье, юбку и даже сорочку, пуля ударилась о металлическую палочку в корсете, которую погнула, и затем вскользь пробила сорочку и контузила живот, и упала к ее ногам на пол».

Такие вот провинциальные страсти.

* * *

Пойманного преступника сопровождали в арестантскую. Заводилось дело, шло следствие, поспешал приговор. Приговор подчас зверский, бесчеловечный, связанный с телесными наказаниями. Д. Мамин-Сибиряк писал о своем детстве в Екатеринбурге: «Порой в жизнь училища, нарушая течение будней, врывались городские драматические события. Одними из таких были публичные наказания преступников на Хлебном рынке... На эшафоте столпилось какое-то начальство, заслоняющее нас от преступника. Все обнажили головы – значит, священник совершает напутствие. Потом начальство раздается и Афонька с каким-то азартом схватывает свою жертву, ведет ее по ступенькам и привязывает к позорному столбу. На груди у преступника висит черная дощечка с белой надписью “убийца”. Он теперь на виду у всех. Бритая голова как-то бессильно склонилась к правому плечу, побелевшие губы судорожно шевелятся, а серые большие остановившиеся глаза смотрят и ничего не видят. Он бесконечно жалок сейчас, этот душегуб, толпа впивается в него тысячьо жадных глаз, та обезумевшая от этого зрелища толпа, которая всегда и везде одинакова...

Афонька театральным жестом отвязывает его, на ходу срывает арестантский халат и как-то бросает на черную деревянную доску, приподнятую одним концом, – это знаменитая “кобыла”. Афонька с артистической ловкостью захлестывает какие-то ремни, и над “кобылой” виднеется только одна бритая голова.

– Берегись, соловья спущу, – вскрикивает Афонька, замахиваясь плетью.

Я не буду описывать ужасной экзекуции, продолжавшейся всего с четверть часа, но эти четверть часа были целым годом. В воздухе висела одна дребезжащая нота: а-а-а-а-а!.. Это был не человеческий голос, а вопль – кричало все тело».

Шли шестидесятые годы XIX века.

Тогда же, а именно в 1861 году, муромские газеты сообщали: «Сегодня было здесь освящение вновь выстроенного при тюремном замке храма во имя Божией Матери Утоления печали. Храм этот сооружен иждивением купца Алексея Васильевича Киселева, и сколько он хорош в наглядном отношении, то более того замечателен в духовно-нравственном». Несколько хуже выглядел муромский же арестный дом: «Помещение совершенно не соответствует цели: на концах коридора помещены отхожие места – запах несется по коридорам и проникает в камеры, которые полны им, несмотря на открытые окна. Кухни совсем нет, вместо нее устроена в коридоре, недалеко от входа русская печь – в смысле экономии место это удобно, но способствует распространению дурного запаха и растаскиванию грязи».

Впрочем, не все в арестном доме заслуживало критики: «Арестованные были на прогулке чисто одеты, несмотря на праздничный день все трезвые. Вообще порядок, насколько он зависит от смотрящего, вполне удовлетворительный».

Случалось, что сотрудники тогдашних пенитенциарных учреждений шутковали. Владимир Гиляровский, например, цитировал один своеобразный документ, выданный некому оборванцу: «Проходное свидетельство, данное из Ростовского Полицейского Управления Ярославской губернии административно высланному из Петербурга петербургскому мещанину Алексею Гри-

горьеву Петрову на свободный проход до г. Енотаевска, Астраханской губернии, в поверстный срок с тем, чтобы он с этим свидетельством нигде не проживал и не останавливался, кроме ночлегов, встретившихся на пути, и по прибытии в г. Енотаевск явился в тамошнее полицейское управление и предъявил проходное свидетельство».

– Почему именно в Енотаевск? – спросил Гиляровский у несчастного пешехода.

– Да вот в Енотаевск, чтобы ему ни дна ни покрышки.

– Кому ему? Енотаевску?

– Нет, чиновнику.

– Какому чиновнику?

– Да в Ростове. Вывели нас из каталажки, поставили всех в канцелярии. А он вышел, да и давай назначать кого куда. Одного в Бердичев, другого в Вологду, третьего в Майкоп, четвертого в Мариуполь. Потом позабыл город, потребовал календарь, посмотрел в него, потом взглянул на меня да и скомандовал: «В Енотаевск его пиши». И остальных по календарю, в города, которые называются почуднее, разослал... Шутник.

Но, в общем, настроение было довольно благостное. Сидельцев жалели – «несчастненькие». Архангельский губернатор Сосновский на одном заседании выступил с пространной прочувственной речью: «Современная тюрьма не только не способствует исправлению преступника, но, скорее, оказывает разрушающее влияние на его душу и тело. Главным злом тюремного режима является, без сомнений, вынужденная праздность, оказывающая на заключенных самое развращающее влияние... Привыкнув к праздной тюремной жизни и научившись при совместном пребывании с более опытными и порочными арестантами всем тонкостям преступного ремесла, выпущенный на свободу преступник нередко возвращается в тюрьму в качестве рецидивиста.

Последнее явление ярко наблюдается, между прочим, в Архангельской тюрьме, где содержится целый ряд лиц, пребывающих здесь почти безвыходно с 14–15-летнего возраста и совершенно отвыкших от честного труда...

К сожалению, вследствие крайней тесноты и не-

удобств тюремных помещений, а отчасти и ввиду отсутствия в г. Архангельске, по местным условиям, достаточного спроса на ремесленные изделия, не представляется возможным развить в Архангельской тюрьме сколько-нибудь широко занятие арестантскими ремеслами. С гораздо большим успехом труд их мог бы быть применен к внешним работам, а также к таким проектированным уже в Архангельской тюрьме операциям, как содержание ассенизационного обоза и заготовка дров (реек) для продажи, с доставкой их с лесопильных заводов и распиловкою.

Независимо от сего, для использования рабочих сил местных арестантов, состоящих в значительном большинстве из крестьян, и для приучения их здоровому, полезному и продуктивному труду, представлялось бы, по его мнению, в высшей степени желательным организовать при Архангельской тюрьме сельскохозяйственные работы.

Такие работы, помимо непосредственного исправительного влияния на арестантов, имели бы при правильной постановке еще и ту выгодную сторону, что давали бы возможность заключенным из крестьян возвратиться по отбытии наказания на родину к своему семейному хозяйству вооруженными необходимыми знаниями и ознакомленными на практике с усовершенствованными способами земледельческой культуры, в которых особенно нуждается крестьянское хозяйство в Архангельской губернии».

Другое дело, что подобные слова довольно редко становились делом.

А между тем в русской провинции существовали свои легендарные тюрьмы. Самая знаменитая сейчас – Владимирский централ – в то время не была особенно известной. Она была основана в 1783 году по указу самой Екатерины Великой «О суде и наказаниях за воровство разных родов и заведении рабочих домов во всех губерниях». Правда, поначалу статуса тюрьмы у современного «централа» не было – так, «рабочий дом».

Ситуация изменилась в 1838 году, когда Николай I утвердил «Положение о Владимирской арестантской роте». В соответствии с тем положением выпущен был

циркуляр: «В состав арестантской роты поступают из Владимирской губернии к работе:

а) беглые бродяги;

б) осуждаемые к ссылке в Сибирь на поселение за маловажные преступления, не наказанные рукой палача и имеющие от 35 до 40 лет;

в) осуждаемые на крепостную работу на срок, также за маловажные преступления или заключенные в рабочий дом;

г) арестанты, пересылаемые через Владимир в Сибирь на поселение по маловажным преступлениям и за бродяжничество, не наказанные палачом и знающие мастерство».

Учреждение же под названием «Временная каторжная тюрьма – Владимирский централ» образовалось только в 1906 году.

Зато страх наводила другая тюрьма, расположенная всего в нескольких десятках километрах от Владимира – суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Суздальская тюрьма была основана в 1766 году и называлась застенком «для безумствующих колодников». Ум искушенный может в этом сразу усмотреть истинный профиль учреждения – здесь содержались люди, признанные политически опасными. Соответственно предназначению генерал-квартирмейстер Вяземский составил и правила содержания «безумцев»:

«Для караула... означенных колодников посылать из Суздальской канцелярии из городской роты... одного унтер-офицера и солдат 6 человек.

Содержать оных безумных в отведенных от архимандрита двух или трех покоях, однако, нескованными.

Писать им не давать.

Кто станет сумасбродничать... посадить оногo в покой, не давая ему несколько времени пищи.

На пропитание и одежду производить от коллегии экономии каждому против одного монаха, как по штату положено».

В конце того же 1766 года сюда прибыли первые десять «безумствующих». Застенок начал свою жизнь.

Самым, пожалуй, знаменитым из его сидельцев был декабрист Федор Шаховской. За ним «следили неот-

лучно» – запрещали видеться с супругой, читать книги (в том числе и собственные). Шаховской объявил голодовку. Но в те времена эта акция еще не вызывала сочувствия – не прекращая своей голодовки, он спустя три недели скончался.

Зачем он жил? Зачем страдал?
Зачем свободы не дождался? –

вопрошал поэт Некрасов. Увы, его вопросы были риторическими.

В Спасо-Евфимиевской тюрьме оказывались такие важные преступники, как лидер отечественных хлыстов Василий Селиванов, создатель этакого филиала американского течения иеговистов штабс-капитан Николай Ильин, известный в свое время монах-самозванец Стефан Подгорный. А в 1892 году сюда чуть было не попал писатель Лев Толстой.

Эта история напоминает сюжет из жизни диссидентов семидесятых годов прошлого столетия. Толстой написал статью «О голоде», где излагал весьма крамольные по тем временам тезисы: «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты... Зачем скрывать то, что мы все знаем, что между мужиками и господами лежит пропасть? Есть господа и мужики, черный народ... Зачем обманывать себя? Народ нужен нам только как орудие. И выгоды наши (сколько бы мы ни говорили противное) всегда диаметрально противоположены выгодам народа... Наше богатство обуславливается его бедностью, или его бедность нашим богатством... Все ясно и просто, особенно ясно и просто для самого народа, на шею которого мы сидим и едим».

Естественно, что в русской прессе отказались опубликовать этот памфлет. Тогда Толстой связался с зарубежными изданиями, и его статью с радостью опубликовала одна из лондонских газет.

Разразился скандал. «Московские ведомости» возмутились: «Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда... Граф открыто проповедует программу социальной революции, повторяя... фразы о том, как “богатеи пьют

кровь народа, пожирая все, что народ имеет и производит»».

А во властных эшелонах стали обсуждать – не поместить ли «обезумевшего» графа в соответствующее учреждение. Но, к счастью, на такие крайности решили все же не идти. Зато тема Суздальской тюрьмы нашла свое пристанище в трудах писателя – тот, очевидно, интересовался ее бытом и порядками. Вот, например, маленькая цитата из «Фальшивого купона»: «В Суздальской тюрьме содержалось четырнадцать духовных лиц, все преимущественно за отступление от православия; туда же был прислан и Исидор. Отец Михаил принял Исидора по бумаге и, не разговаривая с ним, велел поместить его в отдельной камере, как важного преступника».

Видимо, сам Лев Николаевич непроизвольно содрогался, выводя такие строки – ему была бы уготована как раз такая камера.

Некоторые из узников надеялись на скорое освобождение, писали челобитные царям. Из челобитных выходило, что посажены они сюда несправедливо, и надо было, если бы по чести и по совести, наказывать совсем других людей: «За открытие правды и за соблюдение Вашего императорского указания невольно под ответом находился, потом был отпущен на свободу, но когда опять попытался вступить за безвинных, то опять встретил угрозы».

Челобитные, увы, не действовали.

И совсем особый колорит русским провинциальным городам придавали этаплируемые преступники. «Столыпинских вагонов» еще не было, и заключенных гнали прямо по почтовым трактам, через губернские города, через центральные их части. Жительница города Орла О. Н. Голковская писала о 1890-х годах: «Глубокое впечатление оставлял на нас – детей – провод по улицам арестантов: их вели в кандалах, сторожа отгоняли от них прохожих вглубь тротуаров, не позволяли останавливаться и смотреть на арестантов, а не дай Бог кому-нибудь дать арестованному монету или кусок хлеба, тогда городские грубо отталкивали и ругали того, кто дал подаяние. Звон этих кандалов так и остался на всю жизнь в моей памяти».

В этом отношении лидировала, разумеется, Владимирка – главный путь из Центральной России на восток, в Сибирь. Про нее было сложено множество песен, включая знаменитых «Колодников» на стихи А. К. Толстого:

Спускается солнце за степи.
Вдали золотится ковыль.
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.

Динь-бом, динь-бом,
Слышен звон кандалный.
Динь-бом, динь-бом,
Путь сибирский дальний.
Динь-бом, динь-бом,
Слышно там и тут, –
Нашего товарища
на каторгу ведут...

Сочувствие преступникам в то время было общим местом.

Житель города Владимира Н. Златовратский вспоминал: «Была уже ранняя весна, когда вдруг распространился в нашем городе слух, что с вокзала погонят партию “кандалных” поляков в наши арестантские роты... Это было зрелище для нас новое и поразительное. Мы, прячась за калитками и заборами соседних домов, могли, к нашему изумлению, видеть, как прошла по “Владимирке” целая партия человек в тридцать таких же почти юнцов, как мы сами, и эти юнцы, окруженные конвоем с ружьями, крупно и бойко шагая, в ухарски надетых конфедератках, шли с такой юношески беззаветной и даже вызывающей бодростью».

А Исаак Левитан посвятил той дороге картину «Владимирка». Его возлюбленная (и тоже художница) Софья Кувшинникова вспоминала: «Однажды, возвращаясь с охоты, мы с Левитаном вышли на старое Владимирское шоссе. Картина была полна удивительной тихой прелести. Вдали на дороге виднелись две фигуры богомолок, а старый покосившийся голубец со стертой дождями иконой говорил о давно забытой старине. Все выглядело таким ласковым и уютным, и вдруг Левитан вспомнил, что это за дорога...

– Пойдите. Да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда.

Присев у подножия голубца, мы заговорили о том, какие тяжелые картины разворачивались на этой дороге, как много скорбного передумано было здесь, у этого голубца. На другой же день Левитан с большим холстом был на этом месте».

Так создавались великие произведения.

* * *

Главное же назначение каланчи – слежение за пожаром. Ради высокой смотровой площадки строилась вся эта красота. Вот приказал, точнее даже намекнул костромской губернатор: «Не мешает здесь приличной каланчи, которая бы вместе и служила городу украшением и оградила каждого обывателя безопасностью во время пожарных случаев». И в 1827 году на главной площади возникла потрясающая каланча – до сих пор это один из популярнейших символов города.

Правда, техническое оснащение пожарных в той же Костроме оставляло желать лучшего. Один из современников писал: «Пожарные обозы были исключительно на конной тяге. Кроме пожарных машин было много бочек для подвоза воды. В случае большого пожара вывозилась пожарная паровая машина, для разогрева которой требовалось часа два. На пожар части неслись с большим шумом, так как весь обоз был на железных шинах. Впереди мчался верховой на белом коне. Ездил он лихо, но однажды на полном ходу при повороте в переулок лошадь поскользнулась, а верховой упал и, ударившись головой о каменную тумбу, тут же умер. Приехав на пожар, пожарные, прежде всего, старались снять крышу и бить стекла в домах. Это называлось выпускать огонь, который благодаря тяге сильно развивался. Подготовки пожарных никакой не было, и только в первых годах двадцатого века начали борьбу с пожарами иными средствами... Однако до революции в Костроме не было ни одного пожарного автомобиля, и по-прежнему по улицам носились пожарные бочки на

конной тяге. Конечно, никаких химических средств для тушения не применялось, также не было в употреблении противогазов».

Пожарные дружины были большей частью добровольные. Один из жителей подмосковного Богородска описывал жизнеустройство подобной структуры: «Пожарные мы были настоящие. В случаях тревоги нас оповещали по телефону и сообщали, где приблизительно горит. Мы имели полное снаряжение и именовались лазалщиками. У нас, у Авксентия, Коли Буткевича и у меня были брезентовые костюмы, каски с гребнем, спасательные пояса с веревками, пожарные топоры и рукавицы. Словом, все, что полагается настоящему пожарному. Мы работали не только в городе, но выезжали и в уезд за 10–12 верст вместе с городской пожарной машиной.

В сухую погоду ездили на велосипедах, а в сырую и зимой на линейках. Работали мы добросовестно. Дома нас не останавливали, только одерживали от излишней горячности, чтоб без толку в огонь не лезли. Но бывало всяко.

Удивительно и интересно было раскрывать железные крыши. Пока тушение пожара не обеспечено водой, нельзя ни открывать окон, ни крыши. Пусть огонь “томится”... Когда же увидите, что воды достаточно, то раскрываете крышу и пускаете огонь кверху. Тогда очаги огня становятся виднее, и их легче подавить с меньшим расходом воды. Как только вода поступала в большом количестве, мы лезли по лестницам на крышу и начинали ее раскрывать. Дольше всего копаешься с первым листом. А потом отрываются целые полосы. Надо следить, чтобы огонь тебя не охватил. Снизу тоже посматривают и в случае чего направляют на тебя струю.

Как-то поздней осенью стоял уже морозец, и ночью случился пожар в нашем переулке ближе к железнодорожному проезду. Довольно быстро огонь ликвидировали, сгорел только чердак. Но я был совершенно мокрый, и, когда возвращался домой, на мне все замерзло. Руками я не мог пошевелить и даже шагал с трудом. Дома нельзя было снять одежду, и меня посадили к плите “оттаивать”. Обошлось, не простудился».

Простым «топорником» служил в городе Ярославле

знаменитый репортер Владимир Гиляровский – еще до начала своей журналистской карьеры. Впоследствии он вспоминал: «Ужинаю щи со снятками и кашу. Сплю на нарах. Вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, с седеющей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и прикрепляю топор. Оказывается, горит на Подъяческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Приставляем две лестницы. Брандмейстер, сверкая каской, вихрем взлетает на крышу, за ним я с топором и ствольщик с рукавом. По другой лестнице взлетают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу, рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь дым, спустился с пустым рукавом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня... Я отрезан и от лестницы и от брандмейстера, который стоит на решетке и кричит топорникам:

– Спускайтесь вниз!

Но сам не успевает пробраться к лестнице и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей... Невдалеке от него вырывается пламя... Он отчаянно кричит... Еще громче кричит в ужасе публика внизу... Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша, сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке... Он висит над пылающим чердаком... Я с другой стороны крыши, по желобу, по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу:

– Лестницу сюда!

Подползаю. Успеваю вовремя перевалиться через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося... Кладу рядом с решеткой... Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя задымленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки.

Меня окружает публика... Пожарные... Брандмейстер,

придя в себя, обнял и поцеловал меня... А я все еще в себя не придю. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев-Карагеоргий, которого я издали видел в городе... Брандмейстер докладывает ему, что я его спас.

– Молодец, братец! Представим к медали».

Об образовании ярославской дружины вспоминал житель этого города С. В. Дмитриев: «Городская управа через местные газеты объявила о желательности учреждения в Ярославле добровольно-пожарного общества и просила всех желающих прийти в управу на учредительное собрание (месяца и года не помню).

Народу явилось много, в том числе и я.

Городской голова, купец-мукомол И. А. Вахрамеев, открыл собрание и просил граждан учредить в помощь городу добровольное пожарное общество... Желающих нашлось много. Записался и я. Членский взнос был определен в 3 рубля в год; взносы от 10 рублей и более давали уже звание “почетного члена Общества”. Назавтра можно было приходиться в Управу оформляться, то есть вносить членский взнос и записываться, если желаете, в команду Общества».

Сам Дмитриев занимал там высокую должность: «Я... был уже начальником отряда трубников: в моем ведении были трубы, бочки, рукава и вода. Купец Варахобин, самодур, но любитель пожарного дела, купил нам очень хорошую ручную пожарную трубу, а впоследствии и десятиильную паровую. Работой нашей весь город был доволен. Только мы приезжали на пожар, публика уже успокаивалась. “Ну, добровольцы приехали, теперь, слава Богу, гореть не дадут!” – обыкновенно гудели одобрительно в толпе».

Огнеборцы пользовались уважением. В частности, владимирская пресса сообщала в 1908 году: «8 сентября, в день открытия Владимирского городского добровольного пожарного общества состоялся парад команды охотников означенного общества... После молебна Владимирский губернатор И. Н. Сазонов поздравил команду с праздником и поблагодарил ее за полезную деятельность и работу на пожарах... а дружинники отправились в свой пожарный сарай, где им был предложен завтрак».

Именно в этом «сарая» открыли первую во Владимире телефонную станцию – неудивительно, если учесть основную специфику этого места.

Пожары в городах, по большей части деревянных, были бедствием нешуточным. В полицейских протоколах и газетах то и дело появлялись сообщения такого плана: «Около 11 часов вечера 18 августа 1913 года в Соломбале загорелся чердак двухэтажного деревянного дома крестьянина Дмитрия Либерова. Дом, несмотря на принятые меры, сгорел до основания».

Поэт Мариенгоф описывал крупный нижегородский пожар: «Горели дома по съезду. Съезд крутой. Глядишь – и как это не скovyрнутся домишки. Под глиняной пяткой съезда, в вонючем грязном овраге – Балчуг: ларьки, лавчонки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копеечная торговля».

Именно там, на пожаре, Мариенгоф впервые увидел Шалыпина: «Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм, желтые перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца... Стоял он как монумент из серого чугуна. И на пожар-то глядел по-монументовски – сверху вниз. Потом снял шляпу и заложил руки за спину. Смотрю: совсем как чугунный Пушкин на Тверском бульваре».

Пожары, кроме всего прочего, были еще и зрелищами.

Власти не ограничивались организацией пожарных дружин – занимались просвещением и пропагандой. Составлялись, например, инструкции для населения. В частности, в 1879 году исправник Лучкин предоставил муромскому голове список охранных мер: «Я полагаю со своей стороны к числу мер предосторожности от пожаров ввести следующее: дома по Рождественской (ныне Ленина. – А. М.) улице, выходящие на Предтеченскую площадь и все при них надворные постройки во втором квартале и в улице перекрыть железом, для чего бы и назначить срок, хотя бы годичный... В тех домах, где склады спирта и водочные заводы, обязать владельцев на чердаках домов завести и держать постоянно чан с водой, вместимостью не менее четырехста ведер... Запретить на дворах первого и второго кварталов ку-

рение табаку как посторонним лицам, так и хозяевам, прислуге и всем живущим. Не худо бы по Московской улице в центре первого и второго кварталов обязать домовладельцев иметь в течение всего года сторожей – одного на день и другого на ночь или, по крайней мере, одного для надзора по улице и во дворах, когда они отворены, которым впоследствии может быть составлена инструкция о их правах и обязанностях».

Случались, правда, такие страшные пожары, при которых бессильными были и огнеборцы, и жесткие правила. Писательница Л. П. Шелгунова вспоминала о страшном самарском пожаре 1850 года: «Жители целыми толпами бежали к реке Самаре и стремительно погружались в нее, спасаясь от огня. Несчастливым и там не всегда приходилось укрыться. Вдоль берега реки тянулись хлебные амбары, которые не замедлили загореться, и пламя быстро перешло на суда, не успевшие заблаговременно выбраться в Волгу; к несчастью, почти все суда были погружены смолою, которая горела и превратила реку в настоящий ад».

Но подобные бедствия, к счастью, были не частыми.

Разумеется, в сфере пожаротушения, как и в других областях городской жизни, не обходилось без курьезов. Один из них описывал костромич С. Чумаков: «Обоз Добровольного пожарного общества помещался на Покровской улице рядом церковью Покрова. Помещение и каланча были деревянные. В 1910 году дом этот загорелся, а затем и каланча, на которой стоял дежурный. Так как пожар не был “предусмотрен”, на каланче не оказалось даже веревки, и дежурный должен был прыгать с большой высоты. Спрыгнул он удачно. После восстановления здания вместо каланчи использовали колокольню Покровской церкви; удалось это путем больших хлопот, так как духовенство считало, что колокольня существует только для благолепного звона, а не для пожарных надобностей».

Что ж, всё в полном соответствии с известным правилом: сапожник ходит без сапог.

В ЗАБОТЕ О СИРЫХ И УБОГИХ

В провинциальных российских больницах ставили эксперименты на людях. Да-да, именно так. Ординатор тамбовской земской больницы Ф. Сперанский отчитывался: «Мы назначали “прославленный” в истекшем году бородавочник (чистотел) по чайной ложке через час. Ожидаемых благоприятных результатов не получено, несмотря на продолжительное употребление его больными. Наблюдала случаи отравления, выразившиеся общей слабостью, упадком деятельности сердца и общим тоскливым настроением. Оставление приема средства быстро восстанавливало прежнее самочувствие. Доктором Лениным чистотел применялся при резке матки. Результат был также отрицательным, не только в смысле излечения, но даже и улучшения болезненного процесса».

Ничего не поделать – прогресс требует жертв.

Тамбовская больница, кстати говоря, была одной из прогрессивнейших. Главный врач П. Баратынский писал: «Настоящий рентгеновский аппарат, уже третий в больнице, поставлен фирмой Saints в начале 1913 г. и обошелся в 2900 рублей, бывший на его месте аппарат Всеобщей компании электричества как негодный снят. Настоящий аппарат, по согласному мнению работающих врачей, удовлетворяет современным научным требованиям».

Это же надо – сотню лет назад в Тамбове нос воротили от рентгеновских устройств! Этот негодный, тот негодный...

Вошла в историю бесплатная, то есть благотворительная ярославская больница. Чем? Теми же экспериментами на живых людях. «Ярославские губернские ведомости сообщали: «Руководствуясь опытами знаменитого профессора Пирогова, 30 числа минувшего апреля в больнице Ярославского приказа общественного призрения произведена была операция без боли крестьянину Новгородской губернии... Федорову Дмитрию Федорову – отнятие ниже колена берца правой ноги при помощи вдыхания воздуха, напитанного парами эфира.

Операция совершалась с помощью оператора Подгаевского младшим врачом Приказа общественного призрения Шенбер; при сем находились: старший врач Приказа общественного призрения Шульц и гг. врачи Флагге, Дрейер и Шольфинг. Для этого был употреблен прибор, тщательно изготовленный из большого бычьего пузыря, коим не более как в 5 минут больной был приведен в бесчувственное состояние.

Операция кончилась с полным успехом так, что когда кончили перевязку и больной начал приходить в чувство самопознания, то спросили его: «Что он чувствовал?» На это он отвечал: «Ничего». «Отрезали ли ему ногу?» Он с улыбкой начал говорить: «Полноте шутить, я ничего не слышал, да и теперь ничего не чувствую». После чего положили его на приготовленную кровать, где он объявил, что чувствует тяжесть в груди и боль в правой ноге, прося притом, нельзя ли ему дать еще того, что находится в пузыре. Когда ему отказали, что все вышло и более нет, то он с прискорбием вздохнул, как бы жалея, что ничего не осталось, и потом остался в довольно спокойном состоянии.

Главнейшие условия сей операции состоят в следующем: отнятие берца правой ноги с перевязкою продолжалось не более пяти минут, в продолжении всего этого времени больной решительно не чувствовал никакой боли, и теперь уже 10 дней как он сам, так и рана находятся в отлично хорошем состоянии».

Мог ли несчастный Федоров не выдержать наркоза? Запросто. И, разумеется, никто за это не стал бы отвечать. Но, к счастью, обошлось. Просто в Ярославле по-

явился одноногий наркоман, познавший счастье во «вдыхании воздуха, напитанного парами эфира».

По принадлежности больницы могли быть самыми разными – земскими, Красного Креста, городскими и пр. У всех у них, однако, было одно свойство – ориентация на неимущих и малоимущих. Исключение – частные «оздоровительные комплексы», например таганрожская водолечебница Давида Гордона. Ее реклама встречалась далеко за пределами города: «Санатория и водолечебница под управлением Д. М. Гордона. Открыты круглый год. Мягкий приморский климат. Усовершенствованное оборудование. Лечение всеми методами, режимом и диетой больных нервных, обмена и прочих хронических. 20 комфортабельно обставленных комнат от 15 рублей в месяц при полном пансионе. Центральное водяное отопление с вытяжной вентиляцией, электрическое освещение. Два врача. Летом – кумыс, минеральные воды, теннис, зимой – каток, бильярд. Проспекты бесплатно». Здесь же находился и ларек с оздоровительной продукцией. На ларьке было написано: «Кумыс. Кефир. Мороженое. Фруктовые воды. Чанышев». Чанышев – разумеется, фамилия владельца этого ларька.

Но подобных заведений было мало.

В основном больной со средствами нанимал докторов и лечился дома, в привычных условиях, в кругу семьи. Поскольку состояние медицины было тогда сильно ниже нынешнего, не было громоздких механизмов, агрегатов, операционных. Скальпель, бычий пузырь для наркоза, пила для ампутации – все это легко приносилось с собой. Да, покои иного больного не отличались стерильностью. Но и лечебницы – тоже. Вот, к примеру, описание брянской городской больницы, сделанное гласным городской думы А. Баженовым в 1898 году:

«1) Воздух в больнице, вследствие отсутствия правильной вентиляции, настолько тяжел, что нужно удивляться, чем больные там дышат. Происходит это оттого, что в общих палатах лежат труднобольные и тут же в палате совершают все естественные надобности. Форточки больные не охотно отворяют, боясь холода, особенно больные в лихорадочном состоянии, а в некоторых

помещениях нет даже и форточек. Для вытяжки испорченного и для притока свежего воздуха необходимо устроить правильную вентиляцию во всей больнице с таким расчетом, чтоб на каждую кровать вытягивало в час не менее 5 куб. саж. воздуха и столько же поступало свежего, причем скорость вытягивания не должна быть более 2-х футов в сек.

2) Для отопления каменной пристройки устроена центральная печь, которая, потребляя массу дров, тепла почти не дает и потому отапливаемые ею помещения зимою не могут быть заняты. Необходимо устроить новую печь, уничтожив старую.

3) Ватерклозеты настолько неудовлетворительны, что из верхнего клозета нечистоты просачиваются в нижние...

4) В больнице нет ваннных комнат, что крайне вредно отзывается как на успехах лечения больных, так, в особенности, на чистоте и опрятности содержания их. Всем известно, в каком виде поступают чернорабочие в больницу, и при отсутствии ванной комнаты их приходится класть со всей их грязью и со всеми находящимися на них насекомыми, которые расползаются по палате и переселяются на других больных. Кроме того, ванны необходимы и как лечебное средство. Устройство водоснабжения и ваннных комнат обойдется, по исчислению инженера-технолога Боровича, в сумме до 800 руб.

5) В больнице нет отдельного помещения для заразных больных, и такие больные помещаются вместе с незаразными, почему возможна передача болезни от соседа к соседу. Необходимо имеющийся при больнице флигель освободить от находящихся там старцев, которые помещены не для лечения, а лишь в силу того, что по дряхлости они требуют за собой особого ухода, например, разбитые параличом и одержимые старческим недугом, и потому было бы желательно устроить их хотя и при больнице, но на ином, более дешевом содержании, а занимаемый ими флигель приспособить для заразных больных».

Конечно, не везде был такой ад крошечный. Вот, к примеру, результат губернаторской инспекции земской больницы города Смоленска: «Обозрев 9 этого месяца

Смоленскую городскую больницу, считаю нужным сообщить губернской земской управе о том положении, в котором я нашел это заведение.

Пища и хлеб больных найдены мною изготовленными вполне удовлетворительно, из продуктов свежих и доброкачественных.

Больничные камеры содержатся чисто и опрятно, но воздух, как во всех камерах, так и в коридорах до того поразительно дурной, что не только губительно действует, как заявил мне старший врач больницы, на здоровье больных, в особенности одержимых тифом и другими острыми болезнями, но даже и на прислугу, так что из последней, несмотря на все принимаемые предосторожности, еженедельно заболевает по нескольку человек.

Один уже обход больничных камер вполне ясно убеждает, что дурной воздух в них происходит не столько от недостатка вентиляции, сколько от далеко недостаточного количества и дурного качества как носимого больными, так и постельного их белья. Первое из них нашел я более чем наполовину ветхим и пропитанным едкими веществами; второе, простынь, наволочек и одеял байковых и канифасных, – в малом количестве, да и то большей частью изодранными; тюфяки – грязными, и, от огромных на них едких пятен, провонявшими».

Но больные, разумеется, считали это мелочью. Им в больнице большей частью нравилось. Еще бы – перьевые подушки, шерстяные одеяла, отапливаемые уборы, ванна, здоровое и калорийное питание – суп, молоко, каша, масло, мясо, курица, яйца, селедка, кисель и чай с сахаром. Это лишь приблизительный список больничных роскошеств, о которых большая часть пациентов у себя дома и мечтать не смела.

В большинстве своем провинциальные больницы не выделялись ни размерами, ни какой-либо особенной архитектурой. Взять, к примеру, Торжок, где первая больница появилась два столетия назад. Инспектор Тверской губернской врачебной управы с прискорбием рапортовал: «В городе Торжке городская больница содержит шесть кроватей. В одной находится пять больных арестантов, из коих один получает по 8 копеек в

сутки кормовых денег, прочие питаются подаянием. Таким образом, больничного пищевого продовольствия вовсе нет, нет также и одежды больничной и никаких других принадлежностей».

Дело пошло на лад лишь в 1842 году, когда предприниматель Ефрем Остолопов презентовал родному городу собственный деревянный дом «для помещения в оном городской больницы». После чего под руководством доктора П. Цирга дом перенесли в новое место – повыше, да и поспокойнее – подальше от суеты. И уже в 1851 году в обзоре медицинской части Торжка значилось: «Больница в Торжке расположена на сухом месте, но далеко от центра Торжка. Здание деревянное на каменном фундаменте с мезонином (подарено купцом Остолоповым) на 20 штатных коек. Содержится в примерной чистоте и опрятности. Гардероб находится в избытке, так как поступило еще белье из холерного барака. Продовольствие больных весьма исправно. Заведующий штаб-лекарь Ф. О. Марциевич. Попечение и лечение в весьма удовлетворительном состоянии».

Разумеется, лечебницы губернских городов были побольше, чем в уездном Торжке, да и оборудование у них получше. Там не приходили в радость от поступления «белья из холерного барака». В костромской земской больнице размещались не только рентгеновский, но и физиопроцедурный кабинеты. Одна только бактериологическая лаборатория занимала пять комнат. И все это роскошество чудесным образом сосуществовало с дураками-фельдшерами и санитарями. В той же костромской земской больнице доктор Богомолец велел проклизмировать некоего семинариста. Его и проклизмировали – только по ошибке не водой, а серной кислотой. Несчастный в мучениях скончался, врач подал в отставку, а с фельдшера – как с гуся вода.

Кстати, в той же больнице случился пусть и безобидный, но все же досадный курьез. Один из обывателей писал: «Доктор медицины Чернов, окончивший Военно-медицинскую академию, практиковал в городе и одновременно заведовал гинекологическим отделением губернской земской больницы. Когда освободилось место губернского врачебного инспектора, Чернов изъ-

явил желание занять это место. В связи с этим с ним захотел познакомиться губернатор Мякинин. В разговоре он стал указывать на сложность работы, вообще читать наставление. На это Чернов ответил: “Не беспокойтесь, Ваше превосходительство, все будет в порядке, нас на мякине не проведешь”. После этого разговор прекратился, а невпопад сказанная пословица решила участь Чернова – назначение не состоялось, и он больше никогда не приглашался к Мякинину».

К сожалению, подобную дурь ни рентгенами, ни физиопроцедурами не компенсируешь.

Многое держалось на подвижниках. В частности, стараниями тульского врача Викентия Игнатъевича Смидовича (отца известного писателя Вересаева) в городе открылось новое, невиданное учреждение – бесплатная лечебница для проходящих, по-современному поликлиника. Газета «Тульские губернские ведомости» поместила рекламу: «Общество тульских врачей сим имеет честь известить жителей г. Тулы, что 1 ноября в 1 час пополудни имеет быть молебствование по случаю открытия лечебницы для проходящих больных в доме аптекаря Баниге на Киевской улице. Прием же больных для подания им советов, а беднейшим бесплатный отпуск лекарств, назначается ежедневно со 2-го числа ноября, от 11 утра до 1 часу пополудни».

Сам Викентий Игнатъевич начал трудиться в новом учреждении, а затем, когда докторский опыт позволил, возглавил его. Одновременно с этим доктор занимается так называемой общественной деятельностью. А просторы для такого занятия были немалые. В частности, в докладе земскому собранию безо всякого лукавства говорилось: «Все больничные здания до последней мелочи требуют перестройки, невозможно оставлять в них больных, так как их жизни грозит опасность от ожидаемого падения потолка и разрушения стен».

Особняком стояли учреждения благотворительного общества «Красный Крест». В этих больницах служба сочеталась со служением. Руководители строго следили не только за работой своих сотрудников, но и за моральным обликом. В частности, при смоленской больнице Красного Креста действовали двухлетние курсы

сестер милосердия, при этом слушательницам тех курсов строго запрещалось посещать театр, кинематограф и Лопухинский увеселительный сад.

Общество «Красный Крест» было основано в середине позапрошлого столетия в Женеве для облегчения участи пострадавших во время войн и стихийных бедствий. Прошло совсем немного времени, и «Красный Крест» распространился по всей Европе, в том числе России – чего-чего, а войн и бедствий здесь всегда хватало. В частности, в 1876 году отделение российского общества «Красный Крест» возникло во Владимире. Задачи его были таковы: «содействие отечественной администрации в уходе за ранеными и больными воинами во время войны и доставления им как врачебной, так и др. рода вспомоществования. В мирное время: а) принятие мер к обеспечению своих потребностей для военного времени, б) оказание увечным воинам возможной помощи, в) помощь пострадавшим от общественных действий».

Спектр действий членов общества – самый разнообразнейший. В частности, в 1908 году «Владимирские губернские ведомости» сообщали: «Издания Общины святой Евгении. Художественные открытые письма Красного Креста. Иллюстрации к поэме Богдановича “Душенька”, Толстого, силуэты “сцены из помещичьей жизни” его же, силуэты Гермельсена к басне “Разборчивая невеста”; сцены из детской жизни Линдеман; “Игрушки” по рисункам Александра Бенуа; “4 времени года” и “Дни недели” Конст. Сомова; виды городов и местностей России по рисункам художников и с фотографий».

Все это – благотворительные акции сестер.

В другой владимирской общине Красного Креста, Георгиевской, решили возвести целый больничный город. Образцовый во всех отношениях и прекрасный на вид: «В г. Владимире, при Владимирской св. Георгия общине сестер милосердия российского общества Красного Креста, частью на средства главного управления, частью на собранные на месте пожертвования сооружается больница Красного Креста на 25 кроватей. Местные деятели, желая связать устройство этой больницы с воспоминаниями об исполнившемся 300-летию

Царствующего Дома Романовых, возбудили ходатайство о присвоении означенной больнице наименования «Больница в память 300-летия Царствующего Дома Романовых»».

За небольшое время жители Владимира собрали на больницу 114 тысяч рублей. И в 1914 году архиепископ Владимирский и Суздальский Алексей произносил на церемонии освящения торжественную речь: «У русского народа есть один прекрасный обычай. В то время, как народы западные, в тех случаях, когда они желают ознаменовать какое-либо выдающееся событие в своей жизни, воздвигают монументы, строят музеи и прочее, русские люди в тех же случаях созидают богадельни, храмы, строят высокие колокольни. Я глубоко сочувствую тем, кому пришла в голову мысль ознаменовать 300-летие царствования Дома Романовых учреждением такого памятника любви, каким является больница».

Больница появилась очень кстати – началась Первая мировая война.

Сестры трудились на совесть. Врач Н. Воскресенский писал: «Спрос на сестер для практики у больных весьма велик.. сестры работают с крайним напряжением своих сил и, однако, правление не знает ни одного случая выражения неудовольствия против сестер. Самые лестные отзывы письменно свидетельствуют о хорошей подготовке сестер, об их выносливости, терпении и смирении.

Трудно оценить значение той жертвы, которую приносят сестры на пользу страждущего человечества. Они не только бодрствуют день и ночь у постели больного и вместе с ним переживают все тревоги и опасения, они жертвуют своим собственным здоровьем и своей жизнью в этой борьбе с болезнями. Не одно только постоянное общение с больными и возможность передачи заразы, но и другие моменты: отсутствие движения на свободе, лишение свежего воздуха, недостаточность телесного и душевного отдыха, покоя и сна подрывает здоровье сестер милосердия».

Руководила этим учреждением старшая сестра Анна Троицкая. Один из современников писал о ней: «Всегда исполнительная во всех требованиях, какие касаются ее деятельности, она в то же время зорко следит за испол-

нительностью других сестер, разумно внушая и приучая их нести добросовестно известные обязанности, присущие их званию. Собственным примером научала сестер самому деликатному обхождению с больными, беспристрастно относясь ко всякому, кто приходил в лечебницу для врачевания своих недугов».

На смену Троицкой вскоре пришла другая старшая сестра, Александра Лазарева. О ней тоже остались весьма благосклонные отзывы: «Г. Лазарева дисциплинировала сестер-учениц, приучала к внимательному и вежливому обращению с больными, следила за каждым шагом их, предупреждая и удерживая от нетактичных действий, побуждала их к работе и наставляла там, где замечала, что сестры-ученицы затрудняются в чем-нибудь при исполнении своих обязанностей».

Самоотверженность владимирских сестер подчас переходила все границы. Например, заведующая аптекой Елена Миловидова скончалась от того, что проводила очень много времени на своем рабочем месте и постоянно дышала вредными испарениями от препаратов (а они в то время в изобилии содержали ртуть и прочие сильные яды). Но этот факт огласке, разумеется, не предавали.

Сохранился трогательный список личных пожертвований жителей Владимира больнице Красного Креста. Процитируем его (естественно, с купюрами):

«Потомственный почетный гражданин П. Т. Седов – 6 белых хлебов и 20 фунтов черного хлеба ежедневно;

купец И. К. Павлов – 7 белых хлебов ежедневно;

купец А. Ф. Петровский – 1 фунт чаю и 5 фунтов сахара ежемесячно;

купцы Прокофьевы – 20 фунтов керосина и ½ фунта чаю ежемесячно, плюс перловая крупа, мука и сахар;

купцы Муравкины – 303 кочна капусты, 24 меры картофеля, свеклы, 210 корней петрушки и 10 корней сельдерея;

М. Ф. Морозова – для платьев сестер 80 аршин черного пастору, 125 аршин декатону и 1 пуд ваты;

купец Н. Д. Свешников – кожи для 18 пар башмаков;

иваново-вознесенский купец Дербенев – 117,5 аршин беленой китайки, 127 аршин бязи;

торговый дом Голубевых – 25 фунтов очеса;
Д. Г. Бурьлин – 606 аршин миткаля;
С. И. Сеньков – 2 штуки беленого полотна и 1 пуд
льняного очеса;

В. И. Кнопф – книги для медицинской библиотеки».
И так далее, и тому подобное.

Неудивительно, что здешняя больница Красного
Креста считалась образцовой.

Отдельная тема – лечебницы при санаториях (а та-
ковые в российской провинции, естественно, существо-
вовали). Самый, пожалуй, известный – Мацеста, замыш-
лявшаяся поначалу как элитарный буржуазный курорт.
Слово «Мацеста» в переводе с языка убыхов означает
«огненная вода». Дело в том, что здешние грязи и воды
оказывают на кожу человека не совсем приятное воз-
действие – кожа краснеет, начинается зуд. Но таким об-
разом излечиваются многие страшные болезни.

Впервые на свойства здешней «минералки» обра-
тил внимание английский путешественник Д. Белл. Это
произошло в 1837 году, но только в 1893 году за этими
источниками закрепили, наконец, официальный ста-
тус вод целебных. И лишь в 1902 году здесь выстроили
первое санаторное здание – с чугунными ваннами, тру-
бами и котлом для подогрева воды.

Правда, местные жители давно уже такие ванны при-
нимали – они их выкапывали в грунте, прямо над ис-
точниками.

В 1912 году компания акционеров получила здеш-
ние источники в аренду. Нельзя сказать, чтобы достав-
шиеся им угодья были очень привлекательны. Один из
путешественников так описывал Мацесту того времени:
«На источнике построены какие-то убогие балаганы из
досок, и нет решительно никакого приюта для больных.
Простолюдины живут под открытым небом, даже не в
палатках, а цыганским табором. На кострах кипятят во-
ду для чая и готовят какое-то кушанье. В одном балагане
поставлено несколько ванн. Воздух такой, что пробыть
в нем даже несколько минут не каждый сможет, и грязь
вопиющая...

А вот еще балаган для общего купания... Купаются все
вместе со всякими болезнями. Мужчины купаются в од-

ну часть дня, женщины – в другую. Доктора нет. Иногда бывает студент-медик. Всем заведует сторож. Стыд и срам, а не курорт».

Однако же акционеры принялись за дело с бешеной активностью. Они заглядывали далеко-далеко в будущее – срок аренды составлял 75 лет. Общество стало возводить ваннные павильоны и гостиницы. Но не прошло десятой части срока, как власть переменялась, и мацестинское дело национализировали в соответствии с декретом «О целебных местностях общегосударственного значения».

* * *

Для провинциального врача самым страшным были эпидемии, чаще всего холера. Отсутствие элементарного санитарного образования, санитарной культуры способствовало распространению этого страшного недуга. К примеру, газета «Архангельск» писала: «Уже с первыми пароходами в Архангельске появилось много пришлого люда. Деревня выбрасывает в город лишние рабочие силы, лишние руки. Авось, в городе они найдут себе заработок».

В большинстве это народ здоровый, в расцвете сил. Наряду с этим элементом начинают прибывать в Архангельск разные калеки, Богом убитые люди. Здесь они кормятся все летнее время и кое-что сберегают на зиму. Не пройдет недели-двух, все перекрестки рыночной площади будут облеплены этими убогими; некоторые из них займут наиболее выгодные, в смысле размера добротных даяний, места и будут “сидеть” на них в течение всего лета.

С окончанием весенних полевых работ к нам хлынет новая волна пришлого люда. Здесь этот люд, численностью до нескольких тысяч, размещается по частным квартирам, главным образом в слободе 1-й полицейской части города. В одной-двух маленьких комнатках до 30–40 человек. Некоторые предприимчивые домовладельцы сдают под квартиры даже сараи без окон и печей. Всякий угол берется с бою.

Если летом в Архангельске появится холера, то в указанных квартирах она найдет себе богатую пищу».

Холера и вправду в тот раз появилась. Но ей дали достойный отпор: «27 сентября начальник губернии, в сопровождении врачебного инспектора, подробно осматривал холерный барак на Быку, состоящий в заведовании доктора А. Хлопинского, причем нашел все в полном порядке и сделал распоряжение о снабжении находящихся в бараке больных теплым бельем... В видах предупреждения заноса холерной эпидемии в Поморье по распоряжению г. начальника губернии организован осмотр пассажиров и команд на всех отходящих из Архангельска морских пароходах и поморских парусных судах. Кроме того, на каждом пароходе Мурманского пароходного общества командирится на весь рейс фельдшер с необходимыми медикаментами и дезинфекционными средствами».

Но, к счастью, подобные полувоенные меры были докторам без надобности. Провинциалы болели нечасто, а если болели, то в основном сами вылечивались. Один из современников писал, к примеру, об уникальном жителе подмосковного Богородска: «Одной из уважаемых личностей города был часовых дел мастер по фамилии Назар, мастерская которого находилась на центральной улице. Особенностью этого человека было то, что он был единственным жителем города, который купался зимой в проруби на Клязьме, где женщины полоскали белье. Одно время он бросил такое купание и почувствовал себя плохо. Врачи посоветовали ему возобновить купания, что он сделал и прожил до глубокой старости».

Иной раз случались странные метаморфозы. В частности, публицист И. Колышко писал о Торжке: «Особенного рода болезней, обуславливаемых местностью города, нет. Двадцать лет назад, по собранным статистическим данным, оказалось, что обращающие на себя болезни – каменная болезнь и рак, появление коих нередко... Но вот произошло что-то странное. Или судьба смиловалась над новоторами, или статисты 60-х годов поусердствовали, или наоборот, нынешние поленились. Рак и каменная болезнь совершенно исчезли. Так, по крайней мере, можно судить из медицинского отчета новоторжскому земскому собранию за 1883 год.

О случаях заболевания этими болезнями не упомянуто там ни слова. Главные же, по цифровым данным, отрасли болезней – катары желудка, дыхательных путей и горла».

Не подарок, конечно, но все-таки лучше, чем рак.

Иной раз случались курьезы. Один из жителей города Костромы писал: «Жена костромского губернатора Шидловского заболела: консилиум врачей постановил сделать анализ мочи – дело в те времена не особенно распространенное. Наутро идущие по улице костромичи могли наблюдать служителя губернской канцелярии, идущего с двумя четвертями из-под водки (меньшего объема посуды, очевидно, не нашлось), на дне которых была в небольшом количестве жидкость желтого цвета. На четвертях были наклейки, на коих четким писарским почерком значилось: “Утренняя моча ея превосходительства госпожи костромской губернаторши”, на другом же аналогичная надпись, только “вечерняя”».

Пациент – дело тонкое. Особенно провинциальный.

* * *

В провинциальных городах помимо собственно лечебниц находилось множество схожих по профилю учреждений. В частности, детские сады или ясли, как их чаще называли в то время в память о евангельских яслях, где родился Христос. Одно из первых подобных заведений открыла в 1872 году в городе Туле мать известного писателя В. Вересаева. И дала объявление в «Тульские губернские ведомости»: «С разрешения попечителя Московского учебного округа я открываю 1 ноября этого года на Большой Дворянской улице, в собственном доме, детский сад от 3 лет до 7. Елизавета Смидович».

Несколько позже ясли стали появляться по всей России, в том числе в уездных городах. В частности, в Таганроге на одной из главных улиц располагались ясли для брошенных детей. Там содержались маленькие таганрожцы до достижения ими четырехлетнего возраста, после чего поступали в другое благотворительное учреждение – так называемый детский приют.

Подобные учреждения обычно возникали по инициативе снизу. В частности, в 1904 году владимирские дамы отправили письмо на имя губернатора: «Признавая крайне нужным и своевременным прийти на помощь детям и матерям в виду затянувшейся тяжелой и кровопролитной войны с Японией, лишаящей семьи их отцов-кормильцев, кружок дам г. Владимира имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о разрешении открыть в гор. Владимире первые “Ясли” для детей дошкольного возраста».

И в скором времени газета под названием «Старый Владимир» сообщала: «В настоящее время общество в содержимом им на Спасской улице дневном приюте “Ясли” призревает, одевает и кормит до 50 детей от шестинедельного до 8-летнего возраста. Дети получают в соответствии с возрастом молоко, чай с белым хлебом и дважды в день горячую пищу, благодаря поступающим пожертвованиям они снабжаются одеждой и обувью. Специально приглашенная учительница занимается со старшей группой начатками грамоты, обучает их хоровому пению, молитвам, рукоделию. Вечером после ужина старшие уходят бодрые и веселые домой... а за грудными и ползунами заходят матери».

Для сирот повзрослее существовал Воспитательный дом. Это одновременно скорбное и жизнеутверждающее учреждение даже вошло в фольклор. Одно время по всему так называемому Среднему Поволжью пели печальную тягучую песню:

Во Симбирском городе,
Э-эй, да во Симбирском, скажем, городочке,
Э-эй, в воспитательном доме,
В воспитательном доме,
Э-эй, да в воспитательном, скажем, домочке,
Эх, чего видел, вам я скажу,
Чего видел, вам я скажу.
Э-эй, да видел девушку я в наряде,
Эх, лет семнадцать Дуняшу,
Лет семнадцать Дуняшу,
Э-эй, да лет семнадцать, скажем, лет восемнадцать.

И дальше – о том, как эта Дуняша красиво ходила, какое красивое платье носила, какой прекрасный сарафанчик на ней был, какие «разкозловы башмаки», да как

она плясала и глядела на море. Откуда именно взялось в Симбирске море – не совсем понятно. Однако на том море плавало пять сотен кораблей, и в каждом находилось по пять сотен человек.

Такая вот научная фантастика.

Дурной славой пользовался так называемый приют Ермакова, находившийся в городе Муроме. «Это благотворительное заведение открыто при богадельном доме и устроено г. Ермаковым со всеми удобствами; отличаясь наружною обстановкой, оно, вместе с тем, может похвалиться и в воспитательном отношении: при нем находятся няньки, кормилицы, доктор и за исправным состоянием его постоянно наблюдает благородная дама. К сожалению, при всем родительском попечении о несчастных детях, они скоро расстаются с жизнью... Хотя это явление весьма грустно, однако открытый у нас приют по справедливости можно отнести к одному из благодетельнейших заведений».

В 1901 году та же газета извещала: «Этот приют, весьма симпатичный по идее, страдает существенным недостатком – высокой смертностью помещаемых в него детей».

В чем были причины этой дьявольской закономерности, установить так и не удалось.

При этом сам городской голова Алексей Ермаков был личностью положительной. Еще при его жизни «Владимирские губернские ведомости» посвятили ему вот такой панегирик: «Везде опрятность, чистота, благоустройство! Точно по мановению волшебного жезла обремененный годами старец внезапно превратился в красивого юношу, полного жизни, силы, энергии. А между тем это дивное превращение совершилось так быстро, так просто, почти незаметно. Для этого достаточно было горячего усердия одного лица, одушевленного патриотическими стремлениями к пользе общей, а и вот в самое короткое время Муром узнал нельзя; он ожил, расцвел и по красоте своей и удобствам для жизни опередил многие города губернские, казною и многолюдством богатые... Подвиг Алексея Васильевича Ермакова, принесшего в дар Мурому не частицу только, а большую половину состояния своего, поистине есть

великий гражданский подвиг! Его чистая, благородная, удивления и подражания достойная и в наше время столь редкая жертва еще более получает значения тем, что улучшение Мурома не вовлекло городское общество ни в какие издержки. Славное имя Алексея Васильевича не только во всех концах России, но и в чужих краях с уважением произносимое, а для Мурома составляющее гордость и украшение, пребудет незабвенно в самом отдаленном потомстве».

На смерть городского головы было написано трогательное стихотворение:

Сыплют золото иные
Лишь на прихоти пустые.
Здесь истрачено оно
Благодетельно, умно.

Быть богатым не загадка;
Но быть умным мудрено,
И богатство часто шатко,
Если глупому дано.

Слава, слава Ермакову,
Память вечная ему.

Дети в приюте, однако, умирали по-прежнему.

Благотворительность для взрослых была развита не меньше детской. А может быть, даже и больше – никто же не сравнивал. Имела она самые разные формы. Вот, например, в Череповце существовал Дом Трудолюбия. В статистических сведениях начала XX века о нем сообщалось: «Дом Трудолюбия в Череповце один, находится в ведении попечительского общества. Цель общества – приходить на помощь бездомным и не имеющим заработка, вышедшим из школ молодым людям, не имеющим определенных занятий, освобожденным из заключения и проч.».

Гораздо более известным был аналогичный Дом в Кронштадте. Впрочем, аналогия та ограничивалась по большому счету названием. Это была своего рода недорогая гостиница, преимущественно для паломников. Кроме того, здесь были мастерские (что и послужило поводом к названию), классы и прочие нехитрые организации. Один из путешественников, некто В. Ильин-

ский, так описывал эту гостиницу: «В этот день я видел его (Иоанна Кронштадтского. – А. М.) в Доме Трудолюбия. Здесь он служил молебны в каждом номере. Кое-где присаживался к столу, наливал себе чаю и угощал чаем хозяев номера. Подаваемый им чай принимался как святыня и сейчас же выпивался, судя по лицам, с глубокою верою в его особенную силу. Стол с чаем и закусками я видел почти во всех номерах. Оставался о. Иоанн в номерах не более 5–10 минут. В коридорах и особенно на лестницах его окружали настолько плотно, что, казалось, люди сами его водили и носили, а он был совершенно лишен свободы движений. Иногда он делал усилия, чтобы освободиться от неловкого положения; в этих случаях он приподымал голову, но его лицо всегда неизменно светилось радостным возбуждением».

Правда, приличные условия существования в том заведении почитались за немислимую роскошь. Во всяком случае, сам путешественник Ильинский останавливаться здесь не стал: «Зашли в Дом Трудолюбия. Но тут слишком дорого запросили за отдельную комнату, а в общей нам не хотелось оставаться».

Писатель Николай Лесков в своей повести «Полуночники» описал Дом Трудолюбия как некую не слишком комфортабельную «Ажидацию» (от слова «ожидать»): «Номера нижнего этажа “Ажидации” все немножечко с грязью и с кисловатым запахом, который как будто привезен сюда из разных мест крепко запеченным в пирогах с горохом. Все “комнатки”, кроме двух, имеют по одному окну с худенькими занавесками, расщипанными дырками посередине на тех местах, где их удобно можно сколоть булавками. Меблировка скудная, но, однако, в каждом стойлице есть кровать, вешалка для платья, столик и стулья. В двух больших комнатах имеющих по два окна, стоит по скверному клеенчатому дивану. Одна из этих комнат называется “общей”, потому что в ней пристают такие из ожидателей, которые не желают или не могут брать для себя отдельного номера. Во всех комнатах есть образа и портретики; в общей комнате образ значительно большего размера, чем в отдельных номерах, и перед ним теплится “неугасаемая”. Другая неугасаемая горит перед владычицей в коридоре...

В верхнем этаже “Ажидации” все чище и лучше. Коридор так же широк, как и внизу, но несравненно светлее. Он имеет приятный и даже веселый вид и служит местом бесед и прогулок. В окнах, которыми заканчивается коридор, стоят купеческие цветы: герань, бальзамины, волкамерия, красный лопушок и мольное дерево, доказывающее здесь свое бессилие против огромного изобилия моли. На одном окне цветы стоят прямо на подоконнике, а у другого окна – на дешевой черной камышовой жардиньерке. Вверху под занавесками – клетки с птичками, из которых одна канарейка, а другая – чижик. Птички порхают, стучат о жердочки носиками и перекликаются, а чижик даже поет».

Тем не менее кронштадтский дом тоже был организацией благотворительной.

Среди нищих Вологды имела популярность тамошняя ночлежка. В архитектурном путеводителе по Вологде эту ночлежку называют «маленьким дворцом». Этот двухэтажный особняк и впрямь роскошен. И когда в 1889 году его вдруг приспособили под ночлежный приют, многие вологжане были искренне удивлены. Тем не менее богатый житель города Т. Е. Колесников именно в этом доме решил организовать свое благотворительное учреждение. Точнее, даже два – ночлежку и столовую. Столовая была на первом этаже, ночлежка – на втором.

Обеды сразу же сделались знаменитыми среди малоимущих вологжан. Они описаны в особенной брошюре, выпущенной по поводу двух лет существования благотворительного учреждения: «Для получения бесплатных обедов в столовой заведены печатные билетки за особыми нумерами на каждый обед. Такие билеты можно получать для бедняков в Городской управе, с платою по 6 коп. за билет. Обед состоит сверх фунта хлеба из щей и каши. Порции обоих блюд подаются каждому в особом металлическом судке, разделенном на две половины, и вполне достаточны для насыщения, многие уносят даже домой остатки обеда, для вечернего употребления. Обед начинается с 11 часов и оканчивается через непродолжительное время, при весьма упрощенном порядке обедов, особенно по билетам, о коих вскоре стало известно местным беднякам».

Кстати, сами нищие, как правило, за те обеды не платили. Их покупали вологодские благотворители и раздавали нуждающимся по собственному усмотрению.

Зато пользование ночлежным домом обходилось без таких посредников. Вот как был устроен ночной вологодский приют: «Ночлежное помещение разделено на два отделения – одно для мужчин, другое для женщин, с особыми умывальниками и сортирами теплыми для каждого отделения, освещаемого в темные вечера и ночи. Деревянные койки расставлены в обширных и высоких комнатах, в порядке особых номеров на каждой койке. Никакой платы за ночлег не полагается, желающий воспользоваться ночлегом получает от смотрителя металлический знак с номером, соответствующим номеру койки, входит в надлежащее отделение ночлега и занимает койку полученного номера, выдаются они в постепенном порядке по времени прихода на ночлег, так что никакого беспорядка и путаницы в занятии той или другой койке не бывает и быть не может. Доступ к ночлегу установлен зимою с 6, а летом с 8 до 10 часов вечера. На ночь входные наружные двери запираются, утром в 6 час. подается будильный звонок – ночлежники встают, умываются, читают молитвы, возвращают номерные знаки и уходят. Пьяные не допускаются на ночлег».

Ночлежники, ясное дело, относились к группе риска, по большому счету даже не одной. Неудивительно, что власти внимательнейшим образом следили за ночлежными домами, а во время эпидемий выпускали специальные строгие правила. Вот, например, как они выглядели во время тифа в Туле:

«1. Прием в ночлежные дома не должен быть ограничен известными часами.

2. Желательно было бы выдавать ночлежникам в определенные вечерние часы кружку сбитня или чашку чая с фунтом хлеба. Беднейшим выдавать билеты в даровую столовую и раз в неделю в баню.

3. На время эпидемии освободить от платы поступающих на излечение в больницу тифозно-больных по простому их заявлению.

4. В возможно скорейшем времени приступить к ус-

тройству дезинфекционной печи, которой могли бы пользоваться за известную плату и частные лица».

На всех, кто нуждался, ночлежных домов не хватало. Ярославская газета сообщала: «Нередко бездомные люди являются в полицейские участки с просьбой поместить их на ночь в казематах вместе с арестованными. По объяснению таких бездомников, в ночлежный дом их не пускают за переполнением устремляющихся туда спозаранок ночлежников. Кстати, нельзя не отметить того обстоятельства, что в закоторосльской части с населением не менее 20 тысяч жителей, почти исключительно рабочего элемента, вовсе нет ночлежного дома. Надо самому видеть тягостное положение, очутиться без крова и превратиться в “зимогоров” – людей, которые, бывало, в зимнее время буквально зарывались в снег, если не находили более удобного логовища в какой-нибудь брошенной полузапущенной землянке. В последней ночлежники, вплотную лежа друг возле друга, согревались собственным теплом. Передаем эти факты как общеизвестные здесь. “Бывало, ночью, в зимнюю стужу, собьешься с дороги и натыкаешься на сугроб, а под ним человек – ругается, что наступили на него ногой, – рассказывает достоверный обыватель этого района. – Удивительно, как эти люди не замерзли: ведь одни лохмотья на них”».

Впрочем, эти северные «зимогоры» – люд особенный. О нем писал еще Владимир Гиляровский. «Пошел на базар, чтобы сменить хорошие штаны на плохие или сапоги – денег в кармане ни копейки... Посредине толкучки стоял одноэтажный промозглый длинный дом, трактир Будилова, притон всего бездомного и преступного люда, которые в те времена в честь его и назывались “будиловцами”. Это был уже цвет ярославских зимогоров, летом работавших грузчиками на Волге, а зимами горевавших и бедовавших в будиловском трактире.

Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки и получил рубль придачи и заказал чаю. В первый раз я видел такую зловонную, пьяную трущобу, набитую сплошь скупавшими у пьяных платье: снимает пальто или штаны – и тут же наденет рваную сменку. Минуту

назад и я также переобувался в валенки... Я примостился в углу, у маленького столика, добрую половину которого занимал руками и головой спавший на стуле оборванец. Мне подали пару чаю за 5 копеек, у грязной торговки я купил на пятак кренделей и наслаждаюсь. В валенках тепло ногам на мокром полу, покрытом грязью. Мысли мелькают в голове – и ни на одной остановиться нельзя, но девять гривен в кармане успокаивают. Только вопрос: где ночевать?.. Где же? Кого спросить? Но все такие опухшие от пьянства разбойничьи рожи, что и подступиться не хочется... Рассматриваю моего спящего соседа, но мне видна только кудлатая голова, вся в известке, да торчавшие из-под головы две руки, в которые он уткнулся лицом. Руки тоже со следами известки, вьевшейся в кожу. Пью, смотрю на оборванцев, шлепающих по сырому полу снежными опорками и лаптями».

Палитра городской благотворительности была богатой и насыщенной. Взять, к примеру, Иваново-Вознесенск, где Яков Гарелин, будучи городским головой, добился сбора средств и, соответственно, реализации многих полезных начинаний. В городе были открыты женская гимназия, реальное училище, больница на 50 коек. Появилось училище мастеровых и рабочих, где в течение пяти лет молодые ивановцы обучались русскому языку, арифметике, Закону Божьему, а также бухгалтерии, черчению, истории промышленности и торговли, «понятию о машинах» и прочим профессиональным дисциплинам. На базе собственного книжного собрания Гарелин открыл в городе общедоступную библиотеку, ходатайствовал и об открытии музея (правда, этот план воплотился в жизнь лишь после смерти городского головы). Ранее Яков Петрович открыл при своей фабрике больницу и училище и лично финансировал покупку всяческих приспособлений и лекарств, а также деятельность персонала.

В феврале 1877 года в городе было создано Благотворительное общество. В соответствии с уставом новое общество должно было помогать бедным и больным «и оказывать им такого рода пособия, которые приносили бы существенную пользу и не могли быть бы употребляемы во зло по легкомыслию или по предосудительным наклонностям». В первую очередь конечно же заботи-

лись о пропитании больных, детей и немощных. Открывались специальные столовые, в которых давался бесплатный обед, состоящий «из ковша щей – мясных, рыбных или постных, каши гречневой, пшенной, иногда гороха и 1 фунта черного хлеба. По предписанию врача для больных или детей обед заменялся белым хлебом или молоком в цену обеда». Кроме того, ежемесячно раздавали ржаную муку тем ивановцам, «которые по дальности расстояния или по старости и слабости не могли ходить в столовую за ежедневным обедом».

Естественно, особое внимание здесь уделялось детям, тому, чтобы, как было сказано в одном из годовых отчетов общества, «сохранить более или менее здоровыми и трудоспособными будущих граждан и, беря на себя часть заботы о детях, тем самым облегчить наиболее нуждающиеся семьи и самим им дать возможность честным путем искать себе пропитание». Для этого устраивались ясли и приюты (в том числе и с профессиональным обучением). Для девочек обучение состояло в том, чтобы научиться «стряпать, подавать на стол, стирать, гладить, шить на машинке». Не забывали и о стариках – для них существовала богадельня.

«Неустанно заботясь о бедных, а в особенности о детях этой бедноты, будущих граждан нашего города, они... сами жертвуют личным своим собственным трудом, отдавая дорогое время, необходимое и для своего дела» – так писал «Ивановский листок» об активистах общества, среди которых были представители ивановской интеллигенции, так называемые отцы города, а также предприниматели и члены их семейств.

И вправду, деятельность членов общества была довольно кропотливой. Об этом говорят не только перечисленные здесь глобальные свершения, но и такие «мелочи», как сбор и выделение денег «на похороны», «на лекарства», «на лечение глаз», «на поправку дома», «на приданое бедной невесте» и даже «на проезд восьми бедных татар до Чистополя».

Интересен был феномен провинциального благотворителя. Вот, например, один из документов: «В чрезвычайном собрании Брянской городской думы 2 октября минувшего 1905 г. состоялся торжественный акт по

принятию от братьев Могилевцевых устроенных ими на свой счет водопровода и электрического освещения в гор. Брянске, согласно предложения их, заслушанного и принятого думою в заседании 3 апреля 1904 г. ...

1) Водопровод, обслуживающий ныне нужды города, в гигиеническом и противопожарном отношении вполне обеспечивает водою нагорные части города, подавая свыше 44 000 чистой питьевой воды в сутки.

2) Электрическое освещение, устроенное вместе с водопроводом, обслуживающее улицы центральной части города. Общая стоимость этих двух сооружений, по определению устроителя их инженера Мейера, выражается в сумме 125 000 руб.».

Или взять уроженца Тамбова Нарышкина. Он ни с того ни с сего вдруг сообщает городскому голове, что хочет «построить для народных чтений специальное здание с залой, могущей вместить до 600 слушателей... Цель его исключительно содействовать просвещению народа, для чего я предполагаю также устроить в нем бесплатную народную читальню». Спустя всего два года здание было построено. Да не простое, а с собственной электростанцией – первой «придомовой» электростанцией Тамбова.

А вот меценат из Кронштадта Никитин. Его описывал его же собственный сосед: «Жили они вдвоем с женой и были почитаемы всеми в городе. Главной его добродетелью была помощь бедным. Простой и искренний в обращении со всеми без разбора и крайне добросердечный, это была его выдающаяся черта. Бывало, в квартиру его придет дворник, а на дворе распутица, прямо в гостиную или столовую, и жена, увидя, заволнуется: “Что ты, Сидор, в грязных сапогах ввалился”, но тут Владимир Дмитриевич скажет ей: “Липочка, ну что же, что сапоги грязные, душа его, может быть, чистая”. Деньги свои он почти все раздавал, и на замечание супруги, что они станут нищими, отвечал ей, что, если и так, – богатство за то ждет на небесах. И действительно, такой щедростью он дошел до нищеты полной, когда остался один, схоронив свою жену. Ходил он в плохой одежде, несмотря на то, что его не раз избирали на высокий пост городского головы».

Нет, невозможно найти этому объяснение!

«АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ ОСОБОГО РОДА»

Раз уж мы начали тему, в наши дни определяемую словом «социалка», то есть смысл двигаться дальше в этом направлении. Где медицина и благотворительность – там и образование.

Символ провинциального образования – конечно же гимназия. Так называемая городская гимназия, чаще всего находящаяся на главной улице и представляющая из себя желтое двухэтажное здание с белыми колоннами ионического ордера. Исключения случаются, но они редкие и незначительные.

В основном такие здания строились для гимназий специально. Однако же бывали исключения. В частности, любопытна ситуация с гимназией в Рязани, основанной в 1804 году. Первый год гимназисты учились в некоем «редутном доме», а потом на средства приказа общественного призрения для них выстроили специальный деревянный дом. Одновременно шли поиски нового здания, и в 1808 году его нашли – у некоей госпожи Семеновой был приобретен обширный особняк, можно сказать дворец, построенный самим Матвеем Казаковым. Его пришлось серьезно перестраивать – ведь планировка дома была анфиладной, учебное учреждение требовало коридорную систему. Лишь в 1815 году строители закончили работу. Вышло хорошо – и внутри, и снаружи. Даже язвительный критик Белинский, проезжая Рязанью, писал: «Я тут первый раз, собственным своим опытом узнал, что в России есть прекрасные города... Из великого числа прекрас-

ных строений мне особенно понравилась губернская гимназия».

А литератор В. Золотарев описывал гимназию Саратова: «Это был громадный двухэтажный дом с александрийской колоннадой на улице и большим продолжением вглубь двора, причем внутренний корпус заканчивался двухсветным актовым залом. Внизу под актовым залом помещался пансион для приезжих из губернии гимназистов... С восточной стороны внутреннего корпуса был разбит довольно большой декоративный сад, где на отдельных больших деревьях можно было спрятаться в листве от надзирателя... В теплое и сухое время в перемены нас выпускали на площадку и в сад. На площадке были деревянная горка и гимнастические приспособления, состоявшие из мелкой лестницы, колец, двух гладких шестов для лазания. Около горки помещался фонтан без воды, по внутренним краям которого мы бегали как на велосипедном треке».

Про Владимирскую же гимназию писал ее «законник», господин Миловский: «Гимназия помещалась в огромном трехэтажном доме. Дом был строен на широкую барскую ногу времен Екатерины – залы огромные, окна большие, лестницы широкие – но был давно запущен и с помещением в нем училища не мог перемениться к лучшему. Рамы обветшали, осенний ветер свободно гулял по парадным лестницам, полы расщелились, двери засалены. Гимназическое начальство, потому что пригляделось или по своей беспечности, не видело ничего другого и не заботилось об исправлении ветхостей. Не так взглянул на них император Николай, когда он в 1834 году, проезжая Владимиром, посетил гимназию. Зоркий глаз его все сразу заметил, и он выразил полное свое неудовольствие директору и попечителю. Долго они дрожали в ожидании грозы, но гроза миновала. Пробужденные от сна гневным словом царя, они уже не дремали, когда ждали приезда его наследника. Все ветхости исправили, полы перестругали и сплотили, двери поновили, рамы также. Любо было взойти в классы; но любоваться пришлось не долго. В 1840 году марта 29 дня это величественное здание сгорело дотла по недосмотру».

По своему характеру гимназии бывали разные – но большей частью не особо либеральные, о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания их выпускников. Известный литератор В. Тан-Богораз, учившийся в таганрогской гимназии, в частности, примечал: «Гимназия в сущности представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменой палок и розог греческими и латинскими экстенпоралями».

Трудно поверить в столь категоричную характеристику, однако многие другие факты косвенно подтверждают сказанное Владимиром Германовичем. В частности, тезис, высказанный одним из ее директоров: «Гимназисты с первого взгляда должны обращать на себя внимание привлекательной строгостью своей внешности, мне неприятно в молодом человеке щегольство, но неряшливость и растрепанность еще более противны, а потому, чтобы сохранить середину, вы должны быть приличны. Я вас уверяю – это имеет большее значение, чем вы думаете».

Казалось бы, высказывание вполне логичное. Но вопрос в том, что именно считать «неряшливостью и растрепанностью». К примеру, когда гимназист Антоша Чехов, не замышляя ничего худого, пришел на занятия в клетчатых панталонах, господин директор коротко заявил:

– Чехов, будете в карцере!

Писатель Николай Лесков припоминал родную орловскую гимназию: «Духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом».

То есть стеснения были не только моральные, но и вполне физические тоже.

Представление об укладе русской провинциальной гимназии можно более или менее точно получить на примере все той же Рязани. До открытия гимназии главным образовательным учреждением там было народное училище. В нем на протяжении четырех лет преподавались основы математики, физики, механики, русского языка, чистописания, истории, географии, черчения, архитектуры и Закона Божия. Несмотря на

ряд предметов, современным школам не присущих (например, архитектура или механика), для подготовки к университету этого объема не хватало. Требовались языки (мертвый латинский, а также живые немецкий с французским, но не английский – его вплоть до середины XX века преподавали только в отдельных столичных школах), философия, политэкономия, начала коммерции и более глубокие познания хотя бы в той же математике. Для этих целей гимназии и учреждались.

Открытие нового учебного заведения было крупным событием в жизни рязанского света. Торжества проходили в Дворянском собрании. «Стечение людей по поводу сего было необыкновенно велико», – вспоминал очевидец. Другой участник тех событий не без удовольствия писал: «Гражданский губернатор Дмитрий Семенович Шишков, в знак своего участия в сем торжестве, угощал в сей день почтеннейшую рязанскую публику обеденным столом более нежели на 60 кувертов».

Этим обедом закончилось радостное и беззаботное торжество. За ним наступили проблемы. В первую очередь они касались формирования собственно классов. Схема вышла непростая: ученики третьего и четвертого классов народного училища стали соответственно учениками первого и второго классов гимназии. Первоклассники народного училища отправились в приходское училище, а второклассники – в уездное. Все недовольства детей, а главное родителей, строжайше пресекались.

Однако главной проблемой было все же отсутствие в России гимназического опыта. Один учащийся начального периода существования гимназии (выпуск 1812 года) вспоминал: «Надобно сознаться, что в то время ученические мои знания, почерпнутые в гимназии, весьма были ограниченные... В оправдание замечу, что в гимназии обучение происходило крайне небрежно и никто не обращал внимания ни на успехи и поведение учеников, ни на педагогические способности учителей. Директором гимназии был прокурор, весьма редко классы посещавший».

Требовалось время для того, чтобы рязанцы освоили новый для страны вид образовательной деятельности.

Гимназический быт в те времена очень сильно отличался от современного школьного. Уроки продолжались с девяти утра и до полудня, затем – перерыв до двух часов, после чего – снова уроки, уже до пяти вечера. Экзамены были в конце каждого класса. При этом они обставлялись как этакие общегородские праздники – с помпой и в присутствии большого числа приглашенных.

Ответы требовались точные. К примеру, на вопрос: «Каков дух и содержание законов Ликурга и Солона?» – следовало отвечать: «Солон достопримечателен в истории мудрости. Он соорудил великолепный храм, издал законы мудрейшие, и народ в его царствие наслаждался полным счастьем».

Попытка изменить в ответе хотя бы несколько слов могла быть приравнена к незнанию вопроса.

Неучам грозила перспектива в лучшем случае остаться на второй год, а в худшем – вообще спуститься на класс ниже, то есть из третьего класса перейти во второй. Зато за особенно блестящие ответы полагалась премия – в первую очередь, конечно, это были книги. Однако книги, мягко говоря, довольно неожиданные для казенного учреждения. Вот, к примеру, как один из гимназических выпускников, И. И. Янжул, писал о собственной награде: «В качестве отличного ученика с первого до последнего года пребывания в гимназии я получал ежегодно похвальные листы и так называемые “награды”, т. е. книги в хороших переплетах, по постановлению гимназического совета и, вероятно, приобретаемые по рекомендации учителей. Дважды в числе этих книг в подарок от гимназии я, первый ученик, получил сочинения по истории революции Гарнье Паже, сначала по французской, другой раз – по итальянской... Такой выбор книг, вероятно, невозможный впоследствии, никого тогда (в середине XIX века. – А. М.) не удивил, и книги эти были мне торжественно вручены на акте чуть ли не из рук и с благословением рязанского архиепископа Смарагда».

По окончании церемоний награждения, как правило, устраивали ученический спектакль.

За исключением экзаменов, жизнь рязанских гимназистов была в основном приятной и спокойной.

К этому в первую очередь располагал уютный казачковский дом с его ближайшими окрестностями. Поэт Яков Полонский вспоминал об этом так: «При гимназии было два двора: один большой квадратный двор, другой – задний, где я помню только какие-то сараи и ретирадные места. При входе на двор, направо, был задний фасад гимназии; прямо через двор двухэтажный деревянный флигель, где жил директор; налево длинная изба для сторожей, и в самом углу по диагонали стоял небольшой домик с двумя низенькими крыльцами под навесом. И этот домик мне особенно памятен. С одной стороны его, вдоль окон, шел небольшой цветник, а с другой (за квартирой учителя Ставрова) шел обрыв или холмистый берег, спускающийся к Лыбеди. Тут были разбросаны дорожки, кусты, клумбы и даже, как кажется, была небольшая беседка. Мне редко удавалось заходить в этот садик, и при этом я должен добавить, что и садик, и гористый берег, и все, что я видел, казалось мне в сильно преувеличенном виде: обширнее, выше, привольнее, чем на самом деле».

Другим достоинством было искреннее содружество членов различных социальных групп. Известный педагог Алексей Дмитриевич Галахов, также обучавшийся в этой гимназии, писал о ее ученическом составе: «На одних лавках с немногими дворянскими детьми сидели дети мещан, солдат, почтальонов, дворовых... Сословное различие моих товарищей обнаруживалось и в одежде, и в прическе: одни ходили в сюртуках и куртках, снимая зимнюю одежду в нижнем этаже дома, а другие зимой сидели в тулупах и фризовых шинелях, подпоясанных кушаком или ремнем. Прическа также не отличалась одноформенностью: многие стригли волосы в кружок, а иные вовсе не стригли их, как дьячки. Наконец, возраст был заметно неровный: наряду с девятилетними, десятилетними мальчиками сидели и здоровые и рослые ребята лет шестнадцати и семнадцати – сыновья лакеев, кучеров, сапожников».

При этом гимназическое общество как бы не ощущало всех этих различий. Полонский вспоминал: «Что касается до нас, учеников, то между нами не было никакого сословного антагонизма. Дворяне сходились с

мещанскими и купеческими детьми, иногда дружились, и так как мальчики низших сословий, в особенности самые бедные, нередко отличались своею памятью и прилежанием, случалось, что беднейшие из них брали на время учебные книжки у дворянских сынков, а дворянские сынки ездили к ним в их домишки готовить уроки или готовиться к экзаменам. Товарищество, вообще, было недурное, хотя жалобу на товарища никто не считал чем-то вопиющим или достойным порицания. Помню, один из учеников зажил у другого старинные серебряные часы. Как тот ни добивался от него возврата этих часов, ничего не добился и пожаловался инспектору Ляликову. На другой день часы были возвращены».

Словом, в гимназии существовал какой-то идеальный мир, состоящий из граждан демократичных, готовых оказывать друг другу поддержку, и при этом законопослушных. То есть во время конфликта не учиняющих несправедливый самосуд, а обращающихся к силе справедливого закона (к инспектору Ляликову, например). Однако же не все здесь было безмятежно. Тот же Галахов вспоминал: «Это пестрое общество, говоря правду, не могло похвалиться приличным держанием. До прихода учителя в классе стоял стон стоном от шума, возни и драк. Слова, не допускаемые в печати, так и сыпались со всех сторон. Нередко младший класс гуртом бился на кулачки со старшим. Бой происходил на площадке, разделяющей классы, и оканчивался, разумеется, побиванием первоклассников. Однажды, я помню, какой-то бойкий школьник второго класса вызвался один поколотить всех учеников первого. Но он потерпел сильное поражение: толпа одолела самохвала, наградив его синяками под глаза».

Учителя и инспекторы старались бороться с подобными шалостями. Хотя так называемые телесные наказания (то есть порка) вскоре после основания гимназии были запрещены, старшее поколение не оттаивало перед подзатыльниками и трепанием за волосы. Но чаще ограничивались более гуманными репрессиями – стоянием, к примеру, на коленях или же лишением обеда.

Сам же характер тогдашнего гимназического обра-

зования, что называется, оставлял желать лучшего. Философ В. В. Розанов писал: «У нас нет совсем мечты своей родины.

У греков она есть. Была у римлян. У евреев есть. У французов – “прекрасная Франция”, у англичан – “старая Англия”, у немцев – “наш старый Фриц”.

Только у прошедшего русскую гимназию и университет – “проклятая Россия”.

Как же не удивляться, что всякий русский с 16 лет пристает к партии “ниспровержения государственного строя”...

У нас слово “отечество” узнается одновременно со словом “проклятие”...

Я учился в костромской гимназии, и в 1-м классе мы учили: “Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра”. Потом – позвонки.

Только доучившись до VI-го класса, я бы узнал, что “был Сусанин”, какие-то стихи о котором мы (дома и на улице) распевали еще до поступления в гимназию:

...не видно ни зги!
...вскричали враги.

Но до VI-го класса (т. е. в Костроме) я не доучился. И очень многие гимназисты до VI-го класса не доходят: все они знают, что у человека “32 позвонка”, и не знают, как Сусанин спас царскую семью.

Потом Симбирская гимназия (II и III классы) – и я не знал ничего о Симбирске, о Волге (только учили – “3600 верст”, да и это в IV классе). Не знал, куда и как протекает прелестная местная речка, любимица горожан – Свияга.

Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем: Бокль был подобен “по гордости и славе” с Вавилоном, а те, свои князья, – скучные мещане “нашего закоулка”.

Я до тошноты ненавидел “Минина и Пожарского” – и, собственно, за то, что они не написали ни одной великой книги вроде “Истории цивилизации в Англии”.

Потом университет. “У них была реформация, а у нас нечесаный поп Аввакум”. Там – римляне, у русских же – Чичиковы.

Как не взять бомбу; как не примкнуть к партии “нис-
провержения существующего строя”?

В основе просто: учась в Симбирске – ничего о Свия-
ге, о городе, о родных (тамошних) поэтах – Аксаковых,
Карамзине, Языкове; о Волге – там уже прекрасной и
великой.

Учась в Костроме – не знал, что это имя – еще имя
языческой богини; ничего – об Ипатьевском монасты-
ре. О чудотворном образе (местной) Федоровской Бо-
жией Матери – ничего.

Учась в Нижнем – ничего о “Новгороде низовые зем-
ли”, о “Макарии, откуда ярмарка”, об Унже (река) и ее
староверах.

С 10 лет, как какое-то Небо и Вера, и Религия:

“Я человек, хотя и маленький, но у меня 24 ребра и 32
зуба” или наоборот, черт бы их брал...

Представьте, как если бы годовалому ребенку вместо
материнской груди давали, “для скорейшего ознаком-
ления с географией”, – кокосового молока, а девочке
десяти лет надевали бы французские фижмы, тоже для
ознакомления с французской промышленностью и ху-
дожеством. “Моим детям нет еще одиннадцати лет, но
они уже знают историю и географию”.

И в 15 лет эти дети – мертвые старички».

А после Розанов сам сделался преподавателем – в го-
роде Брянске. И сокрушался – в городе ну совершенно
не читают Пушкина, более того, его нигде не продают!
Розанов обратился в Москву, но из Первопрестольной
ответили, что Александр Сергеевич не продается и там
«за полным отсутствием спроса». Розанов в этом винил
модных в то время литераторов, которые якобы сгово-
рились, чтобы весьма своеобразным способом одер-
жать верх над великим поэтом: «Как же сделать? Встре-
тить его тупым рылом. Захрюкать. Царя слова нельзя
победить словом, но хрюканьем можно...

Так “судьба” и вывела против него Писарева. Писа-
рева, Добролюбова и Чернышевского. Три рыла подня-
лись к нему и захрюкали.

Не для житейского волнения,

Ни для того, ни для сего.

– Хрю! Хрю!

– Хрю.

– Еще хрю.

И пусть у гробового входа.

– Хрю.

– Хрю! Хрю!

И Пушкин угас».

Да, Розанову, прошедшему сквозь костромское ученичество, самому учительствовать было далеко не сладко.

* * *

И все-таки гимназии разнились. В первую очередь это зависело, конечно, от директора. Именно он набирал коллектив и задавал общий настрой. Упомянутый уже Миловский, в частности, описывал директора владимирской гимназии: «Директором гимназии был Калайдович – человек старых времен, обленившийся к интересам. При мне он не долго был, его уволили без всякого со стороны его прошения... На место Калайдовича поступил Озеров – гордый барич, ночи проводил в клубе за картами, а дни спал, в гимназию заглядывал один раз в неделю».

И вот результат: «Гимназия ничего не дает. Она только учит, предоставляя каждому употребить свое знание по своему усмотрению. Поэтому большая часть воспитанников, проучившись до 5-го класса, спешит занять место писца в какой-нибудь канцелярии или приняться за аршин в отцовской лавке. А как всегда и везде людей, желающих приобрести прочное образование без отношения к выгодам жизни, а действительно по любви к науке, мало, то до 7-го класса доходило очень мало воспитанников. Строгости касательно учителей в гимназии больше, чем в семинарии. Там иногда по получасу, а иногда и более мы прохаживались за Богородской церковью или в класс приходили поздно. Здесь этого сделать нельзя, а также пропускать классы. Инспектор непрестанно ходит по коридору и посматривает в классы через стекольчатые двери – не задремал ли какой-нибудь наставник; но касательно учеников строгости меньше. Им дано больше свободы, чем в семинарии, оттого они развязаннее, смелее в обращении даже



Псков. Рыбный торг у стен кремля



Архангельск

ГОРОДА РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ НА СТАРЫХ ОТКРЫТКАХ

Вологда





Иваново-Вознесенск

Воронеж





Рыбинск. Картина В. Максимова. 1886 г.

Торжок. Вид на Спасо-Преображенский собор





Таганрогский проспект в Ростове-на-Дону

Глебучев овраг в Саратове





Памятник Ломоносову
в Архангельске



Памятник Карамзину
в Симбирске

Памятник Петру I в Воронеже





Памятник царю Михаилу Федоровичу и Ивану Сусанину в Костроме

Открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.
Картина Б. Виллевальде. 1864 г.





ТИПЫ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ГОРОДА.
Фотографии 1890-х гг.

Птицелов

Стекольщик

Жестянщик



Молочница



Торговец баранками

Фонарщик





Прачка

Коробейник

Точильщик





Муромские купцы. Фото Н. Сажина. 1894 г.

Земское собрание в провинции. Картина К. Трутовского. 1868 г.





Орловский губернатор
П. Трубецкой
по прозвищу Петух

Городской дом
в Ростове-на-Дону





Пожарная команда
города Вытегра.
Фото С. Прокудина-Горского



Пожарник



Извозчик

Золотари — сборщики нечистот





Нижегородские полицейские
с приставом А. Пуаре,
прославленным в очерке
М. Горького «Палач».
1902 г.



ПОЧЕРКЪ ПО ЧИНУ ИЛИ МЕТАМОРФОЗЫ ПОДПИСИ КАРАМЪЗОВА.
Рисун. А. И. Лебедева. — Тона А. Ч.



Чиновничья карьера в рисунках А. Лебедева

со своими учителями, которых они вовсе не боятся. Нельзя сказать, чтобы к ним и уважения не имели; ежели и оказывали неуважение, то разве тем, которые не умели внушать его, как мой почтенный предшественник. Он, узнавши, что я хочу занять его место, покачал головой и предрек мне много неприятностей от сорванцов-гимназистов. Действительно, они много досаждали бедному старцу, не слушались его, подтрунивали над ним, только что верхом не ездили. Сначала и я заметил некоторые проделки, но, благодарение Богу, очень скоро поставил ребят в должные границы, не прибегая к пособию начальства; иных твердостью, иных ласкою, а больше старанием, чтобы уроки имели занимательность».

Напомним: господин Миловский был во Владимире преподавателем Закона Божия.

Яркой в своем роде личностью был директор симбирской гимназии, некто Вишневский, прозванный за жиденькую седоватую бородку Сивым. Этот деятель даже попал в поэму Д. Минаева «Губернская фотография», в которой автор «представлял» самых характерных жителей города:

А вот Вишневский, точно старый
Педагогический нарост,
И всею проклятый Самарой
Бюрократический прохвост.

Занятна и череда директоров рязанской гимназии. Первым директором автоматически сделался Андрей Иванович Толстой, ранее возглавлявший народное училище. Затем директора менялись, притом довольно шустро. Промелькнул, например, некто Воскресенский. О нем остались следующие воспоминания: «Директор гимназии редко бывал в трезвом состоянии, почему мы и зрели его лик раза два в год, не больше: перед началом учения, в августе, и по окончании его, в конце июня. В оба раза он являлся как важная особа, давал нам строгие наставления, после которых, не знаю для чего, грозил нам пальцем. Редко видя его, мы не могли к нему присмотреться, как лисица ко льву, и потому очень боялись его».

Боялись конечно же зря. Ведь Воскресенский, оче-

видно, очень мало интересовался жизнью гимназистов, а значит, не представлял вреда ни для учеников, ни для учителей. При таком руководителе в гимназии вполне могла начаться этакая демократическая вольница. Она еще больше усилилась при следующем шефе, полковнике в отставке Иване Михайловиче Татаринове. Сам он был масон, а супруга его, знаменитая в свое время Екатерина Филипповна, жила в Петербурге, где возглавляла секту «русских квакеров». Квакеры собирались в Михайловском замке (им негласно покровительствовал император Александр), пели псалмы, исполняли свои ритуальные танцы, входили в мистический транс, не гнушались пророчествовать.

Понятно, что директора Татаринова трудно было упрекнуть в консерватизме. К тому же и руководителем он был довольно дельным. А. Д. Галахов вспоминал: «Директорство Татаринова принесло много пользы. Он сразу поднял гимназию во мнении рязанского общества, потому что принялся за дело с охотой и любовью. Гимназисты, для которых прежний директор был своего рода мифом, ежедневно видели нового в классе выслушивающим уроки учителей и ответы учеников... Много значило и то обстоятельство, что Татаринов по своему состоянию, чину, образованию и петербургским связям стоял наряду с губернской знатью... Дворянство не боялось уже отдавать своих детей в гимназию и относилось уважительнее к образованию, в ней получаемому. Сообразуясь с потребностью времени, Татаринов ввел частные уроки танцев для желающих, с платою по 25 рублей в год, пригласив отличного учителя, итальянца Коломбо».

В 1927 году Татаринова заменил другой военнослужащий, гвардии штабс-капитан Николай Николаевич Семенов, лично знакомый с Николаем I. Кстати, сам император, когда, будучи проездом в городе, зашел в гимназию, чрезвычайно удивился новому поприщу Николая Николаевича.

– Ба! – воскликнул царь. – И ты, Семенов, попал в ученые!

Семенов также отличался некоторым вольнодумством. Говорили, что ратное поприще он оставил вследствие событий декабря 1825 года – вроде бы Николай

Николаевич как-то был связан с восставшими, однако не настолько сильно, чтобы отправиться на Нерчинские рудники.

Затем был Федор Шиллинг, сильно отличавшийся от своих более демократических предшественников. Именно при нем в российских гимназиях отменили телесные наказания, что очень огорчило Федора Ивановича. Он выступил перед гимназистами со скорбной речью:

– До сих пор вас секли за ваши вины из-за вашей же пользы, чтобы сделать из вас прилежных и знающих людей, но теперь начальству угодно, написали мне из Петербурга, чтобы телесное наказание, т. е. сечение, больше не применялось. Но не думайте, что ваши вины останутся ненаказанными: виновные в дурном поведении и учении, как и прежде, будут заключаться в карцеры и лишаться обедов и отпусков.

Зато при Шиллинге значительно усовершенствовалась хозяйственная часть гимназической жизни.

Чем не «История одного города» г-на Щедрина, только в гимназических рамках?

Директором тверской гимназии был некоторое время писатель Иван Лажечников, автор исторических романов «Ледяной дом» и «Последний новик». Впрочем, горожане его знали в первую очередь не как писателя, а как светского человека. Вот одно из воспоминаний: «Зимой мы поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды на бале в благородном собрании я заметила в толпе человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выражавшими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо: над высоким лбом был приподнят вверх целый лес волос с проседью...

– Кто это такой? – спросила я одну даму, указывая на него.

– Иван Иванович Лажечников, – отвечала она, – директор гимназии».

Впоследствии Лажечников «пошел на повышение» и вступил в должность вице-губернатора Твери.

Самым же колоритным из директоров гимназий был, видимо, Федор Керенский, отец будущего председателя

Временного правительства. В 1879 году «Симбирские губернские ведомости» сообщали: «В Симбирск прибыл 4 июня новый директор классической гимназии Федор Михайлович Керенский, известный начальству Казанского учебного округа как отличный педагог. С приездом нового директора можно надеяться, что для Симбирской гимназии настанет новая жизнь и лучшая педагогическая деятельность, а вместе с этим изменится незавидная репутация в учебном деле, которой гимназия пользовалась в Министерстве народного просвещения».

Керенский сменил всем надоевшего г-на Вишневого и сразу произвел на окружающих преблагоприятнейшее впечатление. Один из современников писал: «В 1879 году директором гимназии был назначен, сменив дореформенного одряхлевшего “генерала” Вишневого, Федор Михайлович... Наш молодой директор внес первую освежающую струю в затхлую атмосферу симбирского рассадника “классического” просвещения. Это была, действительно, “новая метла” и притом – метла, вознамерившаяся “чисто мести”... Весь этот человек – олицетворенная энергия, ходячий труд, негаснущая лампада перед иконою взятого им на свои могучие плечи ответственного дела».

Другой же современник вспоминал: «Федор Михайлович благодаря своей исключительной энергии быстро стал все улучшать и подтягивать. Он был директором активным, во все вникавшим, за всем лично наблюдавшим... Образованный и умный, он являлся вместе с тем исключительным по своим способностям педагогом. Прекрасно владел русской речью, любил родную литературу, причем система преподавания его была совершенно необычная. Свои уроки по словесности он превращал в исключительно интересные часы, во время которых мы с захватывающим вниманием заслушивались своим лектором... Благодаря подобному способу живого преподавания мы сами настолько заинтересовались предметом русской словесности, что многие из нас не ограничивались гимназическими учебниками, а в свободное время дополнительно читали по рекомендации того же Федора Михайловича все, относящееся

к русской словесности. Девизом его во всем было – «Меньше слов, больше мысли»».

А третий писал: «Года за 2–3 до моего окончания курса был переведен из Вятской гимназии в Симбирскую новый директор Ф. М. Керенский. Высокого роста, немного полный, с открытым симпатичным лицом, сразу произвел приятное впечатление на воспитанников. Преподавал он русскую словесность. Быстро познакомил нас как с древней, так и новой литературой. Особенное внимание обращал Федор Михайлович на исполнение домашних сочинений; обязательно требовал при исполнении заданных тем пользоваться литературными источниками, что очень важно было для развития учеников. Как чтец Ф. М. Керенский был замечательный; до сих пор осталось в памяти его выразительное, отчетливое чтение, особенно из древней русской литературы, как например былин».

Сам же Керенский излагал свою «методику» довольно просто: «Словом и примером наставники и воспитатели стараются развить в воспитанниках благородные стремления, в силу коих в их будущей деятельности выразились бы – беззаветная любовь к Государю и Отечеству, почтение к начальствующим и старшим, трудолюбие, правдивость, вежливость, скромность, благопристойность, добрые отношения к товарищам, уважение к чужой собственности и другие похвальные качества».

Впрочем, были у него и настоящие «ноу-хау». Он, к примеру, разъяснял учителям: «Домашние письменные работы назначать посильные для учеников менее даровитых и менее успевающих, чтобы они, не затрудняясь самостоятельным исполнением задач, достигали лучших успехов, при этом не назначать ученикам одного класса для подачи в назначенный день более одного домашнего упражнения; для лучшего уравнивания домашних и классных занятий не иметь в один день в одном и том же классе более одного письменного классного упражнения; обращать, как было и прежде, особое внимание на учеников менее даровитых и менее прилежных и частым спрашиванием доводить их до усвоения уроков».

Кстати, Керенский не был склонен к завышению

оценок. Наоборот, получить у него «отлично» было делом очень даже непростым.

Помимо всего прочего, Федор Михайлович заботился о бытовых условиях воспитанников. Даже гимназическое здание при нем расширилось – стараниями нового директора удалось «сделать такой же пристрой, как и сама гимназия, к зданию с восточной стороны и переделать старое помещение, дабы придать постройке солидность и удобство».

Человеческие качества Керенского также вызывали уважение. В общении он был весьма приятен, и его коллега И. Я. Яковлев свидетельствовал: «Вот какую характеристику могу сделать Керенскому, отцу, которого я знал близко. Способный. Образованный. Отлично знающий русскую литературу. Хороший рассказчик, обладавший даром слова».

В 1881 году у Федора Михайловича возникло прибавление в семействе – появился на свет его сын Александр. Именно благодаря его воспоминаниям можно себе представить, как жила семья директора Керенского (а его казенная квартира располагалась в том же здании гимназии): «Длинный коридор делил наш дом надвое – на мир взрослых и мир детей. Воспитанием двух старших сестер, которые посещали среднюю школу, занималась гувернантка-француженка. Младшие же дети были отданы на попечение няни, Екатерины Сергеевны Сучковой. В детстве она была крепостной и не научилась грамоте. Обязанности ее были такими же, как и у всякой няни: она будила нас утром, одевала, кормила, водила на прогулку, играла с нами... Перед сном она рассказывала нам какую-нибудь сказку, а когда мы подросли, вспоминала порой дни своего крепостного детства. Она и жила с нами в нашей просторной детской. Ее угол был любовно украшен иконами, и поздними вечерами слабый свет лампадки, которую она всегда зажигала, отражался на аскетических ликах особенно почитаемых ею святых».

Отец практически все время посвящал работе, мать же занималась воспитанием детей: «После утренней прогулки с няней мама часто звала нас в свою комнату. Повторять приглашение дважды никогда не требо-

валось. Мы знали, что мама будет читать нам или рассказывать разные истории, а мы будем слушать, уютно примостившись у ее колен. Она читала не только сказки, но и стихи, былины, а также книги по русской истории. Эти утренние чтения приучили нас не только слушать, но и читать. Не помню, когда мать начала читать нам «Евангелие». Да и чтения эти не носили характера религиозного воспитания, поскольку мать никогда не стремилась вбивать в наши головы религиозные догмы. Она просто читала и рассказывала нам о жизни и заповедях Иисуса Христа».

В 1889 году Керенский получил новое назначение. Он, что называется, пошел на повышение – назначен был главным инспектором училищ Туркестанского края. Его сын Александр об этом писал: «Утром в день отъезда нас посетили самые близкие друзья, чтобы попрощаться, как это водится на Руси, вместе посидеть и помолиться перед дорогой. Затем все поднялись, перекрестились, обнялись и отправились на речной причал. У всех стояли в глазах слезы, и мы, дети, взволнованные до глубины души, чувствовали, что происходит что-то необратимое. На причале нас поджидала толпа знакомых. Наконец прозвучал пронзительный гудок парохода, сказаны последние отчаянные слова прощания, подняты на борт сходни. Застучали по воде колеса, и люди на берегу закричали и замахали белыми носовыми платками. Еще один гудок, и Симбирск, где я провел счастливейшие годы своей жизни, начал постепенно удаляться, становясь частью далекого прошлого».

Так закончился симбирский период жизни семьи Керенских. И блестящее десятилетие жизни симбирской гимназии тоже закончилось.

* * *

Разумеется, директор не имел возможности подобрать для себя идеальный коллектив. В гимназии оказывались самые разнообразные преподаватели. Оно и к лучшему – ведь в результате сложился уникальный тип российского провинциального учителя, который даже типом-то не назовешь – настолько он был разнообразен.

К примеру, протоиерей рыбинского собора Иосиф Ширяев преподавал по совместительству Закон Божий в гимназии. Один из его воспитанников вспоминал: «Это был очень умный и очень сердечный человек. Гимназисты его любили, вероятно, потому, что он сам очень любил детей. Я хорошо помню, как все мы, малыши, жались к нему, когда он выходил из класса, и хором кричали: “Отец протоиерей (в гимназии уже была принята эта новая форма – протоиерей вместо протопопы), благословите!” Высокий и красивый, с размашистыми быстрыми движениями, он легко касался наших голов школьным журналом, приводя всех и каждого в умиление. Его выражения: “Жужелица!”, “Шалите, да потихоньку” – запали нам всем в сердце и, конечно, формировали в добрую положительную сторону наше юное создание. Отец Иосиф принципиально не ставил ни четверок, ни тем более троек по Закону Божьему. В его представлении низкий балл по Закону Божию был предосудителен в нравственном смысле и для учеников, и для преподавателя. Пять с двумя минусами – вот крайняя грань, до которой спускался этот незабвенный наш учитель, праведник русской земли, на которых она держалась стойко и нерушимо».

Еще один яркий законник служил в таганрогской гимназии – отец Федор Покровский. Его уроки далеко не ограничивались дисциплинами духовными. Он имел смелость обсуждать с учениками Пушкина, Шекспира, Гёте. Именно господин Покровский и придумал для Антона Павловича псевдоним «Антоша Чехонте». Правда, он не ведал, что придумывает псевдоним – просто, вызывая гимназиста Чехова к доске, он шутки ради провозглашал по слогам и отчетливо:

– Че-хон-те!

Отец Федор мало походил на батюшку. Впрочем, не без объективных причин – в молодости он был полковым священником, притом служившим на передовой.

– Как поживает поп Покровский? – спрашивал впоследствии писатель Чехов. – Еще не поступил в гусары?

Один из преподавателей астраханской гимназии увлекался музыкой и изобрел довольно необычный музыкальный инструмент – бумажную трубу. По утверж-

дению автора, подобная труба была способна заменить четыре медные. Изобретение направили в Санкт-Петербург, в Министерство народного просвещения, откуда в скором времени пришло такое заключение: «По испытании доставленных в Министерство 12 бумажных труб, изобретенных учителем музыки Добровольским, оказалось, что трубы сии, употребляемы в роговой музыке с большим уменьшением людей, но при этом имеют то неудобство, что при игре на них оне от воздуха отсыревают, а потому и верного тона сохранить не могут. Награды заслуживает, а как семь лет учит бесплатно, то поощрить его жалованьем, и он не оставит продолжать усердно свою службу и печатание литографическим способом музыкального журнала, которое принести может пользу».

Увы, спустя четыре года Добровольский вместо жалованья получил отставку – «как чиновник, вовсе для гимназии не нужный».

Выдающимися личностями были и преподаватели гимназии симбирской. Взять, к примеру, латиниста Верниковского. Тайный советник Л. Лебедев (выпускник той же гимназии) о нем вспоминал: «Питомец некогда знаменитого Виленского университета, поляк и католик, за патриотически-польские юношеские увлечения в числе других был выслан из Западного края, попал в Казань, где преподавал в университете всеобщую историю, а потом, после польского восстания из Казани был отправлен в Вятку. О Верниковском в “Былом и думах” упоминает Герцен как об ученом-ориенталисте, друге Мицкевича и Ковалевского. Из Вятки Верниковский перешел в Симбирскую гимназию, где был последовательно и долго учителем латинского языка, инспектором и директором. Верниковский умел, сохраняя импонирующее значение как по отношению к ученикам, так и к учителям, быть постоянно в живом общении с ними и пользовался уважением в обществе. Он был разнообразно образованный человек, что видно уже из того, что он мог быть и ориенталистом, и учителем французского и немецкого языков и даже преподавал в университете всеобщую историю».

Тот же чиновник вспоминал и о другом преподавателе-

ле – о Николае Гончарове, брате знаменитого писателя: «Николай Александрович получил прекрасное образование, знал отлично французский, немецкий и английский языки. В то же время это был человек с широким добрым сердцем и гуманный.. Гимназисты невольно усваивали от него благородство чувствований и мягкость отношений ко всем и ко всему».

Порой не меньшей популярностью пользовались технари. Другой выпускник, И. Цветков, восторгался: «В. Н. Панов пользовался всеобщим уважением и учителей, и учеников. Это был человек выдающегося ума и образования. При отсутствии физических инструментов он ухитрялся прекрасно преподавать экспериментальную физику и сделать ее интересной для своих учеников. Но, кажется, самым выдающимся педагогом того времени следует признать Н. В. Гине, преподававшего алгебру, геометрию и тригонометрию. Он излагал математические истины необыкновенно просто, ясно, понятно даже для самого ленивого ума; говорил не торопясь, редко и необыкновенно изящно, словом, это был артист в своем роде».

Впрочем, для того чтобы понравиться учащимся, вовсе не нужно было отличать выдающимся преподавательским даром. В частности, преподаватель латыни С. М. Чугунов снискал популярность совсем за другое – за свою глухоту.

– Какой падеж? – строго спрашивал строгий учитель.

– И-и-ительный, – отвечал ученик.

– Да, точно. Винительный, – соглашался учитель. И ставил вполне положительный балл.

В саратовской гимназии на протяжении двух лет учительствовал молодой Н. Чернышевский. Воспоминания современников говорят отнюдь не в пользу Николая Гавриловича: «Его бледное лицо, тихий пискливый голос, близорукость, сильно белокурые волосы, сутуловатость, большие шаги и неловкие манеры, – вообще вся его наружность показалась ученикам очень смешною, почему они стали между собою посмеиваться над ним».

Однако Чернышевский подкупил своих учеников манерой поведения. Он, во-первых, говорил им «вы».

Во-вторых, сидел не за учительским столом, на возвышении, а прямо перед передними партами. В-третьих, пренебрегал традиционными учебниками, а вместо этого читал стихи Жуковского и Пушкина, и вообще старался держать атмосферу доверительную, неформальную.

– Какую свободу допускает у меня Чернышевский! – возмущался директор гимназии. – Он говорит ученикам о вреде крепостного права. Это вольнодумство и вольтерьянство! В Камчатку упекут меня за него!

Однако Мейера никто в Камчатку не уpek – уpekли самого Николая Гавриловича, хотя и гораздо позже.

По неписаному правилу крепче и надежнее запоминались не хорошие преподаватели, а монстры, например преподаватель таганрожской гимназии Иван Урбан. О нем повествовал краевед П. Филерский: «Преподавателем хорошим И. О. Урбан быть не мог уже хотя бы потому, что по-русски говорил очень уж плохо, дополнял слова ужимками, подмигиванием, делающими его речь подчас довольно смешной, но предмет свой он знал и письменной русской речью владел прекрасно. Преподавая латинский и греческий языки, он как бы обязанностью своей поставил отыскивать молодых людей политически неблагонадежных и так как он обладал даром понимать ученика, то почти всегда угадывал и преследовал уже беспощадно. Результатом таких отношений был взрыв его квартиры. Взрывом была повреждена парадная дверь, и зонтик над нею был сброшен. Грохот от взрыва был слышен кварталов за десять и более. Смятение в городе произошло огромное. Потерпевший дал телеграмму нескольким министрам о том, что анархисты хотят его убить, и просил судьбу его детей повернуть к стопам Государя. Началось следствие. Гимназия со своей стороны старалась узнать, не учащиеся ли это. Все розыски окончились ничем, по-видимому гимназисты не участвовали, так на этом и решили, начальство успокоилось».

Трагической фигурой был владимирский преподаватель, господин Небаба. «Законник» Миловский о нем вспоминал: «Один из учителей был малоросс Небаба-Охриновский. Раз он поздно идет мимо гауптвахты, ча-

совой окликает: “Кто идет?” и слышит в ответ: “Небаба!” “Да я вижу, что ты не баба, говори толком, кто идет?” Ответ тот же: “Небаба”. Солдат поднял тревогу, выскочил караул, схватили мнимого озорника и на гауптвахту. Там офицер тотчас узнал арестанта. Наутро весь город смеялся над этим курьезным недоразумением. Этот бедный Небаба любил заниматься ботаникой, был довольно странен в обращении, женился и через год после свадьбы впал в меланхолию и кончил жизнь самоубийством. В чистый понедельник во время заутрени, шагах в тридцати от Вознесенской церкви... он выпалил себе в рот ружейный заряд. Проходивший от заутрени мещанин, запыхавшись, прибежал ко мне сказать, что какой-то барин лежит в переулке убитый. Я тотчас узнал своего товарища. Картина страшная, и теперь она будто перед моими глазами: человек молодой, с которым я вчера виделся и говорил, лежит с раздробленной челюстью, из которой струится кровь. В лице, обрызганном кровью, заметно какое-то судорожное движение. Я это принял за признак жизни и думал пособить несчастному с помощью мещанина, поднял на ноги лекаря, полицию, инспектора гимназии, но было уже поздно».

Разумеется, эта история имела резонанс.

Хотя случались и педагогические коллективы, в которых все дурное было нормой и казалось чуть ли не обязательным условием принятия в тот коллектив. Так было, к примеру, в Смоленске. Гимназический инспектор П. Д. Шестаков писал: «Педагогический персонал, за немногим исключением, состоял из лиц, сильно подверженных известному российскому недугу: пили не только преподаватели, но и лица, стоявшие во главе учебного заведения, даже сам директор “страдал запоем”, на квартирах некоторых учителей и даже в доме благородного гимназического пансиона в квартире инспектора происходили “афинские вечера”, на которых учителя пировали и плясали со своими гетерами... Воспитанников же, подглядывавших, что делается на квартире у инспектора и в каких более чем откровенных костюмах там танцуют их господа наставники, любитель “афинских вечеров” таскал за волосы и драл розгами. Эти наказания, конечно, ни к какому результату не приводили».

Это подтверждал и Николай Пржевальский, знаменитый путешественник, которому пришлось учиться в той гимназии: «Подбор учителей, за немногим исключением, был невозможный: они пьяные приходили в класс, бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы... Вообще вся тогдашняя система воспитания состояла из заучивания и зубрения от такого-то до такого-то слова».

Мало того – в гимназии Смоленска осела странная педагогическая чешская диаспора. Об этом писал Николай Энгельгардт: «В гимназии властвовала колония чехов... Преподавание их было совершенно чуждо античной красоте, идеям гуманизма, и состояло в том, что мы зубрили переводы».

Словом, смоленским гимназистам крупно не повезло.

* * *

Но главными героями гимназий были, ясное дело, сами гимназисты. Это ради них строились здания, закупались учебные пособия (скелеты, глобусы, гербарии), назначался директор, набирался штат учителей, эти учителя ходили на работу, самоутверждались там по мере своих сил. А что же сами дети? Радовались своей участи? Или наоборот?

Н. Русанов, житель города Орла, вспоминал: «Быть гимназистом – эта мысль мне очень улыбалась, и я с наслаждением прислушивался к разговорам старших о том, как я в мундирчике буду ходить в белый многооконный дом, помещавшийся рядом с думой, куда отец ездил сначала “магистратом”, а потом по новому городскому положению – гласным».

В результате Русанов стал революционером-народником. А мечты учеников вдребезги разбивались о гимназический уклад: «Гимназист второго класса живет в Калуге с сестрой и кухней, на Никольской, недалеко от гимназии, огромного кораблевидного дома, одним боком выходящего на Никитинскую, другим на Никольскую. Каждый день, кроме воскресенья, таскается туда одиннадцатилетний гражданин в шинели чуть ли не до пят (ранец за спиной), разные премудрости классиче-

ские... – древние прологи – с покорной ненавистью зубрит как стихи... Дома ждали уроки на завтра, все скучное и ненужное, но неизбежное. А и в убогой жизни есть согревающее: милая сестра, милая кузина – все прошлое, все ушедшее, но действительно бывшее, сейчас в душе живущее. Любовь все согревает».

Это – один из очерков Бориса Зайцева, явно автобиографический.

А вот еще одно произведение Зайцева: «Бежать, дрожать перед латинистом, перед надзирателями, директором, инспектором, дышать пыльным воздухом класса, есть сухой бутерброд на перемене, думать, пройдет письменная задача, ждать грубости... Бедная жизнь, серая, проклятая, что может она взрастить?»

Писатель учился в калужской гимназии.

В симбирской гимназии обучался Василий Васильевич Розанов. Незадолго до этого его старший брат Николай, будучи преподавателем симбирской гимназии, не поладил с директором и подал в отставку. Естественно, «бюрократический прохвост» при случае старался навредить ни в чем не виноватому Розанову-младшему. Любая, даже самая пустейшая оплошность возводилась мстительным директором в ранг преступления, притом тягчайшего.

– Все бегают, – сетовал будущий мыслитель, – а грозят исключить меня одного.

Сам инспектор гимназии говорил юному Васеньке: «Вы должны держать себя в самом деле осторожнее, как можно осторожнее, так как к вам могут придраться, преувеличить вину или не так представить поступок и в самом деле исключить».

Розанов писал: «Сущее дитя до этого испытания, я вдруг воззрился вокруг и различил, что вокруг не просто бегущие товарищи, папаша с мамашей и братцы с сестрицами, не соседи и хозяева, а “враги и невраги”, “добрые и злые”, “хитрые и прямодушные”. Целые категории новых понятий. Не ребенок этого не поймет: это доступно только понять ребенку, пережившему такое же. “Нравственный мир” потрясся, и из него начал расти другой нравственный мир, горький, озлобленный, насмешливый».

А еще раньше Розановы жили в Костроме. С гимназией и там не складывалось. Будущий философ писал брату Николаю: «Я, брат, учусь плохо, но на это есть свои причины: во-первых, что у меня нет трех немецких книг... Священную историю Нового Завета тоже мне недавно дал товарищ... нет Детского мира... Географию мне мамаша купила тогда, когда уже у нас учили Африку... Атласа тоже нет, да еще зоологии нет... Так вот, Коля, и учись, как знаешь! Да вот еще я совсем не понимаю латынь и математику, но ты в этом меня не вини, Коля, это потому, что я пропустил бездну уроков, даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу дома, к товарищам ходить тоже нельзя; потому что я не хожу в гимназию, так и к товарищам оттого, что у меня нет пинджака, да и брюки совсем развалились, а не хожу я с четвертой недели великого поста, да, я думаю, раньше фоминой недели мне и не сошьют пинджака, потому что не из чего. Так вот, Коля, я пропустил много уроков, прихожу в гимназию, смотрю уж, у нас учат не то, что следует, дело плохо, стараюсь догонять; учу то, что проходили без меня, да нет, уж дело-то неладно. Без учительского объяснения и в голову не лезет.

Итак, Коля, я делаю тебе тягостное для меня признание в том, что я учусь плохо, но делаю это признание именно только любя тебя и потому что не хочу от тебя ничего скрывать, по крайней мере про себя. Больше мне про себя нечего писать, обыкновенно похож сам на себя, вырос и похудел, как говорят глупые люди, не понимая сами того, что не только человек, но и животное растет».

Но большая часть гимназистов, разумеется, не рефлексировала, развлекалась, как умела. Краевед Н. Забелин писал: «Меня приняли в первый класс Тверской классической гимназии... О гимназических “традициях” знал от старших братьев... Знал об “анафеме” некоторым учителям. Ее сочинили в 1906 году мой брат Василий, его друзья Вадим Колосов и Александр Номеров. “Попине толстопузому, за речи иезуитские к союзу русских близкие ‘анафеме’ сугубые стократно повторяема”. “Бульдогу злому Шпееру (учитель математики) – анафема”. “А юноше Платонову (учитель физики), всегда в

задачах вращему, ‘анафема’ не надобна”. Знал я и о “коготь, локоть и три волосинки”. Этой процедуры мне не пришлось избежать. Как и всякому новичку попало от старшеклассников и “когтем”, и “локтем”, и были “изъяты” три волосинки из головы».

Дети издевались друг над другом, а заодно выдумывали специальные розыгрыши для «любимых» наставников. Вот, например, отрывок из воспоминаний одного ученика: «Идет урок, допустим, Крамсакова или Овсянникова, прозвище которого среди учеников было “козел”. На уроке шум, жужжание, шарканье ногами, усиленный кашель, музыкальная игра на поломанных перьях – обычные шалости. Вдруг открывается в класс дверь и раздается замогильный голос: “китайский мандарин” или “козел, мэ”, смотря по преподавателю! Слышна беготня по коридору, ученики выскакивают из-за парт, с топаньем и криком кидаются к двери, затем по коридору, якобы с целью изловить виновника. Преподаватель гонится за учениками с криком “Назад! Назад!”. Тут ему на помощь является помощник классного наставника Монтанруж или Вуков, помогают загнать учеников в класс и водворить порядок. Ученики якобы с большим негодованием на нарушителя тишины и покоя, выражая громко угрозы “подожди, мол, попадешься нам”, рассаживаются по местам, чтобы снова начать шалости».

И, разумеется, не обошлись без частушки-дразнилки упоминавшиеся чехи-учителя из смоленской гимназии:

Шадек, Марек, Мясопуст
Зацепились за куст.
Простояли день да ночь –
Пришел Гобза им помочь.
А Крамарыч опоздал –
«Затым – кынечно» объяснял.

Все фамилии, ясное дело, подлинные.

И вместе с тем эти балбесы-шалуны могли писать проникновеннейшие сочинения. Вот, например, одно из них, выполненное орловским гимназистом Б. Холчевым, будущим священником. Называлось оно «Летние удовольствия»: «Одной из положительных сторон лета

являются летние удовольствия. Эти удовольствия уже по одному тому, что человек оставляет душные и пыльные города с высокими домами, мощеными улицами, большими печалью и малыми радостями и ищет удовольствий среди полей, лесов, лугов; словом, проводит все время среди природы, матери человечества, – не только важны, но и ценны для человека... Гулять же мне приходилось большею частью одному; заберу себе книгу, завтрак, добреду по душистому полю до леса, а там или читаю в тени, или лягу на траву да прислушиваюсь, как деревья между собою разговаривают, как птицы перекликаются; гляжу на прозрачное синее небо, и нежная, приятная нега разольется по телу, и хочется, чтобы все и всегда было так прекрасно, чтобы везде была такая гармония, чтобы на душе всегда было так спокойно; хочется все любить, ласкать, все кругом кажется близким, понимающим меня, и угрюмые сосны с печальными березами глядят приветливее, будто и их оставили угрюмость и печаль; а кругом тишина летнего знойного дня».

Так и не каждый профессиональный писатель расскажет о лете.

Особенная тема – наказания. При гимназиях существовали карцеры, куда за всевозможные провинности на время – всего-навсего на несколько часов, все-таки дети – помещали гимназистов. Карцеры были безопасными, температура там поддерживалась та же, что и во всем здании гимназии, а ежели было прохладно, то не сильно. Другое дело – розги. Ими награждали особо отличившихся «смутьянов». И здесь уже вопрос морали, что называется, стоял ребром.

Вот, например, такая ситуация. Ученик смоленской гимназии, будущий известный скульптор Михаил Микешин дал пощечину своему соученику. За подлость. Что это была за подлость, к сожалению, история умалчивает, но сам факт подлости не оспаривается. Михаила Микешина приговаривают к розгам. Тот пишет отцу. Отец срочно прибывает в Смоленск, идет к директору гимназии и требует: «Что угодно, только не розги».

В результате получился компромисс. Розог не было, зато Микешина забрали из гимназии.

И подобные драмы случались нередко.

Высшей мерой наказания было, конечно, исключение. В частности, Иван Мичурин, будущий ученый, был исключен из рязанской гимназии «за непочтительность к начальству» – в сильный мороз не снял перед директором гимназии свой головной убор. Однако есть иная версия – якобы дядя будущего естествоиспытателя поссорился с гимназическим директором, который подло отыгрался на ни в чем не повинном племяннике.

* * *

Проводилась в гимназиях и своего рода внеклассная работа – как же без этого. Строжайшим образом регламентировалась жизнь гимназиста вне стен образовательного учреждения. Запрещалось посещать трактиры, увеселительные парки, синематографы, а в вечернее время – центральные улицы. Подчас запреты выглядели курьезно. Вот выдержка из памятки для гимназистов:

«1. На основании распоряжения г. министра народного просвещения от 14 июля 1879 г. вне дома каждый ученик обязан иметь всегда при себе настоящий билет, выданный за подписью начальника заведения с приложением казенной печати, и беспрекословно предъявлять его по требованию как чинов учебного ведомства, так и чинов полиции.

2. Вне дома ученики всегда обязаны быть в одежде установленной формы, и положенные для них полукафтаны и зимние блузы должны быть застегнуты на все пуговицы. В летнее время, приблизительно с 1 мая по 1 сентября, при теплой погоде и по желанию родителей, ученикам дозволяется носить парусиновые блузы с черным ременным кушаком, парусиновые брюки и белые фуражки с установленными буквами. Но и в летнее время ношение зимней формы не воспрещается; смешение же некоторых частей летней формы с принадлежностями зимней формы не дозволяется. Отправляясь для занятий в учебное заведение, а равно и возвращаясь из оногo, ученики обязаны все классные принадлежности иметь в ранцах, которые должны носить не в руках, а непременно на плечах.

3. Платье должно быть содержимо в полной исправности и чистоте, а потому ученик всякий раз, прежде выхода из дома, должен тщательно осмотреться, всё ли на нем в надлежащем порядке, крепко ли, например, держатся на полукафтане пуговицы, не разорвано ли где платье, и все недостатки своего костюма исправить.

4. Ношение длинных волос, усов, бороды, а равно излишних украшений, не соответствующих форменной одежде, например колец, перстней, высоких воротничков рубашек, выставленных наружу часовых цепочек и проч., а также тросточек, хлыстов, палок, – воспрещается.

5. На улицах и во всех публичных местах ученики обязаны держать себя скромно, соблюдая порядок, благоприличие и вежливость и не причиняя никому никакого беспокойства.

6. Ученикам строжайше воспрещается посещать маскарады, клубы, биллиардные, так называемые пивные и другие тому подобные заведения.

7. Прогулка за черту города или за городские заставы, равно как посещение садов, находящихся вне городской черты, дозволяется лишь под условием надзора со стороны родителей или заступающих их место.

8. Хождение по улицам, тротуарам и садовым аллеям дозволяется летом до 9 часов, а зимой до 7 часов вечера, причем строго воспрещается хождение во всех этих местах гурьбой и вообще более чем по два в ряд».

Ну чем им тросточка помешала? Ведь не драться ею станет гимназист – так, пофорсить. Однако же само желание форсить воспринималось как порочное.

Случалось, что гимназию навещали знаменитые, влиятельные лица. Борис Зайцев, например, описывал визит в калужскую гимназию знаменитого батюшки Иоанна Кронштадтского: «В длиннейшем коридоре второго этажа нас выстроили рядами. Надзиратели обошли строй, обдернули кое-кому куртки, поправили пояса. В большие окна глядел серый зимний день. Мы сколько-то простояли так, потом внизу в швейцарской произошло движение.

– Приехал, приехал!

Через несколько минут по парадной лестнице, уст-

ланной красным ковром, мимо фикусов в кадках быстрой походкой подымался худенький священник в лиловой шелковой рясе, с большим наперсным крестом. За ним, слегка запыхавшись и с тем выражением, какое бывало у него пред инспектором учебного округа, шел директор. Учителя почтительно ждали наверху.

Священник на ходу благословлял встречных. Ему целовали руку. Подойдя к нам, он остановился, поднял золотой крест и высоким, пронзительным, довольно неприятным голосом сказал несколько слов. Я не помню их. Но отца Иоанна запомнил. Помню его подвижное, нервное лицо народного типа с голубыми, очень живыми и напряженными глазами. Разлетающиеся, не тяжелые, с проседью волосы. Ощущение острого, сухого огня. И малой весомости. Будто электрическая сила несла его. Руки всегда в движении, он ими много жестикулировал. Улыбка глаз добрая, но голос неприятный, и манера держаться несколько вызывающая.

Нас показывали ему, как выстроенный полк командиру корпуса. Он прошел по рядам очень быстро, прошуршал своей рясой, кое-кого потрепал по щеке, приласкал, кое-что спросил, несущественное. В памяти моей теперь представляется, что он как бы пролетел по шеренгам и унесся к новым людям, новым благословениям. Наверное, смутил, нарушил сонное бытие и духовенства нашего, и гимназического начальства, и нас, учеников. Так огромный электромагнит заставляет метаться и прыгать стрелки маленьких магнитиков.

Мы, гимназисты, были довольно сонные и забытые существа. Не могу сказать, чтобы приезд Иоанна Кронштадтского сильно вывел нас из летаргии. Но странное, как бы беспокойное ощущение осталось... Тишины в нем не было...

Смел, легок, дерзновенен... Отец Варсонофий видел его во сне так: он ведет его по лестнице, за облака. Было на ней несколько площадок, и он довел Варсонофия до одной, а сам устремился дальше, сказал: "Мне надо выше, я там живу", при этом стал быстро подниматься кверху.

Вот это ясно я вижу. По небесной лестнице поднимается он с тою же легкой быстротой, как и по лестнице калужской гимназии».

Не обходились без высоких визитеров многочисленные торжественные праздники и акты, столь любимые образовательным начальством. Один из современников писал, как проходили в 1911 году празднования в честь присвоения архангельской гимназии имени Ломоносова: «В гимназию собрались, кроме учащихся и учащихся этой гимназии, ученицы женских гимназий со своим начальством. Вскоре изволили сюда прибыть на торжество г. Губернатор, представители от крестьян окрестных волостей – волостные старшины и именитые граждане. И едва ли гимназия видела в стенах своих такое пышное торжество, какое было 8 ноября в Ломоносовский юбилей. Этот знаменательный день навсегда запечатлется в памяти всех присутствовавших на акте».

А в брошюре «Празднование 800-летия г. Рязани 20–22 сентября 1895 г.» сообщалось: «Утром 20-го воспитанники учебных заведений, явившиеся в классы, были обрадованы увольнением от занятий на три дня». Однако это «увольнение» сопровождалось новыми обязанностями. Например, такими: «Ильинская площадь, примыкающая к зданию присутственных мест, со всех сторон была оцеплена войсками, назначенными для поддержания порядка. Прибыли войска с тремя оркестрами музыки, пожарная команда в пешем строю, – и заняли места на площади. Одни за другими являлись ряды, попарно, учеников и учениц всех учебных заведений со своими воспитателями и занимали на площади назначенные им места».

Вот для чего понадобилась столь серьезная боеготовность с привлечением пожарных войск.

Сам губернатор обратился с воззванием к рязанскому юношеству:

– Поздравляю всех вас с высокочтознаменательным событием... Возблагодарим Всевышнего за проявленную милость Божию сохранением в течение стольких веков нашего родного города... Приложите все старание ваше к выработке воспитанием характерных черт рязанцев – сильной воли, прямоты, крепкой веры и любви к Царю и Родине, чтобы впоследствии с беззаветной преданностью к возлюбленному Монарху поработать дружно

на пользу Рязанского края для славы Родины, вечно памятуя завет ваших предков.

Ученики с равнодушием слушали о перспективах, уготованных им городским руководством.

По окончании речи учащихся отвели в городскую управу, где вручили им конфеты и брошюры: «Сказание о святом Василии, первом епископе рязанском», «Святой Благоверный Князь рязанский, великомученик Роман Ольгович» и «Герои рязанские в 1237 году».

«Всех коробок конфет роздано 1046, а брошюр 4500», – отчитались организаторы праздника. А ученикам достался еще один незапланированный выходной.

Иной раз гимназистов «рекрутировали» для всяческих церемоний, происходивших вне стен альма-матер. Вот, например, воспоминание поэта М. М. Лазаревского о том, как городом Орлом для перезахоронения провозили гроб с телом Тараса Шевченко: «В Орле гроб встретили ученики гимназии; полковой хор играл похоронный марш, сокомпонованный капельмейстером из песни “Не ходи, Грицю, на вечерицы!”. Тело было с торжеством проведено за город».

Процветала самодеятельность. В архангельской гимназии читал свои ранние сказки юный Борис Шергин. Один из очевидцев вспоминал: «У него редкостный дар сказителя. Я впервые услышал его более полувека назад. Это было в Архангельске на одном из гимназических вечеров, какие устраивались обычно на святках.

В зале танцевали, толклись, как мошकारа на болоте. Мне наскучила толкотня, и я побрел по комнатам, по классам, примыкавшим к залу. Попал не то в канцелярию, не то в учительскую. В углу сидел круглолицый румяный паренек и что-то рассказывал. Вокруг него сидели, придвинувшись вплотную, человек двадцать и слушали, глядя ему в рот. Я вошел, чтобы послушать, о чем идет речь, думал: побуду минутку-другую – и уйду. Но не ушел, а застрял основательно и надолго.

Шергин говорил сказку о Кирике, сказку стародавнюю и печальную. Она повествовала о двух названных братьях – Кирике и Олеше, у которых была “дружба милая и любовь заединая”, которые “одной водой умы-

вались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлеба кушали, одну думу думали”».

В тверской гимназии в 1866 году был открыт публический один из первых российских музеев. Его основателем был признан Николай Иванович Рубцов. Он был истинным тверским любимцем, и по поводу его отъезда (в город Гродно для дальнейшей службы) известный поэт Федор Глинка написал стихотворение:

Что сгрустились сердца?
Что случилось у нас?
Ах, у нас из венца
Укатился алмаз...
И любимец дворян, и крестьян, и купцов,
И товарищ, и друг,
И работник повсюду за двух,
Уезжает из Твери Рубцов!..

Впрочем, по мнению некоторых современников, Тверской музей был в первую очередь обязан не Рубцову, а другому человеку, Августу Казимировичу Жизневскому. Во всяком случае, известный коллекционер Петр Щукин утверждал: «Я редко встречал такого неутомимого и настойчивого собирателя. По его поручению подчиненные ему чиновники собирали древности по всей Тверской губернии... Будучи холостым и уже на склоне жизни, Август Казимирович большую часть своих небольших средств тратил на свое любимое детище. Настоящим блестящим состоянием Тверской музей обязан этому замечательному и бескорыстному деятелю».

Конечно же не все в новом музее было безмятежно. Иной раз не обходилось без скандала. Например, в 1880 году в одном из залов установили бюстик М. Е. Салтыкова-Щедрина работы скульптора Забелло. Когда же власти закрыли журнал, редактируемый Михаилом Евграфовичем, музейные работники на всякий случай убрали из экспозиции это произведение искусства.

Писатель возмущался на сей счет: «С 1880 года в Тверском музее (в котором г. Жизневский состоит распорядителем) был поставлен мой бюст, как тверского уроженца. Стоял он таким образом беспрепятственно, до закрытия “Отечественных записок”, после чего

г. Жизневский приказал его вынести. Вероятно, он думает на мой счет устроить свою карьеру».

Похоже, Михаил Евграфович не задумывался о том, что в настоянии на памятниках самому себе есть нечто, мягко говоря, нескромное.

В той же гимназии действовало так называемое «Общество организации путешествий учеников Тверской мужской гимназии». Оно возникло в 1903 году и занималось сбором денег и организацией образовательных поездок для особо отличившихся учащихся. Отчеты о поездках выглядели так: «Ученики были в Единонове, Кузнецове, Кимрах, Калязине, Углице, Рыбинске, Толгском монастыре, Ярославле, Ростове, Сергиево-Троицкой лавре и Москве. На каждого ученика израсходовано 14 руб. 94 коп., несколько меньше предположенного расхода, так как от Твери до Рыбинска ученики ехали на казенном пароходе».

Ав гимназии города Екатеринбурга регулярно проводились выступления ученических оркестров. Это учебное учреждение вообще было одним из популярнейших культурных (а не только лишь образовательных) городских центров. Одна из городских газет, к примеру, сообщала: «Настало время, когда наши юноши, кончившие курс в гимназиях и реальных училищах, должны перекочевать в университетские города. Невольно берет забота об их будущности... Наш город, впрочем, всегда оказывал таким юношам материальную помощь, посещая спектакли, концерты и т. п. увеселения, устраиваемые с целью помочь учащимся».

Словом, гимназия была «виновницей» множества всевозможных светских вечеринок, проходивших как в гимназических стенах, так и за их пределами. Правда, веяния то и дело менялись в зависимости от воли того или иного министра народного просвещения, губернатора или же самого директора гимназии. То гимназистам предписывалось сидеть по домам тихо, словно мышки, а то музицировать в залах Дворянского собрания. Один из выпускников вспоминал: «Белой колоннадой и хорами высокая и светлая зала произвела на нас бодрое впечатление. Осталось опробовать акустику, и мы попросили Мотю сыграть. Он открыл рояль. Раз-

неслись могучие аккорды, а мы окружили исполнителя и не заметили, как в залу вошел невысокого роста, полный, лысый старик в черном фраке, с белой грудью и белым же галстуком.

– Прекрасно, прекрасно, друзья, – проговорил он, улыбаясь.

– Кто это? – спросил я у товарищей.

– Поливанов, предводитель дворянства, – постарались объяснить мне пансионеры».

Подобная светская жизнь гимназистов приветствовалась далеко не всегда.

А еще в гимназиях устраивали испытания экстернам. Одно из таких испытаний довелось пройти в молодости К. Э. Циолковскому. Это было в рязанской гимназии. Константин Эдуардович вспоминал: «Первый устный экзамен был по Закону Божию. Растерялся и не мог выговорить ни одного слова. Увели и посадили в сторонке на диванчик. Через пять минут очухался и отвечал без запинки... Главное – глухота меня стесняла. Совестно было отвечать невпопад и переспрашивать – тоже... Пробный урок давался в перемену, без учеников. Выслушивал один математик. На устном экзамене один из учителей ковырял в носу. Другой, экзаменуемый по русской словесности, все время что-то писал и это не мешало ему выслушивать мои ответы».

В результате Циолковскому было присвоено учительское звание, несмотря на его глухоту, которой никто не заметил.

Поэт В. Арнольд, обучавшийся в одной из русских провинциальных гимназий, посвятил ей стихи:

Я помню зал гимназии старинный
И на стенах – портреты всех царей,
И коридор, такой большой и длинный,
И наши классы, и учителей...

И где б я ни был, я скажу повсюду
Свою любовь и чувство не тая –
Нет, никогда тебя я не забуду,
Симбирская гимназия моя.

Как бы ни было тяжело гимназистам, как бы ни досаждали им науки и преподаватели, как бы ни страдали

они от шалостей своих товарищей и не менее глупых проделок высочайшего губернского начальства, молодость и оптимизм брали свое. Воспоминания о гимназиях были по большей части позитивными.

* * *

Если есть гимназии мужские, значит, должны быть и женские. Так да не так. Это только в наши дни кажется логичным. А в XIX веке необходимость женского образования ставилась под сомнение. Действительно – зачем провинциальной дамочке латинские глаголы?

Поэтому в провинциальных городах сначала появлялись учебные учреждения для мальчиков, а уже потом – для девочек. Однако же бывали исключения. Взять, к примеру, подмосковный город Богородск. Первое учебное учреждение этого плана было открыто в городе в 1960 году и называлось Богородским женским училищем 2-го разряда. В 1873 году его преобразовали в женскую прогимназию. В 1904 году ту прогимназию усовершенствовали – вместо трехклассной она стала пятиклассной. Уже на следующий год это учреждение вновь повысило свой статус до гимназии. Здание же гимназии отстроили в 1908 году по проекту архитектора А. Кузнецова.

Появление этого сказочного домика стало в тихом городке настоящим событием. Ф. Куприянов вспоминал: «Начальница гимназии Елена Ивановна была умным, культурным человеком. Она сразу поставила гимназию высоко. Сумела сколотить учительский коллектив и установить дисциплину. Когда гимназия перебралась в новое здание, была устроена грандиозная уборка и устроен “Праздник весны”. К нему велись приготовления, разучивались песни. И вот, настал день, когда все вышли с лопатами и под пение весенних гимнов начали рыть ямы для посадки лип. Мы тоже принимали участие, “и наша денежка не щербата”.

Посадили несколько десятков лип во дворе гимназии и на улице. Многие растут и сейчас.

Очень красивы были слова и музыка гимна. “Пройдут года и в сад тенистый усталый путник забредет. Тогда в листве его душистой шалунья птичка запоеет”».

В женских гимназиях были, естественно, свои, «девчковые» приоритеты. В «коготь, локоть и три волосинки» там никто не играл.

В 1860 году открылась женская гимназия города Екатеринбурга. Она сразу же сделалась весьма престижным образовательным учреждением. Мамин-Сибиряк писал о ней: «Характеристикой наступивших шестидесятих годов, по нашему мнению, служит то внимание, с каким общество отнеслось к образованию и прежде всего к женскому образованию, недостаток которого чувствовался в таком бойком городе, как Екатеринбург, уже давно. История возникновения женской гимназии служит лучшим примером того, что явились новые требования и запросы».

Первая начальница этой гимназии, Елена Кук, была довольно яркой личностью. Современники писали: «Своим личным примером она поощряла к труду, бережливости и всему тому, что должно лечь в основу истинно гуманного воспитания. Многие из ее воспитанниц продолжали потом учение на высших педагогических или медицинских курсах, где с честью окончили курс; другие, закончив учение в стенах гимназии или на ее педагогических курсах, так же, как и первые, приносили пользу обществу своими трудами и знанием».

Впрочем, Софья Тиме – следующая начальница – была ничуть не хуже предыдущей.

– Вы дали целую плеяду учениц, именами которых могут гордиться ваши сограждане, – говорили ей жители Екатеринбурга.

Госпожа Тиме была известна в городе еще и как незаурядный музыкант. Про нее писали: «Редкий концерт того времени проходил без участия Софьи Августовны, всегда служившей украшением концертной эстрады. В свое время это была блестящая виртуозка, легко справлявшаяся с пьесами труднейшего репертуара».

Неудивительно, что при такой начальнице музыкальному образованию уделялось самое пристальное внимание. Здесь, например, преподавал сильнейший в городе учитель пения Ф. Узких. Впрочем, Федор Спиридонович преподавал не только здесь: «Жители города привыкли видеть, как он на лошадке, запряженной в

кошовку, без кучера, но с большой компанией детишек переезжал из одного учебного заведения в другое. Едет из реального в гимназию – везет реалистов, из одной гимназии в другую – в его кошовке (выездных санях. – А. М.) гимназистки. Весело блестят глаза под очками в золотой оправе, выбиваются пышные волосы из-под шапки или шляпы; наблюдает за своими спутниками, остановит, если кто расшалится, поговорит с тем, кто невесел».

Парадоксальная история сложилась в городе Ижевске. Там гимназия мужская появилась годом позже женской, но совсем не потому, что женскую гимназию открыли очень рано. Просто подвела мужская – она появилась только в 1908 году, а женская, соответственно, в 1907-м. Для обучения мальчишества еще искали здание, а дочки заводчан уже учили Закон Божий, физику и языки, постигали искусство рукоделия и играли в крокет.

Разумеется, девочки тоже должны были следовать правилам, и притом непростым: «Ученицы обязаны в учебное время посещать все свои занятия, отнюдь не опаздывая на молитву.. Ученицы обязаны беспрекословно подчиняться своей начальнице... При встрече с гг. Попечителем учебного округа, его помощником, Губернатором и Архиереем, а также ближайшими начальствующими лицами заведения, ученицы обязаны приветствовать их вежливым поклоном... Безусловно и строжайше воспрещается ученицам прогимназии посещать даваемые в клубах балы, маскарады, танцевальные и так называемые семейные вечера... На общественных вечерних гуляньях ученицам быть не иначе, как с родителями».

Нарушительницам этих правил грозила целая иерархия наказаний:

- «1. Выговор наедине.
2. Выговор перед целым классом.
3. Выговор с угрозой дальнейших взысканий...
4. Одиночное сидение в классе на какой-либо скамье в продолжение нескольких уроков.
5. Оставление в гимназии не более как на один час по окончании уроков без внесения или со внесением в штрафной журнал...

6. Задержание виновной в гимназии в продолжение одного и даже нескольких воскресных или праздничных дней на время не более трех часов каждый день.

7. Отделение на время от сообщества других как в классе, так и в рекреационное время.

8. Выговор перед целым классом с понижением отметки за поведение».

Последним же, девятым пунктом шла крайняя мера – «удаление из гимназии».

Даже «выговор наедине» был неприятен. К тому же просто выговором дело иной раз не ограничивалось. Одна из калужских гимназисток вспоминала: «Обходились с нами строго. Однажды я пришла в гимназию с маленькими завитками волос на висках. Это было сразу замечено надзирательницей. “Мадмуазель, – сказала она, – немедленно пойдите в туалетную комнату и приведите свою голову в порядок”. И я пошла размачивать и распрямлять кудряшки».

Жаловалась на гимназические нравы и Любовь Циолковская, дочь Константина Эдуардовича: «Весной отец свел меня в гимназию, где я сдала экзамен в 1 класс. Гимназия с первого же раза встретила меня неприветливо. Портниха, шившая мне белый фартук, украсила его дешевенькими кружевами. Едва я переступила порог, ко мне подлетела классная дама и потребовала, чтобы я отпорола кружева, которые приличны только для горничных. На мой ответ, что далеко живу и не могу этого сделать, она разрешила мне их просто отвернуть. Девочек, делавших себе челки и завитки, неизменно гоняли в умывальную размачивать и приглаживать волосы. Правда, щеголих у нас было порядочно и плохо было их отношение к бедно одетым ученицам, к которым принадлежала и я. Гимназистки презирали простой труд и его представителей. Я воспитывалась иначе – это сеяло рознь между мной и ими. Презрительно смотрели они на мое ситцевое платье и простые варежки и шапочку, связанные матерью».

Словом, «удаление из гимназии» воспринималось многими не как страшное наказание, а как освобождение от бесконечной пытки. Тем более что пытки иной раз были самыми настоящими, физическими. В част-

ности, в архангельской гимназии учительница чистописания тем, кто держал перо неправильно, привязывала его к пальцу. А тем, кто горбился, – привязывала косу к спинке парты.

Вообще говоря, если у мужских гимназий было много общего, регламентированного свыше или просто практикуемого в силу сложившихся традиций, то женские гимназии были гораздо более индивидуальны. Например, один из жителей города Таганрога с гордостью замечал: «В женской гимназии преподаются: гигиена, подание первой помощи в несчастных случаях, латинский язык и бухгалтерия для желающих. Насколько же мне известно, в других женских гимназиях России не существует этих добавочных и полезных предметов».

То есть даже планы обучения устанавливали – кто во что горазд.

* * *

В провинции существовало множество разнообразных учебных учреждений с громкими названиями – лицеи, пансионы, даже институты благородных девиц. Но эти названия не гарантировали ничего. Лев Энгельгардт, в частности, вспоминал о своем обучении в пансионе Эллерта в Смоленске. Он утверждал, что Эллерт «касательно наук был малосведущ, и все учение его состояло, заставляя учеников учить наизусть по-французски сокращенно все науки, начиная с катехизиса, грамматики, истории, географии, мифологии без малейшего толкования; но зато строгости содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины ферилами (то есть хлыстами. – А. М.) из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени на три и четыре часа; словом, совершенно был тиран... Французский язык... хорошо шел по привычке, ибо никто не смел ни одного слова сказать по-русски, для чего учреждены были между учениками начальники: младшие отличались красным бантом в петлице и надзирали за четырьмя учениками, а старшие чиновники отличались голубым бантом и надзирали над двумя

младшими чиновниками; все они должны были смотреть, чтобы никто не говорил по-русски, не шалил и не учил бы уроки наизусть, заданные для другого дня. Младшие имели право наказывать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом по руке ферулой, а старшие чиновники – по два удара... Много учеников от такого славного воспитания были изуродованы, однако ж пансион всегда был полон. За такое воспитание платили сто рублей в год, кроме платья».

В Брянске работала трехклассная Торговая школа. Она была основана по инициативе купцов Павла и Семена Могилевцевых, которые подали в думу следующее обоснование: «Жители среднего сословия г. Брянска, состоящие из мелких торговцев, содержателей небольших промышленных и ремесленных заведений, приказчиков и мелких служащих в разных учреждениях, не могут удовлетворяться только элементарным образованием своих детей... И дети остаются без достаточного запаса знаний для самостоятельной жизни».

Обоснование приняли.

В Орле действовал кадетский корпус. Ученикам его не позавидуешь – они жили по строжайшему уставу:

6.00 – подъем, умывание, одевание, чистка обуви и одежды, молебен. Завтрак.

7.00–8.00 – приготовление уроков.

8.00–11.00 – два урока, между которыми прогулка полчаса на чистом воздухе в любую погоду. До 10 мороза без шинелей.

11.00–12.00 – фронтовые и строевые занятия.

12.00–13.00 – гимнастика, танцы, фехтование, пение.

13.00–13.30 – прогулка на свежем воздухе.

13.30–14.00 – обед из трех блюд.

14.00–15.00 – отдых.

15.00–18.00 – два урока, между которыми прогулка.

18.00–18.30 – отдых.

18.30–20.00 – приготовление уроков.

20.30–21.00 – ужин, потом молитва и повестка.

21.00–21.30 – зоря, умывание, отбой».

Тамбовский Институт благородных девиц тоже был, в сущности, казармой, только женской. Правила гла-

силы: «Воспитанницы встают в 6 часов и после общей молитвы приготавливаются к урокам; с девяти до двенадцати занимаются в классах, в двенадцать обедают. После обеда пользуются отдыхом до двух часов, приготавливаясь между тем к урокам; третий, четвертый и пятый часы учатся в классах; от шести до восьми, после краткого отдыха или прогулки занимаются приготвлением к следующим урокам, или упражняются в искусствах и рукоделиях, ужинают и общею молитвою заключают занятия дня».

Существовали и совсем уж экзотические образовательные учреждения. В частности, в Тамбове действовала воскресная школа при губернской тюрьме. «Тамбовские губернские ведомости» так писали о ней: «Изъявившие желание учиться были разделены на две группы: неграмотные и полуграмотные; полуграмотные занялись письмом, а неграмотным было объявлено о слиянии звуков и показано несколько букв. Нужно только себе представить тот восторг, с каким они прочитали сами первое составленное слово “оса”, чтобы понять то чрезвычайное значение, которое имеет школа для этого “мира отверженных”».

Больше всего, конечно, повезло провинциалам, получающим домашнее образование. Притом совсем не обязательно, чтобы учителя ходили в дом ученика. Случалось и наоборот. Один из ярославских жителей писал: «В 1883 году отец отдал меня учиться к домашней учительнице Елизавете Васильевне. Я до сих пор ее отлично помню: симпатичная женщина с косыми глазами. Жила она на Никитской улице, в подвале дома Ханькова, с дочерью и зятем, служившими на Ярославской почте. Обучалось нас, ребят, у нее человек 8–10, точно не помню. Платил отец ей в месяц 8 рублей. Занимались ежедневно, кроме праздников, по два часа.

Здесь же я раньше многих старшеклассников узнал, что такое глобус. В комнате, где мы учились, стоял шкаф, на нем стоял на полке глобус вроде арбуза. Всех нас, ребят, интересовало: что это за штука? Наконец было решено, что я, как самый храбрый и сильный, должен был во время перемены залезть на шкаф и тщательно осмотреть “сию штуку”, а если удастся, то и спустить ребятам

поглядеть и пощупать. Роста я был небольшого, подставил стул – не хватает, на него поставили другой стул, и вот я на шкафе. Загадочная “штука” у меня в руках, но... отворяется дверь и появляется Елизавета Васильевна. Ссадила она меня со шкафа, дернула за ухо и спросила, зачем я залез туда. Десятка я был неробкого и забияка хороший, за что мне часто попадало от более сильных по шее! Я ответил учительнице, что нас всех интересует “вон этот арбуз”. Учительница очень смеялась на слово “арбуз” и, сняв со шкафа глобус, объяснила нам, что это за “штука” и что впоследствии мы будем по нему учиться географии».

Самым, однако же, распространенным образовательным учреждением в провинции было училище. В первую очередь, конечно, потому, что этим словом называли что ни попадя – от начальных училищ (которые впоследствии либо превращались, либо не превращались в гимназии) до специализированных технических и художественных. Начальные, конечно, были основой.

Самым, пожалуй, колоритным из «училищных» преподавателей был Константин Циолковский. Он прославился, еще когда жил в Боровске, – молодого преподавателя безвестного уездного училища вызвали «на ковер» в столичную (по отношению к Боровску, естественно) Калугу, к начальнику учебного округа. Циолковский держался с достоинством. Впоследствии он вспоминал: «Я очень увлекался натуральной философией. Доказывал товарищам, что Христос был только добрый и умный человек, иначе он не говорил бы такие вещи: “Понимающий меня может делать то же, что и я, и даже больше”. Главное, не его заклинания, лечение и “чудеса”, а его философия.

Донесли в Калугу директору. Директор вызывает к себе для объяснений. Занял деньги, поехал. Начальник оказался на даче. Отправился на дачу. Вышел добродушный старичок и попросил меня подождать, пока он купается. “Возница не хочет ждать”, – сказал я. Омрачился директор, и произошел такой между нами диалог.

– Вы меня вызываете, а средств на поездку у меня нет...

– Куда же вы деваете свое жалование?

– Я большую часть его трачу на физические и химические приборы, покупаю книги, делаю опыты...

– Ничего этого вам не нужно... Правда ли, что вы при свидетелях говорили про Христа то-то и то-то?

– Правда, но ведь это есть в Евангелии Ивана.

– Вздор, такого текста нет и быть не может!

– Имеете ли вы состояние?

– Ничего не имею.

– Как же вы – нищий – решаетесь говорить такие вещи!..

Я должен был обещать не повторять моих “ошибок” и только благодаря этому остался на месте... чтобы работать. Выхода другого, по моему незнанию жизни, никакого не было. Это незнание прошло через всю мою жизнь и заставило меня делать не то, что я хотел, много терпеть и унижаться. Итак, я возвратился целым к своим физическим забавам и к серьезным математическим работам».

Несговорчивый преподаватель сменил в Калуге немало школ. Основным и самым продолжительным местом его работы стало женское училище. Циолковский вспоминал: «В 1898 году мне предложили уроки физики в местном женском епархиальном училище. Я согласился, а через год ушел совсем из уездного училища. Уроков сначала было мало, но потом я получил еще уроки математики. Приходилось заниматься почти со взрослыми девушками, а это было гораздо легче, тем более, что девочки раньше зреют, чем мальчики. Здесь не преследовали за мои хорошие отметки и не требовали двоек..

Благодаря общественному надзору, оно было самым гуманным и очень многочисленным. В каждом классе (в двух отделениях) было около 100 человек. В первых столько же, сколько и в последних. Не было этого ужаса, что я видел в казенном реальном училище: в первом классе – 100, а в пятом – четыре ученика. Училище как раз подходило к моему калечеству, ибо надзор был превосходный. Сам по глухоте я не мог следить за порядком. Больше объяснял, чем спрашивал, а спрашивал стоя. Девица становилась рядом со мной у левого уха. Голоса молодые, звонкие, и я добросовестно мог выслушивать и оценивать знания. Впоследствии я устроил себе осо-

бую слуховую трубу, но тогда ее не было. Микрофонные приборы высылались плохие, и я ими не пользовался...

Преподавал я всегда стоя. Делал попытку ставить балл по согласию с отвечающей, но это мне ввести не удалось. Спрашиваешь: «Сколько вам поставить?» Самолюбие и стыдливость мешали ей прибавить себе балл, а хотелось бы. Поэтому ответ был такой: «Ставьте, сколько заслуживаю». Сказывалась полная надежда на снисходительность учителя... Опыты показывались раза два в месяц, ибо на них не хватало времени. Более других нравились опыты с паром, воздухом и электричеством. <...>

Был я аккуратен и ходил до звонка. Дело в том, что мне скучно в учительской, так как слышал звуки, но разговоров не разбирал и из 10 слов улавливал не более одного».

У воспитанниц Циолковский пользовался популярностью. Одна из них впоследствии писала: «В класс вошел высокий, плотный человек, нам показался старым. На нем был поношенный старый сюртук, блестящий от долгого ношения. Шея Константина Эдуардовича была повязана белым платком. Несколько выпуклые, с нависшими веками, поэтому казавшиеся полузакрытыми глаза из-под толстых очков смотрели на нас с исключительной добротой и мягкостью. Ведь для детей самое главное: добрый учитель или нет. Мы сразу почувствовали, что учитель очень добрый».

Сам Константин Эдуардович так описывал свой педагогический метод: «Дело я обыкновенно вел так. Объяснял урок примерно полчаса. Показывал опыты, причем часто исправлял сам приборы или отдавал их подправлять за свой счет. Затем я предлагал поднять руку тем учащимся, которые поняли мое объяснение. Обыкновенно несколько человек поднимали руку. Им я предлагал повторить мою лекцию. Их повторение мне казалось плохим, но учащиеся их понимали, и уже множество рук поднималось в знак усвоения урока. Отметки ставил щедро, и это не только не вредило, но даже способствовало работе и успеху учеников».

Об училищах, как и о гимназиях, бывшие ученики тоже большей частью отзывались тепло. Писатель Кон-

стантин Федин писал в книге «Встреча с прошлым» о саратовском Сретенском начальном училище: «Обернувшись, я увидел большие старинные окна школьного коридора, необыкновенные по форме – полуовальные, с частым переплетом рам, в виде трапеций. Мне захотелось посмотреть коридор, и, когда я открыл дверь, даже воздух показался мне ничуть не изменившимся с давних пор моего детства. Старые половицы, будто нарочно выдолбленные, как лодки, были по-прежнему прочны, а каменные стены словно еще больше раздались в толщину».

И он, конечно, был не одинок в подобных чувствах.

* * *

Пользовались популярностью реальные училища, созданные по реформе 1864 года и призванные давать «общее образование, приспособленное к практическим потребностям». В них упор делался на «реально полезные» знания – прежде всего математику и физику. Всего в России в 1913 году действовало 276 таких учебных заведений – цифра вообще-то фантастическая.

В одном из таких учебных заведений в городе Череповце обучался будущий «король поэтов» Игорь Северянин. Впрочем, там он в основном проказил и шалил. Однажды, например, он вместе с другим шалопаем приобрел на рынке жеребенка (благо денежки водились) и загнал его на верхний этаж здания училища. С учебной делами обстояли не настолько успешно. И как результат – завал экзаменов и статус второгогодника.

Учение закончилось бесславно:

Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрязнул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увез. Так в Лету канул
Счастливей час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.

И тем более удивительно, что Северянин оставил самые что ни на есть сердечные воспоминания о директоре Реального училища, князе Б. А. Тенишеве. И много позже даже посвятил ему стихотворение:

Князь! милый князь! ау! Вы живы?
Перебирая писем ряд,
Нашел я Ваше, и, счастливый
Воспоминаньем, как я рад!

Мне сразу вспомнилась и школа,
И детство, и с природой связь,
И Вы, мой добрый, мой веселый,
Мой остроумный, милый князь!

В Череповце, от скуки мглистом,
И тривиальном, и пустом,
Вас называли модернистом
За Сологуба первый том...

Провинциальные кокетки
От князя были без ума,
И казначейша (лик с конфетки!)
Была в Вас влюблена сама...

Ведь штраусовская «Электра» –
Не новгородская тоска!..
О, Вы – единственный директор,
Похожий на ученика!..

Так получилось, что добропорядочный чиновник (пусть даже немного «модернист») прославился благодаря ленивцу и баловнику. Если бы не стихотворение Игоря Северянина, о Тенишеве в наши дни никто и ничего не знал бы.

Славилось уровнем преподавания муромское реальное училище. Как говорилось в юбилейном очерке, изданном в 1900 году, «Муромская городская дума в заседании 12 сентября 1872 г.. постановила просить городского голову – в целях открытия местного реального училища... снести с купеческим и мещанским обществами и с Муромским уездным земством, а также с городским обществом, не примут ли они участие денежными средствами в общепольном и благом начинании». В 1880 году училище было открыто. В обязанности специального совета попечителей входили «Заботы по составлению коллекций местных матери-

алов и продуктов; по доставлению ученикам возможности посещать заводы, фабрики, фермы, вообще совершать экскурсии; по изысканию средств к устройству помещения и улучшению преподавания».

Так что учащимся жилось весьма неплохо.

Правда, не все это ценили. Одним из известных хулиганов был Коля Фанталов, то и дело подвергавшийся различным наказаниям. В «Журнале замечаний» постоянно попадались записи, касающиеся этого юноши: «Очень сильно ударил Федорова под ложечку. Арест 2 часа». «Боролся и валялся с товарищами на полу. Арест 1 час». «Сломал во время завтрака ложки и бросил их в отхожее место, в проступке сознался только после некоторых улик. Арест 4 часа в воскресенье». «Принес в училище карбиту и насыпал его в учительские чернильницы. Карцер 3 часа в воскресенье».

Неуемного Фанталова в конце концов отчислили.

Писатель Борис Зайцев вспоминал калужское реальное училище в автобиографическом рассказе «Атлантида»: «Уроки в училище шли как и надо. Женя заседал с Капыриным на задней парте. Батюшка обучал истории церкви, немец с рыжими усами читал Минну фон Барнгельм. Козел с курчавою бородкою лениво плел о гугенотах.

– Ну-ка, вот это как, Капырин, расскажите-ка, что вы знаете о католической... Как вот это там... реакции.

Козел не очень сильный был оратор. Но Капырина испугал искренно. Он вскочил, высморкался, оправил курточку и, толкнув Женю, громко сказал:

– Подсказывай...

И как всегда бывает, сколь ни скучны кажутся уроки, все-таки и они проходят, и зимний день из окон, так же серо и очаровательно синяя, смотрит глазом светлого бесстрастия, во дворе пилят двое мужиков, по белым крышам домиков калужских бродят галки, кресты золотеют в бледном небе, и далеко, за рекой, виден большак на Перемышль, в березах».

Про смоленское Александровское реальное училище вспоминал другой писатель, Иван Соколов-Микитов: «Вот тут, по этой улице, вела меня за руку мать. Как был я не похож на городских бойких детей, нас окру-

жавших. Все казалось мне чуждым: и усталая бульжником твердая улица, и звонкие голоса детей, и цокот подков извозничьей лошади. Все необыкновенно было здесь в городе. Страшными показались длинные коридоры училища, по которым с криком носились ребята, и чугунная лестница, и швейцар в фуражке с синим околышем и синим высоким воротником. Недобрыми казались бородатые учителя в мундирах с золотыми пуговицами и золотыми плетеными погончиками на плечах.

Здесь на лестнице я увидел мальчика, наряженного в черкеску, с игрушечным кинжалом на пояске. С каким пренебрежением поглядел он на меня, на ситцевую мою косоворотку, сшитую руками матери. Сколько раз страдал я от такого городского пренебрежения к моей деревенской робости. Да и застенчив я был тогда до болезненности. Как понравился мне этот нарядный мальчик, его театральный костюм, как хотелось подружиться с ним...

Училище с первых же дней напугало сухой казенщиной, суровым бездушием учителей, одетых в чиновничьи мундиры. Пугали недобрые и грубые клички, которыми именовали своих наставников ученики. Кто и когда выдумал эти злые и меткие прозвища, от которых веяло бурсой, давними временами? Раз положенная кличка оставалась за учителем навеки, переходя из поколения в поколение учеников. Учителя русского языка Насоновского все называли Скоморохом, учителя арифметики – Смыком, классного надзирателя – Козлом и Плюшкой, учителя алгебры – Бандурой. Кроме этих кличек были клички и посолонее».

Нравы в реальных училищах были попроще гимназических. Ученики были старше по возрасту, мнили себя самостоятельными джентльменами. Тот же Соколов-Микитов сообщал: «Однокашник мой, реалист Щепилло-Полесский, странноватый задумчивый парень (кликали его просто Щепилкой), публично “бил морду” инспектору реального училища “Сычу”, за что был принужден окружным судом к тюремному заключению».

В гимназии такое было невозможно.

Тем не менее в официальных документах и офици-

альной прессе выглядело все вполне пристойно. В частности, «Днепровский вестник» сообщал в 1904 году: «В понедельник, 16 августа, в местном реальном училище перед началом учебных занятий отслужен был молебен, по окончании которого состоялся годичный акт... По окончании речи директора преподавателем русского языка А. В. Костицыным была сказана речь, посвященная памяти А. С. Хомякова, покрытая долгими и шумными аплодисментами. Затем секретарем педагогического совета П. М. Катинским прочитан краткий отчет о состоянии училища в истекшем учебном году, из которого, между прочим, видно, что в минувшем году было 7 основных, 6 параллельных и один подготовительный класс...

Из необязательных предметов были: пение, языки и фехтование. Гимнастика была заменена подвижными играми и упражнениями на простейших гимнастических приборах. Ученики старших классов производили осмотры местных типографий, а также осматривали Брянские заводы. 14 человек под руководством инспектора В. И. Степанова и преподавателя В. К. Унтилова совершили дальнюю экскурсию на Финское побережье, в Финляндию и Петербург. За отличные успехи и поведение удостоены наград: первой степени 20 учеников, второй – 16, подарков по рисованию – 16, по черчению – 3. Кроме того, выданы подарки за усердие в пении и за обязанности церковнослужителей и чтецов. К началу текущего учебного года в училище 552 ученика.

Торжество закончилось народным гимном. На акте присутствовало, кроме педагогического персонала и учащихся, много посторонней публики. С 17-го начались учебные занятия, за исключением подготовительного класса, где занятия отложены на несколько дней вследствие ремонта помещений».

Были училища коммерческие, в том числе и женские. Одно из них располагалось в городе Твери – его открыли в 1905 году. Здесь был необычным образом продуман образовательный процесс. Вот, к примеру, выдержка из школьных правил: «Признавая, что только любовь, уважение и доверие учащихся и их родителей к школе и ее деятелям могут создать благополучное течение всей ее

дальнейшей работы, всеми членами совета и комитета училища единогласно было признано полезным устранить какие бы то ни было наказания и всякие внешние поощрения и исключительно влиять на учащихся лаской, советами, убеждениями и самым внимательным отношением к детским нуждам». Без сомнения, составители правил учитывали то, что родители учениц были людьми состоятельными, и старались угодить им.

В коммерческие училища поступали в основном дети купцов, и если мальчики продолжали дело отцов, то девочки планировали стать бухгалтерами, товароведами, хозяйками модных лавок. Кроме общеобразовательных они изучали специальные предметы: бухгалтерское дело, законоведение, черчение. Не оставался без внимания и досуг девочек: «Училище ввело во все межурочные перемены, особенно же в большую перемену, различные подвижные игры под руководством наблюдательницы-фребелички (то есть выпускницы позабытых ныне женских фребелевских курсов. – А. М.), которые производились в хорошую, теплую погоду во дворе, а в ненастную и холодную в зале и коридорах училища. Зимой в ограде училища были устроены гора и каток, в распоряжение детей было предоставлено несколько саней, кресел и дано право пользоваться всем этим как в учебное, так и во внеучебное время, в праздники, одним и в сопровождении их родителей и родственников».

* * *

Провинциалы, не отягощенные особыми амбициями, отдавали своих сыновей в училища технические или же ремесленные. Там обучали токарно-слесарному, кузнечному и столярно-модельному делу. Это гарантировало в будущем пусть не интеллигентную, однако же надежную и доходную профессию.

Череповецкий голова Иван Милютин сообщал: «Для тех же, кто хочет, путем практического изучения техники увеличить цену своего труда и служить делу развития народной промышленности, есть техническое училище, которое дает и машиностроителей, и машиноупра-

вителей, вводящих собою в экономическую жизнь один из сильнейших элементов промышленного движения. При этом училище есть обширные учебные мастерские, сад и механический завод, служащий переходной ступенью со школьной скамьи в жизнь».

Мукомольная машина, изготовленная здешними умельцами, даже удостоилась, будучи выставленной в Петергофе, предстать перед очами Александра III. Иван Андреевич об этом сообщал: «Вижу, подходят государь, государыня, королева датская и несколько других членов царской семьи. Государь и государыня подали мне руки. Государь подошел к машинке и, окинув ее общим взглядом, изволил заметить: “А, это системы Уатт? Отчего это вы избрали этот тип?” – Я ответил: “Он красивее, как первообраз и притом проще для исполнения”... Затем Государь обратился к кому-то из адъютантов: “Пожалуй, нужно будет построить для нее вот там особый павильончик”. “Чем отапливается?” – спросил Государь. Я сказал: “Спиртом”. “Ах, это неудобно; во-первых, дорого, и, во-вторых, пожалуй, кочегары будут напиваться”».

Впрочем, перспективы удачного трудоустройства во многом зависели от дислокации училища. К примеру, «Владимирские губернские ведомости» писали о ситуации в Суздале: «С 1882 г., согласно постановлению Городской Думы 19 февраля 1880 г., в ознаменование совершившегося в тот день 25-летия царствования Императора Александра II, при городском училище открыты ремесленные классы, где преподаются ремесла столярное и переплетное – для желающих из учеников того же училища. В 1900 году обучалось – 12 столярному ремеслу и 13 – переплетному. Содержатся эти классы в половинной части – на средства города, а другую половину (300 р.) отпускает Министерство Народного Просвещения. Обучение ремеслам идет довольно удовлетворительно, но так как занятия кончаются с выходом учеников из училища, то обучение ремеслам не достигает цели – ученики выходят только подготовленными, но не усовершенствованными в ремеслах».

Усовершенствование выпускников училищ было весьма проблематичным. В городе, где чтение не было популярным времяпровождением, а каждый третий

житель мог за несколько часов соорудить себе и шкаф, и лавку, переплетный и столярный промыслы никоим образом не процветали. В отличие, к примеру, от профессии дьячка, которую получали в духовном училище. В начале XX века в России было 185 таких училищ, где дети в течение четырех лет получали среднее образование. В училища могли поступать дети духовных лиц, причем не только православных, но если последние учились бесплатно, то всем остальным приходилось раскошелиться. Выпускники могли поступать в духовную семинарию, после окончания которой становились священниками.

Одно из самых популярных духовных училищ размещалось в Сергиевом Посаде, в лавре. Один из студентов, В. Я. Соколов, писал: «В провинциальной глуши посада, между тем, наша академия мало могла доставить студентам средств, чтобы “разнообразить и подцветить” скучную жизнь... В нашем захолустье не было не только театров, но даже и мало-мальски порядочных улиц... Мы бродили по нашим Вифанкам, Переяславкам и Кукуевкам по снегу, пыли или жидкой грязи, непременно по середине улицы, так как за отсутствием тротуаров хождение по незамощенным краям наших проспектов было часто очень рискованным. Предметом наших наблюдений были лишь посадские извозчики, крестьянские подводы базарных дней да вереницы богомольцев и богомолков с котомками за плечами; а любоваться нам приходилось старыми, каменными торговыми рядами, мелкими лавочками желто-фаянсовой посуды и игрушек местного кустарного производства да единственным в то время колониальным магазином, витрина которого украшалась жестянками консервов, колбасами, виноградом и яблоками».

Да, с желтой посуды и игрушек особенно не забалуешь. В качестве развлечений оставалось только нарушать академические распорядки. Вот как описывает начало обычного учебного дня выпускник Троице-Сергиевой духовной академии протоиерей Иаков Миловский: «Утром, в 6 часов солдат Копнин проходил под окнами студенческих номеров со звонком, приглашая спящую ученость к молитве и занятиям. Но это был

глас вопиющего в пустыне: никто и не думал вставать по звонку. Кому нужно было вставать рано для своих занятий, тот давно встал и сидел за своими тетрадками в своей комнате или в классном зале; кому же хотелось спать, тот спал спокойно до 8 часов, а некоторые ухитрялись просыпаться и классы... В 8 часов опять идет тою же дорогой Копнин со своим колокольчиком созывать нашего брата в класс, и мы шли, только очень неторопливо: наставники приходили на один только час, что же нам делать в классе без наставника? Не драться же на кулачки, как бывало в училище!»

Вечерние часы также не обходились без традиционных нарушений: «В 10 часов в каждой комнате должны быть прочитаны вечерние молитвы, но и это не исполнялось: каждый молился про себя, кроме тех случаев, когда инспектор посетит комнату; а он непременно каждый день посещал одну какую-нибудь. Тогда один из студентов, по назначению инспектора брал канонник и читал все вечерние молитвы внятно и неторопливо, прочие стояли и усердно молились».

Дух протеста проявлял себя также и в трапезной: «Во время обеда и ужина очередной студент читал житие дневного святого. Чтения никто решительно не слушал, а иные из проказников приносили с собой смешные рукописные сказания о том, как один монах, исшед из обители, узрел диавола, едущего на свинье, или как Михаил Архангел был пострижен в монахи. Все хохотали, вот и назидание! Начальство, конечно, не знало этих проделок, да и знать не могло, потому что служители были все за нас и никогда на нас не доносили, а о студентах и говорить нечего».

А развлечения студентов были самые что ни на есть невинные: «Пели песни, устраивали театр... ходили за монастырь смотреть на посадские хороводы. При нашем приближении непременно запевали:

Чернечик ты мой,
Горюн молодой».

В остальное же время «академики» слушали лекции и самостоятельно упражнялись в науках. Лекции, увы, по большей части оставляли желать лучшего. Историк

Е. Е. Голубинский вспоминал: «Лектором Сергей (академический инспектор отец Сергей Ляпидевский. – А. М.) был неважным, читал он нравственное богословие и зачем-то почти на каждой лекции употреблял сравнение церкви с лодкой и кораблем. Студент, собираясь заснуть на его лекциях, говорил соседу: “разбуди, когда проедет лодка” или “когда проедет корабль”. Лекции, которые Сергей выдавал к экзамену, были невозможны для заучивания, и студенты на его экзамене отвечали очень плохо, путали, потому что была путаница и в самих лекциях. А о лекциях по словесности магистра Е. В. Амфитеатрова митрополит Московский Филарет так и сказал, что он согласен пойти скорее на каторгу, чем заучивать их. Преподаватель русской гражданской истории С. К. Смирнов лекции сводил к историческим занимательным анекдотам».

Самостоятельные же занятия были скорее колоритны и даже курьезны, нежели полезны. Вот, например, темы, на которые писали сочинения студенты академии: «О воздыхании твари», «О признаках времени скончания века», «О бесноватых, упоминаемых в св. Писании», «О сновидениях», «О связи греха с болезнями и смертью», «О нравственном достоинстве жизни юродивых», «О состоянии душ по смерти до всеобщего воскресения», а также «Было ли известно Платону и неоплатоникам о таинстве св. Троицы».

Темы диспутов были и вовсе потешными – например, «О тритонах в монастырских прудах». Так что слегка шаловливый характер студентов имел под собой основания вполне объективные.

Издатель Дмитрий Тихомиров, обучавшийся в Костромском духовном училище, писал: «Во сне иной раз увидишь себя школьником. Ранним утром идешь в училище, по пути в собор заходишь и на коленях перед чудотворной иконой, на холодной плите храма проливаешь горячие слезы в жаркой молитве, чтобы учитель не вызвал к ответу (хотя ответ и был с полным старанием приготовлен), хотя бы на этот день, только на этот день... Но не дошли, видно, детские слезы, не оправдалась горячая молитва. Вот пришел в класс, вот звонок, вот отворяется дверь, тревожно бьется детское сердце.

И кровью обливалось оно – меня вызвали к ответу на середку класса. Страхом скована память, нейдут в голову слова твердо заученного урока». То же, что и в гимназиях, и в училищах светских. Разве что в предметах основной упор делался на дисциплины богословские.

А на особо впечатлительных натур подобные учреждения производили впечатление и вовсе дикое. К таким принадлежал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Его и брата Николая отец Наркис Матвеевич привез на выучку в Екатеринбургское духовное училище. Брату Николаю в тот момент уже исполнилось четырнадцать, а самому Дмитрию – двенадцать лет.

Судя по воспоминаниям Павла Бажова, это училище было довольно странным: «На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа.

– Вроде скворечника, – определил отец.

Действительно, дом был какой-то необычный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола. Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в среднем этаже было только четыре классных комнаты, каждая не более как на сорок человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись: “Екатеринбургское духовное училище”».

Училище обескуражило наивных братьев Маминых. Они вдруг оказались в резервации для малолетних хулиганов. Один из исследователей писал об этом: «Первые учебные дни, первое знакомство с бурсацкими порядками, товарищами потрясли Митю. Все было как в книгах и рассказах о бурсе. Но одно дело услышать веселые рассказы дьякона отца Николая или прочитать, а другое – увидеть своими глазами, испытать на своей спине. Старшие шестнадцатилетние верзилы сразу устроили новичкам свои “экзамены”. Дергали за уши, за волосы, за нос. Грубость и сила – вот что было самым главным в отношении к младшим. Жестокость одних рождала ответную у других. Жестокость бессмысленную, ничем не оправданную. Просто из желания увидеть на лице жертвы выражение страха, ужаса, насладиться минутой своей власти и силы».

Увы, все было именно так.

Митя пытался разжалобить своих родителей: «Я лег с отцом. Я рассказал ему все подробно, но он меня слушал. Я ему говорил, что не могу понять учителей, что мне трудно вечерами готовить уроки, что у меня болит голова, и в заключение заплакал. Отец внимательно слушал и потом заговорил. Он много говорил, но я не помню всего. Он говорил мне, что ему меня жаль, потому что я такой “худяка”, что мне трудно учиться здесь, но что он все-таки должен отдать меня сюда».

Увы, но Мите Мамину пришлось смириться.

* * *

Следующая ступень духовного образования – семинария. При слове «семинария» или же «бурса» (бурсой чаще называли общежитие при духовном образовательном учреждении, но иногда и само это учреждение) обычно представляется какое-то подобие монастыря, но только для детей. Жизнь, с детства подчиненная церковному уставу – ни пошалить, ни попрыгать, ни песенку спеть.

Действительность была иная. В частности, в Вологде именно семинария слыла одним из самых «продвинутых» учебных заведений.

В «Исторических и топографических известиях», составленных неким А. А. Засецким еще в 1782 году, в разделе «О публичных увеселениях» значатся всего-навсего три развлечения:

«1) Летом бывают езды по реке на шлюбках и лотках больших, в верх до Прилуцкого монастыря, а в низ до села Турундаева и далее.

2) Зимой при городе по реке ж санями на бегунах взапуски.

3) Меж тем от Семинарии по вечерам бывают иногда театральные моралистические представления».

Таким образом, семинария была замечена в лицедействе – занятии с духовной точки зрения сомнительном.

К началу XX века исполнительская слава городских семинаристов лишь усилилась. Особой популярностью при этом пользовались музыкальные концерты на во-

де. Семинаристы рассаживались по трем лодкам (в одной – духовой оркестр, а в двух других – вокалисты) и отправлялись в плавание по речке Вологде. В основном они радовали своих слушателей классическим репертуаром – вальсами, маршами, фрагментами патриотических опер («Жизнь за царя», например). Однако иной раз, под настроение, могли разразиться чем-нибудь вроде «Как вышел из ковчега Ной и видит Бога пред собой».

Впрочем, семинарские досуги вообще отличались явственным налетом светской жизни. Один бурсак, некто Евгений Грязнов, вспоминал: «Свободные часы... ученик посвящал доступным развлечениям в сообществе сверстников своих, устраивая импровизированные игры где-нибудь около квартиры; в летнее время играли в бабки, в лапту, где находилось свободное место для беганья, а школьники постарше возрастом ходили своими партиями за город, где свободнее было разбежаться».

Еще более старшие семинаристы позволяли себе поведение, совсем далекое от благочинных идеалов. По свидетельству того же автора, «франтоватые семинаристы старших классов во время летних прогулок щеголяли с тросточками... Немногие щеголи старшего класса в парадных случаях появлялись даже в цилиндрах... Между семинаристами, моими сверстниками, куренье было-таки довольно распространено... Другой нашей забавой, правда, не частой и случайной, бывали посещения трактирных заведений... Нельзя замолчать и того, что в исключительно редких случаях появлялась и водка на столе в товарищеской домашней нашей компании».

Не говоря уж о таких невинных развлечениях, как танцы, хороводы, посещение театра и т. д.

Толерантность семинарской профессуры с удивлением отметил Михаил Погодин: «Был в семинарии... Взглянул мимоходом на лавки, на коих ученики вырезали церкви, херувимов, стихи и проч. Провожатый профессор заметил: “Это ребятишки воплощают свои идеи”. Неудивительно, что среди выпускников этого заведения попадались личности, преуспевшие на поприщах, весьма далеких от Закона Божия, к примеру знаменитый доктор Матвей Яковлевич Мудров, вошедший

не только в историю, но даже в литературу (он лечил в «Войне и мире» Наташу Ростову).

Одна из самых популярных семинарий находилась в Суздале. Открылась она в 1800 году и расположилась в известнейшем архитектурном шедевре – Архиерейских палатах. К тому времени палаты, к сожалению, пришли в негодность. Протокол доносил: «Крестовая церковь, палаты его Преосвященства, 4 палаты, архиерейская и соборная ризницы, консистория с архивами, братские и служилые покои с кухней и кладовые с выходами; над оным корпусом крышка, сделанная с обломом, совсем обветшала... всего в 21 да и в прочих местах сквозь самые своды проходит велика теча». Возможно, отчасти поэтому столь престижное здание отдано было простым и нетребовательным бурсакам.

Поначалу они только занимались в суздальских палатах, проживали же в обычных съемных городских квартирах. Эти квартиры оставляли желать лучшего – вот, к примеру, один из ревизских отчетов: «Из осмотренных... 13... квартир, в которых помещаются ученики от 3 до 20 человек, только 2–3 квартиры удовлетворительны, остальные или грязны, или сыры, или тесноваты, или душны, или находятся далеко от училища... обувь и одежда детей грязны, белье требует смены, дети спят на полу, по два и более человек на одном войлоке, войлок и подушка грязны... отсутствие обуви у детей ведет к пропуску уроков».

Впрочем, досталось и учебным помещениям: «Классные комнаты не отличаются чистотой. В октябре было в классах холодно. Вода для питья в ведрах с одним ковшом. Больницы при училище нет».

Последующие проверки обнадеживающими также не были: «Квартиры похожи на логовища и конуры... дети не слышали слова “простыня”... сыпь, чахотка, паразиты... пища – пустые щи и каша... на квартире одного священника посылали детей за водкой».

Дело, впрочем, кончилось благополучно – в 1882 году было освящено новое общежитие при Суздальском училище.

Несмотря на бытовые трудности, семинария была престижной. Суздальское духовное образование, что

называется, котировалось. Многие выпускники делали яркие карьеры – к примеру, Михаил Михайлович Сперанский. Да и обучение само не было столь обременительным. Дети читали латинские книжки, особенно интеллектуальных бесед не вели, развлекали себя всяческими невинными каламбурами – что-нибудь вроде *nos sumus boursaci, edemus semper bouraci* (дескать, мы бурсаки и все время едим бураки, то есть свеклу). В сравнении с учащимися прочих суздальских учебных учреждений, эти *boursaci* были в гораздо лучшем положении. Они, например, могли рассчитывать на более-менее гарантированное трудоустройство при обилии в городе монастырей и храмов.

А калужские семинаристы так и вовсе отличились – устроили бунт. Правда, не политический, а узкосеминарский – выступали против проведения переводных экзаменов. Семинаристы предлагали вместо этого подсчитывать оценки, выставленные каждому за «отчетный период» – и исходя из них либо переводить на следующий год, либо не переводить. Но главное другое – как они это предлагали. Держали руки поверх ряс в карманах брюк – а это запрещалось самым строгим образом. Садилась в парке рядом с барышнями на скамейки! Катались в городском парке на карусли! На занятиях мычали хором! Запирались в классах и пускали там шутихи! Невиданное якобинство!

Впрочем, от подобных милых шалостей довольно быстро перешли к делам серьезным – спели «Марсельезу» и швырнули в голову городского камень. Тогда лишь руководство семинарии отреагировало и отчислило организаторов бесчинств. После чего бунт сам собой завершился.

Кстати, правила в калужской семинарии были довольно строгие. На сей счет существовал особый документ: «Лаврентьевскому архимандриту Никодиму иметь смотрение над Калужской семинарией в том,

1. чтобы учение происходило по утвержденному порядку.

2. надзирать за учителями, дабы в должности своей были рачительны и в школе, когда должно, а также и в церкви, в назначенные часы не отменно были.

3. чтобы отпуск семинаристов в дома, также представления об исключении неспособных из семинарии были с рассмотрением его – архимандрита.

4. сумму семинарскую принимать и содержать правящую префектовскую должность на определенные расходы, а чтобы она порядочно была употребляема, архимандриту своим рассмотрением в оное входить.

5. ему же, архимандриту, наблюдать, чтобы бурсаки пристойно назначенной суммой содержаны были.

6. вновь семинаристов набирать правящему префектовскую должность с ведома архимандрита.

7. ему же, архимандриту, каждую треть экзаменовывать семинаристов и каким кто окажется посылать рапорты.

8. если бы по всему вышеписанному оказался бы в чем непорядок, то ему, архимандриту, все отвращать; иного подлежит увещанием исправлять, а если бы за всем тем, что оказалось, что он собою исправить не может, о том нам представлять».

Тут и не захочешь – забалуешь.

В симбирской семинарии бунт зашел гораздо дальше. Один из ее учащихся писал о событиях 1905 года: «Наша семинария также присоединилась к всеобщему протесту. Нами была подана петиция с экономическими и политическими требованиями, которая осталась без ответа. В виде протеста во время перемен семинаристы открывали окна на улицу и пели революционные песни: “Марсельезу”, “Варшавянку” и др. Городовые врывались в классы, закрывали окна и требовали прекращения пения, но не успевали они удалиться, как в других классах еще громче и дружнее начиналось пение. Среди учащихся начали распространяться прокламации с революционными лозунгами “Долой царя!”, “Да здравствует учредительное собрание!”. Неведомо кем и когда закладывались в печки “адские машины”, которые ночью взрывались. Среди семинаристов старших классов начались аресты. В виде протеста учащиеся объявили забастовку. Семинарию закрыли, учащихся распустили по домам, многих уволили. Семинаристами был организован тайный стачечный комитет, была организована касса взаимопомощи».

Даже не верилось, что всего лишь три года назад здесь

проводили тихий-мирный праздник – пятидесятилетие со дня смерти Гоголя. Пресса сообщала: «Накануне 20 февраля был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер воспитанниками духовной семинарии. Вечер этот произвел едва ли не самое выгодное впечатление из всего празднества. Правда, он не был составлен исключительно из произведений Гоголя, хотя и был посвящен памяти великого писателя. Прекрасный хор пропел гимн Гоголю Случевского, затем было выполнено до 30 литературных и музыкальных номеров. Некоторые из чтецов выполнили свои номера артистически, в особенности воспит. Соколовский и Козьмодемьянский, другие обратили на себя внимание не столько умной дикцией, сколько содержательностью выбора. Музыкально-вокальное отделение было также умело составлено и превосходно выполнено. В симбирской гимназии таких вечеров не бывает, а жаль».

Как уже упоминалось, условия обучения не всегда были на уровне. Вот, например, как выглядела семинария Владимира в начале XIX века: «Вдоль стен стояли плоские и широкие столы, с обеих сторон обставленные скамьями, битком набитыми нашим братом. Человек двести, если не более, помещалось в этой комнате. Половина учеников смотрела на учителя, а другая – показывала ему спину... Когда нужно было спросить ученика, сидящего спиной к наставнику, он толкал его в спину, а ученик, почувствовавши толчок, тотчас вставал, делал пол-оборота и, в искривленном положении, рассказывал свой урок. Если знал его, садился на свое место, а ежели нет, то отправлялся к печке, на колена, ожидать общей расправы...

В класс мы всегда ходили рано. Зимой приходим задолго до свету. Свеч нет, печки топили редко – значит, холодно. Привалит толпа ребятишек, прослушавши аудитору, что делать до учителя? Не сидеть же сложа руки смирно и тихо, не тот был возраст, золотое время не теряли напрасно: толкаемся, бегаем по полу, по столам, крик, гам, хоть уши заткни. Грязь по полу, грязь на столах. Нередко доводилось стирать грязь со стола шапкой, чтобы положить книжку или тетрадку. В класс ходили все летом в пестрядинных халатах, босиком, а зимой в тулупах и,

конечно, в обуви; за поясом помещалась чернильница, за плечом кожаный мешочек для книг и тетрадей. Между третьим и четвертым классом были огромные сени. В них около окон всегда сидели две или три пирожницы с горячими пирожками с говядиной или маком, также два или три сбитенщика-ярославца. У кого были деньги, тот мог лакомиться сколько душе угодно. Эти сени в 1830 году по случаю разделения классов обращены были в залу для помещения в ней 3-го философского отделения, которого я определен был первым наставником».

Практиковались наказания телесные: «Ох, эта расправа! Человек двадцать—тридцать выпорют во время класса за незнание урока. И я не избежал проклятого сечения: один раз получил одну лозу, а в другой – четыре, очень горячих. Секаторами были из своего брата, артисты своего рода. Из учителей училища самый жестокий был Иван Михайлович Агриков, вдовый священник, с деревянной ногой. Он умер игуменом в Муромском монастыре. Бывало, одно появление его наводило на нас ужас, особенно ежели был трезв; когда же он был навеселе, то дело обходилось и без лоз. Как только он переставит свою деревянную ногу через порог, сейчас узнаем, чего нам ждать – радости или горя. Ежели “наша деревянная нога” улыбается, значит, навеселе и больно бояться нечего, а ежели смотрит в землю, исподлобья, быть беде неминуемой. О других учителях грех сказать дурное. Секли и они, но с разбором, за настоящую вину, без этого зверского крика: “Дери его, хорошенько его!”».

Однако подобные порядки бытовали далеко не везде, и многие выпускники духовных училищ поминали их добрым словом. Философ же Николай Страхов, обучавшийся в костромской семинарии, признавался впоследствии: «Следует помянуть добром этот Богоявленский мон., где я прожил пять лет и где помещалась наша семинария. В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила, и она нас питает, что мы готовимся ей служить и готовимся оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую любовь».

Вне зависимости от того, как складывалась жизнь, судьба, карьера, какое поприще для деятельности избирал семинарист, годы обучения казались ему лучшими годами жизни. Можно сказать, что духовное начальное образование было самым качественным в провинциальных городах России.

Следующую ступень духовного образования – академию – мы не рассматриваем. Академий было крайне мало, расположены они были, как правило, в крупных столичных городах и на облик провинции никак не влияли. Что, впрочем, относилось к высшим учебным заведениям вообще.

ИМЕНЕМ БОЖИИМ

Неудивительно, что именно духовному образованию уделялось в российской провинции так много внимания. Храмы в изобилии высились в русских городах, духовные праздники затмевали все прочие, да и вообще религия играла в жизни российской провинции роль довольно существенную. Гораздо более существенную, чем в столицах, у начитавшихся Ницше и Гегеля безбожников и срамников.

Главным центром религии и духовной жизни был кафедральный собор. Самый красивый, самый высокий, с самым толстым батюшкой и с самым пьющим отцом дьяконом. И находящийся, конечно, в самом центре города.

Тарас Шевченко, оказавшись в Астрахани, увидел кафедральный Успенский собор и спросил ключаря:

– Кто был архитектором этого прекрасного храма?

– Простой русский мужичок, – ответил ключарь без гордости.

– Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка! – заключил путешественник.

Шевченко, впрочем, Тона недолюбливал особенно, а московский храм Христа Спасителя – самое крупное культовое произведение этого автора – сравнивал с толстой замоскворецкой купчихой в повойнике, красующейся напоказ посреди Белокаменной.

Другой современник, человек более беспристрастный, рассыпался в комплиментах: «Астраханский со-

бор – украшение и венец Астрахани. Стройный и величественный, он виден со всех возвышенностей за 30 верст. Плывущие по Волге к Астрахани все без исключения любуются собором. Издали, когда самый город кажется еще в тумане, стройный силуэт собора обрисовывается ясно, купола и кресты как бы касаются облаков, и самый город с его церквями и строениями кажется подножием храму».

Значит, и вправду было чем полюбоваться.

Даже в маленьких уездных городах такой собор бывал не без изюминки. Герман Зотов, житель подмосковного Богородска, вспоминал о родном своем Богоявленском соборе: «Вспоминая посещения городского собора с родителями, мне особенно запомнилась роспись левой стены у самого входа, где был изображен ад. Особенно запомнился мне в этой росписи облик Л. Н. Толстого, который был отлучен от православной церкви. В коридоре между главным и боковыми приделами был изображен Илья Пророк, ехавший на колеснице и бросающий молнии на землю. На маленького человека эта икона производила сильное впечатление».

Кстати, иной раз собор был форпостом российской культуры и христианской религии – даже в недавнем, казалось бы, XIX веке. В первую очередь это, конечно, относилось к храмам, строящимся на недавно присоединенных территориях. Например, Михайловский собор города Сочи, заложенный в 1874 году в честь десятилетия окончания Кавказской войны. Строительство этого храма горячо приветствовал сам Достоевский. Он страдал: «Не то явятся, вместо церквей божиих, молитвенные сборища сектантов, хлыстовщины, а пожалуй и штундистов. Явятся, пожалуй, раньше священников и лютеранские пасторы из Берлина со знанием русского языка». Писатель лично организовал сбор средств «исключительно в пользу первой православной сочинской церкви». Но, невзирая на его старания и на материальную поддержку Саввы Мамонтова, храм удалось освятить только в 1891 году.

Местоположение его было весьма удачным. Сочинский краевед Доратовский писал: «На возвышенном морском берегу выделяется церковь, сверкая золоче-

ными крестами. Темная зелень кипарисов эффектно оттеняет белизну колокольни и кольцом окружила все здание... Церковь в городе одна. Главным украшением ее служит смешанный хор, составленный главным образом из любителей. Голоса – мужские и женские – подобраны с большим старанием. Хоровое пение музыкально. Горожане гордятся своим храмом и любят его».

План удался. Хлысты и штундисты не взяли верх в городе Сочи.

К строительству в провинции нередко привлекались и столичные прославленные мастера. Чаще всего, конечно, по знакомству. В частности, архитектор Иван Чарушин, автор Михайловского кафедрального собора в городе Ижевске, отдавал распоряжение: «В нижние боковые приделы иконостасы пока не ставить, а стены будущего алтаря украсить хорошей живописью, для чего привлечь к пожертвованию работой нашего вятского художника Васнецова, который уже знает мои работы и, я уверен, получив экземпляр проекта Михайловского собора, не откажет внести посильную лепту для художественного сооружения в родной земле».

Художник Виктор Васнецов икон, увы, писать не стал, а ограничился несколькими полезными советами.

Жертвовать кафедральному собору почиталось за большую честь. Жертвовали кто чем мог, отнюдь не только деньгами. В истории того же ижевского Михайловского собора бывали такие дары:

«Причту и церковному старосте Ижевского Михайловского храма от ружейного фабриканта Николая Ильича Березина.

Заявление.

Желаю храму во имя архистратига Божия Михаила в Ижевском заводе дальнейшего благоустройства и полного благолепия, я, нижеподписавшийся, сим изъявляю согласие отпускать сему храму (в том случае, если будут изысканы средства на устройство и полное оборудование в нем электрического освещения), – в потребных случаях электрическую энергию бесплатно».

Разные и подчас уникальнейшие типажи попадались среди настоятелей кафедральных соборов. В частности, в Свято-Троицком соборе города Архангельска

служил священник Михаил Сибирцев, по совместительству поэт.

В день светоносный Воскресения
Простим друг другу прегрешения, –

писал он в бесхитростном стихотворении с таким же незатейливым названием «Христос воскрес!».

А вот отрывок из произведения «Распятие Христа-спасителя»:

Окончен незаконный суд.
Распять – положено решение.
И вот Того на казнь ведут,
Кто и не ведал преступленья.

Кроме того, батюшка обладал прекрасным голосом. «Отцу Михаилу надо бы в опере петь», – иронизировали архангелогородцы.

Кстати, в том же архангельском кафедральном соборе хранился подлинный штандарт Петра Великого, подаренный Архангельску самим царем. Хранился до поры до времени, пока в 1910 году штандартом не заинтересовался другой российский император – Николай II. Штандарт отправили в Санкт-Петербург «для представления Его Величеству», да так назад и не вернули.

Зато проводы штандарта были пышными: «В четверг, 6 сего мая, в кафедральном соборе Преосвященным Епископом Михеем была совершена божественная литургия, а после нее благодарственное Господу Богу молебствие по случаю дня тезоименитства Его Императорского Величества Государя Императора, по окончании какового, при произнесении многолетия Государю Императору, с судов, стоявших на рейде против собора, был произведен пушечный салют в 21 выстрел... По окончании молебствия флаг этот Преосвященным был окроплен св. водою, а затем торжественно вынесен из собора боцманом, в сопровождении двух флотских офицеров, на площадь к домику Петра Великого, где к этому времени были выстроены шпалерами войска местного гарнизона во главе с почетным караулом от флотского полуэкипажа.

При звуках петровского марша войска взяли на караул и затем в предшестве «флаг-штандарта» прошли церемониальным маршем на Соборную пристань к ожидавшему военному пароходу «Кузнечиха», на который, при звуках того же марша, и был установлен флаг. После сего «Кузнечиха» плавно отошла от пристани на вокзал, увозя с собой одну из наиболее драгоценных реликвий, связанных с памятью о посещении Императором Петром Великим г. Архангельска в 1693 году. Флаг сопровождали командир флотского полуэкипажа, капитан I ранга Ю. П. Пекарский с почетным караулом, а также капитан-лейтенант П. И. Белавенец, которому поручено доставить этот флаг в С.-Петербург.

На вышеописанном торжестве присутствовали, во главе с Его Превосходительством г. Начальником губернии, почти все гражданские чины и масса публики».

При этом жизнь собора удивительнейшим образом совмещала в себе пафос служения Всевышнему и кондовую провинциальную обывательщину. Протоиерей симбирского собора, отслужив, писал своим согражданам невинные записочки: «Усердно прошу вас, многолюбезная Серафима Петровна, побывать ко мне откушать кофе – он у нас готов уже, а потом мы составим партию в преферанс вкупе с Марфой Петровной Цветковой и с Мар. Тихоновой. С нетерпением ждем».

Прелестное многообразие жизни...

* * *

Собор в губернском городе был один, а храмов и не сосчитать. Собор – для праздников, для служб торжественных, а приходские храмы – для молитвы каждодневной, для причастия, для исповеди, для общения с соседями, для сплетен. Собор – центр религиозной жизни города, но один не может справиться. Городские храмы – ему в помощь.

Вот, например, одна из достопримечательностей подмосковного города Богородска – Тихвинский храм. В нем служил неоднократно уже упомянутый Ф. Куприянов. Службы были по-провинциальному и даже по-домашнему уютными, без чрезмерного пафоса. Куприя-

нов писал: «Было мне не более восьми лет, когда я стал ходить в алтарь, чтобы, надев стихарь, прислуживать при богослужениях: подавать кадило или выходить со свечой перед Евангелием и Святыми Дарами, носить поминания священнику и дьякону во время заупокойного чтения и принимать просфоры для “вынимания” во время проскомидии.

В алтаре был большой порядок и дисциплина. Ходили тихо, говорили шепотом. В свободное время стояли по стенке на виду у батюшки, чтобы не баловались.

Особенно хорошо было в алтаре за всенощной в простую субботу. Тишина, полумрак, только поблескивают лампадки в семисвечнике да перед запрестольными иконами. Где-то сзади поют, а дьякон произносит ектенью. Звуки уходят в купола и там плавают. Прислушаешься к окружающему и к своей внутренней молитвенной работе, а умишко всё впитывает; растешь.

Ранняя обедня начиналась в шесть часов утра. Чтобы поспеть вовремя в алтарь, надо было вставать часов в пять, а в шестом бежать в Церковь... В церкви полумрак, молящиеся тенью ходят перед образами и ставят свечи. Сторожа зажигают паникадила и лампадки. Глаза слипаются, но дела не ждут.

В алтаре уже трое-четверо ребят. Идем в шкаф за стихарями. Подбираемся одинаковыми по росту парами. Облекаемся и сразу становимся другими, смиренными и степенными.

Начинается служба и тут же наши дела. Ведь какую массу надо было принести и отнести, и просфор, и поминаний, и записочек. Надо успеть раздуть кадило, приготовить свечи, а потом “Великий вход”. Строимся по парам и чинно выходим из алтаря впереди священства. Подойдя к середине амвона, становимся по обе стороны Царских Врат и, когда священник войдет в алтарь через Царские Врата, снова становимся парами посредине, но уже с приспущенными свечами. После того, как дьякон покадит, мы дружно кланяемся и чинно расходимся в правые и левые дьяконские двери.

Перед чтением Евангелия опять выходим из боковых дверей вместе с дьяконом, подходим к аналою и становимся по обе его стороны».

Сокровенная жизнь Русской церкви, непарадная и заповедная. Антон Павлович Чехов отчитывался о визите в родной Таганрог дядюшке Митрофану Егоровичу: «Дома я застал о. Иоанна Якимовского – жирного, откормленного попа, который милостиво поинтересовался моей медициной и, к великому удивлению дяди, снисходительно выразился: “Приятно за родителей, что у них такие хорошие дети”. Отец дьякон тоже поинтересовался мной и сказал, что их Михайловский хор (сбор голодных шакалов, предводительствуемый пьющим регентом) считается первым в городе. Я согласился, хотя и знал, что о. Иоанн и о. дьякон ни бельмеса не смыслят в пении. Дьячок сидел в почтительном отдалении и с вожделением косился на варенье и вино, коими услаждали себя поп и дьякон».

Все без спешки, все «как полагается».

Впрочем, иногда второстепенный храм имел свою, особенную славу. Он тоже мог называться собором – невзирая на наличие в городе главного собора, кафедрального. Один из ярчайших примеров – Андреевский собор в Кронштадте. В нем служил сам Иоанн Кронштадтский и, соответственно, собор был знаменит не только по кронштадтским меркам, но и по общероссийским и даже европейским. Протоиерей П. П. Левитский вспоминал: «Бывало, вечером псаломщик скажет: “Завтра батюшка будет служить в соборе!” С вечера прочитаешь правило и молитвы на сон грядущий, не заснуть, как следует, боишься, чтобы не проспать, и целую ночь слышишь, как на рейде завывает ветер и бушует метель. В четыре часа утра уже надо вставать. Выходишь из дому. На улице около тюрьмы за ночь нанесены целые сугробы снега. Еще совершенно темно, и кроме часовых, охраняющих военные склады, кругом ни души. Но чем ближеходишь к собору, тем заметнее становится оживление. Вместительный Андреевский собор настолько переполнен богомольцами, что нечего и думать пройти среди них к алтарю! К тому же предалтарная решетка заперта на замок и охраняется сторожами, которым дан строгий наказ никого на солею (возвышение перед алтарем. – А. М.) не пускать. Единственная возможность проникнуть в алтарь – боковую железную

дверью из соборного садика, да и то до прибытия в собор отца Иоанна; с прибытием его и эта возможность отпадет».

Язвительный Лесков и здесь не разглядел особой благостности. Героиня его «Полунощников» рассказывала об Андреевском соборе несколько иначе: «Около храма, вижу, кучка людей, должно быть тоже с ажидацией, а какие-то люди еще все подходят к ним и отходят, и шушукуются – ни дать ни взять, как пальтошники на панелях. Я сразу их так и приняла за пальтошников и подумала, что может быть, и здесь с прохожих монументальные фотографии снимают, а после узнала, что это они-то и есть здешней породы басомпьеры. И между ними один ходит этакой апоплетического сложения, и у него страшно выдающийся багровый нос. Он подходит ко мне и с фоном спрашивает:

“По чьей рекомендации и где пристали?”

Я говорю:

“Это за спрос! Тебе что за дело?”

А он отвечает: “Конечно, это наше дело; мы все при нем от Моисея Картоныча”».

Случались и курьезы. Уже упоминавшийся мемуарист из Костромы С. Чумаков рассказывал о церкви Воскресения на Площадке: «Костромские батюшки любили извлекать доход из церковных земель, угодий и строений. Благочестивые костромичи были весьма удивлены, увидя, что в подклети (сама церковь была на втором этаже) церкви Воскресения на Площадке в центре города был пробит дверной и оконный проемы и устроено торговое помещение. Вскоре над витриной появилась вывеска крупными буквами: “Граверная мастерская Гельмана”. В те времена такая композиция – наверху православный храм, внизу еврейская лавочка – встречалась в России нечасто. Поэтому года через два, дабы не “смущать” верующих, преосвященный “не благословил” дальнейшее продление контракта. Гельман переехал в Гостиный двор, нанял раствор напротив памятника Сусанину, а в церкви Воскресения на Площадке начал торговлю истинный христианин».

Писал Чумаков и о церкви Иоанна Предтечи, кстати, располагавшейся фактически на главной площади го-

рода Костромы: «На Мшанской улице, в самом ее начале, против больших мучных рядов была старинная небольшая церковь... Частью своей, именно алтарной, она выпирала за красную линию, установленную значительно позже, чем была построена церковь, и выходила на самую мостовую. Поэтому в базарные дни морды лошадей находились у самых алтарных стен, кругом все было заставлено телегами или санями на мостовой, масса навоза, и, в довершение всего, стена алтаря использовалась для малых дел, ибо в те времена господствовала простота нравов. Для прекращения такого безобразия духовенство церкви заказало вывеску, которая и была прикреплена к алтарю. Вывеска гласила: “Здесь мочиться строго восъпрещается”. Несмотря на сие воззвание, как раз это место, по старой привычке, было наиболее используется для облегчения».

Как говорится, не знаешь – то ли плакать, а то ли смеяться.

Впрочем, вся эта непосредственность и хамство часто производили впечатление и вовсе омерзительное. Будущий философ В. В. Розанов писал о смерти своей матери все в той же Костроме:

«– Сбегай, Вася, к отцу Александру. Причаститься и исповедоваться хочу. – Я побежал. Это было на Нижней Дебре... Прихожу. Говорю. С неудовольствием:

– Да ведь я же ее две недели назад исповедовал и причащал.

Стою. Перебираю ноги в дверях.

– Очень просит. Сказала, что скоро умрет.

– Так ведь две недели! – повторял он громче и с неудовольствием. – Чего ей еще? – Я надел картуз и побежал. Сказал. Мама ничего не сказала и скоро умерла».

Любопытно выглядела коммерческая часть церковной жизни. Ее описал С. В. Дмитриев на примере церкви Власия в городе Ярославле: «Приход Власия был богатый. Петр Алексеевич (псаломщик. – А. М.) говорил, что они получали доходы по службе при дележе кружки: священник до 6000 руб., дьякон до 3000 и псаломщик до 1500 руб. в год при готовых квартирах и отоплении. Кружкой называлась просто касса священнослужителей, она стояла в алтаре на жертвеннике, в нее опуска-

лись все денежные поступления: с поминаний, молебнов, панихид, крестин, свадеб и т. п. Заперта она была на висячий замок, ключ от которого хранился у священника. Каждый месяц кружка эта отпиралась, содержание подсчитывалось всем причтом и делилось...

Священник отец Константин Крылов был жадный человек. В первое время моего служения в алтаре он тщательно наблюдал – не стащу ли я чего-нибудь, особенно с блюд с поминаньями.

На каждом поминанье лежала просфора или две и деньги на поминовение, от 2 до 20 копеек. Если на поминанье лежало 10 и больше копеек, то это значило поминать “на обедне”, то есть не только перечитать поминанье у жертвенника, но и прочесть дьякону на амвоне, а священнику в алтаре “о упокоении душ усопших рабов Божиих”. Таких “обеденных” поминаний ежедневно у Власия было так много, что священник и дьякон читали их приблизительно около часа. Проскомидия, а значит, и поминание продолжались, по уставу, конечно, до херувимской песни, то есть примерно до половины обедни. Эту часть обедни православное духовенство старалось и до сих пор старается протянуть подольше, дабы собрать побольше поминаний, а с ними, конечно, и самое главное – пятаков. Одну только “херувимскую песнь”, как певчие, так и псаломщики, что называется, тянули без конца...

По праздникам у Власия служились две обедни: ранняя и поздняя. Но при одном священнике при церкви, по церковному уставу, не полагалось служить две обедни. Потому на раннюю обедню приглашался из Афанасьевского, а иногда из Спасского мужских монастырей монах. Платили ему за службу один рубль. Во время его службы отец Константин, бывало, не отойдет от жертвенника, или, вернее, не допустит монаха до жертвенника, из опасения, как бы “отче монасе” не стащил бы с поминанья гроши».

В очередной раз поражаешься переплетению возвышенного и порочного.

Тема особенная – колокольный звон. Столичный путешественник господин Линд возмущался в Торжке «громоуханием колоколов церкви Ильи Пророка, кото-

рая огромным белым пирогом давит на площадь и на отлогий скошенный спуск к Тверце, носящий по церкви название Ильинской горы, в то время как вся площадь называется в честь своего шумного патрона Ильинской».

Для кого громыхание, а для кого и малиновый звон.

Выдающимся звоном отличался Ростов Ярославский. Михаил Нестеров писал о путешествии по Ярославской губернии: «Виденный мною Переславль-Залесский с его историческим озером и двадцатью девятью церквями и несколькими монастырями полон глубокой старины, но он – лишь только прелюдия к чудным, своеобразным звукам, который дает собой Ростов Великий с кремлем, его глубокохудожественными храмами, звонницами и знаменитым ростовским звоном. Звон этот единственный, он имеет шесть особых мотивов, ведущих свое начало с давних времен, и мотивы эти носят наименования былых святителей ростовских, например: Авраамьевский, Дмитровский, Ионафановский и проч. А чтобы и отдаленное потомство могло иметь представление об этом звоне – в музее находится подобранный камертон всех шести звонов».

Примечательно, что Нестеров, художник и большой приверженец русской архитектуры, остановил свое внимание именно на ростовских звонах, а «глубокохудожественные» храмы только лишь упомянул.

Здесь же потрясли и Константина Станиславского: «Специально для нас был назначен большой звон ростовских знаменитых колоколов. Это было нечто совершенно неслыханное. Представьте себе на верху церкви длинную, точно крытый коридор, колокольню, “звонницу”, на которой развешены всевозможных разных размеров и тонов большие и малые колокола. Несколько звонарей перебегают от одного колокола к другому, чтобы ударять в них, согласно срететированному ритму. Так вызванивали своего рода мелодию многочисленные участники своеобразного колокольного оркестра. Потребовался целый ряд репетиций, чтоб достигнуть желаемой стройности и приучить людей перебегать от одного колокола к другому в определенном темпе и с соблюдением необходимого ритма».

Звонарем мог стать не каждый. Мало было слуха, расторопности и чувства ритма. Когда кого-либо из горожан определяли к колокольне, особо требовалось, чтобы он «будучи звонарем должность свою по надлежущему отправлял со всякою исправностию безостановочно и житие имел добропорядочное и трезвенное, а пиянственных и прочих непотребных поступок, к позорению приличествующих, отнюдь не производил».

Звонарь был фигурой публичной, и его репутация значила многое.

Зато названия здешних колоколов особой благостью не отличались. Были, например, «Баран», «Козел», «Пропиелей» и «Голодарь» (названный так, впрочем, в честь Великого поста). Да и при обучении затейливым ростовским звонам использовались всевозможные попевки подчас сомнительного содержания.

В частности, звонари Успенского собора приговаривали про себя:

У нас денежки украли!
У нас денежки украли!
Украли, украли, украли!

После чего вступала колокольня церкви Спаса на Торгу:

А мы знаем, да не скажем!
А мы знаем, да не скажем!
Не скажем, не скажем, не скажем!

Своеобразный диалог складывался между колокольнями Рождественского и Богоявленского монастырей. Первый признавался:

Без числа мы согрешили!
Без числа мы согрешили!

Второй же успокаивал:

Един Бог без грехов!
Един Бог без грехов!

Иногда же диалог разыгрывался между колоколами одного монастыря. К примеру, Спасо-Яковлевская

Дмитриевская обитель развлекала окружающих такой «беседой»:

– Чем, чем наш архимандрит занимается?
Чем, чем наш архимандрит занимается?
– Пунш пьет, пунш пьет!
Пунш пьет, пунш пьет!

Церковь Николая на Подозерье вещала:

Саечники, булочники! К нам, к нам, к нам!
Крендели, булки! Крендели, булки! К нам, к нам, к нам!

Или же:

У Николая попы воры!
Прихожане зимогоры!
А народишко-то дрянь, дрянь, дрянь!
А народишко-то дрянь, дрянь, дрянь!

Непотребствовались звонари церкви Николая на Всполье:

Из-под бани голяком!
Из-под бани голяком!

Иной раз использовались детские стишки:

Зайчик белый,
Куда бегал?
В лес сосновый.
Что там делал?
Лыко драл.
Куда клал?
Под колоду.
Кто украл?

Или:

Тили-тили-тили бом,
Загорелся кошkin дом.
Кошка выскочила,
Глаза выпучила.
Бежит курица с ведром,
Заливает кошkin дом.
Тили-тили-тили бом.

Самой же, пожалуй, безобидной из попевок было:

Какая ель, какая ель!
Какие шишечки на ней!

Во всяком случае, это не оскорбляло ни общественную нравственность, ни пьяницу архимандрита.

* * *

Собор и храмы – колоритные учреждения, но с монастырями не сравнить. Монастырь для города – это и центр духовный, и особенного рода развлечения (излюбленное – сидеть у дороги и смотреть на паломников), и экономическое подспорье – те же паломники должны где-то питаться и снимать жилье, сам монастырь не всегда может их обеспечить инфраструктурой в нужных количествах. Да и почетно это – когда в городе есть монастырь. Или же рядом с городом – часто монастыри располагались все-таки за городской чертой, но совсем рядом, бок о бок. Для монастырской братии соседство с городом тоже являлось преимуществом – по крайней мере в решении всевозможных хозяйственных дел.

Монастыри ставились основательно, под стать кремлям, и смотрелись, соответственно, солидно. Публицист И. Колышко писал: «Борисоглебский монастырь поражает всякого посетителя Торжка еще издали своей грандиозностью. Вблизи он нисколько не теряет. Он занимает площадь гораздо больше 200 саженей в окружности и расположен у самой Тверцы, на насыпи, господствующей над всем городом. Две каменные боковые стены его с галереей и прорезанными в ней амбразурами идут очень красивыми уступами по склону горы. Стена же, обращенная к реке, стоит гораздо ниже противоположной, так что верхний гребень ее приходится почти вровень с насыпью, и тут, на этом гребне, разбита железная беседка, откуда можно любоваться во все стороны. Это место еще выше бульвара, и так как оно на другом берегу, то отсюда представляется возможность одним взором окинуть всю старую часть города, с ее деревянными домиками и кривыми переулочками».

Иными словами, не просто мужская обитель, а своего рода столица Торжка.

Братья Лукомские описывали достопримечательность города Костромы: «Ипатьевский монастырь... окружен высокими стенами: башни-бойницы, башни-дозорные, островерхие, круглые и уступчатые – придают внушительный, даже грозный вид древней обители. Но черные, лохматые кедры, пушистые лиственницы и плакучие березы вносят живописность, а выглядывающие из-за листвы их золотые главы собора вливают торжественную ясность в тот архитектурный пейзаж, который открывается перед глазами обозревателя, когда он вступает на деревянный, барочный, низенький мостик через р. Кострому. Перейдя на другой берег, поднявшись на взгорье – и, миновав одну из самых красивых башен монастыря – круглую, надо войти в ворота, построенные к приезду императрицы Екатерины Великой».

Да и по хозяйственному обустройству монастырь превосходил иной уездный город. Протоиерей отец Иоанн писал в 1911 году о женском Рождество-Богородицком монастыре (город Белгород): «К югу от монастыря через улицу вплоть до реки Везелицы находилось пустопорожнее место... В 1863 году это место было приобретено... для обители. Теперь на этом месте расположен монастырский сад с мелкой сажелкой для рыбы, заведен огород, построен конный двор с домом для заведующей этим двором и для помещения приезжающего монастырского священника, а на юго-запад от конного двора возведены постройки для приема странников, где они получают бесплатно ночлег и горячую пищу.. Монастырь принадлежит к числу многолюдных обителей и своими строениями занимает площадь до пяти десятин в два почти целых квартала; сестер в этой обители до 800».

Прогулка в монастырь – прекрасное занятие, душе-спасительное, увлекательное и для здоровья полезное. Вот, к примеру, описание костромичом Евгением Дюбюком маленькой домашней вылазки в Ипатьевский монастырь, которое отправил он своей жене: «Дорогая Клабочка! Вчера мы трио (я, Николай и его жинка) совершили экскурсию за город – за речку Костромку, в Ипатьевский монастырь и монастырские луга. Хорошо! Монастырь старый, стены его с бойницами и амбразу-

рами, по углам дозорные круглые башни, внутри ограды церковки старинной архитектуры и письма. Хороша аллея: по одну сторону кедры, по другую то исполинские вязы, то старые березы, со стен чудесный вид: слева плещется Костромка, справа далеко-далеко ушли сочные луга, с кое-где мерцающими озерками, через низкую монастырскую дверку спустились на луга.

Опущусь на луга я росистые,
Я упьюсь ароматом цветов...
Расцвелись огнем золотистым
Заокраины синих лесов...
Гаснут зори и бережно-ясная
Ночь спускает на землю покров,
Звезды в небе зажглися прекрасные,
Сколько в небе горящих цветов!
Коростель по соседству болотную
Караульную службу несет...
Прочь уходит с души мимолетное,
Все неправда, что силы гнетет...

Вернулись с лугов уже поздно, когда ночь нависала над городом».

Тот же монастырь был целью увеселительной прогулки драматурга А. Н. Островского, временно остановившегося в Костроме: «Вчера мы только что встали, отправились с Николаем в Ипатьевский монастырь. Он в версте от города лежит на Московской дороге по ту сторону Костромы-реки. Смотрели комнаты Михаила Федоровича, они подновлены и не производят почти никакого впечатления. В ризнице замечательны своим необыкновенным изяществом рукописные псалтыри и евангелия, пожертвованные Годуновым. Виньетки и заглавные буквы, отделаны золотом и красками, изящны до последней степени, и их надобно бы было срисовать. Из монастыря мы отправились с Николаем вниз по Костроме на маленькой долбленной лодочке, которая вертелась то туды, то сюды и того гляди перевернется. Это называется – в карете по морю плавать, бога искушать. Из Костромы мы выехали на Волгу и, проплыв в таком углу челноке версты 3, подъехали благополучно к городским воротам».

Монастырь был романтичен. Философ Н. Страхов, к примеру, вспоминал костромскую Богоявленско-Ана-

тасьинскую женскую обитель: «Везде были признаки старины, тесная соборная церковь с соборными образами, длинные пушки, колокола со старинными надписями. И прямое продолжение этой старины составляла наша жизнь: и эти монахи со своими молитвами, и эти пять или шесть сотен подростков, сходящихся сюда для своих умственных занятий. Пусть все это было бедно, лениво, слабо, но все это имело определенный смысл и характер, на всем лежала печать своеобразной жизни. Самую скудную жизнь, если она, как подобает жизни, имеет внутреннюю цельность и своеобразие, нужно предпочесть самому богатому накоплению».

И вместе с этим монастырь был свой – городской, почти домашний. Вот, например, воспоминания жителя Ярославля С. Дмитриева: «Гуляя как-то летом с товарищами, я заинтересовался открытыми воротами Казанского монастыря. Меня привлекало то, что на этот раз были открыты ворота со стороны бульвара, тогда как было хорошо известно, что в этой стене открывалась только калитка, и то открывалась лишь во время церковных служб в монастыре. Обычно же дни и ночи калитка и ворота, выходящие к бульвару, были заперты, в монастырь можно было попадать только с противоположной стороны, с Варваринской улицы, где в стене, под колокольней, были и ворота, и калитка, открытые целый день.

Встал я в этих неожиданно открывшихся воротах и смотрю: выносят хоругвь, икону, торжественно идут и что-то поют монахини. Вдруг одна из монахинь машет мне рукой и зовет к себе. Я снял фуражку и подошел. Она предложила мне нести маленькую невысокую полотняную хоругвь до Загородного сада... Я, конечно, сейчас же согласился. В те далекие годы нести во время религиозных торжеств какую-нибудь церковную реликвию: икону, хоругвь, евангелие, кадило и т. п. – считалось очень почетным и благородным делом.

Я это знал: гордо нес хоругвь и с большим бахвальством поглядывал иногда на своих товарищей, которые шли с нашим крестным ходом, очевидно наблюдая, что из всего этого выйдет. Они рассчитывали на мой маленький рост и думали, что я не выдержу такой работы,

а мы, мол, ее перехватим! Но хоругвь была очень легкая, а ветра не было, и я нес ее свободно.

В церквах, мимо которых мы проходили, звонили во все колокола. Это придавало мне, как участнику процессии, еще больше энергии и гордости, мальчишеского хвастовства!

В воротах Казанского монастыря нас встретило великое множество монахинь во главе с игуменьей. Вся наша процессия под звон колоколов и пение громадного монашеского хора вошла в церковь. Та же монахиня, которая пригласила меня нести хоругвь, отобрала ее у меня и ласково расспросила, откуда я, чей сын, кто и чем занимаются родители. Получив ответы, очевидно, понравившиеся ей, пригласила меня приходить каждый праздник к ранней обедне».

Так произошло «трудоустройство» любознательного и романтически настроенного мальчика.

* * *

А вереница паломников – зрелище неповторимое. Писатель И. Д. Василенко вспоминал о Белгороде в автобиографическом произведении «Волшебные очки»: «В городе два монастыря – мужской и женский. В церкви мужского стоит рака с “нетленными мощами” святого Иосафата. Вот к ним-то и стекаются на поклонение эти люди из разных мест необъятной России.

– Антонина Феофиловна, а что их тянет сюда? – спросил я однажды свою квартирную хозяйку, женщину не первой молодости, но еще бойкую и подвижную.

– Как что? Одни много нагрешили – вот и идут грехи замаливать. Другие сильно болели и дали обет отправиться к святым местам, ежели Бог вернет здоровье. На третьих священник эпитимию наложил – тоже, значит, за грехи. А больше – так просто, из любви к господу Богу».

Именно паломникам обязан был своим возникновением воронежский Митрофаниевский монастырь. Воронежский епископ Митрофан служил во времена Петра Великого. Он был одним из тех не слишком многочисленных священников, которые стояли на стороне смелых царевых преобразований. В большинстве своем батюшки

осуждали Петра (дескать, заставляет брить бороды, уподобляясь из-за этого псам и котам, да и вообще характер у него не русский, а какой-то иноземный). Митрофан же участвовал в строительстве флота и оказывал царю не только духовную, но и материальную поддержку.

Петр очень высоко ценил епископа. Когда тот скончался, царь собственноручно прикрыл его веки и произнес:

– Нам стыдно будет, если не засвидетельствуем признательности сему благодетельному пастырю отданием последней почести: мы сами вынесем тело его.

И действительно, царь с высшими российскими военачальниками нес гроб с усопшим епископом в храм, а затем в усыпальницу.

– Не осталось у меня такого святого старца, – сокрушался Петр. – Буди ему вечная память!

В 1862 году в городе состоялось торжественное открытие мощей святителя, а двумя годами позже воронежский архиепископ Антоний II обратился в Священный синод: «По открытию святых мощей новоявленного Воронежского святителя и чудотворца Митрофана, для вящего хранения сей святыни, по великому стечению богомольцев со всей России, и для ознаменования должного благоговения к угоднику Божию, согласно желанию благочестивых граждан Воронежских, весьма бы полезно устроить монастырь, где опочивают Св. мощи».

Так вокруг храма Благовещения образовался монастырь, один из самых молодых в России. Он был торжественно открыт 1 сентября 1836 года. Позже при нем учредили братство святителей Митрофана и Тихона, библиотеку с читальней, в которой показывали «световые картинки» – естественно, самого благостного, религиозного содержания. Главной же притягательной силой обители оставались конечно же мощи Петрова соратника.

Один из героев романа А. Эртеля «Гарденины» жаловался на героиню того же романа: «Предлагал медицинские советы, – у ней, кажется, застарелый ревматизм, – отвергает, маслицем от раки святителя Митрофана мажется».

Присоединился к описанию воронежских паломников и журналист Владимир Гиляровский: «Воронеж никак миновать нельзя... обязательно идут поставить

свечечку и купить образок местного угодника Митрофанья лишь потому, что Воронеж на пути (к Киеву. – А. М.) стоит... Вы можете видеть этих пешком пришедших лапотников с пыльными котомками и стертymi посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении: потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов». «Очарованный странник» Лескова рассказывал: «Поехали мы с графом и графиней в Воронеж, – к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли».

Митрофановские мощи набирали популярность. И забывалось как-то, что еще в начале XIX века не было ни монастыря, ни самой святыни. Воронежская поэтесса Валентина Дмитриева обмолвилась в одном из прозаических произведений: «На крутом берегу р. Воронежа, там, где высятся древние стены и золотыми звездами сверкают синие главы Митрофаньевского монастыря, там, точно паутина, во все стороны расползается запутанная сеть узеньких и тесных улиц и переулочков, застроенных незатейливыми бедными домишками».

В то время «древним стенам» не было и сотни лет.

Славился Печерский монастырь – нижегородская святыня. Писатель Федор Сологуб создал ему целую прозаическую оду: «Если когда-нибудь придется вам быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печерскому монастырю. Вы его от души полюбите. Уже подходя к нему, вы почувствуете, что в душе вашей становится светло и безмятежно. Сперва все бытие ваше как будто расширяется, и существование ваше станет вам яснее от одного взгляда на роскошную картину противоположенного берега... Обогните гору, спускайтесь по широкой дороге к монастырским воротам и отряхните все ваши мелочные страсти, все ваши мирские помышления: вы в монастырской ограде».

И так далее.

А поэт Мариенгоф, случалось, вспоминал отцовские «ночные туфли, вышитые бисером и купленные еще в Нижнем Новгороде у рукодела-монаха Печерского монастыря».

Одним из наиболее почетных считалось дальнее и трудное паломничество на Соловки. Степан Писахов так описывал его: «Из дальних концов России шли богомольцы в Соловецкий монастырь. Пешком шли тысячи километров. Ветхая одежда от солнца, дождя, от ветра у всех одинаково пыльно серого цвета. Лица обветренные, покорные, тоже казались серыми. Горели глаза, будто идущие ждали чуда, которое освободит их от беспросветной нужды, бесправия.

С котомками за плечами, запасными лаптями у пояса брели богомольцы по городу. Останавливались перед памятником Ломоносова, снимали шапки, крестились и кланялись. Не спрашивали, какой святой, сами решали: кто-либо из соловецких чудотворцев – сподобились поклониться. Перед богомольцами за небольшой зеленой оградой на высокой каменной подставке стоял голый человек, тело покрыто простыней, в руках человек держал лиру, перед ним ангел на одно колено стал и поддерживает лиру. По углам зеленой оградки стояли четыре столба и на каждом столбе по пять фонарей. Богомольцы решили: значит, святой высокочтимый.

Не понравилось это начальству. Памятник стоял перед присутственными местами. И вид бедноты, шествующей по главной улице, вызывал беспокойство. Богомольцев стали направлять по набережной.

Добирались богомольцы до Соловецкого подворья в Соломбале. Дальше дорога шла морем. Среди богомольцев часто были неимущие, без денег на билет. Иногда брали на пароход и безбилетных, знали монахи, что в лохмотьях богомольцев зашиты деньги, посланные в монастырь родными и знакомыми. Часто безденежные богомольцы жили, сколько позволяла полиция, и шли обратной длинной дорогой.

В жаркий летний день на подворье толпа безденежных богомольцев ждала выхода архимандрита. Богомольцы сбились кучей перед крыльцом, с надеждой: «Авось смилостивится, сдобрится, примет на пароход». И увидят они монастырь, среди моря стоящий, и над ним солнечный свет и днем и ночью все лето. Увидят чаек, устраивающих свои гнезда на папертях церквей и по дорогам, где проходят богомольцы. Увидят морские

камешки с морской травой, кустами на них растущей. Увидят много чудесного, о чем рассказывали побывавшие в монастыре, и сами будут рассказывать, украшая виденное придуманными красотами. Только бы взяли на пароход!»

Главным же центром паломничества был знаменитый подмосковный монастырь – Троице-Сергиева лавра. У этого паломничества было даже свое, особое название – богомолье.

Богомолье – исключительно московское явление. Причина очевидна – Сергиев Посад находится вблизи Москвы, и можно совершать этот обряд систематически (раз в год, к примеру). При желании – даже пешком. Кроме того, это явление демократическое. Каждый день по ярославскому пути на Сергиев Посад тянулись толпы богомольцев самого разнообразного достатка и общественного положения. Русские летописи переполнены такими, например, заметками: «В лето 1533, сентября 14-го, поехал князь великий Василий Иванович всея Руси к живоначальной Троице и к преподобному чудотворцу Сергию, на память чудотворца Сергия».

Самое знаменитое, истинно историческое посещение монастыря пришлось на 1380 год, когда князь Дмитрий Иванович Донской, перед тем как начинать сражение на Куликовом поле, посетил Сергия Радонежского и получил благословение, а также двух прославленных впоследствии монахов – Пересвета и Ослябю. В Житии Сергия Радонежского о том событии записано: «Князь же... великий Дмитрий... приде к святому Сергию, якоже велию веру имеа к старцу въпросити его, еще повелит ему противу безбожных изыти: ведяще бо мужа добродетелна суца и дар пророчества имуща. Святый же... благословив его, молитвою вооружив и рече: “Подобает ти, господине, пещись о врученном от Бога христоименитому стаду: поиди противу безбожных и Богу помогающе ти победиши и здрав в свое отечество с великими похвалами возвратиши”».

После победоносного сражения Дмитрий Донской вновь посетил обитель Сергия – «благодаряще старца и братию» за помощь.

Впоследствии эта история иной раз сподвигала вы-

сшее отечественное чиновничество на подобные поступки, а российскую интеллигенцию – на острую иронию. Влас Дорошевич, например, писал о Вячеславе Константиновиче Плеве, в то время министре внутренних дел: «В Полтаве вспыхнули беспорядки.

Заехав в Троице-Сергиеву лавру, словно он был Дмитрий Донской и ехал воевать против татар, а не русских же людей...

Лавра не дала ему только Пересвета и Осляби.

У Плеве был князь Оболенский.

Заехав в Троице-Сергиеву лавру, фон Плеве проехал в Полтаву и, посетив поля битв, вот какое вынес убеждение.

Его собственные слова:

– В Полтавской губернии аграрные беспорядки? Ничего удивительного. Явление естественное».

Впрочем, большая часть богомольцев следовала в лавру не ради имиджа, а по чистосердечному зову-велению. Искусствовед и мыслитель Сергей Николаевич Дурылин, например, писал о своей матери: «В 1914 году летом я повез ее к Троице – и она вспоминала, как в трудную минуту, после смерти бабушки, она взяла меня, маленького, и уехала внезапно для всех домочадцев к Троице-Сергию. В этот зимний день ей, потерявшей мать, стало особенно тяжело от горестного одиночества, от ее безрадостных забот о большой разваливающейся семье, ей стало так непереносимо от давно накопившейся и постоянно подбавляемой жизнью тоски, что она, взяв своего “старшенького”... поехала с ним к Преподобному, чье имя он носил, поехала искать утешения, как в течение пяти веков брели, ходили, ездили и шествовали туда искать утешения все старые русские люди – от холопа до царя... Мама привезла с собою от Преподобного долгий запас сил и терпения».

А иногда случалось все наоборот, и сам паломник делался объектом интереса. Однажды, например, в лавру направился писатель Гоголь: «Я еду к Троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье моей матушки, которая завтра именинница. Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно. Чувствую, что нужно развлечение, а какое, – не найду сил придумать».

О пребывании Гоголя в Троице-Сергиевой лавре сообщает В. Крестовоздвиженский, участник этого события: «Это было 1 октября 1851 г. в послеобеденное время, часа в четыре или пять, студенты духовной академии... пользовались свободным от учебных занятий временем, – одни гуляли, другие читали или покоились на диванах и столах, подложив под головы огромные фолианты классиков и отцов церкви. В дверях показался наставник студентов, отец Ф., в сопровождении незнакомца. Студенты встали. Некоторые, видя в незнакомом посетителе знакомые черты, заметили вполголоса: “Это Гоголь!” Отец Ф., подходя к группе студентов, сказал: “Вы, господа, просили меня представить вас Гоголю, – я исполняю ваше желание”. Обращаясь потом к дорогому гостю, он прибавил: “Они любят вас и ваши произведения”. При такой неожиданности студенты не сказали ни слова. Молчал и Гоголь. Он казался нам скучным и задумчивым. Это обоюдное молчание продолжалось несколько минут. Наконец, один из студентов, собравшись с мыслями, сказал за всех: “Нам очень приятно видеть вас, Н. В-ч, мы любим и глубоко уважаем ваши произведения”. Гоголь, сколько можем припомнить, так отвечал приветствовавшим его духовным воспитанникам: “Благодарю вас, господа, за расположение ваше! Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, служим одному Хозяину.. У нас один Хозяин”».

Словом, неловкость встречи удалось несколько сгладить.

Богомолье (особенно пешее) не только планировалось, но и предвкушалось заранее. Иван Шмелев восторгался: «И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: “эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!” Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут на машине (в смысле, на поезде. – А. М.), но это совсем не то. Горкин так и сказал:

– Эка, какая хитрость, на машине... а ты потрудись Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. За-

хотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют... – с машиной не поровнять, никак».

И наконец наступал ожидаемый день. Предприниматель Николай Варенцов в своих мемуарах вспоминал: «К нам во двор рано утром, часа в 4 или 5 въезжал крестьянин на телеге, заполненной сеном, задняя часть телеги была окружена обручами, обитыми лыком и рогожами, образовывалась кибитка – на случай дождя. Я, как самый младший из детей, водворялся с прислугой на телегу, куда укладывали весь багаж и провизию в дорогу. Взрослые выезжали на лошадях и извозчиках к сборному пункту к Крестовской заставе».

И богомолье начиналось. Собственно говоря, это было не какое-то печальное шествие праведников, отрешенных от всего земного, а довольно увлекательное времяпровождение, особенно для детей. Цитируем того же Варенцова: «Весь путь в Лавру шел красивыми лесами, наполненными ягодами и грибами, с видами на дальние деревни и помещичьи усадьбы. Мы, богомольцы, углублялись с дороги в леса, собирали грибы, ягоды, которые и съедали на остановках с добавлением еще купленных у крестьян.

Путешествие при чудном воздухе, ярком солнце было интересное и веселое, но среди нас не раздавалось смеха и шуток – это не допускалось старшими, говорившими: “Вы идете на поклонение к великому святому с просьбой к нему о молитвах за нас, грешных, перед Богом, а потому суетное веселье недопустимо”. На остановках пили чай с густыми сливками, ели жареные грибы в сметане, уничтожали груды пирожков, жареного мяса, птиц, взятых из Москвы, ели ягоды с молоком и все с хорошим аппетитом. Встреченные нищие обязательно наделялись милостыней, может быть, не по мере достатка, но по мере сердечного расположения.

Паломничество богомольцев к св. Сергию Преподобному было очень большое, нас обгоняли толпы народа, идущего из всех частей России, с сосредоточенными и серьезными лицами, между ними не было слышно ни шуток, ни смеха, этим показывали, что свое путешествие в Лавру считают не весельем, а трудом».

Словом, как писал Иван Шмелев, «мы – на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы».

Естественно, что среди богомольцев встречались господа, несколько выпадавшие из общей атмосферы (или, по крайней мере, вызывающие легкое недоумение). Одна из богомолок вспоминала «о совместном путешествии пешком в Троице-Сергиевскую лавру с Софьей Николаевной Алексеевой, которую обслуживал целый штат прислуги, и экипаж следовал за нею, чтобы при малейшей надобности быть к ее услугам. Софья Николаевна по примеру богатых богомольцев наделяла милостынею всех нищих, встречающихся в пути и в Лавре, причем она заблаговременно заготавливала целый мешочек полупешек и наделяла ими каждого нищего. Всех остальных ее компаньонов по путешествию удивляло, что она, обладательница больших средств, подавала так мало, когда все остальные, более бедные, подавали больше».

Но в основном все-таки сохранялась благостная атмосфера.

Первая остановка следовала спустя несколько километров после отправного пункта. Это был так называемый «Трактир “Отрада” с мытищинской водой и сад». Как нетрудно догадаться, он располагался недалеко от современной станции метро «Отрадное». Господин Брежунов, содержатель трактира, был большим любителем посочинять рекламные стишки. Такие, например:

Брежунов зовет в «Отраду»
Всех – хошь стар, хошь молодой.
Получайте все в награду
Чай с мытищинской водой!

Трактир был местом очень колоритным. Иван Шмелев писал: «Пахнет совсем по-деревенски – сеном, навозом, дегтем. Хрюкают в сараюшке свиньи, гогочут гуси, словно встречают нас. Брежунов отшвыривает ногой гусака, чтобы не заклевал меня, и ласково объясняет мне, что это гуси, самая глупая птица, а это вот петушок, а там бочки от сахара, а сахарок с чайком пьют, и удивляется: “ишь ты какой, даже и гусей знает!” Показывает высокий сарай с полатыми и смеется, что у него тут “лоскутная гостиница” (так называлась одна из престижных

гостиниц Москвы. – А. М.) для странного народа (то есть для странников. – А. М.)... Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек.. Будто тут все родные. Ходят разнощики со святым товаром – с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про “жития”».

Следующий «объект» – село Тайнинское. Здесь внимание привлекал Благовещенский храм, построенный еще в XVII столетии по повелению царя Федора Алексеевича. Истинный богомольец не пройдет мимо такой святыни. Ну а следующая крупная остановка – знаменитые Мытищи. Если привал в Отрадном был, можно сказать, факультативным, то в Мытищах останавливались обязательно. Во-первых потому, что не устать за время столь длительного перехода было физически невозможно, а во-вторых – традиция. Мытищи, можно сказать, были этаким столицей богомолья, его если не географической, то смысловой серединой. Художник Суриков, работая над самым знаменитым своим полотном – «Боярыней Морозовой», специально поселился здесь, чтобы наблюдать за «божьими людьми». Один из современников писал: «Столетиями шли целый год, особенно летом, непрерывные вереницы богомольцев, направлявшиеся в Троице-Сергиеву лавру. В. Суриков писал, захлебываясь, всех странников, проходивших мимо его избы, интересных ему по типу».

А наблюдать было за чем: «Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанниках, есть даже в полушубках, с заплатками, – захватила жара в дороге, – в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивою ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

– Благоде-тели... ми-лостивцы, подайте святую милостинку... убогому-безногому... родителей-сродников... для-ради Угодника, во-телоздравие, во-душеспасение...»

Впрочем, господа со средствами делали свой привал не у реки, а в местах более приличных. Правда, культо-

вого трактира там не наблюдалось, да и не хватило бы в нем мест. Можно сказать, что таким трактиром были все Мытищи. Обыватели встречали богомольцев на дороге и зазывали в свои частные владения передохнуть:

– Чайку-то, родимые, попейте, пристали, чай?

– А у меня в садочке, в малинничке-то!

– Родимые, ко мне, ко мне!.. летошный год у меня пивали. И смородинка для вас поспела...

– Из лужоного-то моего, сударики, попейте, у меня и медок нагдышний, и хлеба тепленького откушайте, только из печи вынула!

– В сарае у меня поотдохните, попить-то, жара спадет. Квасу со льду, огурцов, капустки, всего по постному делу есть. Чай на лужку наладим, на усадьбе для аппетита. От духу задохнешься! Заворачивайте без разговору.

– А ну-ка кваску, порадуем Москву! Этим кваском ма-тушка-покойница царевича поила, хвалил-то как!

Словом, без привала богомольцы там не оставались. А привалы в «частном секторе» были довольно колоритными. Иван Шмелев писал: «Идем по стежке, в жарком, медовом духе. Гудят пчелы. Горит за плетнем красными огоньками смородина. В солнечной полосе под елкой, где чернеют грибами улья, поблескивают пчелы. Антипушка радуется – сенцо-то, один цветок! Ромашка, кашка, бубенчики... Горкин показывает: морковник, купырники, свербика, белоголовничек. Мужик ерошит траву ногой – гуще каши! Идем в холодок, к сараю, где сереют большие пни... Дымит самовар на травке. Антипушка с Горкиным делают мурцовку: мнут толкушкой в чашке зеленый лук, кладут кислой капусты, редьки, крошат хлеба, поливают конопляным маслом и заливают квасом. Острый запах мурцовки мешается с запахом цветов. Едим щербатыми ложками... Пьем чай на траве в цветах. Пчелки валяются в кипятке – сколько их! От сарая длиннее тень».

Зато ночевки в том же «частном секторе» не были столь очаровательны: «Я просыпаюсь от жгучей боли, тело мое горит. Кусают мухи? В зеленоватом свете от лампадки я вижу Горкина: он стоит на коленях, в розовой рубахе и молится. Я плачу и говорю ему:

– Го-оркин... мухи меня кусают, бо-ольно...

– Спи, косатик, – отвечает он шепотом, – каки там мухи, спят давно.

– Да нет, кусают!

– Не мухи... это те, должно, клопики кусают. Изба-то зимняя. С потолка никак валятся, ничего не поделаешь. А ты спи – и ничего, заспишь. Ай к Панферовне те снести, а? Не хочешь... Ну и спи с Господом.

Но я не могу заснуть. А он все молится.

– Не спишь все... ну, иди ко мне, поддевочкой укрою. Согреешься – и заснешь. С головкой укрою, клопики и не подберутся... Ну, что... Не кусают клопики?

– Нет. Ножки только кусают.

– А ты подожмись, они и не подберутся. А-ах, Господи... прости меня, грешного... – зевает он».

Впрочем, утром все эти кошмары забываются. Путь предстоит не ближний.

Последняя остановка перед лаврой – знаменитое Хотьково. Ни один уважающий себя паломник, даже если не пеший, не минует здешний монастырь. До Сергиева Посада – что называется, рукой подать. Но все, как говорится, в руках Божиих, планы богомольцев могут неожиданно меняться. Вот, например, фрагмент воспоминаний С. Дурьлина: «Я не помню, как мы ехали по железной дороге, как стояли обедню в Хотькове, где почивают родители преподобного Сергия, не помню даже, стояли ли ее. Смутно помню, как поклонились родителям Преподобного, Кириллу и Марии, как служили панихиду и отведывали кутью с большого блюда, стоявшего на их гробнице, но отчетливо помню, что мы сильно запоздали ехать к Троице. Когда мы напились чаю в маленьком гостиничном домике, короткий зимний день начал уже мутнеть. До Троицы от Хотькова десять с лишком верст. Подходящего поезда не было. Приходилось заночевать в Хотькове».

Впрочем, иные богомольцы специально оставались на ночлег в Хотькове – для того, чтобы увидеть лавру во всей своей красе и с относительно свежими силами. Подобное вознаграждалось: «Утром мы... около 9 часов утра отправились в путь – последний десятиверстный переход до Лавры Преподобного... Молодые березки и осинки, змейкой извивающаяся проселочная доро-

га ничего особенного сами по себе не представляли; но необычайны были эти мелькающие на тропинках между деревьями толпы богомольцев. Уже и раньше, начиная с Мытищ, нам приходилось встречать их, и чем дальше, тем больше; но от Хотькова до самой Лавры эти толпы шли почти непрерывающейся лентой; шли они партиями... по большей части в пять, шесть, десять и даже двадцать человек. В большинстве это были простолюдины... Больше женщин, в самых разнообразных костюмах, очевидно, из самых разноконечных губерний, но непременно все с котомками за плечами и пошками в руках.

Но вот, как-то совершенно неожиданно для нас, лес окончился, и мы оказались на большой открытой возвышенности, с которой, как на ладони, видна была на далекое пространство расстилающаяся равнина, местами покрытая лесом и по середине ее, на невысоком холмике, именно как бы на какой “маковке”, Святая Лавра во всей ее благолепной красоте – с окружающим ее посадом и за ним – справа от него принадлежащими ей скитами... Длинной сплошной лентой от нас по направлению к Лавре по склонам совершенно открытой возвышенности спускались богомольцы, а мы стояли еще на самой вершине этой возвышенности, именуемой в народе, и не напрасно, “поклонной горой”... От того ли, что дорога к Лавре от этой “поклонной горы” шла все понижаясь уступами, или от того, что заветная цель нашего путешествия так отчетливо ясно стояла перед глазами, не чувствовалось как будто усталости, и ноги переступали скорей, и чем ближе подходили мы к Лавре, тем быстрее шли. По сторонам дороги начинают попадаться какие-то торговцы с расположенными на раскинутой прямо на земле клеенке образками, картинками, листочками и тому подобное, а по местам нищие калечки с деревянными чашечками в руках. Вот уж и солдатская слобода, примыкающая к Лавре с юго-восточной стороны; вот и Келарский пруд и рядом с ним лаврский, так называемый Пафнутьевский сад... Вот, наконец, и базарная площадь у лаврской стены с нескончаемыми, кажется, рядами лавок и палаток... и так вплоть до самых Святых ворот, ведущих в обитель».

Александр Дюма-отец писал: «Трудно представить себе что-либо более ослепительное, чем этот огромный монастырь, величиной с целый город, в такое время дня, когда косые лучи солнца отражаются в позолоченных шпилях и маковках. На подступах к Троицкому вы проезжаете по довольно обширному посаду, возникшему вокруг монастыря, он насчитывает тысячу домов и шесть церквей.

Местность вокруг монастыря холмистая, что придает ей еще более живописный вид, чем это свойственно русским городам, обычно расположенным на равнинах; сам монастырь возвышается над всем; он окружен высокой и толстой крепостной стеной с восемью сторожевыми башнями.

Это живое средневековье – совсем как Эгморт, как Авиньон».

С Хотькова социальный статус богомольцев начинал сказываться гораздо ощутимее. В пути все были приблизительно равны. Конечно, кто-то перекусывал сухариком с речной водой, а кто-то курами и осетрами, но во всяком случае все занимались одним делом – шли пешком в сторону лавры. Здесь же, в Сергиевом Посаде, у всех появлялись разные задачи.

Кто-то первым делом шел устраиваться в лаврскую гостиницу – в «Старую» или же в «Новую», по вкусу. Кто-то искал себе пристанище все в том же «частном секторе». Кто-то шел представляться отцу настоятелю. О том, как происходило «VIP-богомолье», писал в своих воспоминаниях Н. Варенцов: «Когда мы пришли в Лавру, то И. И. Рахманов (бывший высокопоставленный чиновник. – А. М.), надев на шею орден святого Владимира, отправился с визитом к настоятелю Лавры, в то время известному архимандриту о. Антонию, любимцу митрополита Филарета. Архимандрит принял его любезно и благословил его и всех нас осмотреть подробно всю Лавру, даже те места, куда обыкновенно не допускалась публика, и дал в провожатые монаха».

Впрочем, иных особ водил по лавре сам архимандрит.

И все равно паломников объединяла не одна лишь возможность поклониться мощам и приложиться к свя-

тыням – словом, то, ради чего паломничество совершалось. Никуда, например, было не деться от многочисленных сергиево-посадских зазывал. Притом ассортимент был несколько разнообразнее мытищинского:

– Блинков-то, милые!.. Троицкие-заварные, на постном масле!

– Щец не покушаете ли с головизной, с сомовиной?

– Снеточков жареных, господа хорошие, с лучком пожарю, за три копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками прикажите!

– А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с белужкой, белужины с хренком, горячей? И сидеть мягко, понежьтесь после трудов-то, поманежьтесь, милые. И квасок самый монастырский!

Кстати, сергиево-посадские продукты славились на всю Московскую губернию. Владимир Гиляровский, например, с восторгом вспоминал: «Телятина “банкетная” от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком».

Мало кого оставляли равнодушными изделия игрушечников Сергиева Посада. Их лавки размещались прямо под лаврскими стенами, и избежать этого искушения было почти что невозможно.

И еще была одна традиция. Покидая лавру, полагалось получить так называемое «хлебное благословение» – то есть взять с собой кусок ковриги, выпекаемой прямо в монастыре, под тщательным присмотром отца-хлебника.

Кстати, обратный путь редко кто совершал пешком.

* * *

Уникальное российское явление – юродивые. Не состоя в церковном штате, они влияли на духовную картину даже больше, чем священники и дьяконы. Именно их считали настоящими подвижниками, «светильниками веры» – в противовес обнаглевшим, на руку нечистым, в прелесть впавшим батюшкам.

Институт юродства на Руси древний и яркий. Странно одетые люди совершали немотивированные, с точки зрения простого обывателя, поступки и произносили мало связанные тексты. Иногда присутствовавшие при

этом граждане вдруг обнаруживали незначительную ассоциативную связь между событиями в своей жизни и словами, а также поступками этих странных людей, каковым они были свидетелями. К примеру, странный человек жжет спички и произносит слово «дом», а спустя неделю у того, кто видел это незамысловатое шоу, вдруг сгорает дом. Несколько подобных совпадений – и странный человек приобретал славу юродивого. При этом все прекрасно понимали, что диапазон событий, которые можно связать со спичками и домом, по сути, бесконечен – от уже упомянутого пожара до того, что в доме неожиданно закончились спички. Но очень уж хотелось чуда.

Так как Россия была государством православным, юродивых считали персонами, особенно приближенными к Богу. Иначе связь с юродивыми, вера в них осуждались бы как мракобесие, а простому обывателю этого, конечно, не хотелось. Таким образом возникло альтернативное название юродивого – «божий человек».

В результате все были довольны. Обыватель получал свою желаемую сказочку, добрую или злую – как уж повезет. А юродивый приобретал возможность безбедного, безопасного (обидеть юродивого – великий грех) и не особенно обременительного существования. И поскольку успех юродства напрямую зависел от того впечатления, которое он произведет на обывателя, в России возникла уникальная зрелищная культура, основанная на так называемом «подвиге юродства». Своего рода театр – с тщательно продуманными и отрепетированными ролями, костюмами, гримом, декорациями. Разве что шоу разыгрывалось не на подмостках, а перед храмами и на городских площадях. В отличие, опять же, от обычного театра, спектакли юродивых не отменялись даже в великопостные дни. Ведь «божий человек», по всеобщей негласной договоренности, старался именно «во славу Божию».

Разумеется, помимо юродивых корысти ради, существовали и мастера, которых увлекала слава или сам процесс юродства. Не ощущалось недостатка и в умалишенных гражданах. Но установить, в чем именно заключается основной двигатель того или иного

юродивого, не представлялось возможным. Корыстолюбцы, разумеется, не признавались в своей материальной заинтересованности, а если и случайно проговаривались, то карьере это не вредило – истинный юродивый мог безнаказанно нести любую дичь, все равно слова его буквально не воспринимались, в них обязательно искали тайный смысл и тайные пророчества.

Возможно, что корыстолюбцы как раз были в меньшинстве – ценою очень уж большого дискомфорта достигались эти самые материальные блага. Но доподлинно об этом нам узнать не суждено.

Главный атрибут юродивого – цепь, символ несвободы и обременения. Человека, прикованного к чему-либо цепью или же носящего цепные вериги, трудно заподозрить в корысти и других мирских амбициях. Самое распространенное и, соответственно, самое действенное наказание – лишение свободы. А тут человек себя этой свободы уже сам лишил.

На рубеже XX столетия в Иваново-Вознесенске жила весьма популярная юродивая Саша Мухина. Саша содержалась на цепи у своих родственников и занималась предсказанием судьбы. Она довольно четко расписывала ивановским обывателям, по большей части ткачам, их ближайшее будущее. Будущее между тем было вполне прозрачно – в текстильных красках в то время активно использовались ртуть, свинец и прочие малополезные компоненты, антисанитария в Иваново-Вознесенске была ужасающая, и притом существовала лишь одна аптека на весь город. Однако люди верили в особенную прозорливость Мухиной.

Пророчествовала она, кстати, не всем. Если юродивая чувствовала, что человек пришел не ради информации о будущем, а просто-напросто из любопытства, она «отказывала в обслуживании» – плевалась и кричала: «Иди вон! Не надо! Не хочу!»

Не исключено, что за подобным поведением стояла именно боязнь перед критической оценкой своих редкостных «способностей».

В том же Иваново-Вознесенске пользовался большой славой Дедушка Лопушник, получивший свою кличку

благодаря тому, что ночевал, как правило, на улице, в простой сточной канаве, в лопухах. Но ивановцев гораздо больше впечатляла не бытовая неприхотливость Лопушника, а его тяжеленные цепные вериги. Пророчеством и чудесами Дедушка себя не утруждал. Он всего-навсего ходил по городу и выкрикивал: «Покайтесь, православные, ибо грядет день Страшного суда, и сам Господь Бог призовет вас к ответу. Покайтесь! Покайтесь!»

Дикого внешнего вида и вериг было достаточно. Дедушка Лопушник почитался как особый, «божий человек», которого обидеть – грех, а отказать ему в чем-либо – тоже грех.

Религиозный активист В. Марцинковский вспоминал: «Как-то в 1910 году в Ярославле я шел в крестном ходу. В толпе был странник в железных веригах, с железной шапкой, обшитой сукном, и тяжелой железной палицей. Он рассказал мне свою историю. Был купцом в Москве, и в юности много грешил. Потом заболел смертельно и дал обет, если выздоровеет, пойти с веригами по святым местам. В Ростове Великом некий старец Иосиф благословил его на этот подвиг. Это был статный, пригожий человек лет 35 с тонким орлиным носом, с длинными черными кудрями, сожженным и обветренным коричневым лицом и глубоко запавшими черными, горящими глазами».

Опять-таки – вериги.

Особо почитались, разумеется, юродивые, обладающие всевозможными телесными дефектами и недугами психического плана. Историк И. Пыляев, в частности, писал: «В Тамбове известен был “пророк” солдат “Ванюшка Зимин”. Он был сумасшедший и жил в доме умалишенных, но легковерующие тамбовцы веровали в него, как в пророка. Закричит Ванюшка ни с того, ни с сего: “пожар! пожар!” – записывают тамбовцы день и час; когда кричал Ванюшка, и после окажется, что действительно в записанное время где-нибудь в окрестностях Тамбова в самом деле был пожар. Вот и “прозорливство”. Говорил Ванюшка, как сумасшедший, всегда бессвязно, себе под нос, а тамбовцы ухитрились понимать его слова по-своему и ломали голову: что бы это значило, что сказал Ванюшка? Начнет Ванюшка кататься по земле – быть беде

и покойнику; придумает Ванюшка поднимать что-то им воображаемое и делает телодвижения вроде тех, как бы перекидывает вещи через забор – смотри, что будет где-нибудь кража; взбредет в голову Ване лить воду – значит, берегись, придется заливать пожар и т. д.».

Те, у кого недугов не было, старательно придумывали таковые. Тот же Пыляев рассказывал: «В гор. Тамбове любил щегольнуть своей “ревностью по вере” блаженненький купец Симеон; он.. был “болящий”. Зимой он не показывался – холодно, а летом обыкновенно ездил в своей кибитке, любил останавливаться посередине улицы и всегда собирал толпу зевак. “Симеон болящий” любил наставлять, как нужно жить по-христиански. Все наставления его обыкновенно начинались и кончались почти одною и тою же фразою: “в нераскаивающихся грешниках нет ни веры в Бога, ни самого Бога!” Как веровал сам болящий – неизвестно, но родные Симеона признавали его “блаженненьким” и содержали на свой счет, не позволяя ему собирать какую-либо лепту от доброхотных его слушателей».

Но совсем не обязательно было придумывать себе болезни. Наоборот, гораздо более эффектным выглядело избыточное здоровье. В частности, одного из ивановских «божьих людей» звали Гриша Босой. Босой (в миру Григорий Грунин) пришел в профессию весьма необычным образом. Поначалу он работал на одной из ткацких фабрик, но в один прекрасный день услышал загадочный потусторонний голос. Голос вкрадчиво нашептывал Григорию, что ему следует незамедлительно оставить рабочее место, добраться пешком до деревни Дунилово (около 25 километров от города) и в тамошней церкви помолиться иконе Николы Угодника.

Гриша послушно выполнил задание, после чего все тот же голос, как в игре-бродилке, велел идти, опять-таки пешком, в Троице-Сергиеву лавру (более 300 километров по прямой и гораздо дальше, ежели учесть дорожное покрытие России сотню лет назад). Григорий опять же послушался и по дороге почувствовал разительную перемену: ему, несмотря на декабрь, вдруг сделалось очень тепло.

В лавру Гриша пришел уже без валенок, которые он

бросил за ненадобностью. Там, за молитвой, Гриша понял, что народ живет неправильно и что именно он должен наставлять его на истинный, божественный путь. Как был босой, Гриша вернулся в Иваново-Вознесенск, где принялся проповедовать и сразу же загремел в психиатрическую. Но слава о новом юродивом быстро распространилась по городу, в больницу потянулись обыватели, Гришу Босого выписали от греха подальше, и он стал спокойно проповедовать и даже творить чудеса. Правда, не особо впечатляющие – самым ярким достижением на этом поприще было излечение от пьянства одного ночного сторожа.

Гриша старался поддерживать свою репутацию. В частности, сходил в Великий Новгород, чтобы пообщаться с другим «босяком» – писателем Максимом Горьким, слава о котором только начинала расходиться по России. Правда, Горький не понравился Босому – он посоветовал юродивому не особо увлекаться внешними эффектами воздействия на публику и носить зимой хотя бы лапти, если в валенках совсем уж жарко.

Естественно, последовать подобному совету Гриша Босой никак не мог.

В Ростове Великом жил популярный старец Алексей. Прославился он скороходством. Про него ходили всяческие небылицы. Якобы однажды, будучи в Борисоглебском монастыре, он сказал одной паломнице: «Увидимся в Ростове». Сразу после этого паломница поехала в Ростов в своем удобном конном экипаже, а по прибытии увидела там Алексея – он обогнал ее пешком.

Конечно же такое невозможно в принципе. Но Алексей всерьез следил за своим имиджем – в частности, презирал баню. Вместо нее при всем честном народе он усаживался в муравейник, что, по его словам, способствовало очищению физическому и духовному. Заходя к кому-нибудь во двор, из принципа не закрывал ворота за собой. Не закрывали и хозяева – мало ли что случится. Разумеется, скотина уходила со двора, ее долго искали и гнали обратно. Но главное – Алексей был доволен.

Старец тот любил пророчествовать, и за то особо почитался. Однажды, например, одна из обывательниц пожаловалась, что давно не получала писем из столицы

от своего сына. «Река Нева глубока, много в ней тонут», – ответил юродивый. Вскоре выяснилось, что пропавший сын и вправду утонул. Популярность скорохода выросла еще больше.

Впрочем, любовь к юродивым была настолько велика, что самые ленивые из них вообще не утруждали себя «подвигами». Об одном из таких писал Бунин в повестидневнике «Окаянные дни»: «Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, – в прошлом столетии, – молясь на икону Святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

– Митюша, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи:

Где пришел еси, молитву сотворяй,
Без нея дверей не отворяй,
Аще не видишь в дверях ключа,
Воротись, друг мой, скорей, не стуча...

Куда девалось все это, что со всем этим случилось?»

* * *

Рядом с православными мирно или не очень мирно сосуществовали представители иных конфессий. Ближе всех, практически «своими», были, разумеется, старообрядцы. В некоторых городах старообрядчество было посильнее православия. И уж во всяком случае, не уступало ему по влиянию. Ярчайший пример – подмосковный Богородск со знаменитой морозовской Глуховской мануфактурой.

Основной задачей управляющего мануфактурой Арсения Морозова было, что понятно, извлечение прибыли из подведомственного ему фамильного морозовского производства. Но стояла еще и вторая задача – не столько практическая (хотя и это, естественно, тоже), сколько нравственно-эстетическая. Создать на востоке Московской губернии этаким город-сад, город рай.

Рай, по преимуществу, старообрядческий. Арсений, ничуть не смущаясь, отдавал предпочтение братьям по

вере – при приеме на службу, при распределении мест. Естественно, что при морозовской фабрике находилась молельня. Хозяин же пекся о ее расширении, слал прошения митрополиту: «При фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры для целей общественного богослужения издавна существует молитвенный дом, где в известное время при полном хоре певчих, отправляется Божественное Богослужение заштатным священником, приглашаемым для сего из ближайшего села. Но таковое учреждение, как молитвенный дом, не может удовлетворять религиозным и нравственным потребностям живущих при фабрике огромному большинству рабочих и служащих лиц. Последнее обстоятельство, а также отсутствие пока материальных средств к постройке храма заставили меня, как представителя вышеназванной Богородско-Глуховской мануфактуры еще летом прошлого года обратиться с просьбой о разрешении при означенном молитвенном доме устроить походный престол для совершения божественной литургии, но, к сожалению, до сего времени я не имел чести получить ответа от Вашего Высокопреосвященства на мое ходатайство. Поэтому я вторично обращаюсь с моей просьбой к Вашему Высокопреосвященству о разрешении устройства подобного престола в молитвенном доме».

Разрешение было в конце концов получено. А вскоре после этого построили и храм – тоже, естественно, старообрядческий. Хотя церковь пророка Захария и преподобномученицы Евдокии и была выстроена «в резерве железной дороги», дабы не смутянить «ни ока, ни слуха» представителей титульной веры, она сразу же сделалась одним из духовных и даже культурных центров уездного города.

На всю Россию был известен так называемый Морозовский хор. Этот творческий коллектив большей частью пел в старообрядческих храмах, однако не был чужд и светских выступлений. Он пел в концертных залах обеих столиц и даже записывал собственные грампластинки. Правда, перед выступлениями зрителей оповещали – дескать, коллектив у нас особенный, духовный, и аплодисменты нежелательны. Однако же столичные ценители прекрасного этот призыв ус-

пешно игнорировали. Состав хора достигал трех сотен человек (мужчин и женщин), одетых в допетровскую одежду – сарафаны и кафтаны. Ноты, естественно, записывались с помощью «крюковой грамоты».

Нередко хор выступал в Глуховском клубе. «Старообрядческая мысль» писала, что во время одного из тех концертов «особенно тронула всех в высшей степени художественно и неподражаемо тонко исполненная псалма “О страшном Ноевом потопе”, в коей основную мелодию пела солистка – сопрано А. П. Гречишкина, одаренная Богом на редкость изящным, задушевым и сильным голосом». Другой журналист восхищался: «Концерты этого хора стали традиционными и всегда пользовались заслуженным успехом, так что посетители расходились под сильным и неотразимым впечатлением чарующих звуковых образов, создаваемых безукоризненным художественным исполнением дивных образцов из сокровищницы древнерусского искусства».

Похоже, что морозовские песнопения по популярности превосходили глуховский текстиль.

На виду, разумеется, были мечети. Особенно в местах скопления мусульман – Казанская губерния, Уфимская губерния, Среднее и Южное Поволжье. Кое-где встречались даже медресе – в частности, в Казани и в Уфе. В той же Уфе, разумеется, размещалась и Соборная мечеть – своего рода аналог православного кафедрального собора. Приход этой мечети некогда считался самым многочисленным в стране – в начале XX столетия он насчитывал 920 человек.

В крупных городах не редкостью были кирхи и костелы. В Самаре, например, хотели в середине XIX века открыть костел, но когда здание было практически завершено, в Польше начались мятежи, и, как реакция на это, сразу же последовал запрет на учреждение костела, и здание передали лютеранской общине. Правда, костел в конце концов открыли, но на полстолетия позже, нежели предполагалось.

Кирха была и в соседнем Симбирске. Один из современников писал в 1862 году: «Несмотря на искреннее желание не оскорблять русское патриотическое чувство, нельзя не признать, что лучшие ремесленники у

нас в Симбирске почти исключительно немцы. Немцы у нас лучшие булочники, лучшие колбасники, лучшие сапожники и портные. Преимущество за русскими ремесленниками остается только в тех производствах, которыми не занимаются немцы».

Неудивительно, что кирха пришла к стати.

Чем южнее – тем больше национальностей и, соответственно, конфессий. Владимир Немирович-Данченко писал об Астрахани: «Зеленые халаты и пестрые чалмы бухарцев, черные чуши расшитых позументами армян, высокие конусы персидских бараньих шапок, голые груди и лохмотья калмыков, серые кафтаны ногайских татар... Лица – одно оригинальнее другого, совершенно нам чуждые, то скуластые, медно-красные, с оливково-сверкающими из косых щелок глазами, то правильные красивые физиономии персов, с длинными красными бородами и черными, но совершенно безжизненными глазами; сухие, словно вниз вытянутые ногайские лица и толстые, раскормленные лукавые бухарцы... Астрахань в древности была жалкою татарскою деревушкой, она и теперь смотрит не русскою; все какой-то басурманской окраиной кажется она туристу, привыкшему к великорусскому населению нашей Оки и Волги. Чужой говор, чужое обличье... Гостями мы здесь до сих пор сидим и, право, любой перс или армянин лучше чувствует себя в этом ханском городе, чем заезжий русский, которому здесь все в диковинку».

Как правило, официальные религии проблем не создавали – все ограничивалось милыми чудачествами наподобие морозовских. Опасными были сектанты: там доходило и до массовых самоубийств, и до иных подобных мерзостей. Как правило, сектанты все-таки держались вдали от крупных городов, однако же в их сети часто попадали и доверчивые городские обыватели.

* * *

Совсем уж неизживаемым антицерковным явлением были всевозможные поверья и приметы. С этим бороться было бесполезно – самые усердные из прихожан все равно верили, что называется, и в чих, и в пих. В Ивано-

во-Вознесенске, к примеру, особенно почитался домовою, он же домовник, домовуха, доброжил, суседушко. Но это – общее название. Как правило, таких «соседей» называли в зависимости от того, какое место они выберут. Поселится домовник на полатях – значит, будет потолочником. Выберет сени – станет сенником, чердак – чердачником, подвал – подпольщиком. Были тут и свои приметы, неизвестные в других российских городах. Если, к примеру, кошке хвост прихлопнуть дверью – это к сплетням. А ежели случайно встретить своего знакомого три раза в день – то к свадьбе. Определить пол будущего новорожденного очень просто – достаточно попросить у беременной женщины руку. Если она подаст ее ладонью книзу, значит, будет сын, а если кверху – дочь. А чтобы сами роды прошли безболезненно, стоит только зажечь венчальную свечу.

Несложно и вернуть исчезнувшего человека. Нужно лишь заказать о нем батюшке панихиду – тогда исчезнувшему станет скучно и он обязательно вернется. Впрочем, это правило срабатывало не всегда. Недаром ведь ходили слухи об озоровавшем вблизи города разбойнике Опряне. В честь него даже овраг называли (разумеется, Опрянин). Еще более жутким был Мозголомный овраг. Там бедных жителей Иваново-Вознесенска не только обирали, но и проламывали им головы – так, на всякий случай.

А в Калуге в XIX столетии даже выпустили специальный перечень примет: «Верили, что духи или так называемые домовые откармливали лошадей: приносили им из других домов овес и сено, и лошадей те же духи по капризам мучили, уносили у них корм, по сему суевернейшие в Великой Четверток тихонько ставили для тех духов в слуховых окнах кисель... Накануне 24 июня женщины и девки сходились на игрища, из мужчин проворнейшие отправлялись искать кладов, над коими, по рассказам других еще суевернейших, являлись будто бы горящие огни... Посещая малые ярмарки, на прим. в Петров день, кидали в колодезь деньги, зеленый лук, яйца и проч.».

Сколько ни объясняй горожанам, что все это – дичь несусветная, они не верили. Еще бы – исстари заведено!

ПОД ВОЙ ФАБРИЧНОГО ГУДКА

Ярче всех фабричный быт русской провинции описал, конечно, Горький в своем романе «Мать». Ярче-то оно, конечно, ярко – но правдиво ли? Так ли было все на самом деле? Или это выдумка? Или же исключения? Попробуем понять.

Начнем с самого крупного формата – фабрики или завода. И в который раз оговоримся – здесь, опять же, все условно. Вот в Петергофе, например, действовала гранильная фабрика. Гость из далекой Венесуэлы Франсиско де Миранда описывал ее в таких словах: «Отсюда отправились на дрожках (*trusky*) на расположенную поблизости казенную фабрику, где шлифуют и гранят камни. Видел там замечательные изделия из сибирских самоцветов, мрамора и т. д. Механизмы очень простые и легко приводятся в движение. Директор был весьма приветлив, но мы вскоре с ним распрощались, ибо хотели осмотреть еще английский парк, находящийся примерно в версте от фабрики».

И что же, Петергоф у нас – фабричный город? Ничего подобного. Просто назвали небольшую мастерскую фабрикой – и все дела.

Однако в основном названия действительности соответствовали.

* * *

Образ кровопийцы-фабриканта, наглым образом эксплуатирующего несчастных и затюканных рабочих, был в позапрошлом столетии весьма популярен. Вот,

например, стихотворение Некрасова, посвященное господину Понизовскому, владельцу крахмало-паточного завода в Ярославской губернии:

Науму паточный завод
И дворик постоялый
Дают порядочный доход.
Наум – неглупый малый:

Задаром сняв клочок земли,
Крестьянину с охотой
В нужде ссужает он рубли,
А тот плати работой...

«Ну, как делишки?» – «В барыше», –
С улыбкой отвечает.
Разговорившись по душе,
Подробно исчисляет,

Что дало в год ему вино
И сколько от завода.
«Накопчено, насолено –
Чай, хватит на три года!..

Округа вся в горсти моей,
Казна – надежней цепи;
Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крепки.

Судью за денежки куплю,
Умилостивлю бога...»
(Русак природный – во хмелю
Он был хвастлив немного)...

Но вспомним хотя бы морозовский «старообрядческий рай». Усердием А. Морозова в начале XX века поселок действительно стал таким воплощением капиталистической утопии. Главный корпус, так называемая Новоткацкая фабрика, возвели в 1907–1908 годах в соответствии с самыми современными по тем временам представлениями и возможностями. Там, например, использовалось верхнее естественное освещение – благодаря десяткам конических световых фонарей. Существовала и система центральной вентиляции, при этом свежий воздух подводился непосредственно к местам работ.

Менеджмент фабрики проживал в двухэтажных коттеджах. Для рабочих же были построены уникаль-

ные в то время рабочие дома, украшенные изразцами, оборудованные такими достижениями той эпохи, как канализация, центральное отопление и даже вентиляция. Кстати, внутреннее устройство тех домов – коридорная система, общие кухни, кладовые, прачечная и прочие домовые подсобные хозяйства – было впоследствии повторено уже советскими конструктивистами. Разве что эти творения (такие как Дом Наркомфина на Новинском бульваре) были заселены избранными совслужащими, а глуховские их предтечи – простыми рабочими.

Для досуга ткачей (и для свежего воздуха) устроен был Глуховский парк. Там располагались родильный приют и дом самого Арсения Ивановича.

Один из жителей писал о Богородске: «Особенно чистой и ухоженной была Глуховка. К каждой фабрике по слободкам и улочкам тянулись, покрытые мелким шлаком, липовые аллеи. Жилые постройки, кроме казарм, одно- и двухэтажные деревянные, красивые, с большими застекленными верандами, предназначались для управляющих, мастеров, служащих...

Хозяйский сад, утопающий в зелени, находится на берегу Черноголовского пруда, в нем был небольшой двухэтажный особняк Морозова и маленькая деревянная церквушка. Особняк деревянный, внутри красиво отделан деревом разных пород. После Великой Отечественной войны он сгорел.

Парк представлял из себя небольшой дендрарий с обилием разной древесной и кустарниковой растительности, часть которой привозили из-за рубежа.

До революции в субботу и воскресенье, в престольные праздники парк открывался для всеобщего посещения, играл духовой оркестр. Никто ничего не ломал.

К парку примыкал хорошо оборудованный стадион с велотреком, водной и лодочной станциями. У входа на стадион возле центральных ворот – небольшой фонтан».

Были у рабочих и так называемые социальные гарантии: больничная касса, кредитование сотрудников, проработавших на фабрике несколько лет.

А исследователь И. Ф. Токмаков писал в своем труде

«Историко-статистическое и археологическое описание г. Богородска»: «На самой значительной по своим оборотам Богородско-Глуховской фабрике имеется библиотека для служащих и рабочих, выписывающая все русские журналы и газеты и состоящая более чем из 5000 томов. Вообще, рабочие Богородска и окрестностей резко отличаются благообразием, степенностью, пьяных в городе мало, несмотря на соседство фабрик, в городе распространена грамотность. Объясняется такое положение дел тем, что в Богородске рабочие живут с семьями оседло и давно, тогда как на других фабриках рабочие разлучены с семьями, а это есть главное зло... В Богородске шире, чем где-либо в России, кроме как в Москве, развилась частная благотворительность».

Сами сотрудники морозовской мануфактуры выглядели почти сказочными персонажами. Один из богородских жителей писал: «К нянюшке раза два-три в год приходила сестра, у которой по локоть не было левой руки. Когда-то она попала рукой в прядильную машину. С ней приходил муж Иван Иванович, работавший на фабрике Морозова паровщиком, т. е. на паровой машине. Человек он был положительный, высокого роста, бритый, с небольшими усиками. Типичный мастеровой в хорошем смысле слова. Мы относились к нему с уважением, так как знали, что быть паровщиком очень ответственное дело. По этому случаю няня покупала полбутылки водки и колбасу. После обеда, происходившего в кухне, Иван Иванович выходил покурить. Нам очень нравился весь процесс скручивания и набивки козьей ножки махоркой. Потом около кухонного крыльца начиналась беседа о работе и машинах. Мы рассказывали свое».

«Вечера отдыха» в морозовской мануфактуре были, что называется, под стать столичным. Богородский обыватель вспоминал: «На Рождество, я был в это время в четвертом классе Комиссаровки, мы компанией поехали в Глухово, в клуб Морозовской мануфактуры, смотреть спектакль Художественного театра “Дядя Ваня”. Спектакль произвел на меня большое впечатление, да и в клубе я вообще был впервые.

После спектакля танцы. Мы остались. В обществе мне

случалось танцевать впервые. Дома и в училище это одно, а в обществе, да с барышней – совсем другое.

Вальс прошел благополучно. Я его любил и танцевал хорошо. Подошла венгерка. Надя Штаден говорит: «Пойдемте». Я заволновался, но пошел. Прошли половину зала. Я чувствую, что побледнел и, того гляди, упаду. Надя меня подбодрила, и все окончилось благополучно и больше не повторялось.

Через год, опять на Рождество, я опять попал в Глухово на «Вишневый сад». Сильно переживал. Для меня было открытием, что взаимоотношения людей со времени написания пьесы ничуть не изменились...

После спектакля танцы. Вышло танцевать большинство молодых артистов. На сей раз я был храбрее и не волновался. Пригласил на вальс одну миловидную артисточку, да так и протанцевал с ней весь этот замечательный вечер. Она танцевала очень хорошо и мне подарила несколько комплиментов».

Ткацкие производства были распространены в России. Столицей ткачей, разумеется, считался Иваново-Вознесенск. Там все было поставлено на широкую ногу. Иваново-Вознесенск был городом международного значения. Сырье, к примеру, закупали в Средней Азии, Египте и Соединенных Штатах. Рынок сбыта также не был ограничен нашим государством. Немалая доля ивановских ситцев продавалась в восточные страны. Для этого даже был разработан особый рисунок – так называемый «турецкий» или же «восточный огурец». Правда, тот же «огурец» весьма охотно покупали и в России.

Вообще, разнообразие рисунков было потрясающим. Названия им давали прямо на мануфактурах, и они, эти названия, были довольно милительны. Например, «серпик», «дунька», «пчелка», «глазок», «листочек». Те же, кто не придавал значения рекламе, старались выбрать имена поярче: «Глория», к примеру, или «Мальта». На рубеже XIX столетия выбор рисунка был вообще поставлен на научную основу. К примеру, на одной из фабрик исполнял должность торгового приказчика некто Николай Францевич Яшке. Он постоянно отслеживал все изменения в моде и с регулярностью снабжал свое начальство сведениями: «Темные тона начинают при-

скучивать», «рисунок горохом не следует работать ни в коем сорте», «наш шевиот пойдет своей дорогой, поэтому обязательно мы должны вводить в него свои сорта – более яркие и темные, которые можно будет продавать дороже».

Следил тот Яшке и за отношениями с покупателями – в первую очередь оптовиками и посредниками. И здесь он был более чем строг со своим собственным начальством: «У Щукина говорят, что отделку на бумазее полосатой обязательно нужно сделать мягче, тогда каждая полоса будет больше отливать, прошу приказать сейчас же сделать». А иногда случались и такие замечания: «С. И. Щукин весьма недоволен выпуском рисунков на нашем кретон-креме и розе. Если они вышли неудачно, то их ни в коем случае высылать не следовало бы, этим роняется достоинство фирмы».

Руководство мануфактуры к требованиям Николая Францевича относилось с пониманием – конъюнктуру рынка этот строгий немец чувствовал прекрасно.

К началу XX столетия стали научными и технологии. Прошли те времена, когда для получения особо качественных результатов краски готовили на хлебном уксусе, ткани вываривали в мыле с отрубями, после чего клали на снежный наст или на травку и поливали из лейки водой. Ивановские фабрики были вполне цивилизованными, производительными и конкурентоспособными. При этом условия там были значительно хуже морозовских. Жизнь рабочих на ивановских мануфактурах еще в середине XIX века была довольно безмятежной и веселой. Праздников и выходных было немало, и рабочие охотно ездили на пикники на берег речки Талки, устраивали посиделки вечером, иной раз посещали кабаки.

Однако же уже к концу столетия условия не то чтобы ухудшились, но стали весьма заметно различаться. Зарплата чернорабочего была 7–8 рублей в месяц, а рабочего квалифицированного – приблизительно в два раза больше. При этом была развита система штрафов. В частности, «за нарушение тишины и благочиния, за несоблюдение чистоты и опрятности» могли оштрафовать на рубль, а «за неисправную работу, порчу мате-

риалов, машин и других орудий производства» штраф составлял до трех рублей. При этом некоторые предприниматели вводили и свои, весьма оригинальные законы. Например, в «Особых правилах» фабрик Грязнова было сказано: «Рабочие и мастеровые обою пола и всякого возраста должны ходить по воскресным и праздничным дням в церковь. Виновные в неисполнении сего подвергаются денежному взысканию».

Что ж, атеисты могли выбирать себе другое место работы – это правило от соискателей никто скрывать не собирался.

Жизнь рабочих чаще всего проходила без излишеств. Это признавали и сами предприниматели. Один из них, Яков Гарелин, записал в своем труде «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново и Вознесенский посад»: «Мясо является на столе рабочего только по большим праздникам, в будни и небольшие праздники он ест что Бог послал: пустые щи, кашу, горох, редьку и т. п. незатейливые блюда простонародной кухни».

Некоторые рабочие питались на так называемых «фабричных кухнях». «Северный край», газета далеко не революционная, описывала эти общепитовские заведения так: «Кухня помещается в мизерном, тесном и грязном здании. Когда я входил в кухню, то меня прежде всего поразил запах: смесь кухонного, донельзя удушливого и прокислого воздуха с сильным, бьющим по носу воздухом». Ассортимент подобных заведений, разумеется, роскошеством не отличался: «В обед и ужин – щи из серой капусты с небольшой подправой из пшеничной муки, каша гречневая или пшенная с одной ложкой постного мяса; к чаю два раза в день черный хлеб».

Условия жизни неквалифицированных рабочих были под стать их питанию. Газета «Старый Владимирец» сообщала об одном из фабричных районов Иванова: «На “Ямах” грязная, зачастую холодная, тесная избенка, где ютятся нередко от 10 до 25 человек обою пола... санитарные и гигиенические условия прямо ужасны. Спят по всему полу, плечо в плечо... Для рабочего имеются только кабаки... да десятки пивных. Словом, целая паутина пьянства... Ни город, ни фабриканты ничего для здорового отдыха и удовольствия рабочих не сделали».

Однако в этой отповеди фабрикантам есть одно слабое место. В таких условиях проживали только самые низкооплачиваемые рабочие, к тому же регулярно пьянствующие и, видимо, систематически подверженные штрафам. Рабочие квалифицированные жили в достаточно удобных квартирах и домах, имели собственные огороды и скотину. Люди целеустремленные, на досуге предпочитающие кабакам театры, могли сделать в Иванове вполне успешную карьеру.

В любом случае профессия ткача была в то время крайне вредной. Понятий «охрана труда» и «техника безопасности», разумеется, еще не существовало, а работать приходилось в атмосфере, насыщенной всяческими химическими испарениями. Ивановский писатель Ф. Нефедов так описывал собственные впечатления от посещения ткацкого цеха: «С непривычки после какой-нибудь четверти часа пребывания кружится голова и чувствуется тошнота». Рабочие, конечно, были к этому привычны и боли головной не ощущали, только жаловались:

– Одежи не напасешься... И износишься и прет на тебе все и расползается во все стороны... Бе-да!

(Прело и расползлось, разумеется, от тех же самых испарений.)

По городу ходила самоироничная частушка:

Как на Уводи вонючей
Стоит город премогучий –
Иваново-Вознесенск.

Но экологическую ситуацию такие сочинения не улучшали.

Ткани, впрочем, выпускали и на малых мощностях. Маленькие фабрики – маленькие заботы. «Спутник по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии» сообщал: «Хотя теперь Судогда один из наименее значительных городов Владимирской губернии, он все-таки имеет некоторое промышленное значение благодаря своему льнопрядильному производству. В Судогде имеется одна довольно крупная льнопрядильная фабрика фирмы К. Л. Голубева; она производит льняной пряжи и ниток на 800 тысяч рублей, более чем при тысяче рабочих».

Подобных заводиков существовало великое множество.

Очень распространены были пивные заводы. Один из самых знаменитых и значительных – конечно, в городе Самаре, современный Жигулевский, а до революции – фон Вакано. В начале прошлого столетия вышел целый альбом, который посвящался этой фирме. Судя по нему, дело было поставлено вполне прилично: «Пиво выдерживается и хранится преимущественно в американских подвалах, выходящих более чем наполовину из земли. В подвалах поставлены 234 бочки, емкостью в 69.300 вед. и 114 чанов американского типа, емкостью в 223.000 вед.; емкость одного чана достигает 3500 вед. Охлаждение подвалов достигается натуральным льдом, которого заготавливается ежегодно до 30.000 глыб. Во всех подвалах, благодаря прекрасной изоляции, температура в течение всего года остается неизменной».

«Мойка бутылок происходит под давлением, ручным или машинным способом по новейшим системам. Бутылки с вагонов заводской железной дороги и для розлива подаются механическими транспортерами. Розлив происходит без малейшей траты пива и газов в закрытых аппаратах. Пробки для закупоривания бутылок замачиваются в кипяченой воде или покрываются тонким слоем парафина (машинным способом), смотря по назначению пива, для местной ли продажи или экспорта».

«Заводская железная дорога. Перевозит ячмень, пиво, бочки, посуду, дробину и проч. Дорога проложена по всему заводу... Вагоны, имеющие разные типы, смотря по предмету нагрузки, перевозятся лошадиною тягой, вагоны же, идущие через туннель, на пристань и на берег, передвигаются бесконечными цепями, приводящимися в действие электричеством».

«Для перевозки пива по железной дороге Жигулевский завод имеет 19 собственных, специально устроенных вагонов-ледников, позволяющих производить перевозку пива как зимою, так и летом без опасения за порчу продукта в пути. Большая часть товаров перевозится по воде, для чего Жигулевский завод грузит свой продукт непосредственно с завода вагонами на соб-

ственную пристань. С пристани, к которой пристают также и пароходы частных обществ, пиво грузится со льдом на собственные баржи, специально устроенные для быстрой и безопасной перевозки».

«Для нужд заводских служащих и рабочих при заводе учреждены: казарма для одиноких рабочих на 115 кроватей, отдельный дом для семейных рабочих, баня, паровая механическая прачечная, читальня, библиотека для служащих и рабочих, приемный покой с 3-мя врачами и постоянной фельдшерницей, больница, школа и детский приют».

Кроме того, завод фон Вакано держал в городе кухмистерскую. Тогдашние издания о ней писали: «Многим волжанам также хорошо известна большая, хорошо обустроенная пивная лавка №1 (Биргалка) возле Струковского сада». Лестницу этой «Биргалки» украшала роспись, а в интерьерах широко использовалось чешское (богемское) стекло.

Когда на Жигулевском пивзаводе прорвало трубу, которая сливала в Волгу бракованный продукт, жители города сразу же бросились к прорехе с чайниками, ведрами и котелками. Бракованное пиво оказалось очень даже неплохим. Не говоря уже о том, которое прошло довольно строгий заводской контроль.

Производили и водку. С ней все было несколько сложнее – с 1902 года монополия на ее изготовление принадлежала государству, а заводы по розливу назывались складами. Калужский краевед Д. И. Малинин описывал такой калужский склад: «На правой стороне улицы высится громадное красное трехэтажное здание казенного винного склада. В нем работают 50 служащих лиц и 180 рабочих. Склад обслуживает большой район, охватывая, впрочем, не всю губернию, но в то же время отправляя часть вина и в соседние губернии. Производство склада в 1910 г. было 560 тыс. ведер». Правда, казенные водочные заводы так и не развернулись в полную силу – в 1914 году из-за Первой мировой войны в России ввели «сухой закон».

Кстати, завод – это не одни только складские помещения и производственные цехи. Это во многих случаях еще и особняк директора, вокруг которого часто

разбит хороший парк. Современник писал об одном из самарских заводов: «Особенно обращал на себя внимание нарочито устроенный механическим заводом Бенке у своего дома изящный палисадник, посреди которого бил фонтан, при блистательном электрическом освещении, этим же заводом устроенном».

А еще в России были города-заводы. То есть не в городе завод, а как бы город при заводе. Таким был, в частности, Екатеринбург. Павел Бажов писал: «Другого такого по всей нашей земле не найдешь. В прочих городах, известно, всегда городничий полагается и другое начальство тоже, а у нас – один горный начальник. И никто ему не указ, кроме самого царя да сенату. Губернатор ли там, исправник – ему ни при чем. Что захочет, то и сделает. Такое ему доверие дано. Горный начальник тут всеми поворачивал. Строгость была, не приведи бог. Теперь приснится, так испугаться можно».

Бажов имел в виду некоего Глинку, действительно прославившегося чрезмерной строгостью и самодурством. А иерархия была и впрямь прописана довольно четко. Горнодобывающий завод – вещь стратегическая, государственной важности. Что там исправник со своими мелкими проблемами!

На подобном положении находился и Ижевск. Некий путешественник писал о городе в 1899 году: «Странное явление представляет собой Ижевск... Если вы увидите эти величественные красивые здания самого завода с бесчисленными трубами, с шумом и громоуханием машин, с облаками пара и дыма, с огромным и красивым прудом и бегающими по нему пароходами, наконец, с тысячными толпами рабочих, то вы подумаете, что находитесь в одном из центров современной культуры. Если вы будете смотреть на деревянные, нередко убогие домики здешних обывателей, вы подумаете, что это село. Если, наконец, вы познакомитесь с порядками, точнее с беспорядками и неустройством местной общественной жизни, то скажете, что это деревня. На самом деле можно сказать, что Ижевск ни то, ни другое, ни третье. Это, подлинно, что называется, ни рак, ни рыба».

Условия труда были близки к описанным Максимом

Горьким: «Станки и рабочие скучены почти как сельди в бочке. Воздух очень нечист, даже при открытых окнах в нем носится масса металлической и органической пыли, и удушлив – частью от запаха масла, которым смазывают станки, мыла, раствором которого поливают части машин, подвергающиеся трению».

Пикантность ситуации предавал профиль собственно завода – он был оружейный. Это сказывалось и на простой обывательской жизни. В газетах то и дело попадались объявления, довольно редкие в других российских городах.

«Имеются в готовности и принимаются на заказ ружья одноствольные и двуствольные, с дула и с казны заряжаемые, винтовочные и дробовые».

«Огромный выбор револьверов всех систем и калибров и заряды к ним, а также заграничных ружей центрального боя».

«При фабрике торговля ружьями, дробью и всеми охотничьими принадлежностями, порохом из собственного склада».

«Ружье одноствольное центральное дробовое Бердана 6 р. 25 к., с клеймом более лучш. 6 р. 80 к., в ореховом ложе 2-й сорт 7 р. 50 к., 1-й сорт 9 р., орех. лож. пист. голов. гравир. 11 р. 20 к. Гильзы 7 к. шт.; машинка для зарядж. 85 к. Важно небогатым охотникам. Огромное производство Василия Петрова».

А как-то раз в Ижевске выпустили художественную открытку, на обратной стороне которой значились «14 житейских советов». Первый из них гласил: «Не трать деньги зря». А последний – «Покупай ружья только фабрики В. И. Петрова». Понятно, что как раз В. И. Петров и издавал эти открытки.

Естественно, подобная специфика определенным образом сказывалась на жизни города. В одном из рапортов власти Ижевского завода отчитывались перед своим собственным начальством: «Обыватели Ижевского завода, как из оружейников-рабочих и мастеровых заводов, так ровно и служащих в администрации технических заведений и по гражданскому ведомству, крайне стеснены в средствах дать среднее образование своим детям».

Тем не менее на пистолеты деньги находились. Впрочем, можно было и не тратиться, а просто утащить оружие с места работы.

В разборках между собой ижевцы тоже не обходились без стрельбы. Один из очевидцев описывал традиционное русское игрище – кулачный бой, проходивший в этом городе: «Мне вспоминается один из таких боев, произошедший между Одиннадцатой и Десятой улицами Заречной части. Крики, удары дубинок, выстрелы слились в неопиcуемый шум... Дрались дубинками, вилами, лопатами, стреляли из ружей, в суматохе и свалке было трудно понять, кто кого бил».

«Спортивное» мордобитие было широко распространено в России. Во многих «заречных частях» время от времени происходило что-нибудь подобное. С одной лишь разницей – без огнестрельного оружия. Здесь же «выстрелы» – дело обыденное. Другой очевидец с философской отрешенностью докладывал: «Все рабочие здесь привыкли носить при себе различное оружие обороны (ножи, кистени, мешочки, наполненные дробью). По закону здешнему при нанесении легких ран допускается примирение с вознаграждением 10–15 рублей. Размер этот установлен обычаем. Поэтому среди рабочих развилось легкое отношение к здоровью своего ближнего». По каким-то неизвестным нам причинам автор этих строк не стал упоминать в них огнестрельное оружие. Но смысл происходившего в Ижевске передал весьма наглядно.

На заводе местные рабочие были смиренными и жалкими. Здесь вплоть до середины XIX века были в ходу физические наказания. В документах попадаются такие записи:

«Абдул Аитов, сын Аитов, 70 лет, из служивых татар... наказан за побег шпицрутенами через 500 человек по два раза».

«Петр Степанов, сын Степанов, 37 лет, из государственных крестьян Уржумской округи за побег с завода... наказан шпицрутенами через 1000 человек по два раза».

«Мастеровые П. Демидов, П. Шемякин, Ю. Рошуков за непризнание над собою Верховной власти, неповино-

вание начальству и уклонение от службы отправлены... на каторгу в Сибирь».

Эти события конечно же происходили еще до отмены крепостного права. Но и затем рабочий на своем рабочем месте оставался бесправным. Зато в выходной или праздничный день он становился безусловным хозяином жизни. И в первую очередь эту уверенность ему придавал пистолет.

К счастью, чаще всего стреляли в воздух. По любому поводу – с радости по окончании рабочего дня, приближающегося праздника, просто от избытка бодрости. На Пасху было принято стрелять с первым «Христос воскрес» – «чтобы убить черта». Уже при советской власти местное начальство пыталось запретить такую праздную стрельбу, но, разумеется, сила традиции оказывалась не в пример могущественнее, чем комиссары и чиновники.

Правда, бурные праздники заканчивались очень быстро. У измотанного заводчанина просто не хватало физических сил (да и денег) на многодневный загул. На этот счет была в ходу поговорка: «Ижевский молодец, что соленый огурец – день цветет, две недели вянет».

Впрочем, не все особенности жизни в городе-заводе сводились к стрельбе. Здесь, например, существовала уникальная культура наградных кафтанов. Особо отличившимся работникам вручали долгополую одежду наподобие древней стрелецкой – темно-зеленого сукна и с желтыми горизонтальными полосками.

Простые, не отмеченные властью обыватели прозвали их за это «крокодилами».

Тоже, в общем, небольшая честь.

* * *

Однако же духу российского провинциального города больше соответствовали маленькие фабрички-заводики, фактически – мастерские. При этом многие русские города славились каким-либо определенным изделием. Нелогично, казалось бы, когда в городе N выпускают исключительно козловые фуфайки, а в городе Z – сковородки. Тем не менее такое наблюдалось

сплошь и рядом, мастерство оттачивалось, перенимались традиции, воровались секреты, и в результате козловые фуфайки, выпущенные N-скими мастерами, достигали невиданного совершенства.

Некоторые товарные бренды сохранились по сей день. Чей самовар? Конечно, тульский. Хотя в действительности самовар придумал непонятно кто. Одни исследователи считают, что римляне, другие – что китайцы, третьи – что уральские ремесленники. Видимо, прав один ученый, посвятивший этому предмету статью с очаровательным названием – «Генезис тульского самоварного производства»: «Спор о том, кто именно изобрел и сделал самый первый тульский самовар, в историческом аспекте представляется наивным, а в научном – схоластическим. В действительности первый русский самовар никто не изобретал, он появился спонтанно в результате длительной эволюции древнерусской домашней утвари».

Впрочем, туляки уверены, что самовар изобретен, конечно, в Туле. Неким Лисицыным Назаром. В 1778 году. На Штыковой улице.

У Назара были кузница (на двоих с братом Иваном) и несколько наемных мастеров. Они делали замки, кастрюли и оружие. А в один прекрасный день у братьев вышел самовар. Немножечко похожий на старый добрый сбитенник – но приспособленный под чай. Хотя чай в то время был диковинкой, и одна старая тульская газета приводила даже такой случай: «Один маркитант в начале XIX в. привез в Белев из армии жене своей в подарок фунт восточного напитка. Жена его, простая женщина, не пившая никогда чая, обрадовалась подарку, но об употреблении его у мужа не спросила. В какой-то праздник маркитант привел с собою гостя, чтобы угостить его новым напитком, чай подали в маленьких саксонских чашках. Муж, говорят, чаю хлебнул и чуть не подавился: он был приготовлен неумелой женой с конопляным маслом и луком, причем в чугуна упрятан целый фунт».

Однако в скором времени чай сделался самым популярным русским напитком (а заодно развлечением и даже, можно сказать, философией), а Тула – «само-

варной столицей России». Кроме фабрики Лисицыных в городе открылись заведения Морозова, Медведева, Маликова, Киселева, Карашева, Черникова, Минаева и прочих, а самое значительное – Баташовых. Баташовы были вообще людьми оригинальными. Например, Александр Степанович любил проехаться по Туле на верблюде, на ходу швыряя ошарашенным городским дензнаки. Иногда подходил к нищему, брал у него суму и сам просил для оборванца милостыню. А как-то раз нанял одновременно всех тульских извозчиков и отправил их к вокзалу. В этот вечер в городском театре шло очередное представление и несчастным зрителям пришлось идти домой пешком.

В своих чудачествах Баташов был, впрочем, щедр: как-то прогуливаясь в городском саду, промышленник увидел симпатичную мещаночку и предложил ей за вознаграждение во всей своей одежде войти в заросший тиной пруд, там окунуться с головой и вылезти обратно. Та согласилась и в несколько минут разбогатела на целых сто рублей. Но самая яркая история связана с ногой фабриканта. Когда, под старость, ему ампутировали нижнюю конечность, он торжественно похоронил ее на городском Всехсвятском кладбище.

Этот человек был самым видным тульским самоварщиком.

Главными специалистами на самоварном производстве были наводильщик, токарь, лудильщик, слесарь, сборщик, чистильщик и особый, деревянный токарь, изготавливавший шишки к крышкам самовара, а также ручки.

Одна российская газета так описывала быт тульских специалистов – мастеров по самоварам: «На Грязевской ул. “Эх красива фабрика-то. Ай-да Занфтлебен, он ведь все так разукрасил”, – подумает не один человек, проходя мимо этой фабрики. Наружность ее действительно красива, но если заглянуть внутрь ее, если посмотреть на тех людей, которые создали на это средства хозяину, то чувство отвращения, вызываемое и этими зданиями, и кровными рысаками, подвозящими в коляске директора, сменится какой-то безысходной тоской. При виде этой фабрики, красивой и выхоленной, а рядом ее ра-

бочих – так и просится песня в душу: “Измученный, истерзанный работой трудовой, идет, как тень загробная, наш брат мастеровой”. Вот так рыцари труда!»

И далее – подробности: «В 7 час. они уже на фабрике, в душной мастерской, с 7 до 12, полтора часа на обед и снова работают до семи с половиной вечера. Всего в общей сложности 11 час., в едкой атмосфере пыли и нашатыря. Работают сдельно, не покладая рук, и самое большое вырабатывают 1 руб. 30 коп. в день, да каждый мастер имеет одного или нескольких учеников, которых просто в силу необходимости приходится жестоко эксплуатировать. Молодой рабочий, только что женившийся, уже не думает о мало-мальски сносной квартире или одежде, у него одна мысль: как бы не умереть с голоду. Как же жить человеку, у которого несколько человек детей? Вот почему в 40–45 лет он выглядит стариком, а вечные спутники его – горе, нужда и жулик казенки сложили ему песню о тени загробной».

Правда, процитированная газета называлась «Правдой» и, следовательно, могла быть несколько пристрастной.

Заметка в «Тульском утре», относящаяся уже к жизни безработного слесаря Оружейникова, лишь изредка кормящегося разовыми заказами с заводов, скорее всего ближе к истине: «Все семейство Оружейникова садится за стол попить голого чаю, а если кто из детей проголодался с обеденных щей, то в вечернем чае они отламывают корки черного хлеба и размачивают их в чаю, как вкусные сухари.

– Сегодня просили работу вынести, – заявляет жена мужу, – я забыла тебе сказать.

– Эксплоататоры эти самоварщики, – ругается Оружейников, – всей и работы-то на несчастную пятерку какую-нибудь дадут...

Тут Оружейников досадно и обидчиво выражается по адресу самоварных фабрикантов таким эпитетом, который не умещается в трех строках газетного столбца.

– Садись, что ли, чай пить! – предлагает жена, ставя на стол самовар Котыревской фабрики...

Оба супруга Оружейниковы, тяжело вздыхая, садятся за стол пить голый чай.

Проглатывая последний стакан, Оружейников спешит приняться за отделку самоварных ручек, чтобы получить к вечеру на фабрике 3–4 рубля.

– Дров опять нету... Того нету, другого нету, хучь ложись в гроб живым и помирай, – снова прорывается негодование у жены Оружейникова, перебивающей чайную посуду...»

Однако, несмотря на недовольство левой прессы, тульские самовары получались очень даже неплохие.

А вот Калуга славилась особым тестом. Борис Зайцев иронично замечал, что «вряд ли кому кроме калужанина записного могло бы оно понравиться», называл это тесто «медвяно-мучнистым». Не в лучшем виде вошло оно в одну из эпиграмм ростовского купца Титова:

Калужским тестом соблазнившись,
Проклявши Тестова трактир,
В своем Прудкове поселившись,
Зачем покинул грешный мир?

Мы все склоняемся ко гробу:
Нам ад готовит Асмодей.
Побереги свою утробу:
Не ешь калужских калачей.

Рецепт этого теста был несложен: «Сухари из чистого ржаного или пшеничного хлеба размалывались в порошок. Полученную сухарную муку всыпали в распущенный на огне сахар, смешивали с патокой и пряностями. Готовое тесто должно быть плотным, тяжелым, хорошо резаться ножом, но не представлять из себя клейкой, тягучей массы и рассыпаться во рту». Главная же его особенность в том состояла, что тестом лакомились в сыром виде.

Калужане тем тестом гордились, одно время в городе даже выходил журнал, который так и назывался – «Калужское тесто».

Тесто даже дарили возлюбленным:

В сей сладкий день рождения твоего, –
Наталия, любимая невеста,
Позволь с букетом роз из сада моего
Поднести тебе с полфунта теста.

К сожалению, сейчас это тесто даже представить себе невозможно.

Узкая специализация была, как правило, присуща городам уездным. Неудивительно – ведь если в большом городе все примутся, к примеру, сушить сухари, то обязательно возникнет перепроизводство этих сухарей. Когда же населения поменьше, есть надежда, что товар все-таки разойдется.

Была своя узкая специализация, к примеру, в уездном городе Торжке. Литератор И. Глушков писал: «Купечество новоторжское, будучи весьма богато, производит великие торги к Санкт-Петербуржскому порту хлебом, юфтью, салом и другими товарами; также имеет в городе множество кожевенных, солодовенных и уксусных заводов; да и вообще все жители весьма деятельны: мужчины и женщины занимаются шитьем кожевенных товаров, а некоторые из первых хорошие каменщики, штукатуры или черепичные мастера. Новоторжская знатность есть хорошие козлиные кожи, тюфяки, чемоданы, портфели, маленькие бумажники и всякий кожевенный товар».

Кстати, «козлиные кожи» – отдельная тема. В одном из царских указах о новоторгах записано: «козлий торг им за обычай». В уже упомянутый визит Екатерины ей были подарены «кожаные кисы (то есть меховые сапоги. – А. М.) и туфли, шитые золотом». А в Тверской губернии в ходу была частушка:

Привези мне из Торжка
Два сафьянных сапожка.

Драматург Александр Островский писал: «На 16 заводах выделяется: белая и черная юфть, полувал, опоек, красная юфть, козел и сафьян, всего приблизительно на 70 тысяч руб. серебром. Торжок исстари славится производством козлов и сафьянов и в этом отношении уступает только Казани и Москве. Особенно в Торжке известна красная юфть купца Климушина, при гостинице которого (бывшей купчихи Пожарской, но переведенной теперь по причине малого проезда в другой дом) есть небольшой магазинчик, где продаются торжковские сапоги и туфли. Работа вещей прочна и красива,

но цена, по незначительности требования, невысока: я заплатил за две пары туфель, одни из разноцветного сафьяна, другие из бархата, шитые золотом, 3 руб. серебром».

Правда, тот же классик сокрушался: «Прежде золотошвейное мастерство процветало в Торжке; в 1848 году вышивкою туфель и сапог занималось до 500 мастериц. Теперь эта промышленность совершенно упала, и только в нынешнем году (эти заметки были сделаны в 1856 году. – А. М.), по случаю коронации, несколько рук успели найти себе работу за хорошую цену – до 15 руб. серебром в месяц. Новоторжские крестьянки, большею частью девки, славятся по всей губернии искусною выделкою подпятного кирпича (то есть уминаемого пятками тех самых девок. – А. М.); и золотошвейки, за неимением своей работы, принуждены были заняться тем же ремеслом. От великого до смешного только один шаг! Летом для работы кирпича они расходятся по всей губернии, разнося с собой разврат и его следствия».

Другой уездный город, Дмитров, славился баранками. Лев Зилов о нем писал:

Пять тысяч жителей, шесть винных лавок;
Шинки везде, трактир – второй разряд;
Завод колбас, к которым нужен навык;
Завод литья да кузниц длинный ряд.
Но слава города и смысл его – баранки!

Ничем, казалось бы, не обусловленная специализация – а вот поди ж ты!

А уездный город Муром знаменит был калачами. «Владимирские губернские ведомости» сообщали: «В городе Муроме по переписи 1897 г. 12 589 жителей, которые занимаются различными промыслами и торговлей, а также садоводством и огородничеством. Здешние огороды славятся своими огурцами, фасолью и канаречным семенем. Существующие в городе различные ремесленные заведения дают заработок около 1300 человекам; из этих ремесел, по сумме производства, первое место должно быть отведено калачникам, хлебникам и булочникам. Калачное производство является древним в г. Муроме, стяжавшим некоторую известность муром-

цам как калачникам (и в гербе уезда изображены три калача)».

Один из краеведов сообщал: «Многие же пекут из пшеничной муки калачи на продажу в другие города и места». Неудивительно, ведь муромские калачи действительно были особенные. Те же «Владимирские губернские ведомости» писали о них: «Всех калачных пекарен есть до двадцати; мастера и сами хозяева так изучили все пропорции к составлению печения, что муромские калачи, отличаясь от других, славятся особенно приятным вкусом и величиною».

Череповец – еще один уездный город – славился сапожниками, только славился довольно странной славой. В городе и впрямь было немало сапожных мастерских, и череповчане пели про них песенку:

Церепаны, подлеци,
Шьют худые сапоги.
Сапоги худые шьют –
Даром денежки берут.
Это нелюди сапожники.

То ли дело черепашка – маленькая гармошка, более похожая на муфту, которую изготовляли здесь же, в Череповце.

Дело тонкое – Ростов Великий. Этот город славился финифтью, расписной многоцветной эмалью. Отпрыск одного из мастеров писал в своих воспоминаниях: «Отец где-то доставал кусок эмали, толлок на большом камне курантом, потом размешивал со скипидаром до сметанообразного состояния. Пластины и кисти изготавливал сам, писал тоненькой, в один волосок кистью из хвоста колонка, обжигал пластину не менее трех раз. Работы писал пунктиром, сначала рисовал эскиз карандашом, потом прокалывал и затем рисовал на пластине».

Так что мастер по финифти был одновременно и менеджером по закупкам, и гончаром, и изготовителем кистей, и художником-дизайнером, и в конечном итоге менеджером по реализации готовой продукции. Иногда он справлялся со всеми задачами самостоятельно, а иногда в процессе производства участвовала вся семья. Вот, например, один из мемуаров: «Мама покупала

ящичками бемское (богемское. – *А. М.*) стекло, у нее был курант – круглый камень с каменным плато, внутри которого углубление. Мама растирала курантом бемское стекло до того, что на руках образовывались мозоли в нижней части ладони».

Но даже те из домочадцев, кто не был занят в производственном процессе, были вынуждены подчиняться ему: «Процесс бисерения был очень ответственным. Мама старалась, чтобы не подымалось ни единой пылинки. В случае попадания на пластину пыли на ней образовывались пузыри, они лопались, оставляя после себя мелкие дырочки. Поэтому в дни бисерения никогда не делали уборки, а детям не разрешалось бегать».

Ростовская финифть распространялась по всей стране. Она шла в обе столицы, на Нижегородскую ярмарку и, разумеется, в располагающуюся всего лишь в сотне километров от Ростова Троице-Сергиеву лавру. Троицких заказов было особенно много. То «ростовский живописный мастер Василий Гаврилов Гвоздарев подрядился поставить в лавру своего мастерства образов... который для усмотрения письма и каким образом будут оправлены прислал для образца три образа». То «Иван Алексеев Серебренников желает поставлять в лавру финифтяные образа самого лучшего качества». Иной раз и посредник, «города Ростова купец Николай Петров сын Дьяков», предлагал свои услуги за процент.

В 1914 году в городе начал действовать особый класс финифти при школе рисования, иконописи, резьбы и позолоты по дереву. В качестве преподавателей были, естественно, приглашены лучшие мастера. А после наступила революция, а с ней – переориентация финифтяного производства с икон на запонки и на значки. Вместе с тем сам процесс обучения перестал быть таким непостижимым таинством, а превратился в достаточно строгий и официальный учебный процесс. Преподавателям писали аттестации: «Прекрасный мастер – практик, в совершенстве владеющий техникой своего дела, достигший непревзойденных результатов в технике мастерства, выработке стиля и колорита, свойственного только ему. В то же время он не обладает в должной степени необходимыми для мастера-инс-

труктора качествами, слабо владеет педагогическими и методическими навыками и приемами».

Новое время требовало новых профессионалов.

Несмотря на свою популярность, а также практичность, финифть стоила дешево. Соответственно и заработок мастеров был не особенно большим. Нередко его даже не хватало на содержание семейства, и жена художника тоже должна была работать (что до революции случалось не так часто, как сегодня). Правда, работа все равно была, как правило, домашняя – делать, например, соленья и варенья на продажу.

Естественно, что кроме прочих должностей (снабженческих, технологических, дизайнерских и других) финифтяных дел мастер вынужден был сам себе служить бухгалтером. Несколько лет назад в сборнике «История и культура Ростовской земли» были опубликованы фрагменты так называемой «Книжицы для записи расхода сего 1899 года... финифтяных дел мастера Никанора Ивановича Шапошникова». Эту «книжицу» вел пожилой, семидесятипятилетний и по старости практически отошедший от дел финифтяной ростовский мастер.

Собственно, потребности его были невелики. «Купил картус себе летний – 50 к.». «Купил себе на фрак материи» – 63 к.». «Купил очки – 10 к.». «Купил ночной чепец». Или же, если не хотелось останавливаться на лишние подробности: «Купил что мне нужно и ндравится на сумму 45 коп.». Немало было и хозяйственных расходов. «Дано дровоколу за уборку на дворе – 15 к.». «За чистку сапогов плачено сапожнику – 10 ко.». «Плачено Надежде за мытье и стирку – 30 к.». «Плачено за чистку мостовой – 4 ко.». «Сторожу ночному плачено – 20 к.».

Несмотря на бедность, Никанор Иванович не жалел денег на свои духовные потребности: «Купил свеч», «Дано на свечку», «Купил масла Богова», «Подано по родителям на понихиду попу – 15 ко.».

А нуждался Шапошников до того, что ему приходилось часть своего дома сдавать квартирантам. Об этом заносились записи все в ту же «книжицу», но уже по статье доходов. «Получено за квартирование татар 9 человек по 1 р. 50 к., а всего 13 р. 50 к.». «Татарин не останавливался с него подороже». Отчасти, видимо,

благодаря такому приработку, Никанор Иванович время от времени отводил душу. «Купил винца на сумму 1 р. 50 к». «Купил на прощанье истекающего года брикаловки на сумму 20 к». Под «винцом» финифтяных дел мастер, скорее всего, понимал не виноградное, а хлебное вино, то есть простую водку. Под «брикаловкой» – по видимости, то же самое. Вряд ли Никанор Иванович знал толк в венгерских и французских винах.

Случалось, что финифтяные мастера кооперировались с представителями других промыслов. Чаще всего это были резчики по дереву – ведь вставочками из финифти нередко украшались деревянные изделия – креслы, ларцы, шкатулки. Неудивительно, что именно резьба стала вторым по значимости промыслом Ростова.

Если финифтяная наука осваивалась уже в более-менее сознательном возрасте, то к резному делу приучали с самого что ни на есть младенчества. Один из представителей этого цеха вспоминал: «Ученье начиналось с рисования. Малышу давалась гладко выстроганная липовая доска, карандаш, и он должен был рисовать простенькую завитушку орнамента. Рисовал долго... испачкает доску... выстрогает и снова рисует, потом стамеской долбит сквозные отверстия».

В результате к совершеннолетию мастер достигал необходимого для резчика качества мастерства – «чтобы благодать с резьбы так бы и капала». И был способен на такие вот произведения: «Никита заканчивал большую граненую колонку, почти сплошь покрытую всевозможными орнаментами из выпуклых завитков, розеток, бус, с гирляндой фантастических цветов и листьев. Все это было вырезано довольно искусно, чисто, пестро и испещрено штрихами, жилками, но не имело особого стиля. Вернее это был особый, выработанный иконостасными мастерами стиль, долженствующий поразить взор зрителей обилием украшений».

Резчики сами же и золотили свои свежесрезанные произведения: «На покрытые полиментом (особый состав, состоящий из красной глины, мыла, воска, китового жира и яичных белков. – А. М.) орнаменты накладывалось золото. Листы золота резались тонким ножом на обтянутой кожей шкатулке... Мастер раскрывал книжку

с золотом, вложенным между листками папиросной бумаги, и стряхивал тонкий золотой лист на подушку шкапулки, легким дуновением расправлял на подушке... ножом отрезал кусочек золота, затем сменял нож на лапку из беличьей шерсти, похожую на маленький распущенный веер, и прикасался к кусочку. Золото прилипало к шерсти, и тогда мастер клал этот кусочек на смоченное спиртом место орнамента».

Резчиков, случалось, даже представляли царскому семейству. В одном из журналов Ростовского уездного земского собрания имеется запись: «22 мая текущего (1913. – А. М.) года Ростовский уезд был осчастливлен посещением их Императорских Величеств. Управа в полном составе преподнесла Его Императорскому Величеству от лица Ростовского Земства хлеб-соль».

При этом произносились такие слова: «Просим Ваше Императорское Величество принять хлеб-соль от ростовского земства на блюде работы местного крестьянина Кищенкова, резчика-самоучки». Несмотря на то, что это представление было заочным (крестьянина Кищенкова конечно же на церемонию никто не приглашал), сам факт упоминания фамилии мастерового был довольно редким.

В 1898 году в городе даже открыли особую школу резьбы и позолоты по дереву. Естественно, не все в той школе было идеально, но она была весьма значительным учебным заведением, и ее проблемы решались на самом высоком уровне. Вот, например, заявление одного из основателей школы: «В помещении резного класса в нижнем этаже дома Плешакова давно ощущались крайние недостатки по тесноте этого помещения, а также известно, что из смежной комнаты нижний полицейский чин выехал и комната эта по распоряжению г. Городского головы П. Н. Мальгина предоставлена под резное отделение».

Слушателям этой школы был предоставлен уникальный шанс – поступить по окончании в московское Строгановское училище технического рисования. Связи этого училища со школой были крепкими, и сам художник Верещагин отсылал письмо в Ростов: «Федор Федорович Львов пожалуй вам устроит рисованье,

обойдется дешевле, чем если будете иметь дело с магазином и методу даст хорошую практическую».

А Федор Федорович был директором Строгановского училища.

Программа же была составлена весьма широкая. Вот один из отчетов той школы: «В первый год обучения ученики занимались рисованием с натуры гипсовых и геометрических тел и компоновали простейшие задачи, которые исполнялись ими в мастерской. Обучавшиеся второй год рисовали гипсовые тела с прокладкой падающих теней и компоновали более сложные задачи. Обучавшиеся 3 и 4 год, кроме всего этого, занимались лепкой и изучением некоторых стилей, которые применялись при обработке дерева или финифти».

Неудивительно, что главный промысел Ростова не был обойден вниманием.

Впрочем, совершенной эта школа не была: «Благодаря тому, что общего надзора за преподаванием в ремесленном классе не было, что при имеющихся в распоряжении музея средствах не представлялось возможным производить обучение в достаточно полном виде, учащиеся при небольшом количестве часов занятий не могли заинтересоваться классами и занимались в них не регулярно, а скорее в виде развлечения».

Другое дело, что такие «развлечения» шли лишь на пользу юным горожанам.

Самым популярным промыслом Троице-Сергиева посада, этого в высшей степени религиозного населенного пункта, были, как ни странно, детские игрушки. Казалось бы – какая связь? Но факт есть факт.

По статистическим сведениям, сто лет назад годовой оборот местных игрушечников составлял, по одним сведениям, 400 тысяч рублей, а по другим – и целый миллион. В этом промысле было задействовано около 330 дворов. Путеводитель по лавре писал: «Некоторые из кустарей вместе с приготовлением от руки резных деревянных игрушек готовят и деревянные ложки, которые, по словам преданья, послужили основанием игрушечного промысла в Посаде. Большинство же кустарей занимается изделием бумажных игрушек и бумажных масок».

Неудивительно, что здешние игрушки вошли в русскую литературу и мемуаристику. Михаил Осоргин общал: «Раскрашенные куклы монахов и монахинь ходко шли на ярмарках, и купец Храпунов выделывал их на своем кустарном заводе в Богородском уезде Московской губернии, а также заказывал кустарям-одиначкам, которых было много в игрушечном районе близ Сергиева Посада. Делали монахов деревянных с раскраской, делали и глиняных, внутри полых, с горлышком в клубке – как бы фляга для разных напитков».

Инженер Николай Щапов вспоминал: «Выходим на городскую площадь, огромную, мощеную, пустынную. С одной стороны – базар, с другой – торговые ряды, с третьей – монастырская гостиница, большое каменное здание времен Чичикова, с четвертой – монастырская стена с цветниками и кустарными лавочками перед ней. В них множество любопытных для меня вещей, ведь Сергиев Посад – гнездо кустарей. Много интересных игрушек и причудливой посуды. Из игрушек мне запомнилась ветряная мельница: сыплешь сверху сухой песок, он проваливается вниз и вертит по дороге ветряные крылья. Много разнообразных изображений животных – петухи, журавли, звери. Среди глиняных изделий – баночки в виде грибов, пней для соленых грибов, икры; человеческие фигурки».

Предприниматель Н. А. Варенцов подчеркивал: «Особенно славилась игрушка – складная Лавра, сделанная очень красиво со стенами, башнями, церквами и домами и довольно точно к подлинникам».

В крупных городах малые производства были гораздо более разнообразными и, вместе с этим, скучноватыми. Вот, например, архангелогородец Я. Макаров поместил в газету объявление: «Сим имею честь довести до сведения гг. обывателей, что в скором времени в Архангельске будет готова моя электрическая станция, мощностью на первое время до 3000 ламп, при четырех машинах. Энергией могут пользоваться как для освещения, так и для двигателей непрерывно круглые сутки; отпуск энергии и устройство проводов в квартирах будут исполняться на выгодных условиях. Желаящие получить сведения и энергию, покорнейше прошу за-

явить лично или письменно в контору мою при заводе в Соломбале».

Никакой вам романтики, один голый прогресс.

В том же Архангельске трудился золотых дел мастер Бражнин. Его младший брат описывал их бесконечные ремесленные будни: «Старший брат целыми днями сидел за верстаком. При работе у золотых дел мастера всегда случались мелкие подсобные работы, для которых нужен второй человек. Я часто бывал этим вторым и становился подручным брата.

Я бегал в аптеку за шейлаком, за морской пенкой, за бурой, я бегал на кухню за спичками, за лучинками, за угольками, я подавал инструменты или крутил ручку вальца, когда надо было раскатать золотой или серебряный слиток. Я делал все, что нужно, с охотой и выполнял любые поручения.

Мне нравилась атмосфера мастерской и ее веселый рабочий ритм. Впрочем, веселость и оживленность были следствием не только самой работы, но и легкого, веселого нрава брата.

Перед пасхой и рождеством заказов случалось так много, что рабочего дня не доставало и приходилось прихватывать часть ночи, а то и всю ночь.

В этих ночных работах принимал участие и я. Дом спал, а мы работали. Брат сидел за верстаком. Над коленями его прикреплен был к верстаку кожаный фартук. В него сыпались золотые и серебряные опилки, какие бывают при обработке новых вещей и при починке старых. Сбоку верстака висели на гвоздике фитильные нити, натертые красным мастикообразным камнем-крокусом. Об эти нити начищали до блеска кольца, броши и другие вещи, сдававшиеся заказчику. Против брата, на верстаке, стояла плотно закрытая пробкой шарообразная колба, величиной с маленький арбуз. В нее была налита какая-то зеленая жидкость, так что свет стоявшей на верстаке лампы смягчался зеленой средой колбы и не слепил мастера. На верстаке, на подоконнике, на табуретке, на станине вальца, на прилавке лежали вперемешку сверла и дрели, пилы и напильники всех видов и профилей: плоские, треугольные, полукруглые, большие рашпили и крохотные надфиля. Вперемеш-

ку с ними поблескивали металлом лобзики, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, штихеля, клещи, отвертки и щипчики всех размеров и видов, тиски и медные трубки для дутья, называемые фэфками.

Все эти инструменты были раскиданы в том беспорядке, в котором мастер легко разбирается и который всякому постороннему кажется непролазным хаосом.

Я отлично знал назначение каждого инструмента и умел при случае управляться с любимым».

Еще одна типичная работа жителей Архангельска – смолокурение – была и вовсе каторжной. Технолог Токарский писал: «Неприглядна работа смолокура у печи при процессе курки. Настолько неудовлетворительна в гигиеническом отношении, что граничит прямо-таки с расстройством здоровья, особенно у тех промышленников, которые забираются вовнутрь далеко отстоящих от деревень лесосек.. Когда въезжаешь в пристанище смолокуров, то издали виднеются как бы землянки, кое-где занесенные снегом, кой же где оттаявшие, причем из последних идет густой дым; первые представляют из себя жилище, вторые печи, помещенные в небольших сарайчиках или навесах.

Подобное собрание печей (от 5 до 20) называется “майdanом”; если майdan большой, принадлежит крестьянам одной деревни и расположен в лесу далеко от поселений, то положительно все более или менее здоровые работники, женщины и дети перебираются на житье в лес и в деревне остаются только старики да младенцы. После полутора или двух недель работы при печках, обыкновенно около какого-нибудь праздника, которых, к слову говоря, в этой местности чествуют довольно-таки много, вся эта ватага, черная и закопченная, возвращается в деревню, приводит свой наружный вид в некоторое подобие обычного обитателя деревни и, отдохнув денек-другой, опять принимается за ту же работу».

Другой технолог, господин Семенов, дополнял красноречивое описание своего коллеги: «Загрузив печь, кустарь скидывает с себя тулуп, обвязывает платком лицо и лезет в печь с веником, чтобы выгрести оттуда остатки угля и очистить отверстие, ведущее из печи в колоду. Температура печи при этом бывает настолько высока, что стоит ему поднять лицо выше верхней ли-

нии топочного отверстия, как кожа с лица моментально слезает наподобие перчатки. Не окончив еще работы, он вылезает из печи и начинает обтирать разгоряченное потное лицо снегом. Остыв немного, он опять отправляется в печь заканчивать свою работу».

Это вам не калужское тесто лепить!

* * *

Особняком располагался рыболовный промысел – как в узком смысле, так и в более широком. Целые артели профессиональных рыболовов бороздили просторы Волги, Оки и других рек России.

Не обходилось без конфликтов с властью. Вот, например, один занятный документ, составленный в городе Астрахани: «16-го минувшего апреля стражник по охране Сергиевских вод тайного советника Х. Н. Хлебникова Василий Патрикеев задержал на незаконном лове крестьянина с. Сергиевского Семена Мельникова. Другие ловцы, до 30 лодок, производящие незаконное рыболовство плавными сетями в расстоянии от тони Сергиевской ближе чем на $\frac{1}{2}$ версты, завидев надзор, поспешно стали выбирать сети из воды и удаляться на берег к селу Сергиевскому. Когда стражник с косными стал приближаться к берегу, то стоявшая здесь толпа ловцов подняла шум, крик, на надзор посыпалась площадная брань и угрозы не выходить на берег, иначе стражники получают кирпичи в голову, как это было в прошлом году. Когда же баркас с надзором пошел вдоль берега около села Сергиевского к реке Куманчук, в это время из одной только что приставшей к берегу лодки обловщика последовал выстрел из револьвера по направлению к надзору, не причинивший, к счастью, никому вреда».

Вообще же обман государства считался среди рыбаков делом чести. Обучались этому сызмальства. Вот, например, описание одной детской игры: «В данной местности существуют свои местные игры, которые вытекают из образа занятий жителей, так, например, игра (она не имеет определенного названия), которая изображает ловлю рыбы в воспрещенное время. Игра же эта производится следующим образом: два или три мальчи-

ка изображают зрителей, которые посылаются Правлением рыбных и тюленьих промыслов; затем двое или трое изображают так называемых исадчиков, или покупателей рыб; остальные же играющие мальчики – ловцы. Ловцы, запасшись веревками, сетками и палочками, которые палочки изображают рыб, выходят на середину улицы, делают подобие метания сеток, затем тащат вдоль улицы сетку и веревку, подбирая при этом попадающиеся на дороге палочки. Но вдруг за ловцами бросаются зрители. Ловцы, подбирая сетки и веревки, кидаются от зрителей врассыпную. Но несколько ловцов попадают в руки зрителей и должны лишиться и сеток, и веревок, и рыб и, освободившись от них, идут отыскивать себе новые сетки и веревки. Ускользнувшие от рук зрителей ловцы бегут за ближайший угол дома, где их ждет исадчик и покупает у них рыбу; купивши рыбу, исадчик тоже должен спрятать куда-нибудь подальше, так как и на него могут наехать зрители и отобрать всю рыбу. В этом и заключается вся сущность игры».

Впрочем, внутри рыбацкого сообщества нравы были еще более жестокими. Вот, к примеру, сообщение из того же «Астраханского листка»: «С неделю назад у жителя Мало-Белинского острова С. Назарова была совершена кража сетей. В краже этой был заподозрен кр. И. Д. Кулеев, 29 лет, который 9 мая приехал на упомянутый остров и, будучи сильно избит ловцами, сознался в краже. Он сказал, что похищенное находится в лодке его товарища по лову рыбы кр. с. Старицы Черноярского у Л. К. Медведева, 35 лет, находящейся у острова Бол. Белинского и что воровали они вместе.

Тогда ловцы, около 20 человек... отправились на место нахождения той лодки. Они нашли в ней часть похищенных вещей, избили и Медведева, а сами возвратились назад.

На другой день те же люди снова явились на остров Бол. Белинский к кр. С. Цареву, в избе которого находились под замком Кулеев и Медведев, самовольно арестованные жителями Бол. Белинского острова, ввиду их угроз убийством и поджогом. Вывели Кулеева и Медведева на двор, стали бить их палками, кирпичами и топтать ногами до потери сознания, а затем куда-то ушли.

В их отсутствие Кулеев, как более крепкий, пополз со двора в камыш, но Медведев остался на месте, и его вскоре вернувшиеся избившие втащили в амбарчик кр. Царева и заперли там.

Медведев на другой день умер, не приходя в сознание, от нанесенных ему побоев. Кулеев помещен полицией в Зеленгинскую больницу».

Вот такая детективная история.

Но это – обратная сторона промысловой медали. Естественно, была и лицевая и конечно же на ней все виделось совсем иначе. Упомянутый уже хитрец Беззубиков, зачем-то совершающий заведомо нелегитимную покупку, выглядел здесь очень даже положительно. Вот, к примеру, отчет о Международной рыбопромышленной выставке, проходившей в 1902 году в Санкт-Петербурге: «Августейшие посетители осматривали отдел первого русского Товарищества устрицеводства на Черном море, Финляндский отдел и экспонаты астраханских рыбных промыслов Ивана Васильевича Беззубикова, причем экспонент имел счастье поднести в двух художественной работы вазах зернистую и паюсную белужью икру, украшенную серебряными белугами».

На сей раз рыбаки оказались не ворами и убийцами, а настоящими героями. Иван Сергеевич Аксаков ими восхищался: «Русский мужик быстро осваивается с морской жизнью. Под Астраханью мне пришлось слышать английские названия снастей и маневры по команде... И какая смелость и беззаботная игра своею головою жила и живет в этих русских “морских волках”. Зимой во время промысла их оторвало со льдины и 20 дней носило и кидало по морю. Не беда и то. Они бьют попадающегося тюленя, затем поедают своих лошадей, обивают их кожей сани и в этом примитивном судне пускаются на поиски желанного берега».

Не отставал от Астрахани и Архангельск – еще одна русская «рыбная столица». В 1908 году газеты сообщали: «Рыбный рынок в небывалом оживлении. Приехали скупщики рыбы, главным образом из Москвы и Санкт-Петербурга. За последние два дня, благодаря попутному ветру, с моря прибыло в Архангельск около 30 судов, нагруженных разной рыбой, мурманского и норвежского улова».



Крестный ход в Печерском монастыре (Нижний Новгород)



Дом трудолюбия в Нижнем Новгороде

Московская ночлежка. Такие же, только поменьше, существовали в губернских городах





Печально известный сиротский приют Ермакова в Муроме

Окраина Курска во время половодья





Гимназисты. 1917 г.

Кутеж гимназистов.
Такие фото тайком распространялись среди учащихся



Три поколения
рабочих
Златоустовского
завода —
мастер А. Калганов
с сыном и внучкой.
Фото
С. Прокудина-Горского



Ученицы Донской
женской гимназии
с духовным
наставником.
1900 г.





Трапеза богомольцев в Троице-Сергиевой лавре

Макарьевская ярмарка — главное торжище России ►

Нижегородский архиепископ Назарий с членами духовной консистории





Нижний Новгород. Вид на ярмарку

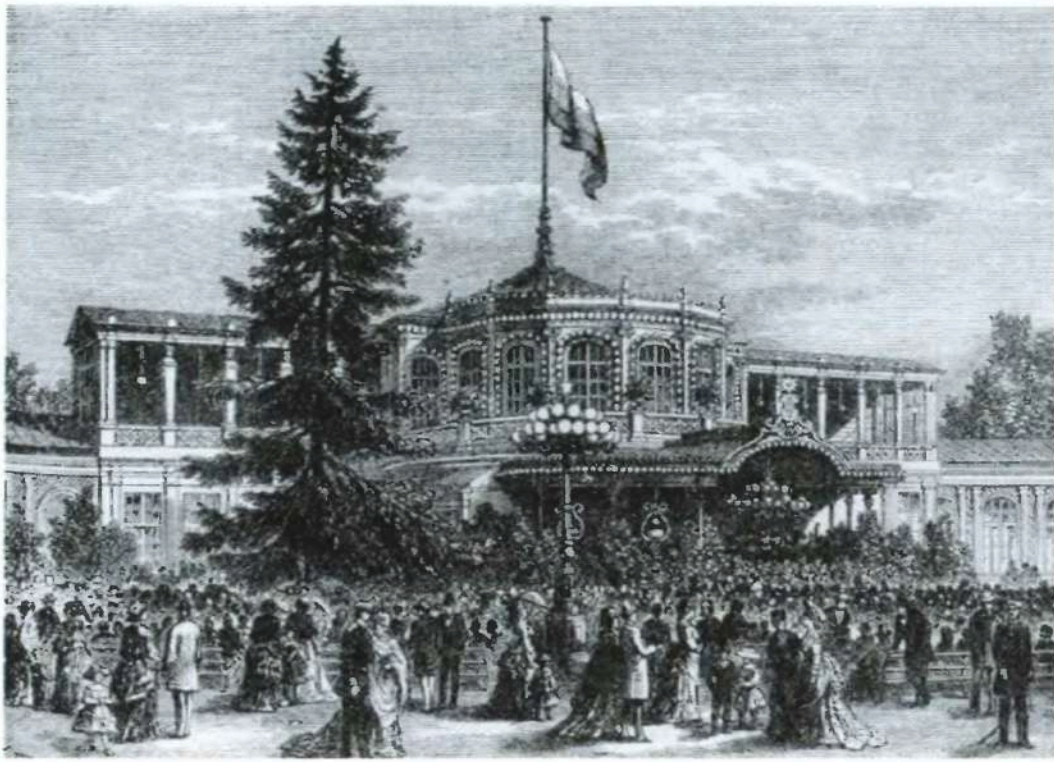




Рынок в Торжке

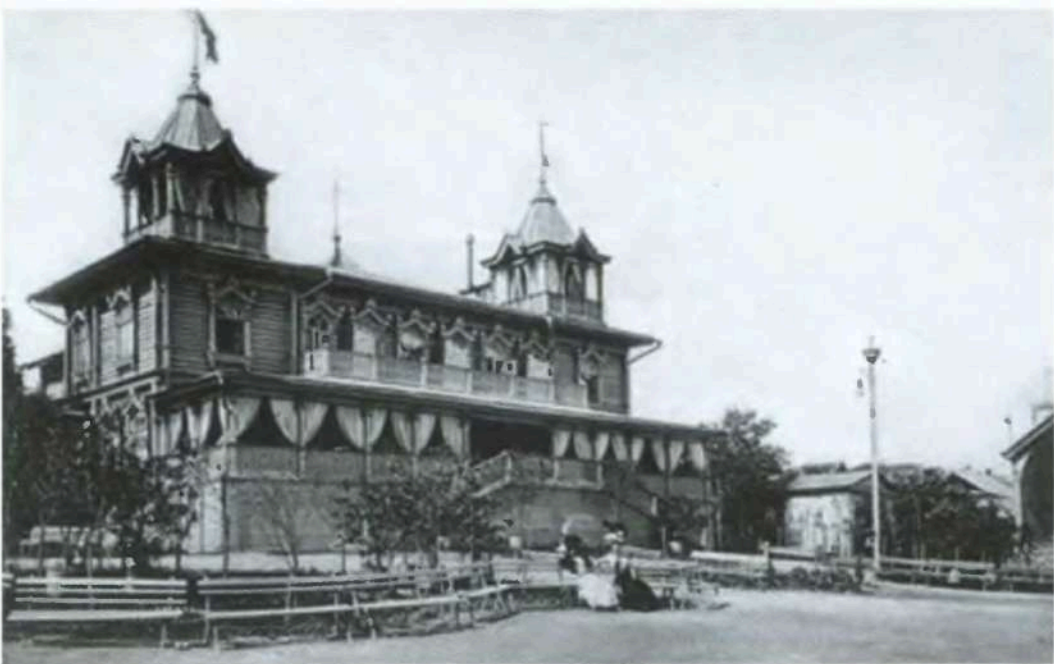
Рыбный рынок в Архангельске





Вокзал в Павловске

Речной вокзал Барыкина в Саратове





Велосипедная прогулка

Городской парк в Шюе





У витрины модного магазина. Контрасты Челябинска

Народный дом в городе Камышине





Драка у пивной в Нижнем Новгороде

Питомцы русской провинции — Горький и Шаляпин в нижегородском трактире





Пивная лавка
в Козлове
(ныне Мичуринск)

ВЕЙНЕРОВСКІЕ ПИВОВАРЕННЫЕ ЗАВОДЫ въ АСТРАХАНИ



ПИВО
П-П-
ВЕЙНЕРЪ
Заводъ



Какъ пилить, поварить - речею насъ не смекать



Тому въ чѣстъ я речею въ кабаръ,
А въ чѣстъ прѣдъто въ кабаръ.



Пиво старикамъ полезно,
Пиво людямъ полезно.

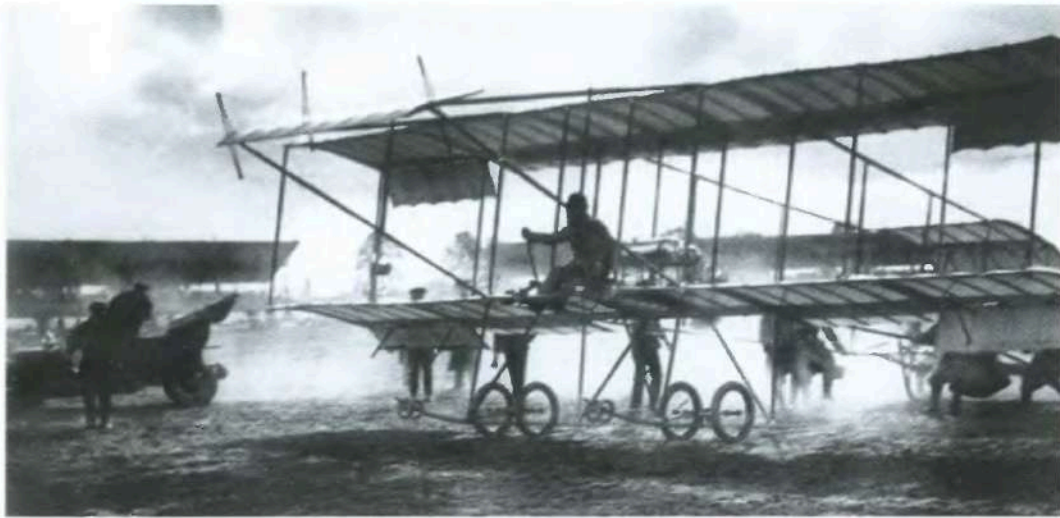
ПИВО:
БАВАРСКОЕ
СТОЛОВОЕ
ВЪНСКОЕ
ЭКСПОРТЪ
КОРОЛЕВСКОЕ
БОГЕМИСКОЕ
КАРИНТИНСКОЕ
МАРТОВСКОЕ
И Т. Д.



Поручай до яду в заготовку пиво

СКЛАДЫ
ВЪ АСТРАХАНІИ И ДРУГИХЪ
МѣСТАХЪ, ГДЕ ПОСТАВЛЕНЫ
СКОПКИ ПИВА, ВОЗМОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПИВО ПО СВОИМЪ
УСЛОВІЯМЪ. ПИВО
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМЪ
СВѣдѣній, ПОЛУЧЕННЫХЪ
ПОСРЕДСТВОМЪ АГЕНТОВЪ
ИЛИ ПОСРЕДСТВОМЪ
КОММЕРСАНТОВЪ.

Такие
рекламные плакаты
украшали пивные



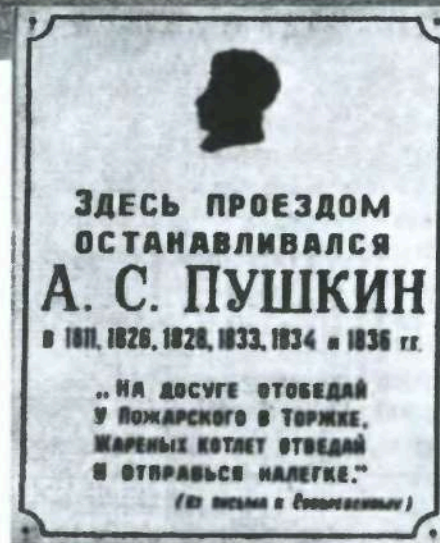
Полет летчика Уточкина — зрелище новой эпохи

Гостиница «Бристоль» в Воронеже





Знаменитый трактир Пожарского
в Торжке — родина пожарских котлет,
воспетых классиком



Курорт «Кавказская Ривьера» в Сочи





Первая мировая война стала началом потрясений,
радикально изменивших жизнь русской провинции

Случались, кстати, своего рода курьезы. Николай Баранов, губернатор города Архангельска, писал: «Нынешний год – первый год, в котором после долгих неурожаев почти вся империя радуется изобилию хлебов, а во многих местах Архангельской губернии грозит если не голод, то верный недостаток хлеба. И отчего это? Оттого, что архангельским рыбопромышленникам Бог послал необыкновенно счастливый улов трески. Треска свезена в Архангельск на Маргаритинскую ярмарку, и здесь, за отсутствием порядочных путей к вывозу, треска упала до 30 копеек за пуд. Промышленники, лишенные возможности сколько-нибудь сносно сбыть свой товар, получив за него деньги, уехали к себе, не закупив и ¼ части хлеба, нужного для прокормления своих семейств и рабочих, и, таким образом, когда внутри России хлеб необыкновенно дешев, на северной ее окраине люди лишены возможности купить его даже за большие деньги; когда в России в Рождественский пост за большие и звонкие деньги покупается рыба иностранных уловов, здесь в Архангельске будут гнить массы заготовленной трески».

Оказывается, одной трескою сыт не будешь.

Не всем российским городам везло с рыбой так же, как Архангельску и Астрахани. Взять, к примеру, описание Торжка: «Рыболовство в Торжке и его уезде самое незначительное, потому что рыбы в Тверце вообще мало, а хорошей почти нет. В Торжке я видел только два садка, наполненные щуками и другой дешевой рыбой. Сверх того, весной, когда воды много, мешает ловле постоянный ход судов, а в межень, когда запираются шлюзы, река очень мелеет, и в это время вылавливается и вытравливается вся рыба дочиста. Хотя отравы или окормка рыбы запрещена законом и виновных, кроме денежного штрафа, велено подвергать церковному покаянию, – но, к сожалению, это баловство водится по всей России, и в Торжке также не без греха. Распространение этого противозаконного способа ловли, по моему мнению, происходит от того, что поймать и уличить виновного почти нет возможности. Долго ли с лодки или с берегу накидать в воду небольших шариков? А когда рыба завертится на поверхности и все, и правые, и виноватые, кинутся ловить ее, чем ни попало, тогда вину сваливают обыкновенно на

проходящих, что “вот, дескать, шли какие-то да чего-то набросали”. Я думаю, что было бы очень полезно преследовать как можно строже продажу кукольвана (ядовитое растение, благодаря которому рыба начинала плавать на поверхности реки и всячески теряла адекватность. – А. М.), которым торгуют почти открыто».

Рыбу промышляли и зимой, и летом. Неудивительно, что этот незамысловатый, но полезный во всех отношениях товар постоянно украшал прилавки рынков и базаров. Мемуаристы Засосов и Пызин писали: «Зимой мороженую рыбу, результат подледного лова, возили в Кронштадт прямо на розвальнях, отдавали в магазины, продавали на рынке; было принято также разъезжать по дворам и предлагать мороженую рыбу. Чтобы как-то поскорее сбыть рыбу, применялся следующий способ: какой-нибудь рыбак из-под Ковашо высыпал на порог дома сетку корюшки, которая стоила копейки, а вечером, уезжая домой, собирал деньги по домам, где он оставлял рыбу. Знали друг друга из года в год, доверяли, недоразумений обычно не было; иной раз слышались такие разговоры: “На кой черт опять ты меня завалил рыбой!”, а рыбак успокаивал: “Ничего, хозяйюшка, замаринуешь” – или: “Теперь морозы крепкие, полежит”, а то и так: “Это последняя рыба: лед-то совсем плохой стал, теперь только весной уж дождешься!”».

Труба пониже – дым пожиже. Любительская рыбалка – одна из наиболее доступных провинциальных радостей. Да и подспорье к столу – праздничному и повседневному. Инженер Ю. Лепетов писал о подмосковном Богородске: «Река Клязьма в прошлом – сказочно красивая и такая чистая, что из нее можно было пить. В обилии водилась почти вся пресноводная речная рыба. Бывало, часов в 5 утра идешь на рыбалку, остановишься на Соборном мосту и любишься: вода настолько прозрачна, что до мелочей видна вся речная жизнь, как в аквариуме... Река Клязьма и Глуховский пруд располагали тремя-четырьмя лодочными станциями, которые доставляли большое удовольствие для отдыха».

О той же Клязьме – только в городе Владимире – писал тамошний житель М. Косаткин: «Любители рыбной

ловли проводили незабываемые дни и вечера возле клязьменских озер... Утром проходили по безлюдным улицам, узким съездом спускались к Клязьме и, когда шли по мосту по ту сторону реки, любовались, как утренний туман стелется над водою и как там вдали на востоке из-за добросельских холмов поднималось солнце, посылая свои лучи на городские холмы и сады, на золотые купола церквей, и вскоре отражались блестящими на всплеске клязьменских струй.

Пройдя клязьменский наплавной мост, выходили, слегка поднимаясь, на дамбу, пересекающую весь луг от реки до леса, и шли по ней или вдоль по луговой, хорошо отполированной тропинке под гомон проснувшихся птичек и жужжание насекомых.

Уже издали, все приближаясь, закрывая весь горизонт, виднелся раскинувшийся по надречным холмам город. Утопая в зелени садов, блестели озаренные заходящим солнцем стекла домов, сбегаящих с горы почти к самой реке. В солнечных лучах переливалась и позолота церковных куполов, а на окраинах города уже поблескивали вечерние огни, постепенно разбегаясь и по всему городу. Издали доносились звуки музыки. Это на Пушкинском бульваре играл военный оркестр, привлекая массу гуляющих... В вечернее время молодежь каталась на лодке или купалась в полноводной Клязьме в натуральном виде, не стесняясь».

Красота!

Рыбалка во Владимире была и впрямь вольготной. Исследователь И. Лепехин сообщал: «Река Клязьма, протекающая мимо города, многим жителям служит и пропитанием. Через устье, которым она впадает в Оку, заходит довольно всякой мелкой рыбы, как-то: щук, лещей, чехони, налимов, жерехов, ленцов, густерок, язей, плотвы и проч.».

К нему присоединялся полковник Талызин: «В Клязьме водятся лещи, щуки, язы, ерши, окуни, налимы, укляя, щерехи, сазаны, санцы, яльцы и головня; в небольшом количестве: сомы, судаки, иногда попадает и стерлядь. Лет сорок тому назад (то есть в начале XIX века. – А. М.)... лов был очень значителен и прибылен; к несчастью, места, принадлежащие городам, а их очень много,

потому что один г. Владимир владеет с 1788 года рыбной ловлею в реке, на стоверстном расстоянии в обе стороны, начали отдаваться на откуп таким промышленникам, которые, заботясь только о приобретении больших выгод для себя, употребляли для лова самые губительные средства, а именно, так называемое громление рыбы. В первые годы лов был так велик, что рыба совершенно упала в цене; крупную и преимущественно лещей сажали в чистые озера до осенних морозов, потом ее вылавливали и мерзлую отправляли в Москву; мелкая же продавалась за бесценок на месте, или же, за неимением потребителей, гнила и пропадала; а в последние годы рыбы не добывается и сороковой части против прежнего: знаменитая клязьменская стерлядь почти совершенно пропала, судаки также, их не ловится теперь и сотой доли; пропала также и часть мелкой рыбы, как, например, укляя, верхоплавка, служившие кормом для большой рыбы».

Казалось бы, совсем уж детская забава – ловля раков. Тем не менее и здесь существовали свои тонкости. Андрей Титов писал о том, как обстояло дело с раками в его Ростове Великом: «Промысел этот не требует никаких затрат, и ловля производится: в жаркое время просто руками в норах, а в холодное – особого рода снастью, называемой “рачней”. Снасть эта деревянный обруч, опутанный тонкими бичевками или просто мочалами; на середину его прикрепляется кирпич, у которого привязывается рыба или мясо, преимущественно испортившееся, и затем привязывается бичевкой к палке и опускается в воду. В полчаса раков на нее набирается до 3-х десятков. А руками в это время налавливают до полусотни и более... Скупщик раков, рассказывают, продает их в Москве крупных от 1 до 1,5 р. за сотню, а средних от 40-ка до 60-ти коп. Если это правда, то такая торговля очень выгодна, тем более, что он едет не с одними с ними, а с товаром, составляющим постоянную его торговлю».

В других уездных городах было примерно то же самое. В губернских же, как правило, к рачным забавам относились несколько высокомерно, но все равно баловались при случае.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ТОРЖИЩЕ

Торговля издавна была одним из основных занятий, даже развлечений русского провинциала. Взять хотя бы Торжок (в прошлом Новый Торг). Главная площадь в городе Торжке была базарная. Предприниматель М. Линд вспоминал о конце позапрошлого века: «Перейдя на другую сторону, вы сразу попадаете на базарную площадь с круглым деревянным бассейном, окованным железными обручами, в который две мощные артезианские струи день и ночь шумно льют из деревянной колоды свою прозрачную студеновую воду. Вокруг бассейна и даже на его толстых бортах прогуливаются небольшими группами сизые, пестрые и белые голуби, сытые, воркующие, свято чтимые обитателями города, в котором голубиная охота не просто забава мальчишек-подростков и даже не страсть, а нечто среднее между серьезным делом и священнодействием. “Водить” голубей – занятие настолько почтенное, что ему отдаются самые солидные отцы семейства и даже седовласые старцы. Недаром двенадцать летящих голубей на фоне синего неба – герб города Торжка.

Вдоль левой стороны площади одним непрерывным порядком тянутся торговые помещения с разнообразным, преимущественно крестьянским товаром. Бондарные изделия, гончарная посуда, шорный, скобяной и щепной товар, бочки, ведра, корыта, ушаты всех размеров, санки, лопаты, дуги, хомуты, седелки, шлеи, сыромять во всех видах, веревки, стопы колес, глиняные горшки, опарники и горлани, обливные и необливные,

шинное железо, гвозди, пилы и топоры, чугунное литье, пакля, войлок, ящики с оконным стеклом и, чередуясь, а то и вперемешку с этим вожделенным мужицким добром, отвернутые мешки с мукой и всевозможными крупами, бочки со снетками, груды мороженого судака, ящики с пряниками – белыми, розовыми и коричневыми, облитая сахаром коврижка – “московская мостовая”, орехи всех видов, стручки сладкого “индийского” боба, конфеты-леденцы в разноцветных бумажках – все это со своими запахами, красками, хозяйственными и вкусовыми соблазнами выдвинулось далеко на площадь, оставя лишь узкие проходы к дверям магазинов. А в этих коридорчиках, потирая друг о дружку красные кисти рук или засунув их в рукава, переминаются с ноги на ногу упитанные багрово-синие владельцы этих товаров в белых фартуках поверх овчинных полушубков, в валенках и тяжелых кожаных калошах – разнолицые и разнофамильные, но по существу мало отличающиеся друг от друга – представители среднего торгующего Торжка.

Справа – белый каменный дом – банк, далее общество взаимного кредита, за ним самый большой в городе винно-гастрономический магазин Мокшевых, потом какие-то, тоже каменные, два-три купеческих дома, а в глубине площади, замыкая ее в центре, древние торговые ряды, опоясанные галереей со скрипучим полом и характерными дугообразными интервалами пролетов. Здесь, в тихих, просторных, полутемных магазинах царит богатый Торжок. Тут на глубоких полках покоятся тяжелые кипы сукон, шерстяных и шелковых тканей отечественного и иностранного производства, тут пахучая мануфактура, посудно-хозяйственные товары, обувь, иконы и церковная утварь – словом, все, что требуется городу. Здесь сам Александр Васильевич Новоселов, вскинув на остренький носик золотое пенсне, собственноручно отрежет вам новенькими блестящими ножницами, вынутыми из жилетного кармана, кусок прекрасного английского шевиота и попутно расскажет вам, что сын его Коля уже на третьем курсе технологического института и обязательно приедет домой на рождественские каникулы».

В этих условиях самая обыкновенная прогулка по городу превращалась в бесконечный шопинг: «На “той стороне”, в торговых рядах, мы обыкновенно заглядывали в большой полутемный магазин Курковых, торговавший исключительно детскими игрушками. Не понимаю, как такой небольшой город, как Торжок, мог поглощать столько игрушек, ибо деревня в этом деле, очевидно, не участвовала. Но вот, наконец, и последняя торговая точка на нашем пути – “la baba” – расторопная и оборотистая новоторка, живущая в чистеньком деревянном домике у самого подножия вала и торгующая из большого сундука всякими ситцами, которые почему-то считаются разнообразнее и дешевле, чем в магазинах. Скотившись несколько раз с горы, мы возвращаемся обратно – по старому маршруту, но уже не заходя в магазины, и только на Ильинской площади стучимся в окошко бараночной, откуда нам подают через форточку две связки горячих пахучих баранок, нанизанных на не менее пахучую мочалку».

Главная площадь в городе Череповце носила гордое название Торговой. Поначалу она представляла из себя огромное пространство, заставленное лишь возками и палаточками предприимчивых купцов. Но в 1890 году здесь появилось первое «теплое» здание гостиницы, а вскоре площадь сделалась, по сути, перекрестком, ограниченным четырьмя зданиями, предназначенными для торговли. Лавки сделались магазинами – правда, торговали в них все тем же лавочным ассортиментом. На витринах бок о бок друг с другом лежали продукты, иконы, подсвечники, мыло, чернила. Что ж, жителям Череповца это и впрямь было удобно.

Прогресс ломился в здешние торговые ряды. Рекламы зазывали: «Последняя новость! Непозолоченные. Новоизобретенные карманные мужские или дамские часы из настоящего африканского золота. Пользуйтесь редким случаем! При заказе пяти штук часов сразу предлагается бесплатно один изящный музыкальный ящик с музыкой и зеркалом “Симфония”, играющий разные пьесы лучших композиторов!»

Жизнь площади была насыщенной и шумной, богатой на события и на интриги. Интриги были самого

разнообразного характера. Вот, например, довольно любопытный документ, направленный книготорговцем С. Масалиным сергиево-посадскому начальству: «Переходят с места на место или раскладывая свой товар на земле; или же нося на себе, куда идет богомолец, и он (разносчик) туда же, или встречает его на каждом месте, предлагает ему свой товар, навязывая каждому. Не довольствуясь сим, они ходят по номерам меблированных комнат, а также и по трактирам и блинным, как зимой, так и летом». Вместо того чтобы самому пуститься в странствие по «меблирашкам» (или же, по крайней мере, нанять парочку таких агентов), господин Масалин просил, чтобы ему снизили арендные тарифы – со ста рублей до двадцати пяти.

Главным торговым помещением любого уважающего себя города были, разумеется, торговые ряды или гостиный двор, что в принципе одно и то же. Даже в маленьком Суздале существовали такие ряды. Они были построены в начале XIX века (при этом шпиль над главными воротами увенчали не государственным орлом, а соколом – гербом Суздаля). Это было первое в городе большое ампирное здание, что вызвало брюзжание иных столичных снобов. К примеру, И. М. Долгорукий писал: «Гостиный двор с колоннадою... уже достроен, и в нем, через пять лавок пустых, в шестой торгуют вздором. Везде свое чванство. Суздальцы захотели вытянуть большой гостиный двор, застроили под ним целый квартал, и, ходя взад и вперед, на него любят».

Однако сами горожане были несколько иного мнения по поводу своей обновки. Постепенно торговцы заполнили все 180 «растворов» гостиного двора, и торговля велась там довольно активная. Очевидец вспоминал: «Торговые ряды, четыре продолговатых корпуса которых имели внутри открытый двор, сообщающийся с соседними площадями и улицами проездными воротами. В южной части ряды были двухэтажными. Торговые лавки размещались по трем фасадам, а весь западный корпус имел в себе лишь склады для товаров. В торговых рядах размещались лавки продовольственных товаров... лавки с красным товаром... лавки галан-

тереи... лавки кожевенных товаров... лавки аптекарских товаров... лавки мясные... и ряд мелких предприятий».

Во «Владимирских губернских ведомостях» время от времени встречались сообщения рекламного характера: «Сим доводится до всеобщего сведения, что по договору, совершенному у нотариуса в гор. Суздале М. Г. Робустова 19 сентября сего 1901 г. за №№ 3/345, нами учрежден и открыт с 20 сентября сего же года Торговый Дом в образе полного товарищества – под фирму «Братья Капитон и Федор Агаповы в городе Суздале», для торговли мануфактурными, меховыми и другими товарами. Главная торговля наша – в гор. Суздале, в гостинном дворе под № 33».

А писатель Александр Иванович Левитов вспоминал особенные «суздальские картинки», изображающие «мертвую голову» и иные незамысловатые сюжеты.

Самыми красивыми провинциальными торговыми рядами неофициально признавались калужские. Еще бы – ведь их, по легенде, возводил сам Василий Баженов. Увы, отношение к наследию, в том числе архитектурному, было не на высоте. Краевед Дмитрий Малинин писал столетие тому назад: «Главный фасад, выходящий на Никитскую улицу, давно изуродован, посредствующая и соединительная арки уничтожены, пробиты огромные окна. Недавно был замысел одного купца надстроить над лавкой второй этаж с громадными окнами-выставкой; только благодаря воздействию администрации, вдохновленной письмом председательницы Московского Археологического Общества, план торговца не получил осуществления. Зато часть корпуса... выходящая на плац-парадную площадь, уже рухнула и заменена деревянной пристройкой».

О том, что творится с рядами сегодня, вообще умолчим...

Калужские ряды не ограничивались функциями исключительно торговыми. Здесь, в частности, располагался главный в городе водоразборный фонтан. Расположение не шло на пользу горожанам. Проблема была следующая: «Извозчики поят своих лошадей прямо из бассейна, а не черпают ведрами или черпаками, как бы то следовало... Считать это средство непозволительным,

ибо из того же самого бассейна берут воду окрестные обыватели для употребления в пищу людям. Кроме того, при постоянных морозах деревянный сруб и мостовая вокруг бассейна покрыты уже слоем льда, что затрудняет возможность подходить или подъезжать с бочками обывателям наливать из бассейна воду и представляет безобразный вид, неопрятность одного бассейна. Весною таяние льда увеличивает количество воды на мостовой около одного, а вместе с ним и грязь».

Зато именно здесь, рядом с рядами, расположился первый в городе Калуге общественный туалет. Он появился в 1893 году и был обыкновенной деревянной будкой.

Ряды были своего рода центром общественной жизни русского провинциального города. События, случавшиеся здесь, обыкновенно пересказывались на все лады обывателями. А события случались самые разнообразные. Александра Смирнова-Россет, губернаторша той же Калуги, рассказывала, как сама явилась косвенной участницей одной из них: «В Калуге все знали Гоголя и очень им интересовались. Однажды ветер сорвал с него и бросил в лужу белую шляпу. Гоголь тотчас купил себе черную, а белую, запачканную грязью, оставил в лавке. Все “рядовичи” собрались к счастливому купцу, которому досталась эта драгоценность, и каждый примеривал шляпу на своей голове, удивляясь, что голова, дескать, у Гоголя и не очень велика, а сколько-то ума! Есть в Калуге книгопродавец Олимпиев, великий почитатель литературных знаменитостей. Он был знаком с Пушкиным, с Жуковским и хаживал к Гоголю. Узнав о том, что шляпа Гоголя находится в руках гостинодворцев, он убедил их поднести эту драгоценность А. О. Смирновой, что и было исполнено с подобающею церемониею. Но, разумеется, А. О., наслаждаясь присутствием у себя в доме самого Гоголя, отказалась принять его запачканную шляпу, и шляпа осталась во владении рядовичей».

М. Косаткин, житель города Владимира, писал: «В самих рядах между колоннами мы прятались от застигнутого нас дождя, а по тротуару, вдоль всех рядов, “по шелопаевке”, как она называлась, слонялись бездельники и гульливая молодежь. Здесь, в центре города, особенно

в праздники, чинно прогуливались именитые граждане. Здесь назначались свидания, происходили знакомства и ухаживания».

Один из жителей города Костромы описывал гулянья на Масленицу: «В эти дни было массовое гуляние по галерее Гостиного двора, именовавшееся “слонами” от слова слоняться. Здесь прохаживались или стояли под арками девицы на выданье, разодетые в бархатные шубы на меху, большей частью на лисьем, и держали в руках по несколько платков, показывая этим достаток семьи. Тут же прохаживались женихи, высматривая себе подходящих невест. В особенности многолюдны были эти слоны до 1914 года. В связи с войной и уменьшением количества женихов далее они из года в год сокращались».

То есть торговые ряды были чистейшей воды клубом.

Самыми же масштабными рядами были костромские. Некогда этот тихий, сокровенный город был одним из крупнейших российских коммерческих центров. Костромские ряды занимают огромную площадь и состоят из двадцати с лишним зданий – Хлебные, Мучные, Мелочные, Овощные, Пряничные, Масляные, Рыбные, Квасные, Дегтярные, Мясные и прочие ряды.

А. Чумаков писал об этом торжище: «Была торговля готовым платьем третьего сорта, главным образом из лодзинского материала. Принадлежала она Морковникову и именовалась неведомым для костромичей словом “Конфекция”. Магазин был оборудован следующим образом: окна завешены готовым платьем, так что в магазине царил полумрак, а при наступлении темноты зажигалась лампа с каким-то особым голубым стеклом; лампа была керосиновая, свету давала мало, и полумрак не давал возможности рассмотреть дефекты и окраску материала. Для оживления оборота против магазина на галерее прохаживался юркий еврейчик, у которого на руках была пара брюк. Увидя зазевавшегося крестьянина, он хватал его за руку и волок в магазин. Если клиент не отбивался, то как только он попадал в “Конфекцию”, на него набрасывались с разных сторон два или три приказчика, совавшие готовое платье прямо в

лицо. Торговались до седьмого пота, а в случае, если покупатель уходил, то за ним мчались на улицу и тащили за полы обратно в “Конфекцию”».

Подобных приемчиков было великое множество.

Какими бы объемными ни были ряды, помещений для торговли всегда не хватало. Вокруг лавочек теснилось множество «нестационарных» продавцов. Один из современников писал о Екатеринбурге: «Коробьев же, ящиков и саней выставляют столь много, что и в самые торговые дни не остается поселянам ни малейшего места. А потому вынуждены бывают одни останавливаться по улицам, а другие ехать в другие места.. Но и за сим оные скупщики производят продажу припасов в коробьях, ящиках и саях, через что не только приезжающим поселянам причиняют стеснение, но и безобразие площадям».

Некто В. Емельянов описывал город Орел начала XX века: «Центром торговли в Орле были, несомненно, Гостиные (Торговые) ряды, но сама торговля начиналась от Михайло-Архангельского переулка на Карачаевской улице, шла по Гостиной улице, переходила через Оку и заканчивалась в конце Ильинской площади. Торговой была и вся Болховская улица. Это в центре, а весь город был заполнен множеством небольших лавок. Но магазинами и лавками не ограничивалась торговля в городе. В Орле было много торжищ, которые у нас принято называть базарами, а в некоторых других городах – рынками.. Но и лавками не исчерпывались возможности торговли в Орле. У многих перекрестков прямо на земле располагались торговки семечками. Мешок с семечками и стакан – вот и все их нехитрое торговое снаряжение».

Торговые ряды – огромный комплекс. Визит туда – особое мероприятие, требующее времени, усилий, денег. Разумеется, не меньшей популярностью пользовались лавочки и магазины «шаговой доступности». Они располагались на центральных улицах, а также на окраинах, пусть и в количестве заметно меньшем. Часто торговля совмещалась с производством – колбасник сам вертел, коптил и продавал свои колбасы, булочник выпекал и продавал хлеб, ювелир выставлял украшения собственной выделки.

Небольшие типографии, ясное дело, торговали собственной полиграфической продукцией. Возьмем, к примеру, город Белгород. Одна из первых здешних типографий принадлежала некому Минесу Моисеевичу Гордону. Именно в его цехах печаталась газета «Курские епархиальные ведомости», именно он публиковал в других изданиях свою роскошную рекламу: «В моей типографии, находящейся в Белгороде, принимают всякого рода заказы, как-то: повестки для мировых учреждений, мировых съездов, формы и платежные книжки для волостных правлений, афиши, объявления, бланки, счета, конторские книги, этикетки, всякого рода экономические формы, бланки для отношения и пр. Заказы исполняются в возможно скорое время по самым умеренным ценам».

Книгоизданием Гордон не занимался. А зачем? Ведь бланки, формы и повестки ему давали неплохой доход.

В 1892 году дело Гордона купил Александр Александрович Вейнбаум. Поменял адрес и существенно расширился. Краевед А. Фирсов сообщал в очерке «Белгород и его святыни»: «Особенно хорош книжный, писчебумажный, игрушечный и музыкальный магазин А. А. Вейнбаума, помещающийся на главной улице под гостиницею, принадлежащей тому же хозяину. Последняя, носящая название “Номера для приезжающих”, имеет одиннадцать очень высоких, замечательно чистых, прилично меблированных, с отличными кроватями, номеров, с ценою от 50 коп. до 2 руб. в сутки; имеется здесь и прекрасная ванна, и телефон. В гостинице можно получать от 1 ½ до 3 ½ ч. дня обед из двух блюд за 60 коп., а из трех – за 75 коп. Есть в городе несколько и других “номеров для приезжающих”, но они хуже описанных».

В типографии все также выпускались всяческие бланки, школьные карточки и объявления. Но к ним присоединились и брошюры познавательного плана: «Заметки о преподавании естествоведения в младших классах городских училищ», «Смоленский собор гор. Белгорода», «Церковное прославление святителя и чудотворца Иоасафа, епископа Белгородского по воспоминаниям очевидцев и современников». Он, кроме того, издавал небольшую газету под названием «Белгородский листок».

Но далеко не все купцы-полиграфисты делали ставку на собственное производство. В частности, в Нижнем Новгороде действовал так называемый «Книжный музей». Собственно говоря, это был не музей, а книжный магазин с разнообразнейшим диапазоном деятельности: «Магазин своевременно получает вновь вышедшие лучшие издания по всем отраслям знаний; берет на себя заботу о пополнении библиотек публичных, семейных, школьных, народных и библиотек частных обществ и учреждений; составляет сметы и каталоги для всякого рода библиотек; выбирает книги для наград учащимся; выбирает лучшие книги для продажи; принимает подписку на все газеты и журналы (русские и иностранные)... высылает по желанию покупателей книги, учебники, канцелярские принадлежности и проч. налоговым платежом».

В конце XIX столетия книжные магазины были для провинции все еще экзотикой. Почти такой же, как лавки «колониальных товаров», которые, впрочем, появлялись все в большем количестве – в обиходе провинциалов прочно обосновались уже не только чай, но и кофе, какао и прочие экзотические продукты. В Таганроге славился магазин Сычевых. С одной стороны от их двери значилось: «Сигары, папиросы, гильзы, бумага», а с другой – «Чай, сахар, кофе, какао, хлеб». В газетах же время от времени встречались объявления: «От магазина М. Сычева. Имею честь довести до сведения покупателей, что на днях получена большая партия мануфактурных товаров, как-то: шелковые, шерстяные материи, бурнусы, кофты, ситцы, ланкорт и прочие полотна».

В Туле волею судеб возникло одно из колоритнейших торговых предприятий – так называемый «кавказский магазин». Держал его торговец О. Р. Хачатуров, и туляки могли здесь прикупить кавказский пояс, серебряный рог для вина, бурку и другие столь же необходимые в хозяйстве вещи. В том же богоспасаемом городе располагалась молочная торговля Александра Павловича Девятого. Реклама возглашала: «Настоящую свежую сметану можно купить только у Девятого». Доверчивые туляки выстраивались в очередь.

Попадались и своего рода «мини-маркеты». Все в той

же Туле действовал мясной и бакалейный магазин купца А. Волкова. Один из современников писал о нем: «Я отправился в бакалейную лавку А. А. Волкова, у которого мама покупала все для дома. На дверях подобных лавок всегда висели так называемые подвески в форме овалов, в отличие от вывески, которая была наверху, над дверью. На одном овале с неизбежным постоянством значилось: “Мыло, свечи, керосин”. На другом: “Чай, сахар, кофе”. Это было написано, торговала же лавка положительно всем, начиная от шоколадных окаменевших конфет (тогда называвшихся “конфектами”) до конской сбруи».

Не отставали и «Братья Ливенцевы». У «братьев» можно было за один визит купить и ветчины, и чая, и крупы, и сахара, и сигарет, и рейнских вин, и елочных игрушек.

А вот ассортимент калужского универсального магазина Г. Софронова: «Шляпы, шапки, фуражки, дамские шляпы, шапки, муфты, горжетки.

Обувь кожаная, черная и цветная, модных фасонов.

Обувь брезентовая, скороходы, сандалии.

Непромокаемая одежда, брезентовая, резиновая, виксатиновая, дамские и детские цветной материи непромокаемые накидки.

Каракулевы и меховые шкурки и воротники.

Перчатки мужские, дамские и детские, летние фельдекосовые, лайковые, замшевые, зимние вязаные, лайковые, замшевые на байке и на меху.

Рукавички, перчатки кучерские, кушаки, шарфы.

Сорочки, галстухи, кашне, запонки, помочи, пояса, гребенки, бумажбелье.

Одеяла, башлыки, платки, чулки, носки, фуфайки.

Дамские модные пояса, ридикюли, сумочки, шарфы и проч.

Портмоне, портпапиросы, бумажники, кошельки, несессеры.

Чемоданы, саквояжи, картоны, портпледы, портфели, багажные ремни.

Ученические ранцы, сумки, пояса с бляхами, ремни для книг.

Щетки для платья, обуви, апретуры, кремы и проч. для обуви.

Ножи перочинные, бритвы, ножи и вилки столовые и фруктовые заграничные, ножницы».

Отдельным разделом шел список «Изящных вещей для подарков» – потрясающий и уникальнейший документ, полностью раскрывающий тему: что именно принято было дарить в дореволюционной Калуге: «Резиновые изделия хирургические, мячи и игрушки фабр. “Треугольник”».

Для велосипедистов самые лучшие по прочности фабр. “Треугольник”: камеры, покрышки, холет, пластина и проч.

Грамофоны заграничн. фабр. и фабр. Циммерман, пластинки луч. фабр. “Зонофон”, “Фаворит”, “Омокорд”, “Бека Рекорд”, “Лирофон”, “Сирена”, “Пишущий Амур”, фонотипии и другие, записи лучших артистов мира от 50 коп., постоянный выбор: более 50 грамофонов и более 3000 пластинок.

Патефоны и пластинки Пате к ним.

Фотографические товары: новейш. аппараты, камеры, объективы, лампы, ванны, рамки и проч.

Всегда свежие заграничные пластинки, бумаги, пленки, бланки, альбомы, паспарту, проявители и проч. принадл.

Барометры, термометры, гидрометры, лупы, бинокли, подзорные трубы, микроскопы и стереоскопы и проч.

Для художников – краски фабр. Гюнгера Вагнера: масляные, акварельные, альбуминовые, спиртовые, эмалевые, пастельные, кисти, палитры и проч.

Письменные принадлежности: роскошные чернилицы-приборы, ручки, карандаши, роскошные бумаги в коробке, перья, чернила, бумага, конверты, записные книжки, роск. календари, прес-бювары, альбомы для стихов и проч.

Роскошные альбомы для карточек, видов, открыток, открытые письма, более 20 000 на выбор.

Туалетные зеркала, духи, мыло, одеколон фабрики “Брокар” и заграничн.».

Подбор товаров, предлагаемых одним и тем же магазином, был подчас довольно неожиданным. В частности, тамбовский магазин некоего Рорбаха предлагал

виолончели, фисгармонии, скрипки, гитары, трубы, мандолины, цитры, гармонии, балалайки, пианино, бритвы, ножи, ножницы, машинки для бритья, тяпки, грабли, паровики для уборки урожая, замки, маслобойки, мясорубки, приборы для изготовления мороженого и механические стиральные машины. Но такие магазины все же были редкостью. В основном торговля строго форматировалась: здесь вина, а здесь ветчина.

В Нижнем Новгороде популярен был деликатесный магазин П. Ф. Галяшкина. Он предлагал нижегородцам «постоянно свежий гастрономический и колбасный товар: паштеты страсбургские, сальянская салфеточная икра, парижское сливочное масло, шотландские и королевские сельди».

В Воронеже славилось «садовое заведение» Карлсона. Рижанин Иван Густавович Карлсон торговал здесь рассадой цветов и деревьев. Ассортимент был широк, и о нем извещали бесплатные «большие, обстоятельно составленные и изящно иллюстрированные в тексте множеством рисунков, каталоги плодовых и декоративных деревьев и кустарников, роз, растений грунтовых, тепличных, оранжерейных и комнатных, и голландских цветочных луковиц, и т. д. и т. п.».

Иван Густавович был настоящим профессионалом. Когда скончался его сын Евгений, Карлсон-старший даже это обстоятельство оборотил к успеху своего коммерческого дела. «Изящно иллюстрированный каталог» пополнился новейшей аннотацией: «Роза гвоздиковидная “Воспоминания о Е. Карлсоне” составляет совершенно новый класс и большое обогащение ассортимента ремонтантных роз, среди которых еще никогда не существовало подобной по форме розы. Цветы этой великолепной новости совершенно гвоздикообразные бахромчатые, напоминающие самую крупную ремонтантную темно-бархатно-пеструю гвоздику; прекрасно темно-бархатно-пурпуровые, испещренные чисто белыми полосками и крапинками с карминно-красным оттенком; кончики лепестков зазубренные, чисто белого цвета, густо махровые, и сильно душистые с очень приятным тонким запахом».

Чувствительные жители Воронежа, конечно, покупа-

лись на такой рекламный ход. Прибыли карлсоновского заведения росли.

А в Суздале пользовался известной популярностью предприниматель Василий Степанович Блинников, содержащий контору утильсырья. Ему сдавали старые калоши, драные журналы, гнущее железо, битое стекло и всевозможные бутылки с банками. Расплачивался он чаще не деньгами, а незначительными натуральными товарами, пригодными в хозяйстве – нитками, например, или же мылом. Утильсырье там же, на блинниковском дворике, сортировалось, упаковывалось и направлялось по переработчикам.

Большим испытанием для кошелька была главная улица богатого Ростова-на-Дону – Большая Садовая. Достаточно взглянуть на дореволюционную рекламу, опубликованную в книге «Прошлое Ростова», выпущенной в 1897 году. Чаще всего в рекламном блоке упоминается адрес: «Большая Садовая улица». Что же на ней можно было купить?

Вот, например, первое объявление: «Магазин новостей Торгового Дома Е. Дьячков и В. Пономарев в Ростове-на-Дону». Новости были такие: «Большой выбор заграничных и русских мануфактурных, шелковых, шерстяных, полотняных и бумажных товаров; столового и дамского белья, мебельной материи, гардинной тюли, готовых дамских пальто и мехового товара». То есть Дьячков с Пономаревым содержали обычный модный магазин, и слово «новости» обозначало как раз остромодность, современность предлагаемой «гардинной тюли» и т. д.

Вообще модные магазины составляли, так сказать, квинтэссенцию торговли на Большой Садовой. «За элегантным и хорошим мужским платьем предлагаем обращаться в магазин Макса Фрид... Огромный выбор мужского платья новейшего покроя на всякий рост, а также заграничных и лучших русских материй для заказов». Такие объявления были не редкостью в то время.

Вместе с «бутиками» первенство на Большой Садовой разделяли магазины продовольственные. «Товары: бакалейные, гастрономические, винные и водочные, а также производства паровых: крупчат. мельницы, ма-

карон. фабрики и пиво-медоваренного и лимонадного заводов». «Специальный Гастрономический и Винный магазин П. А. Леонова... Снабжен: всевозможными лучшими закусками, винами иностранными и русскими. Всегда имеются: Московская колбаса и Литовская ветчина. Разные сыры. Цены умеренные».

В те времена, как и сегодня, рекламодатели предпочитали цен не афишировать, просто указывая на их «умеренность». Приедет покупатель – разберется сам.

Не обделялись вниманием и предметы досуга («Оптовая и розничная продажа струнных, духовых и проч. инструмент., всех музыкальн. принадлежн. и материалов»), и отделочные материалы («Специальная торговля обоями русских и французских фабрик И. Д. Озерова»), и бытовая химия («Торговля аптекарскими, парфюмерными и москательными товарами»).

Оказывались самые разнообразные услуги: «Мастерская иконостасных, позолотных и скульптурных работ и золочение мебели... производ. всев. фантаст. рам для зеркал, картин и портретов» или «Фотография “Макарт” П. А. Хлебникова. Портреты на всевозможных бумагах и различной величины акварелью, масляными красками и тушью».

Нельзя сказать, что магазины на Большой Садовой улице предназначались только лишь для сладкой жизни разбогатевших горожан. Вот, например, такое объявление: «Настоящие швейные машины Зингер. Специально для домашнего употребления. с простою и изящной отделкой для всякого рода портняжных и белошвейных, а также сапожных, шорных и седельных работ; для фабрикации корсетов, зонтов, перчаток, трикотажей, мешков, брезентов, палаток, приводных ремней и проч.».

Вряд ли фабрикацией корсетов и палаток занимались светские львицы из высшего общества.

Не отставал от Ростова и поволжский Саратов. Вот, например, реклама тамошнего булочного магазина: «Всегда громадный выбор ежедневно свежих конфет, шоколада, пастилы, мармелада, тянучки, паты, помадки, тортов, карамели, пирожных, монпансье, печенья. Сухари всевозможных сортов. Принимаются заказы на мороженое, крем, пломбир, джем, кулебяки».

В саратовском же магазине господина Иванова, размещавшемся в отеле под названием «Европа», торговали более серьезными деликатесами: «Снабжен всевозможными гастрономическими закусками, как-то: страсбургские паштеты, икра свежая и паюсная, сардины, анчоусы, омары, балыки осетровые и белужьи, соусы английские, горчицы французские. Большой выбор сыров и колбас. Кондитерские и бакалейные товары... Гаванские сигары».

Кстати, этот магазин один из первых в нашем государстве ввел практику доставки завтраков, обедов и ужинов по телефонному заказу.

В торговле выделялась Астрахань – город многонациональный, южный, суетливый. Александр Дюма, к примеру, насчитал здесь более десяти персидских лавочек. Правда, особой ценностью их ассортимент не отличался: «Единственная стоящая внимания вещь, которую я нашел, был великолепный хорасанский кинжал с лезвием из дамасской стали и рукояткой из зеленой слоновой кости. Я заплатил за него двадцать четыре рубля. До того он три года провисел на стене у перса, который мне его продал, и ни одному знатоку оружия не пришло в голову снять его с гвоздя».

Не обходилось, разумеется, без доброй шутки. Возьмем, к примеру, город Рыбинск, магазин Никитина, торговца статуэтками, часами, лампами и канцелярскими товарами, а также видного рыбинского шутника. Случалось, что к нему зайдет приезжий и спросит, например:

– Галоши у вас есть?

– Есть, – спокойненько ответит господин Никитин.

– Можно посмотреть?

– Пожалуйста.

После чего кричит приказчику:

– Евгений Яковлевич, подай галоши!

Евгений Яковлевич, сам всегда готовый поддержать шутку хозяина, приносит его обувь.

Покупатель гневается:

– Да мне новые надо.

– Ах, новые, – как будто удивляется Никитин. – Так это же рядом. Соседняя дверь.

Впрочем, «шутки» иногда были не слишком добры-

ми. К примеру, газета «Архангельск» писала в 1910 году: «В Загороднем квартале, на Быку, в меленькой лавке “У Ильича” отпускают товар только тем, кто всегда покупает у него. Но если же кто купит что-либо в другой лавке и опять придет за покупкой к Ильичу, то горе тому. Например, был такой случай: из пекарни Пир прислали девочку в лавку. Она сначала сходила в лавку не к Ильичу, а потом, в тот же день, девочке пришлось что-то купить – теперь уже девочка побежала к Ильичу. Но там жена Ильича надрала ей уши и столкнула с лестницы за то, что она иногда ходит за покупкой в другую лавку. Такие случаи, говорят, повторяются часто».

Но подобное, конечно, было исключением. Торговали в основном добропорядочно, за качеством товара тщательно следили – конкуренция. Вот, к примеру, как один чаеоторговец в Ярославле проверял свой чай: «Тщательно выполоскал хозяин рот, вычистил зубы и в халате, натошак (ни есть, ни пить, а тем более курить было нельзя) принялся за пробы. Из каждого свертка, лежащего против кружки, он клал маленькую серебряную ложку сухого чая в кружку и заваривал его тут же из кипящего на спиртовке кофейника. Кружку закрывал тотчас же крышкой. Заварив все кружки, он начал по очереди наливать по небольшому количеству заваренного чая в стаканы. Кипятку в кружки наливалось очень немного, получалась густая черно-красная масса чая, как деготь. Сначала хозяин лизнет одну каплю с ложки этого “дегтя”, затем разбавит его в стакане и пробует глотком. Иной стакан весь выльет в полоскательницу. Снова его нальет, убавив или прибавив кипятку. И все что-то записывал. По лицу его было видно, что от такой работы он очень страдал и беспрестанно плевал...

Собрал хозяин все свертки, завернул их в бумагу, что-то написал на них и, уходя в лавку, унес с собой. По окончании пробы хозяин долго полоскал рот (в кухне, чтобы не разбудить в спальне хозяйку) и холодной, и теплой водой, прибавляя к ней чего-то из принесенных им пузырьков. Затем пошел в столовую и, прежде чем начать завтракать, выпил стакан густых сливок. Это была профилактика, вообще же он после чайных проб пил и ел очень мало».

В наши дни подобное даже представить себе невозможно.

Ближе к концу позапрошлого столетия, по мере продвижения прогресса, в провинции появлялось все больше фотоателье. В Симбирске, например, славились два подобных заведения – вдовы Герасимовой и Семена Фельзера. Они располагались по соседству. Реклама вдовы извещала: «Новая фотография М. М. Герасимовой и К^о на углу Большой Саратовской и Верхне-Чебоксарской улиц в доме г-на Теняева принимает заказы на визитные карточки (за дюжину – 5 руб. серебром), портреты разных величин (с одного лица от 2 до 15 руб.), портреты группами, миниатюрные портреты для медальонов, снимки видов и копии с картин – как гравированных и рисованных, так и фотографических. Фотография снабжена машинами известных оптиков и материалами из лучших лабораторий, а потому за доброкачественность и сходство портретов ручается. Работа производится от 9 часов утра до 4 часов пополудни в светлой и теплой галерее, а потому пасмурная и ненастная погода нисколько не мешает. Образцы работ можно видеть ежедневно».

Реклама конкурента была еще красноречивее: «Сим имею честь известить, что в фотографическом моем заведении производится: съемка групп, визитных и кабинетных карточек, разных видов и копий с карточек с лучшею, изящною отделкой по умеренным ценам. Посему смею надеяться, что почтеннейшая публика не оставит своим посещением мое фотографическое заведение, где требования господ посетителей вполне будут удовлетворены, соответствуя, без малейшего отступления, желаниям каждого. Причем надеюсь также, что рекомендуемая мною работа заслужит общее внимание. Работа производится ежедневно, не исключая и пасмурного времени, от 10 часов утра до 5 часов вечера».

А хозяин «Эдинбургской фотографии Андрея Осиповича Карелина» на главной улице Нижнего Новгорода так и вовсе был изобретателем. Один из современников писал о нем: «Г. Карелин сделал в 1875 году изобретение, заключающееся в том, что лица, составляющие группы, располагаются не в линию, как это

делают все фотографии, и как до сих пор делать иначе считалось невозможным, но так, как это бывает в натуре, т. е. на разных планах... причем все фигуры одинаково выдерживаются в фокусе, и не только они, но и фон, и окружающие предметы не теряются в черноте, а также сохраняют должный свет и вырисовываются самым отчетливейшим образом». Кстати, слово «Эдинбургская» в названии карелинского предприятия конечно же использовалось в качестве рекламы, однако имело под собой основание: в 1876 году Карелин получил на выставке в городе Эдинбурге две золотые медали за свои фотопроизведения.

Многие фотографии не ограничивались частными заказами, а брались с удовольствием за более масштабные проекты. Например, владимирский фотограф господин Иодко. У него был павильон на главной улице – Большой Московской. Тем не менее газеты сообщали: «Губернской земской управой сделан заказ фотографу В. В. Иодко на 7 тысяч экземпляров открыток с видами Владимира и его окрестностей. Карточки будут разосланы в начальные земские школы по 10 и более экземпляров».

Действительно – кому же этим делом заниматься, как не популярному фотографу?

* * *

Магазин – более-менее цивилизованная форма взаимоотношений покупателя и продавца. Другое дело – рынок, торжище, существовавшее в таком формате с самых что ни на есть допотопных времен.

О маленьком Суздале современник писал: «Особенно оживлялся город в базарные дни, зимой – по субботам, а летом по воскресеньям, когда съезжались окрестные крестьяне и вели торг своими товарами под открытым небом в определенных местах: на Конной – лес: тес, лафет, палуба, жерди, половые доски, бревна, столбы, дрова; по южному фасаду площади – деревянные изделия: кадки, ушаты, коромысла, лопаты, грабли; а по южной ограде Ризоположенского монастыря торговали древесным углем, который привозили из соседнего уезда,

преимущественно из села Филяндина, за Сергеихой. На Хлебной площади устанавливались подводы с зерном: рожью, пшеницей, ячменем, гречневой крупой, овсом, льносеменем, маслом. Там же находились и общественные весы, так называемая “таможня”. На другой половине площади, у Торговых рядов, продавались предметы транспортного оборудования: станки, оси, колеса, оглобли, большие корзины для саней-розвальней, а в южной части этой площади, за Воскресенской церковью, летом и осенью торговали продукцией суздальских садов: ягоды, яблоки, груши».

В больших городах все было по-другому. Рынок – больше по размерам, с незатейливыми развлечениями, да и действовал он каждый день, а не по выходным. Константин Федин, например, описывал «верхний базар» в Саратове: «Толпа кишела шулерами, юлашниками, играющими в три карты и в наперсток. Дрались пьяные, ловили и били насмерть воров, полицейские во всех концах трещали свистками. Кругом ели, лопали, жрали. Торговки протирали сальцем в ладонях колбасы – для блеска, жарили в подсолнечном масле оладьи и выкладывали из них целые каланчи, башни и горы. Хитрые мужики-раешники показывали панорамы, сажая зрителей под черную занавеску, где было душно и пахло керосиновыми лампами. Деревенский наезжий люд бестолковыми табунками топтался по торговым рядам, крепко держась за кисеты с деньгами. До одури бились за цену татары, клялись и божились старухи, гундели Лазаря слепцы да Божьи старички, обвешанные снизками луковиц, тоненько зазывали: “Эй, бабы! Луку, луку, луку!...”».

Илья Бражнин описывал архангельское торжище: «Примечательнейшим местом старого Архангельска был базар, раскинувшийся на площади возле Буяновой, позже Поморской улицы. Архангельский базар был своеобразен и имел сугубо местный колорит. Продукты на него привозили из окрестных деревень по преимуществу крестьянки. Они приезжали из-за реки на восьмивесельных карбасах, нагруженных так, что сидели почти до уключин в воде. Гребли только жонки, гребли по-особому – часто, споро и дружно. Они не боялись ни

бури, ни грозы, ни дождя, ни дали. Молоко, простоквашу и сметану, вообще молочные продукты, они привозили в огромных двоеручных, плетенных из дранки корзинах. Восемь жонок, которые только что бойко гребли в карбасе, да девятая, сидевшая на руле, выволакивали из него корзины, и все в ряд, неся восемь двоеручных корзин, шествовали от пристани к базару.

Молоко продавалось в деревянных полагушках – бочечках-бадейках с тремя-четырьмя обручами и полулунной прорезью на верхнем донце. Эта полулунная прорезь затыкалась такой же полулунной деревянной крышечкой, обернутой снизу чистойшей полотняной ветошкой. Хозяйки придирчиво выбирали молоко, приходя на базар со своими деревянными ложками.

Жонки, как сказано, приезжали на базар каждый день, но мужики появлялись на базаре не так часто и только с рыбой, выставляя улов тут же перед собой поверх брошенной на землю рогожки. Архангельские крестьяне в свободное от полевых работ время почти поголовно промышляли либо неподалеку от своих деревень, либо уходя к Двинскому устью, розовотелую семужку, узконосую стерлядку, плоскую черно-белую камбалу, щуку и другую рыбу. Деревни, как правило, ставили при реках, и у каждого хозяина были мережи, морды и прочая снасть.

На базаре продавали рыбу не только сами ловцы, но также и перекупщики. Кроме того, по окраинам базарной площади стояли просторные в два створа лавки местных рыбных тузов. Продавали в них очень хорошо разделанную, распластанную и просоленную треску, а также семгу и огромные – килограммов до двухсот – туши истекающего жиром палтуса.

Торговали и мясом, только что стреляной дичинкой и разными галантерейными мелочишками. Торговали с лотков серебряными изделиями: всякими перстеньками с цветными камешками-стекляшками (супирчиками), висячими серьгами-колачами, кольцами с цинковой прокладкой внутри “от зубной боли” и серебряными, тисненными из тонкого листа коровками, которые жонки покупали, когда заболела корова, чтобы повесить эти жертвенные коровки перед образом святого Фрола – покровителя стад».

Кстати, в губернских городах существовали рынки, которые в маленьких и сокровенных уездных столицах были просто немыслимы. Это специальные рынки для бедноты. В частности, в Нижнем Новгороде такой торг располагался в нищенском районе, на дне так называемого Почаинского оврага. Краевед Дмитрий Николаевич Смирнов описывал его в таких словах: «Узенькое пространство оврага кишит говорливой толпой. На земле кусочками лежит одежда преимущественно вышедших из моды фасонов: мужские люстриновые пиджаки, сюртуки, фраки, бекешы, казакины, суконные, фризковые и камлотовые шинели... Женские драповые тальмы, ватерпуфы, ротонды, меховые капоры, башлыки... Местами – груды обуви, при надобности можно было найти обувь и в полтинник – это пресловутые чуньки или опорки, украшавшие ноги обитателей нижегородских трущоб».

Что поделать – голытьба стремилась в город покрупнее, понажористее, в уездных городках делать ей было абсолютно нечего.

* * *

Еще один формат – сезонный, а именно ярмарки. Самой знаменитой, разумеется, была Нижегородская, или Макарьевская, поскольку поначалу она находилась рядом с Макарьевским монастырем. Впервые ярмарка упомянута в грамоте государя Михаила Федоровича в 1641 году, а в августе 1816 года ее постигло весьма популярное в старой России бедствие, а именно пожар. К тому времени власти уже устали от жалоб послушников находившейся поблизости обители. Жалобы были, в общем, обоснованы – они не для того оставили мирскую жизнь, чтоб наблюдать под стенами монастыря обилие шумных, подчас подвыпивших купцов. Правда, в былые времена монахи получали с привозных товаров свою пошлину – «на свечи, и ладан, и церковное строение, и братии на пропитание». Однако «светский» государь Петр Великий эти сборы упразднил, и выгод для монастыря от ярмарки не стало. И в октябре того же 1816 года, пользуясь случаем, государь Александр издал «Высо-

чайшее утверждение» о переводе ярмарки в губернскую столицу, в Нижний Новгород. Место ей нашли на стрелке Волги и Оки. Увы, каждый год по весне, в половодье ярмарочный городок неизбежно затапливало. Видимо, об этом просто не подумали. И каждый раз, когда вода спадала, приходилось приводить весь комплекс в надлежащий вид.

А комплекс был сооружен на славу. Строительством руководил инженер-испанец Августин Августинович Бетанкур (тот самый, который построил московский Манеж). По личному его проекту был сооружен так называемый Главный ярмарочный дом. Правда, спустя полстолетия он начал заметно разрушаться (ежегодные паводки явно на пользу не шли). Пришлось отстроить новый – по проекту архитекторов Треймана, фон Гогена и Трамбицкого. А надзирал за строительством господин Иванов, главный ярмарочный архитектор (именно так и называлась его должность).

К счастью, этот дом дошел до наших дней (сейчас в его стенах размещен магазин «Детский мир»). Сохранился и так называемый «Староярмарочный собор» – Спасский храм (поначалу он был посвящен «покровителю» ярмарки святому Макарию), построенный в 1922 году под руководством самого О. Монферрана, автора петербургского Исаакия.

Правда, и здесь не обошлось без неприятностей. Уже в середине XIX века появлялись вот такие заключения: «Трещина в приделе преподобного Макария в передней стене и в арке запресованного окна, сквозная, восходящая от пола до купола». Или: «В середине арки на левой стороне алтаря идет трещина во всю длину арки, восходит в купол, отчего иконостас вышел до полувершка из своих мест в стене с обеих сторон». Причиной тому были малограмотные профилактические меры против паводка. Дьякон собора А. Снежницкий об этом писал: «Собор стоит на насыпи, на песчаном холме... в предотвращении здания от окских и волжских весенних вод. К несчастью, предохранение насыпью от весенних разливов не удалось. Насыпь низка... В Спасский собор можно было въехать на лодке».

Кроме того, подмывался и разрушался церковный

фундамент. Но, к счастью, эту достопримечательность Нижнего Новгорода все же удалось спасти.

Владимир Соллогуб описывал главную ярмарку страны в повести «Тарантас»: «Нижегородская ярмарка – всему миру известная ярмарка; на этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом, тут решается благоденствие народов; тут ключ наших русских сокровищ. Тут пестреют все племена, раздаются все наречия, и тысячи лавок завалены товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, балаганах и временных гостиницах. Тут все население толпится около одного кумира – кумира торговли. Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся самовары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами, повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар, какой бы он ни был: и бриллианты, и сало, и книги, и деготь, и все, чем только ни торгует человек. Ока с Волгой тянутся одна к другой, как два огромные войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут суда со всех концов России с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, ожидающие только размена, чтобы снова идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург».

Не один Соллогуб восхищался фантастическим зрелищем ярмарки. Писатель Павел Мельников-Печерский отзывался о Нижегородской ярмарке в таких словах: «За окой, в тумане пыли чуть видны здания ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъемная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный».

Даже, казалось бы, официальное и беспристрастное описание ярмарки выглядит по меньшей мере как гимн: «Балаганы расположены регулярнейшим образом, а именно: вдоль Оки по левую сторону от моста – Сибирская железная линия, далее – между рекой и длинным озером – ряды: лоскутный, кафтанный, ягодный, икон-

ный, хлебный, пироженный, мясной, наконец, бойня. По правую руку, вдоль берега, ряды: хрустальный, фаянсовый и канатный; за ними параллельно озеру: стеклянный, холщовый, мыльный, вареньешной, меховой, шляпный и рукавишной. Донской, Уральский кожевенный, Ярославский железный, Нижегородский железный, табачный, корзинный, горячей воды, сапожный, светильный, циновочный, окошечный и, наконец, харчевни. Перейдя широкий мост через указанное озеро (на нем сверх того еще устроено четыре моста), по правой руке расположены меняльные и мелочные лавки, линии: фарфоровая, зеркальная, мебельная».

Более подробно об устройстве ярмарки рассказывал в своих воспоминаниях предприниматель Варенцов: «Вся ярмарочная площадь была разбита на правильные прямоугольные участки, на которых были построены двухэтажные каменные корпуса с лавками в первом этаже, а второй этаж предназначался для жилья. На образовавшиеся внутри этих построек площади складывались товары, покрываемые рогожами, лубками, а впоследствии брезентами; среди этой площади находилась общая уборная.

По фасаду вокруг этих зданий шли галереи в ширину тротуара, на чугунных столбах, нужно думать, с целью, чтобы покупатели могли смотреть на выставленные тротуары во время дождя; кое-где попадались трехэтажные дома, где в двух верхних были гостиницы и рестораны. Образовавшиеся проезды между корпусами были замощены булыжником, а тротуары бетонированы.

На ярмарке был водопровод и у каждого здания по несколько пожарных кранов. Вокруг всей ярмарки шел каменный тоннель, куда спускались по каменным винтовым лестницам, устроенным через известные промежутки, в тоннелях находились уборные для публики, и здесь разрешалось курить. Курить же на улицах и площадях ярмарки строго воспрещалось, и делающие это наказывались притом и штрафом. Неоднократно мне приходилось видеть, как какой-нибудь шутник вынимает папиросу и берет в рот, делая вид, что как будто не замечает полицейского, стремительно бросающегося, чтобы задержать его, но прохожий идет спокойно и

не зажигает; полицейский, догадываясь, что все это им проделано нарочно, сердито отходит прочь, чем вызывает у зевак хохот».

Словом, практически все воспоминания о ярмарке носили характер приподнятый и мажорный. Разве что за исключением совсем неисправимых скептиков – таких, к примеру, как писатель Максим Горький. В его повести «В людях» имеется уникальнейшее описание ярмарки. Правда, оно относится не к самому периоду торговли, а к предшествующему тому разливу волжских и окских вод: «Я еду с хозяином на лодке по улицам ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей... Так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки... Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепы и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно. Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красные борта отражены водою жирно и мясисто... Хозяин объясняет мне:

– Это – ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит – нет ли где воров? А нет воров – сам ворует... Вот смотри: Китайские ряды...

Я давно знаю ярмарку насквозь: знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим...»

Впрочем, сам «хозяин» разделяет настроение писателя. И даже более чем разделяет.

«Ерунда, – говорит хозяин, – указывая на ряды. – Кабы мне дали строить это...»

Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.. Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше, – китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.

– Не попал, – без сожаления сознается стрелок, и снова вкладывает в ружье патрон».

Но будущего писателя не проведешь. Классовое его сознание всегда на страже. Не станет он считать «хозяина» единомышленником – хотя бы только потому, что тот – хозяин, то есть угнетатель.

«А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И Китайские ряды выдумал бы...»

Был еще один скептик, и тоже – из литературного цеха, поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он «воспевал» ярмарку в таких стихах:

Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик – спелых дочерей,
А дочки – прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.

А вот нижегородский губернатор господин Баранов определял значение этого торжища иначе: «Ярмарка Нижегородская есть торговый центр первой важности, имеющий свойство не тех бирж, на которых идет лишь задорная игра дутыми бумажными сделками, игра, усиливающая лишь судорожные корчи нашего курса, а биржи деловой, орудующей живым делом русской торговли и промышленности».

Первый из процитированных авторов был легкомысленным заезжим стихотворцем, разумеется, далеким от экономических вопросов. Второй – лицом, напротив, кровно заинтересованным, этаким куликом, свое болото восхваляющим. Истина, пожалуй что, была посередине. Но Баранов, видимо, был к ней ближе.

Ярмарка была, пожалуй, главным событием в жизни множества российских магазинов, магазинчиков, лавочек, крупных торговых домов и оптовых компаний. На нее возлагались большие надежды, заранее к ней готовились. Это был весьма приятный ежегодный

ритуал, который содержал внутри себя немало мелких ритуальчиков. Вот, например, как описывал это Сергей Васильевич Дмитриев, служивший в юности у одного ярославского чаеоторговца: «Приехав в Нижегородскую ярмарку без хозяев (они приезжали позднее), мы всем коллективом отпраплялись в старый, а оттуда в новый соборы, где служили молебн, ставя свечи и платя духовенству за счет хозяев. Хозяева по приезде на ярмарку делали то же самое, только уж одни, то есть пели молебны. По окончании ярмарки, когда товар был уже вывезен на баржи и в лавках все убрано, шли опять в соборы и пели благодарственные молебны уже все вместе: и хозяева, и служащие. В лавке оставались только рабочие татары. Придя с молебнов, садились все за один стол с хозяевами обедать, выпивать и поздравляться с благополучным окончанием ярмарки. Лебедев, Агафонов, Чистов, Шебунин напивались до безобразия. Их усаживали на извозчиков по двое и в сопровождении татарина-рабочего отпрапляли прямо на пароход в заранее купленные каюты, где они храпели до утра следующего дня».

Естественно, что ярмарочные масштабы оправдывали столь серьезные и обстоятельные ритуалы. Сделки, совершаемые здесь, иной раз исчислялись миллионами. Помимо этого, на ярмарке реализовывались стратегические замыслы – например, налаживались длительные отношения с восточными купцами. Благодаря этим отношениям разнообразие товаров было потрясающим. Тут продавались орехи, тигровые чучела, подушки, ковры, всяческая одежда, посуда и прочая утварь – и все по дешевке, по оптовым ценам.

Конечно, процветала тут и торговля розничная, при этом товары также привлекали редким сочетанием высшего качества и дешевизны. Упомянутый уже С. Дмитриев из Ярославля хвастался в своих воспоминаниях: «С каждой Нижегородской ярмарки я привозил годовые запасы мыла, рису, изюму, орехов, меду и т. п. А в этот год, к удовольствию матери, я привез еще из монастырей всевозможных икон, иконок и просфор. Просфоры делались черствыми и долго не портились».

Работали на ярмарке совсем уж мелкие, но при этом

особенно колоритные предприниматели. Разносчики раков кричали:

– Раки-рачицы из проточной водицы! Раки, раки, раки! Кру-у-пные раки! Варе-е-ные раки! Рачиц с икрой наберем! Раки, кому раки, кому рыба надоелась и говядина приелась? Раки, раки, раки!

Здесь подвизались и недорогие парикмахеры. Они обращали на себя внимание весьма пространными речами:

– Красавица без волос, и румянец во весь нос. Как ни отделявай мою Марью Ивановну – краше черта не будет. А красоточка Гризель – первый сорт мамзель, волан и гофре в бок – за ней женишки скок да скок. Извольте видеть, по моей модной парижской картинке можем в порядок и в первый разряд привести! Госпожу Папкову и то чешем.

Естественно, на ярмарке не обходилось и без шулеров-картежников. Они обращались к легкомысленным провинциалам:

– Три вороны, три галки играли в три палки. Даю три карты и даю деньги или беру из банка. Чем банк солидней, тем выгодней, купите дом и заведете ланду. Села ворона на березу и навалила два воза навозу, а галки для того летали на свалку... Заметываю. Прошу расступиться и не мешать любознательностью желающим успеха и счастливой судьбы.

Как нетрудно догадаться, тот успех сопутствовал лишь подсадным клиентам.

Впрочем, счастливые случайности на ярмарке все же бывали. Правда, они никак не связывались с карточной игрой. Вот что, например, писал один из современников: «1886 год. Нижегородскую ярмарку посетил царь Александр III... Молодой Владимир Смирнов поднес царю лафитник, тот сделал глоток и в задумчивости потрепал паренька по плечу. Потом опрокинул лафитник и прищелкнул пальцами. Вздох облегчения качнулся в воздухе. Это означало, что с сей минуты Петр Смирнов и сыновья становились поставщиками водки на императорский двор».

Не только о своем собственном кошельке заботились купцы на ярмарке. Не меньше, чем в большинстве рос-

сийских городов, здесь была развита благотворительность. Правда, иной раз благотворительность была хотя и добровольная, но все же вынужденная. Вот, например, такой сюжет, описанный в «Иллюстрированном путеводителе по Н. Новгороду и ярмарке», вышедшему в конце XIX века: «В 1871 году по случаю появления в Нижегородской и смежных с нею губерний холерной эпидемии, комитетом общественного здравия в числе разных мероприятий по прекращению этой эпидемии были устроены, между прочим, на Нижегородской ярмарке общественные кухни и чайные, где приходящие могли бы иметь горячую пищу из свежих продуктов по дешевым ценам, от 3–5 коп. за блюдо и по 3 коп. за чай с человека. По прекращению холеры ввиду той громадной пользы, которую принесли дешевые народные столовые и чайные в 1871 году, эти заведения стали открываться во время ярмарки с 1872 года ежегодно. А так как собираемых денег на покрытие расходов по содержанию столовых и чайных было недостаточно, то ярмарочное купечество, приняв во внимание несомненную, существенную пользу, какую эти учреждения приносят бедному рабочему ярмарочному населению, решило на устройство столовых и чайных отпускать ежегодно 1500 руб.».

Но не одни лишь эпидемии толкали ярмарочных деятелей на благотворительные поступки. В 1881 году здесь, к примеру, на деньги купечества открыли ночлежный приют – своеобразнейшей архитектуры, из стекла и стали, более напоминающий ангар. В 1887 году на ярмарке построили особенный, благотворительный пассаж. Деньги, собранные за его аренду, поступали «в пользу Нижегородских детских приютов для обеспечения их верным доходом». В 1890 году были выстроены специальные благотворительные торговые ряды «в пользу Нижегородского Речного училища». И все это – помимо тех огромнейших денег, конечно, неучтенных, которые купцы давали нищим, жертвовали на церкви и т. д.

Неудивительно, что деятельность ярмарки приветствовалась, что называется, и в низах, и в верхах разношерстного русского общества.

Разумеется, одной из главных сторон жизни ярмарки были всякие развлекательные учреждения. Н. И. Соболеви́чиков-Самарин разъяснял это весьма доходчиво: «Многие и очень многие почтенные толстосумы вырывались на ярмарку из-под надзора своих законных супругов, чтобы кутнуть раз в году во всю ширь русской природы. Полтора месяца идет дым коромыслом. Тут на вольной воле есть где разгуляться: и девицы-красотки одна лучше другой, не то что своя шестипудовая Аграфена Поликарповна, и шампанского море можно вылакать, и никто не осудит. Никому и невдомек где-нибудь в Иркутске, что именитый, всеми уважаемый купец и градской голова невылазно сидит здесь в ресторане или шантане и пьет мертвую. Приказчиков с собой взял лихих; они по торговле или закупкам все оборудуют, а чтоб им рот зажать, на то капиталы имеются. Да коли и убыток “ярманка” даст – беда не велика; зато душеньку на полной свободе отвел».

Неудивительно, что развлечениям тут уделялось самое скрупулезное внимание. Сам знаменитый клоун Дуров по собственнoличной просьбе губернатора ездил тут на свинье для удовольствия российского купечества. Был тут даже театр, куда приезжали гастролировать известные актеры. Однако большинство довольствовало́сь зрелищами незамысловатыми.

Путеводитель сообщал: «В балаганах незатейливые представления, неизбежный зверинец, стрельба в цель, панорама; многообещающие пестрые вывески, широкие афиши; на балкончиках балаганов паяцы, арлекин и прочие атрибуты народных гуляний. Во втором ряду целая серия каруселей и бойкий торг кумачом, сапогами, сладостями и иным простонародным товаром. Народные увеселения – наиболее шумная, постоянно волнующаяся бездно́ю народа часть ярмарки; гул толпы, музыка, зазывания торгашей резко выделяются на общем, довольно чопорном фоне ярмарки; здесь она принимает оттенок сельских ярмарок-праздников».

Самым же популярным из аттракционов был так называемый «самокат». Историк А. П. Мельников описывал его в таких словах: «Деревянное тесовое здание строилось двухэтажное, внизу помещалась касса у вхо-

да; во втором этаже, куда вела обыкновенно скрипучая лестница, помещался самый самокат, внизу машина, приводящая шестернями в движение огромную карусель, двигавшуюся в горизонтальной плоскости в верхнем этаже; вокруг карусели шла галерея, снаружи и внутри ярко изукрашенная всякой мишурой, флагами, размалеванными изображениями невиданных чудовищ. На перилах этой галереи, свесив ноги к стоявшему перед таким зданием народу, сидел “дед” с длинной мочальной бородой и сыпал неистощимым потоком всевозможные шутки и прибаутки, остроты, причем предметом осмеяния нередко являлся кто-нибудь из толпы, на что последний не обижался, а даже отчасти был доволен, привлекая на себя всеобщее внимание. По тому же барьеру расхаживали, кривляясь, пестро разодетые в грязные лохмотья скоморохи, кто из них был наряжен петухом, кто страусом, кто котом, кто медведем, зайцем; откалывались разные шутки, возбуждавшие неумолкающий хохот окружавшей толпы».

Однако еще большей популярностью, чем «самокат», тут пользовались всякие трактиры, рестораны, кабаки.

– Эх, хорошо! – радовался на Нижегородской ярмарке певец Шаляпин. – Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!

Н. Варенцов описывал в своих воспоминаниях ярмарочный общепит, так не похожий на обычные российские съестные и распивочные заведения: «Трактиры были наполнены хорами с певицами, хотя, может быть, и с небольшими голосами, но с красивыми лицами... Вспоминаю свои впечатления от первого посещения ярмарочного ресторана, куда я попал, чтобы пообедать, благодаря близости с моей гостиницей. Большая зала, залитая светом ламп, была переполнена публикой. Я заметил в самом удаленном уголке залы маленький столик, к нему и пробрался. Заказав обед, я с любопытством начал осматривать залу с сидящей в ней публикой. У каждого столика сидела своя компания, велся между ними общий разговор с хохотом; у некоторых из них лица были сосредоточены, и было видно, что они вели беседу деловую, только их лишь касающуюся, они подвигались друг к другу, шепча на ухо, слушавший его

махал рукой и с раскрасневшимся от волнения лицом тоже отвечал ему на ухо, но было видно, что дело у них налаживается: один из них схватил руку другого и своей другой дланью ударил по ладони своего собеседника, тот не вырывал руку, а пожимал ее – дело состоялось...

Позвали распорядителя, ему что-то сказали, и он, тоже кланяясь и улыбаясь, как половой, им что-то ответил. И я увидел, что вся эта компания встала из-за стола и во главе с распорядителем пошла из залы в коридор, а за ней несколько половых несли оставшиеся вина и кушанья в отдельный кабинет, откуда скоро раздались звуки пианино, хора и визг. Разгул, нужно думать, пошел надолго».

Да, в ярмарочных ресторанах совершались сделки и проматывались тысячи. А в остальное время у купцов шла скучная, размеренная жизнь, с повторяющимися изо дня в день событиями и мечтами об очередной поездке на Нижегородскую ярмарку.

Разумеется, по всей России устраивалось множество второстепенных ярмарок – скромнее, меньше. К примеру, в Ростове Великом. Там тоже существовали свои «вековые традиции». Сергей Васильевич Дмитриев, ярославский торговец, писал: «Утром вставали все в 6 часов и шли в собор, где пели молебны епископам, ростовским святым Леонтию, Исае и Игнатию. Оттуда ехали на двух, нанятых накануне извозчиках в Яковлевский монастырь, служили молебны святым Иакову и Дмитрию. Затем заезжали в приходскую церковь, не помню, блаженного или власатого Иоанна, дальше в Богоявленский монастырь, где пели молебен преподобному Авраамии, надевали его вериги-цепи, его скуфью на голову и брали круглый камень в руки, который он, Авраамий, по преданию носил с собой для “утомления” или, как говорили монахи, “для умерщвления плоти”. Брели также и два чугунных кувшина, скованных цепью и надевавшихся через плечо. С этими кувшинами Авраамий ходил с водой на озеро. Воды в оба кувшина вмещалось самое большее два стакана, а носить их было мне, например, тяжело. Надев все “доспехи” Авраамия, мы ходили по очереди кругом часовни, в которой он жил и молился.

После молебна отправлялись в Петровский монастырь. Расположен он был за городом... Здесь были мощи Петра, царевича Ордынского, сына какого-то татарского мурзы, принявшего христианство. Тоже служили молебен.

После всех молитвенных подвигов отправлялись уже домой, пили чай, завтракали и шли начинать торговать».

С. Чумаков же описывал свою ярмарку, костромскую: «На ярмарке, ежегодно проводившейся на Сусанинской площади, шла бойкая торговля не только в балаганах, но и с рук: разными пищалками, тещиными языками, морским чертом, конфетами самого дешевого сорта, разными нецензурными открытками, печатными произведениями. Все это голосило, зазывало, навязывало свой товар. После японской войны один такой торговец кричал целый день охрипшим голосом, предлагая брошюру: “А ну, покупай, подвиг рядового Рябченко, положившего жизнь за царя и отечество, два патрета, три листка, пять вещей – пять копеек”. Многие безвестные кустари-пекари изготавливали всякие фасонные пряники, изображавшие птиц, лошадей, собак, лошадь, запряженную в сани, или просто орнаменты, среди которых были и с явным влиянием индийского искусства, очевидно, когда-то случайно занесенные торговыми людьми с низовья Волги».

Эх, показать бы весь этот аттракцион – и нецензурные открытки, и дешевые конфеты, и морского черта – императору, чтоб знал, в какой стране живет! Но нет, не показали.

А народ, однако, не скорбел. Радовался морскому черту и пищалкам. А еще здесь, под Сусанином, было мороженое: «Во время ярмарки и в праздники иногда на Сусанинской площади появлялась ручная повозка с ящиком, набитым льдом, тут же продавалось мороженое, которое отпускалось потребителям вложенным в большие граненые рюмки. Для извлечения же мороженого выдавалась костяная ложечка, так что мороженое надо было есть, не отходя от тележки. После чего посуда и ложка прополаскивались в талом льде, вытирались фартуком не первой свежести и были готовы для убла-

готворения следующего потребителя. Так что это мороженое употреблялось обычно приезжавшими на базар крестьянами, не предъявлявшими особых требований к гигиене, ибо не были просвещены в оной».

Существовали также узкопрофильные ярмарки, в первую очередь конские. Костромской мемуарист писал: «Продажа сена происходила на площади, именовавшейся Сенной... На этой же площади бывали конские ярмарки, на которые собиралось много лошадятников и любителей, смотревших и ощупывавших лошадей. Конечно, здесь же вертелось много подозрительных барышников и цыган, умевших сбывать всякую лошадиную заваль чуть ли не за рысаков. Торговля эта сопровождалась страшным криком, руганью и клятвами. Покупатель и продавец изо всех сил били друг друга по ладоням, называя каждый свою цену. После того, как в конце концов установят цену, молились Богу, сняв картузы, затем передавался конец уздечки – не просто из рук в руки, а обернутый полой кафтана. Бывали случаи, когда цыгане умудрялись из-под носа зазевавшегося продавца увести лошадь, обычно очень ловко при этом скрываясь от преследования».

А вот схожая ярмарка в Торжке: «С Пятницкой улицы я несколько раз ходил с дядей, державшим для своих нужд лошадь, на конскую ярмарку (или, как произносили в Торжке, ярманку). Ярмарка устраивалась два раза в году: в январе и, кажется, в сентябре. Конская ярмарка – это своеобразный мир свободной и нерегламентированной купли-продажи лошадей и других домашних животных: коров, овец, коз. Я любитель лошадей и за смешными, а порой и непонятными сценами торговли наблюдал увлеченно, с вниманием, слушал уверения продававших и возражения покупателей. Божба, мат, клятвы наполняли воздух, всю Конную площадь. Было дико и занятно! Героями дня, как говорим мы теперь, были цыгане и барышники. Кого называли вторым именем? Это продавцы и перекупщики лошадей. Интересен был последний акт сделки – передача лошади из полы, когда продавец и покупатель брали правой рукой полу пальто, шубы, пиджака и пожимали друг другу руки, называя цену, на которой договорились».

Не избалованные развлечениями жители русской провинции превращали ярмарку в потеху – отчего она, конечно, не утрачивала своего главного смысла.

* * *

А что за зверь такой – российское провинциальное купечество? Попробуем ответить на этот вопрос. Строгих закономерностей, конечно, мы не обнаружим – все-таки живые люди, каждый со своими погрешками в мозгах. Но впечатление составим.

Для начала познакомимся с одним из колоритнейших предпринимателей эпохи – Павлом Егоровичем Чеховым, отцом Антона Павловича, знаменитого писателя. Вот одна довольно характерная история из его профессиональной деятельности. Как-то раз Павел Егорович вошел в дом с озабоченным лицом и сообщил:

– Экая, подумаешь, беда: в баке с деревянным (то есть оливковым. – А. М.) маслом нынче ночью крыса утонула.

– Тьфу, гадость какая, – ответила ему жена.

– А в баке масла более двадцати пудов. Забыли на ночь закрыть крышку – она, подлая, и попала. Пришли сегодня в лавку, а она и плавает сверху.

Жена ответила:

– Ты уж, пожалуйста, Павел Егорович, не отпускай этого масла нам для стола. Я его и в рот не возьму, и обедать не стану. Ты знаешь, как я брезглива.

Но инцидент на этом не закончился. Павел Егорович все размышлял, что делать с этим маслом. Выливать – вроде жалко. Продавать после крысы – нечестно. Наконец выход был найден – нужно устроить над маслом публичный молебен, после чего пускать в ход. Посланец Чехова-отца ходил по домам постоянных покупателей и, в соответствии с его инструкциями, говорил:

– Кланялись вам Павел Егорович и просили пожаловать в воскресенье в лавку. Будет освящение деревянного масла.

– Что за освящение? – не понимал обыватель. – Какого масла?

– В масло дохлая крыса попала, – разъяснял посланец.

– И вы его продавать будете? – изумлялся обыватель.

Вопреки здравому смыслу, освящение все-таки состоялось. Этот обряд довольно живо описал Александр Павлович Чехов: «О. Федор покосился на обстановку и в особенности на миску с маслом, облачился и начал служить молебен. Павел Егорович вместе с детьми пел и дирижировал важно и прочувствованно... В конце молебна о. протоиерей прочел очистительную молитву, отломил кусочек хлеба, обмакнул в миску и съел с видимым отвращением. Освященное и очищенное масло торжественно вылили в бак и даже взболтали, а затем гостеприимный хозяин пригласил всех к закуске... По окончании торжества все разошлись и разъехались, и с этого момента, к величайшему удивлению и недоумению Павла Егоровича, торговля сразу упала, а на деревянное масло спрос прекратился совсем».

Тогда Павел Егорович решился на отважный шаг. Он влез в долги и открыл новую торговую точку. Как раз в это время на окраине Таганрога строили железнодорожный вокзал. Он рассчитывал на приток покупателей, следующих со станции в центр. Но, как писал Александр Павлович Чехов, «с первых же дней оказалось, что расчет Павла Егоровича был создан на песке. Пассажир оказался неуловляемым и потянул с вокзала совсем в другую сторону».

Тот же Александр Павлович описывал уклад жизни в семье Чеховых: «На... большой черной вывеске были выведены сусальным золотом слова: “Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары”. Вывеска эта висела на фронтоне, над входом в лавку. Немного ниже помещалась другая: “На вынос и распивочно”. Эта последняя обозначала собою существование погреба с сантуринскими винами и с неизбежною водкой. Внутренняя лестница вела прямо из погреба в лавку, и по ней всегда бегали Андрюшка и Гаврюшка, когда кто-нибудь из покупателей требовал полквартиры сантуринского или же кто-нибудь из праздных завсегдаев приказывал:

– Принеси-ка, Андрюшка, три стаканчика водки, а вы, Павел Егорович, запишите за мной».

Перед домом же стоял фонарь, игравший в жизни юного Антоши Чехова весьма существенную роль. Один

из его друзей детства писал: «Против самого угла дома, у входа в магазин стоял газовый фонарь, который служил нашей базой для наполнения аэростатов. По утрам, часа в 4 или 5, пока никого не было на улице, мы все собирались около фонаря и наполняли наши шары светильным газом при помощи резинового шланга, который надевали на рожок фонаря. Шары удачно наполнялись и поднимались вверх при общем нашем ликовании. В результате наших манипуляций фонарь постоянно находился в неисправном состоянии».

Торговля совсем захирела, кредиторы свирепствовали, и Егору Павловичу пришлось тайком бежать в Москву. Там он, опять-таки, не преуспел как торговец, зато сын Антон стал великим писателем – чего, пожалуй, не случилось бы, живи семейство в Таганроге.

Подобных неудачников, конечно, было множество. Но не они, ясное дело, задавали тон. В том же Таганроге торговля шла припеваючи, не в последнюю очередь благодаря тамошним грекам – коммерсантам превосходнейшим. По городу даже ходил самодельный стишок:

Приехали Алфераки
И привезли печеные раки.
Приехало Аверьино
И привезло с собой вино.
Приехали Скуфали,
И появились кефали.
Образовался Амира
И закричал «Ура».
А как наехало Попандопуло,
Так все полопало.

Греки умели и поторговать, и хорошо повеселиться, и беззлобно посмеяться над своими же товарищами.

Иностранные предприниматели были не редкость и в других российских городах. В Ярославле, например, известен был некто Сурков – немец, носящий почему-то русскую фамилию. Один из современников, Илья Бражнин, писал о нем: «Сурков этот был в Архангельске фигурой весьма приметной. Крупнейший капиталист, владелец лесопильных, пивного, спирто-водочного заводов, домов, пароходов, контор, он, хоть и носил русскую фамилию, был немцем. По-русски он говорил плохо и изъяснялся по преимуществу матерными сло-

вами, особенно если разговаривал с людьми, ему подчиненными».

Но в основном купечество, конечно, было русское, подчас карикатурно русское, что называется, русопятое. Иван Сергеевич Аксаков, например, писал о предпринимателях того же Ярославля: «Меня поразило вид здешнего купечества, оно полно сознания собственного достоинства, т. е. чувства туго набитого кошелька. Это буквально так.. На всем разлит какой-то особенный характер денежной самостоятельности, денежной независимости.. Бороды счастливы и горды, если какой-нибудь его “превосходительство” (дурак он или умен – это все равно) откушает у него, и из-за ласк знатных вельмож готовы сделать все, что угодно, а уж медали и кресты – это им и во сне видится».

«Бороды» – характерная кличка.

О рыбинских предпринимателях Иван Сергеевич писал еще более резко: «Меня поразило вид здешнего купечества. Оно полно сознания собственного достоинства, т. е. чувства туго набитого кошелька.. чем более обращаюсь я с купцами, тем сильнее чувствую к ним отвращение.

Все это какой-то накрахмаленный народ.. чопорный, тщеславный и чинный до невыносимости. Между собою они редко посещают друг друга с семьями без приглашения или какого-нибудь особенного повода. Мужья целый день вне дома, в лавке, на пристани, а жены сидят одни и скучают дома. В праздник жены, набеленные и нарумяненные донельзя, во французском платье, с длиною шалью и с дурацкою кичкою чинно прогуливаются с мужьями по улицам или по бульвару. Ни тот, ни другой ничего не читают, кроме “душеспасительных книг”, но это чтение нисколько не сбавляет с них спеси..

Чем более всматриваюсь я в рыбинское купечество, тем хуже оно мне кажется.

Ни один богач не пожертвовал денег – хоть на украшение города, напротив того, эти богачи так жадны к деньгам, что дорожат каждым грошом. Здешний аристократ-купец, пресловутый Федор Тюменев, богач и раскольник, в чести у знатных и добившийся крестика, устроил, например, на самом видном месте, почти рядом с церковью, кабак.

Здесь все дела делаются на базаре, в трактирах и т. п. Биржа выстроена, но никто ее не посещает, хотя огромная зала на берегу Волги с двумя балконами в жаркое время лучше вонючего здешнего базара. Но татарское слово “базар” больше сохраняет прав, нежели “биржа”.

На своем грязном и вонючем базаре они собираются два раза в день, сообщают друг другу письма, делают дела на сотни тысяч рублей, но окончательно обсуждают их в трактире. Разумеется, здесь пускают часто фальшивые слухи, даже пишут фальшивые письма, и на этом базаре новичка или нашего брата как раз собьют с толку; а биржа со своей огромной залой стоит пустая, хотя в ней сведения собираются только несомненные и достоверные, хотя в ней и висят географические карты, получают газеты. У купцов друг для друга есть свой банк, свои банкиры».

Тот же Иван Аксаков, правда, признавал, что не во всех российских городах купечество столь нелицеприятно. Писал, например, о Ростове Великом: «Все бритые, но очень умные и хорошие люди. Все они интересны своими практическими познаниями и стремлениями. Все они как мы и, что замечательно, ни в одном городе, кроме Ростова, я не встречался, – с совершеннейшей свободой, независимостью, самостоятельностью, безо всяких претензий и чопорности. Здесь так же та особенность, что купцы с женами посещают друг друга по вечерам, собираются вместе большими обществами, тогда как в Ярославле и в Рыбинске жены вечно дома, и собрания бывают только в торжественных случаях, сопровождаемые убийственным молчанием. Правда и то, что здесь, собравшись, дамы, если не танцуют, так играют в карты; дома же, кроме хозяйства, занимаются чтением, музыкой».

«Бород», однако, было явно больше.

Купец – особая порода. Александр Островский изумлялся виду набережной города Твери: «Барышни купчихи одеты по моде, большею частью в бархатных бурнусах, маменьки их в темных салопах и темных платьях и в ярко-розовых платках на голове, заколотых стразовыми булавками, что неприятно режет глаза и совсем нейдет к их сморщенным, старческим лицам, напоминающим растопчинских бульдогов».

Один из жителей Рязани, А. Антонов (тоже, кстати говоря, купец), описывал здешнее «общество» в таких словах: «Купеческое общество в то время было весьма совестливо, дружелюбно, набожно и просто. Торговали хорошо, слово “банкрот” считалось чем-то страшно позорным... Многие отцы семейств не знали грамоты, а матери ходили в сарафанах, епанечках и паневах; обыкновенною одеждою купцов были тулупы, чуйки и поддевки, на головах – шапки и картузы весьма неуклюжей формы; молодые купчихи одевались в платья с клиньями, в капоты и салопы с длинными капюшонами. На именины, в гости и в летние праздники, в церковь и на гулянья в рощу являлись в кунавинских шальях и всегда на головах в платках, повязанных с рожками... Удовольствия и забаву молодых людей составляли в летнее время игра в шашки, купанья и сон, а в зимнее – катанья, кулачные бои и медвежьи травли... Суеверие было весьма сильно, рассказы про колдунов, порченных и летающих змеев были обыкновенны».

Зато важности, что называется, было не занимать. Этнограф П. И. Небольсин рассказывал о посещении некого предпринимателя в Торжке: «Я хотел сделать утром визит одному очень почтенному и почетному купцу. В уездных, а иногда и в губернских городах довольно называть имя и отчество какого-нибудь лица, чтобы призванный извозчик подвез вас прямо к дому того, кого вы ищете. Так и здесь, меня подвезли к высоким хоромам и высадили у титанических ворот, окрашенных черной краской. Я потянул за звонок – нет ответа! я потянул другой раз – тот же успех; я еще, еще – наконец, через десять минут вышла ко мне здоровенная бабища, в сарафане, переднике, в блестящей белизны рукавах рубахи, в черной косынке, плотно повязанной на голове, так что ни одного волоска не было видно. После бесчисленных вопросов “да вам зачем?”, “да вам на што?”, она ввела меня в нижний этаж, оставила в передней, в которой я насчитал четыре огромных самовара, а сама пошла докладывать хозяину, что, дескать, “чужой пришел”...

Я в это время успел осмотреть залу: она была обставлена старинною дедовскою мебелью, богатые зеркала висели в раззолоченных рамах, обвернутых кисеей; чьи-

то портреты, также изукрашенные, тоже были укутаны кисеей; огромные часы в ящике старинного фасона отбивали погребальные четверти; в переднем углу стояла кивота с множеством образов в золотых окладах».

А доктор Синицын описывал еще более обстоятельный, тоже новоторский ритуал: «Домашняя жизнь купечества была крайне замкнута. Каждый дом более или менее зажиточного купца представлял род крепости, проникнуть в которую было довольно затруднительно. Двор окружен был хозяйственными постройками и каменной стеной. Тяжелые деревянные ворота были постоянно на замке, и возле них всегда стоял мальчик лет двенадцати, представлявший из себя первую ступень служебной иерархии.

Чтобы попасть в дом, надо было сначала переговорить с мальчиком, объяснить ему, кто вы и какое имеее дело к хозяину, после чего мальчик уходил, заперши калитку на засов. Затем являлся приказчик постарше и, по снятии с вас того же допроса, также исчезал на некоторое время. Через несколько минут после этого вас, наконец, пускали во двор, и приказчик вводил вас в первую комнату дома. Тут находился третий приказчик, который шел доложить о вас хозяину. Наконец являлся хозяин и, пригласив вас сесть, начинал с вами разговор. В это время приносился чай и вы волей-неволей должны были его пить, чтобы обеспечить успех своего дела. Тут только начинался деловой разговор.

Если дело было слажено, то хозяин приглашал вас в другую комнату, где на столе была приготовлена водка и закуска. Хозяин поздравлял вас с благополучным окончанием дела и предлагал выпить водки, а если вы не пьете водки, то скверного елисеевского хереса или не менее скверного сотерна. Без этих китайских церемоний не обходилась ни одна торговая сделка. Даже доктора должны были проходить через всю эту шеренгу приказчиков, чтобы попасть к больному. При этом экипаж доктора вводился во двор, чтобы проходящие не видели, что в доме доктор, ибо болеть и лечиться было зазорно».

Александр Островский давал здешнему (правда, не крупному, а мелкому) предпринимательству своеобраз-

ное определение: «Новоторжские крестьяне и мелкие городские торговцы ездят по деревням Тверской губернии с женскими нарядами и называются новоторами. Это название присвоено всем торгашам мелкими товарами, хотя бы они были и из других уездов. Новоторы не пользуются в губернии хорошей репутацией; о честности их ходит поговорка: “новоторы – воры”».

Принципиальная несовременность – одна из отличительных черт русских предпринимателей. Костромской мемуарист описывал довольно характерную фигуру, одного из тамошних купцов: «В гостином дворе, в помещении под номерами 64 и 65, против церкви Воскресения на Площадке была нотариальная контора Павлина Платоновича Михайловского. Долгие годы он сидел в своей конторе, совершая всевозможные нотариальные акты. Нововведений он не любил, до самого 1918 года – момента ликвидации и национализации – он сидел за столом, на котором стояла песочница с мелким песком, употребляемым вместо новшества – промокательной бумаги. Писал он только гусиными перьями. Электрическое освещение считал баловством, вредно влияющим на зрение. На его письменном столе надменно горели только две стеариновые свечи, и у всех его служащих освещение было такое же. Несмотря на то, что с 1912 года город стал освещаться электричеством, и во всех соседних помещениях свет был сильный, у него по-прежнему царствовал полумрак. Одевался он тоже в какие-то допотопных фасонов сюртуки, шляпа также была типичная для первой половины девятнадцатого века. Хотя жил он недалеко от своей конторы, но приезжал и уезжал в старинном экипаже. Летом, несмотря ни на какую жару, обязательно был в пальто с пелеринкой времен Николая Первого. Революция выбила его из колеи, не стало нотариальных дел, не надо было ехать в контору, и он в 1918 году умер. По внешности он был похож на пророка Илью, но с более добрыми глазами».

И таких персонажей сидело немало по российским гостиным дворам.

А вот характеристика еще одного костромского купца: «Алексей Андреевич Зотов был крупный костромской фабрикант, ему принадлежала половина Зотовской льня-

ной мануфактуры – одной из крупных в России. Характер был у него вспыльчивый, имел массу причуд. Матерщинник был редкостный. Очень хорошо знал толк в качестве льна. Осенью сам ездил покупать лен на большой базар. При заключении сделки матерная ругань стояла с обеих сторон, перемежаясь с упоминанием Бога, Николы-угодника и всех святых. Наконец, когда стороны договаривались, то ударяли по рукам, срывали с голов шапки и истово крестились на Старый монастырь. Так совершалась сделка с каждым отдельным крестьянином.

Зотов никогда не был женат, но имел девушек, которых обеспечивал, а родившихся детей усыновлял, давая им прекрасное образование.

Вспыльчив был необычайно, но быстро отходил. Примерно около 1908 года пошел он в гости к своему племяннику, живущему с ним по соседству на фабричном дворе. В каком-то вопросе не сошлись во взглядах; всплыв, Зотов переломал все пальмы, фикусы и прочие зеленые растения, перебил все горшки, а деревянные кадки разломал. Хозяева, зная его характер, попрятались в других комнатах. Уходя, Зотов кричал, что придет опять и переломает всю мебель, чего сейчас сделать не может, так как очень устал. А через три дня в Кострому прибыл целый вагон пальм и других комнатных растений, выписанных из Москвы, куда Зотов посылал своего садовника, и все это было водворено на место разгрома».

Зато ритуал оптовой купли-продажи был разработан в подробностях. Герой Н. Г. Гарина-Михайловского («Несколько лет в деревне») говорил: «Незаметно доехали мы и до цели путешествия – Рыбинска. Громадное здание биржи с террасой на Волгу, ее покупщики со всех концов России, порядки, – все произвело на меня приятное, ласкающее впечатление.

В полчаса, сидя на террасе и любуясь Волгой, продал я весь свой хлеб.

С покупщиком – купцом одного дальнего города свел меня биржевой маклер. Телеграммы о ценах были у него и у меня в руках. Проба моего хлеба лежала перед нами на столе. Мы не сходились в гривеннике за четверть...

Наконец, пришел маклер и разбил грех пополам.

Ударили в последний раз по рукам и пошли молиться Богу в соседнюю комнату.

Перед громадным образом Спасителя купец три раза перекрестился и положил земной поклон. Потом он обратился ко мне и, протягивая руку, проговорил:

– С деньгами вас.

Я ответил:

– Благодарю. А вас с хлебом.

– Благодарю. Что ж, чайку на радостях выпить надо?

Мы отправились в ближайший трактир, куда пришел и маклер, “раздавили” графинчик, закусили свежую икрой и выпили по бесконечному количеству стаканов чаю. Обливаясь десятым потом, выбрались мы, наконец, на свежий воздух. Через два дня я уже возвращался домой...

Возвращался я вполне довольный своим опытом. Хлеб я продал на 17 копеек дороже против цены, бывшей в то время в нашем городе. Это составляло 25%».

Урвать, обмануть, сплутовать – смысл жизни большей части российских купцов. Среди них иной раз попадались настоящие артисты этого своеобразного жанра. Один из ярчайших примеров – житель Иваново-Вознесенска Мефодий Гарелин, прозванный горожанами «Мефодкой-сироткой».

Вроде бы он получил эту странную кличку после своего не менее странного выступления на заседании городской думы. На том заседании высшие городские чины стали просить Мефодия Никоновича, одного из наиболее богатых жителей Иваново-Вознесенска, пожертвовать некоторую сумму на социальные нужды. Гарелин долго и неубедительно отнекивался, после чего вдруг снял сюртук, швырнул себе под ноги и заплакал:

– Грабьте, грабьте сироту!

Но по другим рассказам, он ссылался на свое сиротство даже в разговорах с собственными подчиненными-рабочими. Якобы когда сотрудники гарелинской мануфактуры неожиданно встречали его в коридоре управления и, жалуясь на всяческие бытовые обстоятельства, упрашивали о прибавке жалованья, Мефодий Никонович прибегал к проверенному трюку. Он срывал с плеч свой сюртучок или пальтишко, швырял его обескураженному работяге, опять-таки кричал:

– На, грабь! Грабь сироту!

И, пользуясь смятением просителя, быстро скрывался. Старого, изношенного сюртука было действительно не жалко, новую же одежду господин Гарелин носил крайне редко. Он вообще был скуповат – ходил в обносках, стол его был беден, а карета – старая и полуразвалившаяся.

Как-то раз, когда Мефодий возвращался с фабрики домой, он обратил внимание на странную монашку. Она непрерывно крестилась и притом приговаривала:

– Дай тебе Бог доброго здоровья! Родителям твоим царство небесное.

– Кого это ты поминаешь, монашка? – спросил удивленный «сиротка».

– Да добрую барыню вот из этого дома, – сказала она и указала на собственный дом Мефодия. – Пять рублей мне подала, царство небесное ее родителям.

И показала Гарелину дорогой свой трофей.

Тот в ужасе выхватил из рук монашки ассигнацию, сунул ей двугривенный и убежал с криками:

– Ой, как много! Не за что! Не за что!

Монашка, разумеется, решив, что перед ней простой грабитель, стала звать полицию. Но дворник разъяснил ей, кто был этот странный человек, и незадачливая попрошайка поплелась домой, коря себя за собственное хвастовство.

Естественно, гарелинской супруге в этот день досталось от «хозяина».

Известен случай, как Гарелин нанимал себе нового дворника. Он устроил ему небольшой экзамен-провокацию, описанную современником Гарелина Иваном Волковым: «Между хозяином и работником происходит разговор:

– У меня, брат, хорошо, вольготно служить. Утром чай...

– Это уж как полагается... – почтительно басит мужик.

– К чаю краюшка белого хлеба... Ешь, пей вволю...

– Знамо дело, рабочему человеку надо сначала подзакусить...

– После чаю, немножко погода, обед... Хороший обед, жирный... Ешь вволю, не торопясь...

– Это уж как полагается... Знамо дело, надо пообедать...

– После обеда можешь отдохнуть...

– Знамо дело, надо отдохнуть...

– Отдохнувши, садись за вечерний чай, пей вволю, не стесняйся... – продолжает соблазнять Гарелин простоватого мужика.

– Знамо дело, как полагается... – вторит мужик, зачарованный хозяйскими речами.

– После вечернего чаю полагается ужин... Хороший ужин, сытный...

– Знамо дело, надо поужинать... – бубнит распутивший уши мужик.

– После ужина сейчас же ложись спать... – продолжает соблазнять простеца хитрый Мефодушка.

– Знамо дело, рабочему человеку надо и отдохнуть... – поет уже совсем разлакомившийся на такое вольготное житье работник.

– Ах ты сукин сын! Когда же ты работать-то будешь?.. – вдруг гаркает на мужика «Сирота».

Но, разумеется, не все столь однозначно. Ведь не секрет: среди российского купечества было немало благотворителей, коллекционеров, меценатов. И не только в столицах. В том же Иваново-Вознесенске проживал купец Дмитрий Бурьлин, который вдруг замыслил создать в «заштатном», безуездном городке своего рода музей истории мировой культуры и искусства.

Повезло ему, можно сказать, от рождения. Повезло не только потому, что с детства он, что называется, горя не ведал. А еще и потому, что старший его родственник, дед Диодор Андреевич, еще в начале XIX века коллекционировал старинные иконы, рукописи, книги. Отец его был тоже собиратель, правда, несколько иного профиля – питал слабость к монетам и масонской атрибутике.

Дмитрий Геннадиевич унаследовал дедушкину коллекцию в возрасте двенадцати лет. Ему ничего не оставалось, кроме как продолжить собирательство. Тем более для этого у маленького Димы были все возможности. Вместе с отцом он частенько бывал на ярмарках, а денег, выделяемых юному Бурьлину «на лакомства», впол-

не хватало на старинные монеты и другие древности, которыми на ярмарках торгуют мужики с лотков.

Экспонатов становится все больше и больше, а Дмитрий тем временем превращается из барского сынка во взрослого и равноправного члена семьи. Естественно, он принимает участие в управлении фамильным делом. Но главным его увлечением остаются коллекции. И мечта – создать когда-нибудь в родном Иваново музей, большой и знаменитый. Бурьлин много путешествует – не только по делам коммерческим, но и для собственного собирательского удовольствия. Он, кстати, чуть было не оказался среди пассажиров печально знаменитого «Титаника» – к счастью, в последний момент пришлось изменить свои планы.

Коллекции растут, но открывать музей Бурьлин не спешит – не хочет выставлять на обозрение незавершенную работу. Впрочем, уже в конце XIX столетия Дмитрий Геннадиевич высоко оценивает свои экспонаты. Во всяком случае, в 1896 году он пишет завещание: «Означенное собрание впоследствии... должно быть достоянием нашего родного города Иваново-Вознесенска и никогда не должно быть распродано или расхищено (приобреталось оно с большой нуждой и трудами)».

Лишь в 1914 году Бурьлин открывает, наконец, музей. Он называется довольно неопределенно – «Музей промышленности и искусства, собрания древностей и редкостей». Однако же количество и качество этих собраний впечатляло много больше, чем название музея. В первую очередь, конечно, уделялось внимание так называемому русскому отделу. Здесь было представлено оружие (от древних шлемов до сравнительно молодых ружей), всякая посуда, разные коробочки, шкатулки, украшения и обувь. В отделе Дальнего Востока было много культовых предметов, и буддистских, и конфуцианских. Впрочем, помимо всяческих божков (бронзовых, медных, деревянных, каменных) здесь находились светские изделия – от мебели до маленьких изящных безделушек. Имелся специальный отдел Индии, Персии, Сиамы и Ближнего Востока со всевозможными курительницами, шлемами, щитами и огромными варварскими ножами. Соответственно, в отделе Западной Европы находились

арбалеты, алебарды и охотничьи рога, а также всяческая бытовая утварь.

Помимо этого, в музее размещались коллекции игральные карты и вееров, нумизматический отдел, отдел масонский, археологический и живописные отделы, а также специальная экспозиция, посвященная войне 1812 года, и комната Льва Толстого.

С современной и научной точки зрения этот музей, наверное, был в некотором роде дилетантским, а строение его – сумбурным. Однако для своей эпохи он был потрясающим. «Кто бы мог ожидать, что в Иваново-Вознесенске, где, кажется, ничего нельзя найти, кроме фабрик и торговых складов, существует один из лучших и крупнейших русских музеев!» – изумлялись петербургские газеты.

Дрессировщик Анатолий Дуров, сам заядлый собиратель, записал в «Книге для посетителей»: «Попав в Ваш дом и увидя музей, я был в восторге. Честь и слава Вам».

А поэт Бальмонт оставил запись стихотворную:

Какой блистательный музей!
Блуждаю в нем часа уж два,
И так он пышен, что ей-ей,
Здесь закружилась голова.

Вход в музей был платным. Правда, деньги шли на разные благотворительные цели, первым делом на борьбу с туберкулезом. Никакая, даже самая высокая входная плата не могла бы окупить музейные расходы. Здесь требовались более серьезные денежные источники и, к счастью, таковыми Дмитрий Геннадиевич располагал. Он писал: «Музей – это моя душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения».

Своеобразной личностью был Константин Головкин, предприниматель из Самары. Константин Павлович сызмальства начал интересоваться живописью – «рисовал углем и мелом везде: на полу, на стенах». Окончил шесть классов в самарском реальном училище, после чего был приставлен папашей к торговому делу.

Тяга к искусству тем не менее оставалась, и двадцатилетний Костя посещает курсы живописца Бурова. С тех пор в жизни Головкина причудливейшим образом

сосуществуют два, казалось бы, таких различных дела – живопись и торговля.

Некто В. Акимов вспоминал: «Наблюдая за Головкиным, я удивлялся его способности успевать во всем. У него было крупное коммерческое дело. Несмотря на это, он часто мог вдруг бросить эти дела и уехать на этюды. Уезжал надолго, иногда исчезая с художниками в Жигули на целые недели. Возвратившись, влезал в бухгалтерию, учет, ежедневно приходил в магазин и работал, как любой приказчик, а затем снова уходил в искусство».

Впрочем, торговал Константин Павлович не чем-нибудь, а всевозможными товарами для живописцев. Другой мемуарист, Г. П. Подбельский, описывал его так: «Головкина я знал еще будучи мальчиком, когда к нему в магазин приходил и покупал бумагу и краски. Худой, стриженный “ежиком”, с большими “тараканьими” усами, всегда тщательно одетый, он резко выделялся своим “буржуазным” видом от остальной братии самарских художников». Он был не чужд различных новшеств – в частности, первым в городе приобрел автомобиль. Кроме этого, у Константина Павловича были мотоцикл, велосипед и яхта – тоже не совсем обычные в те времена средства передвижения.

В быту, однако же, Головкин был педантом. Его дочь вспоминала: «Обстановка в квартире и ритм жизни определялись отцом. Распорядок дня не менялся и всегда был таким: после утреннего чая отец уходил в магазин и работал там до 2-х часов. Очевидно, в эти часы он занимался и общественной деятельностью. В 2 часа был обед, где собиралась вся семья. После обеда отец отдыхал лежа 30–40 минут, после чего шел в кабинет рисовать до 6 часов вечера. По воскресеньям он обычно рисовал целый день... Вечером в кабинете отца собирались друзья и знакомые художники, археологи».

Со временем Константин Павлович выстроил в пригороде потрясающую дачу, и жизнь самарской творческой интеллигенции, приближенной к предпринимателю, сместилась подальше от центра. Особенно всех впечатляли два огромных, в полный рост слона, стоящих перед домом.

Кстати, несмотря на все свое гостеприимство, к со-

седам-дачникам Головкин относился несколько высокомерно и презрительно. Для охраны своего имения он завел огромную собаку. Как-то раз эта собака вдруг набросилась на проходившую мимо соседку, повалила ее на дорогу и начала кусать. Когда несчастную отбили у собаки и отправили в больницу, соседи обратились к Константину Павловичу с просьбой:

– Мы боимся за жизнь наших детей. Очень просим – уберите собаку.

На что тот ответил:

– Не нравится – съезжайте. А собака мне нужна.

Но для людей «своего круга» господин Головкин был верным товарищем и щедрым меценатом. Много энергии он отдавал и так называемой общественной деятельности. Подавал, к примеру, вот такие ходатайства: «Покорнейше прошу Совет Александровской публичной библиотеки, по примеру прошлых лет, уступить безвозмездно большой зал музея под устройство 8-й Периодической выставки картин местных художников – с 15 марта по 25 апреля.

Уступленный под выставку зал будет изолирован от других комнат музея.

Выставка будет открыта для публики в воскресенье, 21 марта (на 4-й неделе поста) и закроется 25 апреля (Страстную неделю и 1-й день Пасхи будет закрыта).

В среду, на Святой неделе, вход на выставку для всех посетителей будет бесплатный.

За исключением расходов по устройству выставки, сбор поступит на улучшение художественного отделения местного музея».

А газеты радовали жителей Самары вот такими сообщениями: «К. П. Головкин от имени кружка местных художников и фотографов обратился в Городскую Управу с прошением уступить для устройства в Самаре VI Периодической выставки художественных картин и фотографий залу при Городском музее на время последних недель Великого Поста и пасхальной недели; причем все необходимые для выставки приспособления художники берутся сделать на свой счет. По окончании выставки они, желая положить основание художественному отделу при Городском музее, жертвуют часть своих

лучших произведений, а в будущем обязуются постоянно иметь об этом отделе попечение и по силе возможности делать для него новые приобретения».

Но такие одноразовые акции казались Константину Павловичу недостаточными. И в 1916 году он пишет в городскую думу: «Теснота и отсутствие места не дают возможности увеличивать, пополнять и сохранять в надлежащем состоянии коллекции музея, не говоря уже о правильной систематизации... Городу пора подумать о постройке нового здания, могущего вместить в себя музей, библиотеку, читальные залы, большой концертный зал, аудитории, кабинеты для научных занятий, обсерваторию, неслгораемые помещения книгохранилищ и архива...»

Увы, добиться всего перечисленного помешала революция.

Не раз уже упоминавшийся ростовский житель Андрей Титов и вовсе поражал воображение современников. Дед Андрея Александровича завещал все свое дело внуку. Но на всякий случай сделал в завещании довольно любопытную пометку: «Если же мой внук Андрей будет вести распутную жизнь, то дело ликвидировать, а капитал положить в банк, употребляя доходы на содержание семейства».

Это условие, однако, было лишним. Внук Андрей рос образцом добропорядочности. Будучи шестнадцатилетним юношей, еще при жизни деда он писал в дневник своим размашистым, но аккуратным почерком: «Я встретил Новый Год со скрипкой в руках. Едва только стрелка встала на XII, как я заиграл “Боже царя храни”, потом камаринской, но очень тихо, потому что боялся разбудить соседей. Раскупорив бутылку пива, я выпил стакан его, поздравив себя же. Потом я лег спать на свою жесткую постель, которую так люблю».

Скрипка иной раз соперничала с обучением: «Не смотря на мое желание, в воскресной школе я не был, а весь вечер играл на скрипке».

И снова: «Нынче насилу встал, в магазине пробыл до 5, мороз 26°, когда пришел, то стал играть на скрипке, к папинеке приехали гости, следовательно, и я был в кабинете после ужина и играл целый час. День провел недурно».

О подобном сыне можно разве что мечтать. Прилеж-

ный и послушный, в лавке помогает, учится и в музыке совершенствуется. Да к тому же рассудительный не по годам. Как-то после ужина играл в саду, простыл – и что же? «Я дорого поплатился за сад – в 4 ч. сделалась на мне рожа лихорадка, которая впрочем прошла, и головная боль, но все таки был в магазине, а назад дошел до Мальгина дома, а они довели».

Правда, иной раз встречались записи и не совсем серьезные: «Ветрено. В Ростов приехал фокусник.. который и приходил с Храниловым к папеньке, он ловко подбросил перчатку папе за пазуху. Хочет в воскресенье давать представление. Учился у Слонова, играл с Швецовым в карты».

Но такие легкомысленные дни случались редко.

Титову не исполнилось еще и тридцати, когда он сделался одним из самых почитаемых ростовских жителей. Андрей Александрович был избран гласным в городскую думу, где продолжал совершенствоваться в красноречии. Выступления Титова отличались образностью и ехидством, редкими не только для провинции, но и для Петербурга и Москвы:

– Господа гласные! Убаюканные в прошлом году миллионными оборотами нашего банка, вы признали тогда, согласно словам бывшего директора, резкими, односторонними, с превышением своего права, действия ревизионной комиссии... Но вот прошел год, и теперь мы ясно видим результаты этих миллионных оборотов и той прибыли, которую вам тогда насчитывали. Если вы, наконец, поверите словам настоящей комиссии, которая честно и по совести докладывает вам, что пропажа должна быть более 40 000 рублей, то вы, наконец, примете во внимание, насколько полезны были эти миллионные обороты и насколько верны были эти прибыли.

Впрочем, когда нужно, Андрей Александрович мог не без пафоса произнести пророчественную речь:

– Основание к учреждению родильного отделения, полагаю, для всех понятно: это – человеколюбие. Вероятно, до всех доходили рассказы ростовских врачей о том, что им нередко приходится бывать у бедных рожениц в таких помещениях, где зимою от холода, сырости, угара и разных испарений не только нет возможности

поправиться больному, но очень легко и здоровому заболеть, и потому все высказанное мною заявление сделано с единственной целью – насколько возможно, избавить матерей от подобной участи, а детей спасти от преждевременной смерти.

Иной раз предложения Титова были вовсе неожиданными. К примеру, когда накопилась недоимка с горожан, лечившихся в земской больнице, но не расплатившихся, и дума размышляла, как бы эти деньги получить, он выступил с таким неординарным предложением:

– Городская дума заплатит всю недоимку... и кроме этого обяжется на будущее время уплачивать ежегодно за лечение несостоятельных мещан, не доводя управу ни до какого судебного процесса... Это будет, по моему мнению... гораздо лучше и полезнее, чем вести долгий процесс, сорить деньги и все-таки не быть уверенным, придется ли получить или нет эту недоимку. Затем, господа гласные, я обращаюсь к нравственной стороне этого дела: те мещане, с которых следовало бы получить деньги, давно уже умерли или ровно ничего не имеют, а потому приходится получить с людей, ни в чем не повинных, отнимать у них последнее жалкое имущество, продавать их бедные лачуги!

Любопытно, что такое неожиданное предложение было принято двадцатью семью голосами против двух – настолько мощной была сила убеждения Титова.

Очередным его увлечением стали стихи. Был, например, в гостях у коллекционера А. Бахрушина и записал ему в альбом:

Чего, чего тут только нет!
Есть в переплете лучшем Фет;
Нет каталога Мерилиза,
Но карамзинская есть Лиза;
Есть Элзевировский Эрот
И в переводах Вальтер Скотт;
Есть и «Деяния Петра» –
Эт сетера, эт сетера...

Узнал о том, что заболевший друг стал поправляться – появились новые вирши, «На выздоровление»:

Прошел период боли грозной,
Я не скажу уже «прощай»,

И вновь в весенний день морозный
Мы в шубах будем кушать чай
(когда нет листика на ветке)
Под пенью звучное ворон,
Еще послушаем в беседке
Колоколов соборных звон.
И буду ждать весною ранней,
Что из Прудкова в град Ростов,
Прикатишь ты в вагоне спальном –
Доволен, весел и здоров.

Не понравился архимандрит – ему тотчас же выговор:

Точно конь ретивый в поле,
Только-только что не ржал,
В Божьем храме Анатолий
И ругался, и плясал.

Всех бранил на обе корки,
Бога с чертом он мешал,
Приглашая на задворки
Мироносиц персонал.

А то и просто, шутки ради посвящение некому Оскару Якимовичу Виверту:

Омар Налимыч, не сердитесь,
Что рыбья кличка Вам дана;
Но я надеюсь – согласитесь,
Что Вы похожи на сома.

Впрочем, на Андрея Александровича редко обижались. Чаще преподносили ему книги с трепетными посвящениями: «Многоуважаемому Андрею Александровичу Титову, энергичному и талантливому труженику родной археографии, всегда готовому содействовать другим, дань признательности от редактора издания». А иногда посвящения сочиняли в стихах:

Почтенному Российскому историографу,
А паче оне Ростова града историографу,
А так как вообще он «мастер на все руки»,
То значит, что ему и «книги в руки».

Похоже, автор этой эпиграммы не особенно преувеличивал. Андрей Александрович и вправду был деяте-

лем «микеланджеловского» типа, то есть сочетал в себе множество самых разнообразных талантов. Впрочем, и талантом настоящего хозяина он также обладал. По возможности, к примеру, прикупал соседние участки и в результате обустроил за своим особнячком прекрасный сад. По воспоминаниям свидетелей, тот сад был бесподобным: «Какходишь – сразу бордюр из махровых левкоев, душистый табак, который распускался вечером с необыкновенным ароматом. Направо были розы на длинных грядках, эти розы из Франции выписывались... После роз был сиреневый кружок, диаметром 5 метров, небольшой, а в середине его лавочки. Дальше беседка очень красивая, большая, а в ней терраса, буфет с посудой (мы здесь пили чай), а далее еще беседка, ажурная, из длинных полос дерева, и в ней еще три лавочки.

В самом центре сада стоял фонтан, а в середине его – скульптура, ангел (мальчик с крылышками) с трубкой, из нее вода лилась, разбрызгиваясь. Направо от нее яблони росли, сливы и другие фруктовые деревья. А пруд какой был! В нем рыбы плавали».

Но все же главное, чем Андрей Александрович вошел в историю, были отнюдь не его стихотворные опыты, не выступления в Думе и даже не очаровательный сад, а то, что именно благодаря ему заброшенный Ростовский кремль был восстановлен и в общих чертах приобрел нынешний респектабельный вид. К счастью, у него для этого имелось все необходимое: вкус к старине, положение в обществе, деньги, энергия.

Увы, подобных личностей среди российского купечества было немного. История про господина Титова – из редких. И завершить эту главу, посвященную российскому купечеству, будет уместно вот какой цитатой:

«Купец Шабанов, видный мужчина средних лет, оплешивел. Пробовал выращивать волосы при помощи мази “Я был лысый”, широко разрекламированной в газетах, но из лечения ничего не вышло, плешь увеличивалась. Тогда он заказал себе парик, который одевал только по воскресеньям и другим праздничным дням, в будни же неизменно появлялся без парика».

Это костромич С. Чумаков об одном из предпринимателей – типичном представителе своего цеха.

«И УНЫЛО ПО РОВНОМУ ПОЛЮ...»

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.

Эта песня позабытого поэта И. Макарова по сей день является своего рода символом русской дороги. Бесконечной, заунывной, душу выматывающей. Да, мы подошли к главе, посвященной российскому провинциальному транспорту. Впрочем, начнем с транспорта городского.

Главным символом русского дореволюционного транспорта почему-то считается конка. Может быть, в силу своей внешней странности – нечто на рельсах, с колесами, но запряженное лошадью. Своего рода кентавр.

Ежели подобное и справедливо, то скорее все-таки по отношению к большим российским городам. Вот, например, как появилась конка в городе Ростове-на-Дону. В 1887 году, по сообщению репортера газеты «Донская пчела», «в присутствии городских властей был отслужен молебен по случаю начала постройки конножелезной дороги, после чего множество рабочих рук принялось за работу». Спустя несколько месяцев все уже было подготовлено к запуску первого вагона конки. Предусмотрели даже специальную больницу – мало ли чего. Плата составляла пять копеек за проезд внутри вагона и три копейки – на площадке. В сентябре того же 1887 года конка была пущена. Вагоны один за другим следовали

по главной улице Ростова-на-Дону, в них были битком набиты первые счастливицы-пассажиры. Те же, кому не хватило места, просто-напросто стояли по сторонам улицы и наслаждались этим зрелищем.

К зиме ввели в строй новые вагоны. Были они «по наружному виду очень красивы, крыты со всех сторон, так что совершенно ограждают пассажира от ветра, дождя и холода. Дверцы в вагонах выдвижные, так что при входе и выходе пассажиров не пропускают сквозного ветра». Вводились месячные проездные билеты. Словом, ростовчане с радостью обживали свой новый вид транспорта.

Однако же прошло совсем немного лет, и ситуация принципиально поменялась. Участились жалобы на конную железную дорогу. Специальная комиссия, назначенная городской управой, составила весьма печальный протокол: «Вагоны содержатся крайне грязно, как внутри, так и снаружи, и давно не красились, металлические части покрыты ржавчиной. Вагоны не имеют вывесок и установить, по какой линии пойдет, – невозможно. Лошади очень изнурены, и от них исходит запах. Поездная прислуга не имеет форменной одежды. Кондуктора и контролеры грубо обращаются с публикой. Павильоны для публики поставлены не везде. Количество вагонов на линиях не увеличено до нормы». И так далее.

А впрочем, сам интерес к конке поуменьшился. Ростовчанам не давал покоя новый вид транспорта – трамвай. И городская дума приняла решение его осваивать. Концессию получила бельгийская фирма. Трамвай Ростова-на-Дону сделался самым прогрессивным в государстве. Правда, эта «прогрессивность» приносила только неприятности. Дело в том, что к моменту запуска ростовского трамвая, то есть к 1902 году, этот вид транспорта уже ходил почти что в двадцати российских городах. И, разумеется, существовала стандартная ширина колеи. Но бельгийцы воспользовались другим, европейским стандартом, в котором колея была на девять сантиметров уже. В результате вагоны пришлось закупать за границей.

«Бойтесь бельгийцев, дары приносящих», – иронизировали ростовчане.

Влиятельные горожане, уже ощутившие все неудобства конки, предусмотрительно интриговали. В результате некоторые трамвайные линии приобрели своеобразные «волны», огибающие особняки этих персон.

Трамвайные работники все так же нарушали правила, а горожане их пытались образумить. Некто Г. Х. Бахчисарайцев возмущался, например, что «кондуктор бляха № 168 позволил себе сесть против него в вагоне, недопустимость чего была поставлена ему на вид».

Кстати, трамвайные пути были едины на два города – Ростов-на-Дону и примыкавшую к нему практически вплотную Нахичевань-на-Дону. Небольшой пустырь между ними считался официальной границей. Так что кондукторы всерьез допрашивали пассажиров: «Вам до границы или за границу?»

Это был единственный «междугородный» трамвай в стране. Остальные обходились границами какого-нибудь одного населенного пункта. Служить кондуктором, тем более вожатым было весьма престижно. Брали далеко не всех и требования к таким специалистам предъявляли строгие. Вот лишь одна из многочисленных характеристик: «Дано сие удостоверение Афанасию Михайловичу Холстинову в том, что он состоял на службе в Смоленском электрическом обществе в должности вагонновожатого с 7 октября 1901 года по 18 августа 1915 года. Поведения был трезвого и тихого, возложенные на него обязанности исполнял аккуратно, с полным знанием своего дела. Службу в обществе оставил ввиду выбытия на действительную воинскую службу».

От вожатых в то время зависело многое. Техника была в самом начале своего развития и особенной надежностью не отличалась. Газеты то и дело сообщали об очередном пикантном происшествии: «Вагон, потерпевший крушение, шел от вокзала и, миновав новый мост, повернул на Троицкое шоссе, где и остановился на 2-м разъезде снизу, ожидая встречного вагона. В это время соскочил с проволоки ролик рычага, вследствие чего ток прекратился, а вагон, не будучи заторможен, пошел назад по уклону, причем быстрота движения его все время усиливалась, так что вагон в нижней части

Троицкого шоссе летел, как стрела. Затем, достигнув закругления к мосту, вагон сошел с рельсов и, пройдя некоторое пространство по мостовой, свалился, описав дугу, уперся одним углом в городскую стену. В то время, как вагон несся по уклону, некоторые пассажиры начали выскакивать, причем они падали, получая повреждения. Но травм не было».

А в начале прошлого столетия в Нижнем Новгороде появилось вовсе уж невиданное транспортное средство – так называемый «кремлевский элеватор». Это был фуникулер, который связывал древнейший памятник (и вообще нагорную часть города) с частью подгорной. Очевидцы приходили в изумление: «Все видят, как сверху, из-под свода станции, стоящей на горе, медленно выползает наполненный пассажирами вагон (небольшой, мест на 20), странной формы, с какою-то распоркою внизу, как бы с кронштейном, поднимающим его вперед до уровня горизонта. Вагончик очень быстро, при бесшумном движении цепей и канатов спускается к разъезду, на котором в то же время появляется встречный вагончик, поднявшийся снизу; потом они расходятся, один поднимается и входит под свод нагорной станции, другой спускается и исчезает под сводами подгорной».

Но рельсы – рельсами, а главным транспортом долгое время оставался извозчик. Он был своего рода лицом города. Некий харьковский турист писал о городе Ростове-на-Дону: «Извозчики здесь отвратительные. Представьте себе наших ванек, но еще более неряшливых... На пролетке в одну лошадь, с загрязненным возницей, имеющим табличку номера на спине, в виде пресловутого туза на сером халате, устроено помещение для трех лиц, так как *vis-a-vis* сидению стоит скамеечка. Других извозчиков в городе нет... На весь город, богатый и сорящий деньгами, с бьющей горячим ключом жизнью, лишь два пароконных извозчика – и то услугами их вы, простой смертный, пользоваться не можете, так как они обыкновенно “заняты” или антрепренером театральной труппы, или кем-либо из местных пшеничных щеголей. Плететесь вы от вокзала по очень плохой мостовой, даже хуже нашей, харьковской, – чего больше!»

Среди извозчиков иной раз попадались люди непорядочные, вороватые. Некто А. Кононов описывал историю, которая случилась с литератором Сергеем Глинкой: «В Смоленске, подъехав на извозчике к знакомому дому, Глинка слез с дрожжек, снял с себя сюртук, который был надет поверх фрака, положил на экипаж и пошел по лестнице. Когда он вышел из дому, ни сюртука, ни извозчика не было. Он отправился в полицию, чтобы заявить о пропаже. “Извольте, – говорят ему, – взять в казначействе гербовый лист в 50 коп., и мы напишем объявление”. – “Как, у меня украли, да я еще и деньги должен платить?” – возразил Глинка и прямо отсюда пошел на биржу, где стоят извозчики, посмотрел – вора не было. “Послушайте, братцы, – сказал он им, – вот что со мною случилось, вот приметы вашего товарища, найдите мой сюртук, я живу там-то, зовут меня Сергей Николаевич Глинка”. – “Знаем, знаем, батюшка!” – закричали извозчики. На другой день сюртук был найден и вор приведен. Глинка сделал приличное наставление виновнику, надел сюртук и отправился в полицию. “Извольте видеть, – сказал он с довольным видом, – полтины не платил, просьбы не писал, а сюртук на мне, а я не полицмейстер”».

Чтобы вожатый на трамвае увел чей-нибудь сюртук – подобное даже представить себе невозможно.

Кстати, проблема с «распределением» седоков между извозчиками в те времена стояла остро. В каждом городе ее решали как умели. Самый, пожалуй, остроумный закон был введен на извозничьей бирже в Калуге. Извозничий староста выносил шапку, и каждый извозчик кидал в нее определенным образом помеченную мелкую монетку. Староста по мере необходимости тряс свою шапку и доставал, не глядя, разумеется, очередной опознавательный знак. Кому тот знак принадлежал – тот седока и брал. А если кто захочет обойти закон, взять пассажира тайком, тот немедленно получал все от того же старосты наказание – мощный удар кнутом по спине.

Городские извозчики подчинялись каким-никаким, но стандартам, за техническим состоянием их оборудования худо-бедно следили. Частные же экипажи

представляли из себя подчас довольно любопытное явление. Житель Рыбинска Ф. Куприянов, к примеру, писал: «О бабушке Агафье Ананьевне, папиной маме, воспоминаний у меня немного. Помню, как она на беговых саночках ездила... в церковь. Беговые саночки это небольшие сани на двоих: на кучера и седока, с очень низким сиденьем. Бабушка ездила на них потому, что сиденье было невысоко над землей. А сама она была высокая и полная и боялась расшибиться, если падать с высокого сиденья».

Досадная история однажды приключилась с экипажем Льва Толстого, когда тот встречал на тульской станции шведского «просветителя» Абрама Бунде, чтобы отвезти его в Ясную Поляну. Этот случай был описан дочерью писателя Татьяной Львовной: «Кучер рассказал мне, что в то время, как они ехали по Киевской улице, Кандауриха (лошадь Толстых, посланная за шведом на вокзал. – А. М.) чего-то испугалась и подхватила, и, как на грех, из тележки выскочил шкворень, и швед с кузовом и задними колесами остался один посреди улицы, а лошадь с передками убежала». По словам мемуаристки, выглядел швед следующим образом: «Я увидела сидящее в тележке очень странное существо. Туловище его было закутано в малиновое байковое одеяло; изжелта-белая борода высовывалась из-за одеяла. Внимательные и, как мне показалось, недобрые глаза выглядывали из-под густых, нависших бровей. На голове была большая, потерявшая всякую форму, фетровая шляпа. Ноги до колен были голые».

Когда фон Бунде все же прибыл в Ясную Поляну, он первым делом заявил:

– Я никогда в жизни больше не поеду на лошади, потому что это жестоко и опасно.

«Нынче приехал оригинальный старик швед из Индии», – написал о визите Толстой своей матери. И снабдил гостя лестной характеристикой: «Оборванный, немного на меня похож».

А Константин Циолковский и вовсе вставал на коньки, выходил на лед реки Оки, раскрывал огромный зонт и несся с дикой скоростью по ветру. Извозчики за это дали ему прозвище «Крылатый дьявол».

* * *

В русской провинции городской транспорт (в отличие от столиц) имел не слишком важное значение. Город маленький, и до всего можно дойти пешком. Другое дело – сообщение с другими городами, которое было для провинциалов, напротив, гораздо важнее, нежели для столичных жителей. Большой город самодостаточен. Все, что нужно для жизни, в нем найти несложно. В городе маленьком, что называется, особенно не разбежишься. Приходилось много ездить – по хозяйственным, личным и прочим надобностям.

Самым древним способом перемещения между городами был, конечно, водный. Железных дорог еще не было, да и вовсе дорог никаких еще не было, что там говорить – городов еще не было, а реки уже текли. Неудивительно, что ко второй половине позапрошлого века водный транспорт достиг колоссальных высот.

Чудна чудная машина –
Развеселый пароход,
Уж мы сядем и поедем
Во Черепов городок.

Такую песню распевали обыватели, жившие в районе так называемой Мариинской водной системы. А «Черепов городок» – город Череповец, своего рода столица системы озер и каналов, связавшей, по сути, Москву с Петербургом.

Виды с парохода открывались очень даже соблазнительные. Путешественник Лука Петров писал о них: «За рекою Ягорбою от востока и севера представляются взору неизмеримые дремучие леса. Напротив, по течению Шексны, от юга и юго-запада самые пленительные виды, обширные равнины и на них многолюдные селения, между которыми возвышаются каменные храмы, стоящие один от другого в недалеком расстоянии».

А поэты воспевали славную Шексну в своих прочувственных и романтических стихотворениях. К примеру, Игорь Северянин:

Шексна моя, и Ягорба, и Суда,
Где просияла первая любовь,

Где стать поэтом в силу самосуда
Взбурленная мне предредила кровь.
Вас повидать мое желание,
Непобеждаемое, как весна...
Сияет даль, и там, в её сиянии,
Моих слиянных рек голубизна.

Сама же Мариинская система развивалась так. В «Кратком очерке возникновения города Череповца...» говорилось: «В 1860 году появился на р. Шексне первый пассажирский колесный пароход “Смелый”, 20 сил, под прежним названием “Ундина” совершавший рейсы между Ораниенбаумом и Петергофом, купленный Милютиными у Н. И. Мюссард за 3500 р., с уплатою при покупке 1500 руб., а остальные – в 2 года. Пароход был длиною всего в 14 саж., невысокий боками, мелкосидящий – до 14 вершк. На нем был только тент, но кают не было; затем уже этот пароход в доке был переделан, сделаны были палуба и каюты.

Этим пароходом была открыта пассажирская линия от Череповца до Рыбинска и вверх по Шексне до Чайки.

На следующий год был приобретен первый буксирный небольшой винтовой пароходик от того же Мюссарда под названием “Филипп Ирапский”, который и положил начало буксирному пароходству по Шексне и навсегда заменил конную тягу судов, столь губительную для населения распространением сибирской язвы».

В 1864 году, в честь посещения Череповца одним из членов императорской фамилии, ныне забытым цесаревичем Николаем Александровичем, «братьями Милютиными на заводе Макферсона... был заказан пассажирский пароход в 50 сил и наименован “Цесаревич”, стоимостью в 17 500 руб., с уплатою денег в 4 года. Пароход этот относительно удобства и комфорта удовлетворял невзыскательную в то время публику. Сначала пароход отходил два раза в неделю, теперь же ежедневно, да еще три парохода совершают рейсы («Краткий очерк возникновения города Череповца» датирован 1910 годом. – А. М.)».

И далее: «Кроме того, в конце 1868 года на своей судостроительной верфи была осуществлена Иваном Андреевичем идея открытия русского общества торгово-

го мореплавания постройкою трех деревянных судов: 2-х шхун “Великий князь Алексей” и “Царское Село” и брига “Шексна”. Первая из них была спущена на воду в присутствии Его Императорского Высочества Велико-го Князя Алексея Александровича при посещении Им г. Череповца в 1870 году, в честь коего и была названа шхуна. Шхуна эта по прибытии в Петербург была поставлена у Дворцовой набережной и удостоилась посещения Высочайших Особ и высокопоставленных лиц и обратила на себя внимание столичных жителей. Эти суда были нагружены товаром в Кронштадте и совершили заграничное плавание».

Сам же Милютин не без гордости писал об этом: «Корабли, сверх ожиданий, оказались лучшими ходоками, получив свидетельства 1-го класса Английского Ллойда (британская страховая компания. – А. М.), ходили во все северные европейские порта, а затем из Ливорно, с мрамором, в Бостон, в Америку, а оттуда с юфтью в Англию и т. д. Один из них потом, при входе в устье Печоры погиб (с солью, которую вез для Печорского края) благодаря отсутствию вех и бакенов».

Но Милютины не ограничивались одним лишь строительством, покупкой и продажей пароходов. Иван Андреевич писал в Новгород губернатору (в то время Череповец входил в Новгородскую область): «С 1863 года я первым начал вводить буксирное пароходство и продолжаю его расширять по настоящую пору, борясь с препятствиями. Трехлетний опыт показал, что развитие пароходства на Шексне полезно и важно не в одном торгово-промышленном отношении, но и в сельскохозяйственном, потому что много рук и лошадей освободит оно от бесполезной и тяжелой коноводской работы и обратит их к земледелию или к другой производительной промышленности. Чтобы развить пароходство на Шексне в степени, соответственной потребности... я обратился лично здесь в Петербурге к господину Министру путей сообщения, который, хотя сознает пользу и необходимость в развитии пароходства на Шексне, но тем не менее желал бы в этом отношении еще слышать заявление или засвидетельствования Начальника губернии, через которую проходит большая часть реки Шексны».

Милютин заботился о Мариинской системе – рекам Шексне, Ковже, Вытегре и Свири, связывающим Волгу и Санкт-Петербург. Иван Андреевич в подробностях описывал ее: «Готовым природным путем я называю р. Шексну от Волги до Белоозера из 400 верст – 330 верст, Белое озеро 40 в., р. Ковжа 40 в., это к Волге, по ту сторону водораздела; затем по сю сторону, к Петербургу: р. Вытегра 20 в., Онежское озеро 30 в., р. Свирь на 200–150 в., Ладожское озеро 160 в., или рядом с ним идущие две параллели каналов 150 в. и р. Нева до Петербурга 50 в., далее уже идет бесконечное море. Между этими противоположными направлениями течения рек лежит водораздел с богатейшими бассейнами и источниками воды в виде озер Ковжского и других, которые тянутся непрерывной цепью, раскинувшись по плоской возвышенности, разделяющей Каспийский бассейн от Балтийского, и от этой черты разделения вод идут: к Волге шлюзованная часть р. Ковжи на 40 в., а к Неве шлюзованная часть р. Вытегры на 60 в. Вот на них-то и устроены были, по мысли Петра Великого, шлюзы, чтобы при помощи их подняться судам на упомянутую возвышенность и спуститься с нее (недаром говорится в Священном писании “на горах станут воды”, а нам остается добавить “и пройдут пароходы”)... Таково географическое положение занимает Мариинская система – этот своего рода Панамский канал».

Увы, эта удобная чередка рек в иных местах была и мелководна, и узка. Требовались капитальные работы по благоустройству той речной системы.

Рыбинские и петербургские купцы (конечно, раззадоренные И. Милютиным) писали: «Если бы Правительство затруднилось в пожертвовании подобного значительного капитала (работы оценивались в 10 миллионов рублей. – А. М.), с полной затратой, или даже с возвратом посредством особого судоходного сбора в продолжение известного времени, по примеру канала Императора Александра II, или другим каким-либо эксплуатационным образом, то купечество принимает на себя обязательство собрать капитал и устроить путь на тех началах, какие, по обоюдному соглашению с Правительством, выработаны будут, нисколько не рассчиты-

вая в этом отношении на особенно выгодное помеще- ние капитала, а имея в виду государственную пользу».

Под этим документом подписались 126 предприни- мателей. Дело начинало потихоньку двигаться. Очень уж потихоньку – к 1896 году был вырыт Луковецкий пе- рекоп, который на семь километров сократил путь по Шексне. Где-то подправили дно. Где-то поставили шлю- зы. Но и требования к системе возрастали. Иван Андре- вич писал: «Мы всегда... старались удовлетворить толь- ко потребности вчерашнего дня, а не дней будущих, вперед не смотрели, благо удавалось, когда приходила беда на двор, отпихивать ее, и слава Богу! Так думали и смотрели на Мариинскую систему сорок лет, починяя и поправляя ее для одних задов».

Тем не менее, по сведениям начала прошлого сто- летия, Череповец был очень даже крупным портом: «В г. Череповце на реке Шексне находятся две пароходные пристани, куда приходят и отходят пассажирские паро- ходы из Рыбинска в Череповец, из Чайки в Череповец и обратно. Кроме того, в летнее время вдоль берега ос- танавливается масса судов, идущих по реке Шексне из Рыбинска в Петербург, частью для выгрузки, частью для загрузки. С проведением железной дороги Петербург – Вологда, в особенности ветки к ней, пристань “Черепо- вец” займет первое место, потому что здесь будет оста- навливаться почти весь караван, идущий из Рыбинска, и перегружаться на железную дорогу, по которой кладь пойдет дальше на Петербург, вследствие чего эта при- стань будет иметь важное значение для Мариинского водного пути, как передаточное звено груза с Волги на Петербург».

Главная же русская река – конечно, Волга. Уже с XVI века по ней ходили всевозможные посудины с названи- ями странными и романтическими: струги, насады, кла- ди, каторги, неводники. На смену тем судам пришли не менее чудные расшивы, беляны, гусяны, мокшаны, а также тихвинки и коломенки.

Расшивы, например, были суда большие, крепкие и, более того, имели палубу, что в допароходную эпоху встречалось нечасто. Коломенки были беспалубными, но зато имели двускатную крышу. Мокшаны тоже были

с крышей, от коломенки же отличались этакой «каютой» в центре судна. Все это хозяйство украшалось затейливой резьбой и росписью. А беляны – так и вовсе не суда в широком смысле слова, а скорее просто-напросто дрова. Собственно, и делали беляны именно для перевозки дров, точнее, леса. Сколачивали корпус этого оригинальнейшего транспортного средства из хороших бревен, но в отличие от прочих судов бревна не смолили. По прибытии беляны к месту назначения ее сразу же раскурочивали и полученные стройматериалы присоединяли к продаваемому лесу. Выходило, что дрова, как в сказке, возят себя сами.

Работали старинные суда на силе человеческой. Однако в основном не весельной, как где-нибудь в Средиземноморье, а иной – бурлацкой. И раздавались над берегом крики дикарские, зычные:

- Отдавай!
- Не засаривай!
- Засобачивай!
- О-го-го-го!

А также пресловутая «Дубинушка».

Самой же замысловатой была песенка про пуделя. Точнее, про двух пуделей – белого и черного. Если артель бурлаков уставала, то подбадривалась следующими загадочными строками:

Белый пудель шаговит, шаговит...
Черный пудель шаговит, шаговит...

Почему именно пудель – бурлаки не знали сами. И почему вообще собака – тоже, разумеется, не знали. Более того, они даже не знали, что такое пудель. Думали, что этакий бурлацкий бог, но уж никак не «пес смердящий».

Составить с бурлаками договор было особым искусством. Следовало в нем предусмотреть огромное количество возможных неожиданностей. Вот, например, один из документов, излагающих «права и обязанности» обеих сторон: «Убрать как следует к плаву, сплавить вниз рекою Волгою до колонии Баронского к показанным амбарам, из коих по уделании нами мостков нагрузить пшеницей, как хозяину угодно будет, по нагрузке

же и по-настоящему убравшись, взвести одну расшиву вверх, рекою Волгою до Ниж. Новгорода с поспешностью, не просыпая утренних и вечерних зорь, в работе определить нас на каждую тысячу пудов груза по три с половиною человека кроме лоцмана... Если же с судном последует несчастье и не будет возможности спасти оное, то обязаны мы немедленно оное подвести к берегу, воду из оногo отлить, кладь выгрузить на берег, подмоченное пересушить и обратно в то или другое судно нагрузить и следовать по-прежнему.. При этом обязаны мы иметь на судне крайнюю осторожность от огня и для того табаку на судах отнюдь не курить, от нападения воров защищаться и до грабежа не допускать, судно и хозяина днем и ночью оберегать... По приходе в гор. Нижний судно поставить, припасы пересушить, убрать, куда приказано будет, потом, получа паспорта и учинив расчет, быть свободным».

В некоторых случаях учитывались «личностные качества» потенциальных исполнителей и в договор вставлялись приблизительно такие пункты: «И в той работе никаким воровством не воровать, не бражничать, зернью и в карты не играть, никакого убытку не доставить». Однако большинство наемников не отличались ни добропорядочностью, ни патриотизмом – «зернью» играли, бражничали, если кто угостит, а в случае нападения на судно, вместо того чтобы защищать его, хоронились в траве – чтобы самим от разбойников не перепало.

Все же прогресс неумолимо наступал, и в 1838 году к Саратову подошел первый пароход. Он шел из Астрахани вверх и нагонял на обывателей презрение и ужас. Они не понимали, как так можно ездить не под парусом, не с веслами, не с бурлаками, а на какой-то дьявольской посудине, которая для пущей богомерзости украшена огромной печкой с дымящейся трубой.

Тот пароход был скорее курьезом, а не серьезным изделием. Первое же промышленное паровое судно приступило к выполнению своих обязанностей в 1846 году. Получилось оно, по словам очевидцев, «довольно несуразное, плоскодонное, с железным корпусом, приподнятым носом и кормой и впалой серединой, где по-

мещалась громоздкая машина в 250 номинальных сил». Двигалось это чудовище довольно медленно, зато уверенно, и оправдало себя за весьма короткий промежуток времени. С этого момента начинается развитие на Волге паровых судов, носивших порой самые необычные названия.

Один из пионеров пароходства, Дмитрий Васильевич Сироткин, приобрел на одном из саратовских маслобойных заводов старую и обветшавшую паровую машину, самостоятельно выстроил судно из дерева, с большим трудом приделал к судну отремонтированную им машину и, в память о вложенных трудах, назвал свой пароход «Многострадальный». Пароход оказался крепким и исправным и спустя несколько лет оправдал затраты Дмитрия Сироткина. Тогда хозяин переименовал его в «Оправданный».

Пассажирские буксирные пароходы с каютами именовались «Дружина» – видимо, в знак того, что пассажирам, в случае чего, придется собственными силами спастись от речных пиратов. Саратовские мукомолы братья Шмидт назвали свое судно «Мельник» (правда, кроме «Мельника» они владели «Колонистом», «Михилом» и «Иосифом»). Общество Рязанско-Уральской железной дороги построило большое судно специально для перевоза пассажиров с одного берега Волги на другой и назвало его «Переправа Вторая». Товарищество Э. Борель возило муку и зерно на пароходе по имени «Ваня», который позже был превращен в канонерскую лодку Красной армии и получил новое имя – «Ваня-коммунист».

Первый пароход, приобретенный П. Зарубиным, так и называли – «Первый». Второй – естественно, «Второй». Однако вскоре эта примитивная система надоела пароходчику, и третье судно (правда, арендованное) называлось просто-напросто «Гуреев».

К XX столетию на Волге сформировывались крупные пароходные компании – «Самолет», «Русь», «Кавказ и Меркурий». В 1887 году и в Саратове была создана своя фирма – «Купеческое пароходство». Названия его судов были особо пафосны – помимо само собою разумеющегося «Купца» здесь были «Аскольд», «Олег», «Анд-

рей», «Борис», «Владимир», «Алеша Попович», «Великий князь», «Прогресс» и даже «Реалист» с «Академистом». Спустя 11 лет после создания этого пароходства «Саратовский листок» напечатал такое объявление: «Купеческое пассажирское пароходство по реке Волга с 10 августа открывает ежедневную линию без пересадки между Казанью и Астраханью. Отход от Саратова ежедневно вниз до Астрахани в 10 утра, вверх до Казани в 5 часов вечера. Такса на проезд пассажиров и провоз багажа значительно дешевле всех остальных пароходств. Грузы принимаются по соглашению по уменьшенным ценам. Пристань находится под Дегтярным взвозом между пристанями “Самолет” и “Кавказ и Меркурий”». Кстати, самолетами тогда называли не нынешние самолеты, которых еще и в помине не было, а именно пароходы, которые «сами летали» по воде.

Открыть регулярное и тем более ежедневное сообщение, встав в один ряд (не только по местоположению пристаней) с крупнейшими судоходными компаниями – это, конечно, достижение огромное. Но еще большим достижением считалось покуражиться перед конкурентами, доказать, что обладаешь лучшей техникой и лучшим капитаном. Иной раз пароходы разных фирм, одновременно отправляющиеся от пристани какого-нибудь города в одну и ту же сторону, устраивали между собою рискованные и, уж во всяком случае, убыточные гонки – когда не жалели двигателей, не разгружали в намеченных пунктах предназначенные для этого товары, иной раз забывали хозяев на пристани – лишь бы одержать верх над конкурентом. Притом забытые хозяева не возмущались, а, напротив, поощряли капитанов-лихачей.

Самым же необычным из судов, когда-либо курсировавших вблизи города Саратова, был пароход под названием «Святитель Николай Чудотворец». Дело в том, что на Волге было немало рыбацких поселков, находящихся в отдалении от городов и крупных сел. Естественно, что жители этих миниатюрных населенных пунктов испытывали трудности не только с медицинской помощью и всяческими промтоварами, но и с отправлением религиозных обрядов.

Некий астраханский мещанин Н. Е. Янков в 1907 году подал архиепископу Георгию проект устройства плавающей церкви. Энтузиаст писал: «Эта церковь в течение одной навигации может проплыть все берега низовья Волги с притоками, посетив все острова Каспийского моря, останавливаясь во всех местах, заселенных иногородцами... для совершения богослужения». Отец Георгий проект одобрил. Кирилло-Мефодиевская община приобрела с аукциона пароход «Пират», переименовала его в «Святителя Николая Чудотворца» и соответствующим образом переоборудовала. Это была настоящая плавучая церковь – со звонницей над штурвальной рубкой, алтарем вместо матросского кубрика, кельями иеромонахов вместо кают и большим пятикупольным храмом в носовой части судна.

Светскими были там лишь капитан и механик. Весь остальной экипаж состоял из монахов. Когда «Святитель Николай Чудотворец» проплывал по реке, то все в окрестностях слышали звон его колоколов. А причаливая у какой-нибудь очередной рыбацкой дереvушки, пароход десантировал туда монахов, проводивших водосвятия, молебны и прочие религиозные ритуалы. В 1911 году «Астраханские епархиальные ведомости» сообщали: «И какая была радость, когда этот храм прошлой Пасхой прибыл на рейд и совершал пасхальные службы. О тех восторгах, о религиозном подъеме, какой испытывали приморские жители, слыша на морских волнах благостный призыв к молитве и видя приближающийся к ним дорогой сердцу русского человека дом Божий».

С еще большей тщательностью был спланирован колесный пароход, предназначенный для путешествия по дельте Волги высокопоставленных чиновников: «Корпус будет построен из лучшей мартеновской стали... Помещения распределяются следующим образом, начиная с носу: в носовом помещении кабельгат и цепной ящик, потом каюта для помощника командира и машиниста. Позади этой каюты салон с двумя диванами. Сзади салона, на правой стороне, каюта чиновника, на левой стороне – уборная, клозет и буфет. По середине корпуса машинное и котельное отделение. Позади его,

на правой стороне, каюта командира, на левой стороне – для машиниста, потом помещение для 9 человек матросов, кочегаров и стражников. В самой корме – помещение для инвентаря. Каюта чиновника и салон будут отделаны клеенкой и полированными штабчиками из ясеня или другого твердого дерева. На полу настлан линолеум. Диван из трини или из другого подходящего материала. Все каюты администрации имеют нужную мебель и инвентарь. Остальные каюты под окраску».

Самым же популярным оставался обычный пассажирский флот. Пароходов было много, и «перевозчики» всеми доступными им способами боролись за клиента. Подчас победа достигалась самыми элементарными приемами. Были в Ростове, например, два жестоко конкурировавших судовых владельца – Кошкин и Парамонов. Суда у них примерно одинаковые, цены – тоже. Но в какой-то момент Парамонов придумал выдавать пассажирам бесплатно стаканчик горячего чая и бутерброд с очень даже дешевой по тем временам лососевой икрой. «Коммерческий люд» свой выбор сделал, и Кошкин разорился.

В том же Ростове-на-Дону, кстати, однажды на потеху публики было опробован новый вид «транспорта» – водные лыжи. И в газете «Приазовский край» за 1897 год появилась весьма занятная заметка: «В прошлое воскресенье... некто Бессонов производил на Темернике, недалеко от моста, опыты с изобретенными им водяными лыжами. Последние своей конструкцией походят на обыкновенные лыжи, служащие для движения по снегу, но большей ширины, и прикрепляются к ногам посредством ремней. При тихой погоде на них, по уверению изобретателя, можно пробежать в час до 6 верст». Впрочем, как сообщает далее газета, «пробное испытание лыж не увенчалось успехом, и Бессонов чуть было не захлебнулся в грязных водах Темерника». Однако подвиг испытателя от этого никоим образом не стал менее значительным.

В разных регионах, разумеется, была своя специфика. Архангельская акватория, к примеру, «славилась» отсутствием нормальных световых ориентиров. Неудивительно – край северный, малозаселенный. Один из

современников писал в 1911 году: «Главное затруднение в более правильном совершении пароходных рейсов – неосвещение входными маяками и створами пунктов, которые посещаются пароходами, несвоевременная постанова вех и бакенов, а также наблюдение за ними. Архангельский порт, к которому приход иностранных судов увеличился уже до 500, в осеннее темное время бывает закрыт для входа вследствие неосвещения. Все суда, идущие в Архангельск, должны останавливаться на баре реки Двины и ожидать рассвета, а также и почтово-пассажирские пароходы.

Для более правильного сообщения по Белому морю необходимо осветить все пункты, которые посещают почтово-пассажирские пароходы, и тем дать возможность беспрепятственного входа и выхода во всякое время дня и ночи...

По западному берегу Онежского залива царит полный мрак, пароходы совершенно лишены возможности выполнять их срочное расписание, в Кандалакшском заливе то же самое, в глубине Мезенского залива также нет никакого освещения.

Чтобы дать возможность развиваться торговле по Белому морю и более правильному почтово-пассажирскому сообщению, необходимо немедленно осветить недорого стоящими автоматическими маячками те пункты, к которым подходят пароходы; в некоторых местах достаточно только одних освещенных створов».

Там, на Северной Двине, совершались настоящие подвиги. Борис Шергин писал: «Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: “Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море вместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно...” – сказал да и удрал с корабля.

– Всю ночь я не спал, – рассказывает Люлин. – Сижу в “Золотом якоре” да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы – и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу – пусто! Ушли корабли! Увела! Через двои сутки телеграмма: “Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья”».

В Сочи, на заре создания курорта, были свои сложности: «Пароход подходит к Сочи. Вся публика на палубе. Многие волнуются, ожидая посадки на фелюги и высадки на берег. Беспокоятся за свой багаж, который надо погрузить в фелюгу, и не знают – как это можно сделать, так как самим не под силу, а носильщиков нет. Вообще поводов к беспокойству всегда находится много...

С парохода сбросили якорь. Подплывают фелюги. В первой – агент пароходного общества и чины таможенного ведомства. Они первые пристают к борту парохода и поднимаются по трапу. Фелюга отходит в сторону. За ней идет другая, третья... переполненные публикой и ручным багажом.

На палубе начинается сутолока. Прибывающая публика спешит занять на пароходе места, отыскивает свой багаж, который турки-гребцы поднимают на палубу, спешат где-нибудь сложить и получить “на чай”. Багаж перепутан, турки кричат, публика нервничает.

Приехавшая на пароходе публика тоже спешит поскорее спуститься по трапу на фелюгу и не знает, как отправить туда свой ручной багаж. Носильщиков нет, турок-гребцов только четыре человека, а приехавших масса. Толкотня усиливается. Около трапа столпились пассажиры всех трех классов. Фелюга быстро наполняется и, загруженная чуть не до самого борта, отчаливает. Сидят по бортам, на багаже, просто стоят, так как сесть решительно негде. За ней подходит вторая, третья... И так нагружаются все фелюги, пока не перевезут на пристань всю приехавшую публику».

Впрочем, на пристани путников поджидали новые сюрпризы. Книгоиздатель М. Сабашников писал: «Нас

доставили на берег в шлюпках. Высадившихся пассажиров окружили стоявшие на берегу лодочники турки, предлагая отнести багаж их в духан, находившийся тут же поблизости. Но из духана этого неслись пьяные песни и матросская ругань; нам не захотелось искать в нем прибежища. Спрошенный нами полицейский урядник объяснил, что это единственная гостиница в городе, но что нам лучше остановиться у обывателей».

В Кронштадте было сообщение с одним лишь городом – Санкт-Петербургом. Старожилы Д. Засосов и В. Пызин о том вспоминали: «Город был небольшой, все знали друг друга, развернуться было нельзя, поэтому при первой возможности и моряки, и обыватели отправлялись в Петербург. Веселые лица были у пассажиров и совсем другие, мрачные, при возвращении: деньги пропиты и прожиты, на ближайшее время предстоит жизнь в скучном и строгом городе. Кронштадтский пароход с запоздавшими гуляками последним рейсом возвращается в бурную темную осеннюю ночь. Ветер свищет, пассажиров, находящихся на палубе, обдает холодными брызгами, настроение плохое, побаливает голова, пусто в кармане, наконец и Кронштадт с мокрой пристанью. У кого остались деньги, бегут к извозчикам. Такса была единственная, 20 копеек, куда бы ни поехал. Некоторых выводят с парохода под руки: они добавляли в пароходном буфете. Бывали и другие настроения: «Когда приезжаешь в Кронштадт, тебя сразу обдает свежим морским воздухом, бьет волна, кричат чайки, пахнет смолой, встречаются настоящие “соленые” моряки, “марсофлоты”, все как-то бодрит человека, и он рад, что покинул суетный Петербург».

Те же авторы писали об особенностях сообщения в межсезонье: «Весной и осенью бывает такое время, когда и пароходы не могут ходить из-за подвижки льда, подводы и извозчики тоже не могут ездить. Тогда почта и “срочные” пассажиры перевозились в Ораниенбаум на так называемых каюках. Каюк – это широкая лодка, достаточно объемистая, на легких полозьях. Отчаянные кронштадтские “пасачи” брались перевозить на каюках почту и спешащих пассажиров, рискуя иногда жизнью.

Человека четыре “пасачей” с пешнями в руках, с ве-

ревочными лямками от каюка бегут по льду, где он еще держит. Вот встретились майна, они с ходу спускают каюк в воду, сами бросаются в него и переплывают чистой воду. Иногда валяются в нее по горло, но это их не смущает: в Ораниенбауме они выпьют водки, обсушатся и двинутся обратно».

Разумеется, популярность водного транспорта влияла на само устройство города. Часто неофициальным центром городской жизни становились набережные, особенно в больших торговых городах. Одну из таких набережных восхвалял «Саратовский дневник»: «Торговля Саратова на пристани вообще так значительна, что городской берег Волги, который растянулся на 6 верст, бывает иногда не в состоянии вместить в себя всего количества скопляющихся у Саратова судов. Навигационная пора – это целый лес мачт, между которыми мелькают там и сям дымящиеся пароходные трубы, а на берегу – толпы рабочих, занятых погрузкой и разгрузкой судов».

В свою очередь, «Саратовский листок» в 1898 году описывал пристань таким образом: «Берег Волги. Полдень. Солнце палит немилосердно. В воздухе висит сухой туман, заволакивающий Заволжье почти непроницаемой пеленой. По набережной от езды, точно от движения каких-нибудь полчищ, носятся целые тучи мелкой, едкой пыли. На реке – мертвая гладь. С разгружаемых судов от времени до времени доносится ожесточенная брань, возникающая на почве отношения “труда к капиталу” и наоборот».

Словом, картина впечатляющая. Впечатляющая, но притом не сказать, чтобы слишком уютная. А тут еще и маленький штришок в путеводителе по Волге, написанном братьями Боголюбскими (и, кстати, внуками другого путешественника, А. Радищева): «Наружный вид набережной непривлекателен, берег ее необделан и покрыт ближе к реке сыпучими песками, а выше состоит из глинистого грунта, до того вязкого, что весной и осенью по нем нет проезда».

И вторящий тому путеводителю уже упоминавшийся «Саратовский дневник»: «Набережные во всякое время – это нечто невозможное; незамощенные, заваленные

беспорядочно бревнами, досками, полно ям. Спускаясь к какой-либо из пароходных пристаней, рискуешь исколечить себя».

Власти Саратова, конечно, пытались исправить, что могли. Например, в 1860 году губернатор обратился ни много ни мало в Министерство внутренних дел с тем, чтобы создать, наконец, в знаменитой поволжской столице достойную пристань. Смета составила 18 700 рублей. Что-то из них было выделено, однако приличных причалов и насыпей так и не вышло.

Проблема осложнялась тем, что берег Волги потихонечку смещался, и создавать что-либо капитальное было, вообще говоря, нерационально. Один из очевидцев в 1913 году писал: «Злобу дня для Саратова составляет постепенное обмеление Волги или, вернее, постепенное отступление ее от города, очутившегося теперь от нее уже в двух верстах. Саратовцы стараются по мере сил и возможности бороться с этим злом; они устраивают плотины, направляют силу воды в сторону саратовского берега, роют каналы с этой же целью, но все эти меры пока еще не приносят существенной пользы, и Волга продолжает себе отступать да отступать по новому, полюбившемуся ей направлению». Для борьбы с этой напастью создавались разные машины и приспособления, например землечерпательная машина инженера Линдена Бетси (более в свое время известная как «землесос Бетси»). Но, несмотря на тысячи кубометров грунта, вынутых со дна реки, все это были только полумеры.

Тем не менее для жителей города пристань была чем-то радостным, светлым, счастливым. Пароходы навевали мысли о романтике далеких странствий. Сама же Волга в жаркие летние полдни давала столь желанную прохладу и успокоение. Понятно, что пристань и набережная, несмотря ни на что, были одним из излюбленных мест досуга саратовцев. Здесь даже проходили ярмарки. Не на причале – прямо на судах. Литератор В. Золотарев писал об одном из таких предприятий: «Спустившись к Волге, мы подошли к трем баржам, на которых размещалась вся ярмарка. Сначала по мосткам взошли на одну из баржей с щепным товаром – ложка-

ми, мисками, салазками, скалками, рубелями, различными игрушками, сделанными из дерева. Мне понравилась игрушка – кузнецы: на двух жердочках помещались два кузнеца с молотами в руках, которые бьют по наковальне в середине, когда ту или другую жердочки тянешь в разные стороны... Бабушка купила мне эту игрушку, а для дома купила несколько деревянных ложек и рубель для катания белья. На другой барже были гончарные изделия, и здесь бабушка купила мне глиняного петушка-свистульку. Обрато мы пошли пешком и долго шли до Верхнего базара; я рассматривал большие дома и все время свистел в своего петушка».

Зимой здесь катались на салазках и тройках, устраивали крещенские купели. А в 1876 году в «Саратовском справочном листке» появилась такая заметка: «Сообщаем известие, которое, вероятно, заинтересует многих из жителей Саратова. В городе предполагается устроить яхт-клуб. Почин по этому делу принадлежит Сергею Васильевичу Алфимову, стараниями которого сделаны все подготовительные работы, т. е. составлен проект устава... Клуб учреждает гонки судов, устраивает беседы по предметам, относящимся к плаванию на судах, выписывает суда или модели». Яхт-клуб и вправду открылся, его председателем стал тот самый Алфимов, а вошло в новую организацию около 150 человек. Яхты и в XIX веке были весьма дорогим увлечением, и только лишь годовой взнос составлял три сотни рублей.

Впрочем, удовольствие от нового общества могли получать не одни богачи – при яхт-клубе действовали гимнастическое общество, каток, а состязания яхтсменов собирали на берегу Волги несметное число зевак.

Но главным развлечением городской пристани был так называемый «вокзал Барыкина». Журналист Иван Горизонтов так описывал это увеселительное место: «При входе тебя встретит полицейский наряд, состоящий из двух околоточных надзирателей и двоих-троих нижних чинов, скрывающихся во мраке нижних галерей: усиленный состав полиции держится на всякий случай, ибо, хотя и редко, а скандалы... бывают... Сначала пойдем с тобой направо на наружную галерею, на которой устроен “ради сырости” небольшой фонтан с

водоемом, а в этом последнем плавают полууснувшие рыбы и безобразные черепахи... Вид с галереи открывается на Волгу великолепный... Перед глазами зрителя во всем величии необъятного простора (в особенности весной) и шири разлеглась река, несущая на хребте своем массу судов различных наименований, массу пароходов и бездну лодок... При лунном освещении картина эта еще лучше... пейзаж, утопая в серебристом свете луны, дает глазу чудное зрелище, полное поэтической прелести. Может быть, под влиянием этой картины развернулось чувство не одно сердце; возможно, что под кротким светом луны, отражающимся в таинственной глубине Волги, дрогнула симпатией не одна душа, нашедшая себе подругу в жизни».

Впрочем, не одним лишь видом Волги завлекал купец Барыкин в свое заведение саратовцев: «Кроме фокусников и акробатов, у Барыкина поет хор русских песенников. Поют эти молодцы неважно: раз волжский бурлак с баржи перетащен на эстраду – уж он певец плохой: не та обстановка, не тот коленкор, как говорят купцы. Зато пляшут эти певцы лихо: бьют ногами дробь не хуже солдатского барабана. В самой зрительной зале есть маленькая сцена, а на ней поют хоры девиц, выступают квартеты, куплетисты, выходят различные уродцы и феномены».

Кроме общего зала в вокзале Барыкина были и отдельные «вагончики», в которых уединялись любители дружеских кутежей: «В былое время (а может быть, и теперь) в этих отдельных кабинетах выпивалась масса вина и в заключение лился рекою так называемый монахорум – изобретение католических патеров и сногшибательный напиток».

Однако наступало утро, и барыкинский «вокзал» пустел. Жизнь же саратовской пристани не прекращалась и ночью, а утром ее ритм лишь усиливался. Подходили и отчаливали пароходы, опустошались и вновь наполнялись их трюмы, уставших рабочих сменяли другие. Словом, не прерываясь ни на миг, происходило то движение, благодаря которому Саратов сделался одним из самых преуспевающих российских городов, можно сказать, столицей Поволжья.

Впрочем, от саратовской пристани не отставала и самарская.

Один из путешественников восхищался: «Что в Самаре хорошо, интересно в художественном отношении – это Волга, а главное – пристань... Какая масса судов, и страшно разнообразных! – и носовые, которые мне нравятся более других, беляны, баржы, барки, дощанки, кладушки, рыбницы, просто лодки, завозки и т. д. – все это крайне живописно, а также люди, какие типы, какие костюмы, какие фигуры! Везде жизнь, движение, суета... Крик, шум, завывание торговков и торговцев, свист пароходов, музыка, песни, весь этот невообразимый хаос поражает».

Впрочем, и тут не все обстояло гладко: «Самара первая на Волге и вообще в России хлебная пристань. Здесь пароходы пристают близ самого города. Вы увидите очень много гостиниц на берегу, но среди них нет ни одной порядочной... Около самой пристани стоит “пароходный вокзал”, в котором во время прихода парохода играет музыка. Этот “вокзал” не что иное, как самая грязная харчевня, в которой отвратительно кормят, еще хуже поят и за все берут бессовестно дорого».

Славились особые волжские пикники. Один из декабристов, отбывавший в этих местах ссылку, вспоминал: «В Самаре часто составлялись веселые пикники. Для этого нанимали волжскую лодку с гребцами, брали с собой вкусные яства: пироги, шоколад, чай, кофе, отправлялись на какой-нибудь остров и располагались где-нибудь в живописной местности у пчельника. Пока старшие готовили все для еды, охотники удили рыбу на берегу с удочками, а все остальное общество, состоящее из сонма молодых и, надо прибавить, прелестных девиц и молодых людей, уходило гулять по лесу. В этих лесных прогулках часто встречались большие препятствия в крутых оврагах или в поваленных деревьях, и тут наступало для молодых людей самое приятное наслаждение вести, поддерживать и вообще оказывать различные услуги, даже с риском сломать себе шею, милым спутницам. Прелестные эти спутницы с пылающими от волнения, усталости, опасных переходов лицами были еще прелестнее. Как приятны были эти прогулки!»

Здесь обычным грузчиком пришлось трудиться самому Шаляпину. Знаменитый певец вспоминал: «В Самаре я попросил крючников принять меня работать с ними.

– Что ж, работай.

Грузили муку. В первый же день пятипудовые мешки умаяли меня почти до потери сознания. К вечеру у меня мучительно ныла шея, болела поясница, ломило ноги, точно меня оглоблями избили. Крючники получали по четыре рубля с тысячи пудов, а мне платили двугривенный за день, хотя за день я переносил не меньше шестидесяти—восемидесяти мешков. На другой день работы я едва ходил, а крючники посмеивались надо мной:

– Привыкай, шарлатан, кости ломать, привыкай!

Хорошо, что хоть издевались они ласково и безобидно».

Спустя годы Шаляпин опять оказался на пристани. Теперь его воспоминания были совсем другими: «Странствуя с концертами, я приехал однажды в Самару, где публика еще на пароходе, еще, так сказать, авансом встретила меня весьма благожелательно и даже с трогательным радушием».

Таскать мешки более не было необходимости. Впрочем, не обошлось и без конфуза. Пробравшийся на торжество корреспондент «Волжского слова» задал, казалось бы, вполне естественный вопрос о гонарарах. На что Шаляпин разразился отповедью:

– Говорят, я много получаю. Да, много! Но кому какое до этого дело? Это чисто русская замашка считать в чужом кармане... Когда меня постигает какая-либо неудача или потеря голоса, я встречаю всюду какое-то злорадство. И не у своих только коллег, что было бы объяснимо, но и среди образованных лиц, ничего общего не имеющих с искусством... И оскорбительно не то, что про меня говорят и клеветают, а то, что такие пустяки и мелочи могут занимать культурные слои общества.

Радость встречающих, естественно, была омрачена подобной речью.

Славилась и пристань города Ростова-на-Дону. Главным делом порта, разумеется, была торговля. Вот одно из

описаний конца XIX века: «По набережной... являющейся самым оживленным в навигационное время пунктом города, где от зари до ночи, а нередко и ночью, кишмя кишит многотысячный муравейник грузовых рабочих, тянутся громадные каменные корпуса хлебных амбаров, в которых хранятся миллионы пудов отсылаемого за границу зерна. Тут же находятся обширные склады железа и скобяного товара, каменного угля, лесные биржи, торговля рыбой и пр., проходит товарная ветвь Юго-Восточной железной дороги, представляющая собой то чрезвычайно важное удобство, что дает возможность производить погрузку непосредственно из вагонов в амбары или суда и обратно, и сосредоточены все пароходные пристани пассажирского и грузового движения».

Естественно, шумный и оживленный порт Ростова был одним из самых популярных в городе рабочих мест. Здесь, например, еще неизвестным бродягой трудился на разгрузке и погрузке Максим Пешков – будущий Горький. Уже впоследствии, когда он прославился и, больше того, сделался главным официальным писателем, начали собирать воспоминания таких же бывших оборванцев, некогда работавших бок о бок с основателем соцреализма. Один из них, к примеру, вспоминал: «В порту кого только не перевидишь. Одни уходят, другие приходят. А Пешкова я запомнил. Он мне в душу запал. Парень он был необычайный, заметный, с большим понятием. Как с работы придет, так и за газету, бумажки какие-то читает».

Другой же описывал общий характер работы: «Грузили пшеницу, ячмень, рожь, да и многое другое. Гавани не было. Подойдет баржа, ты по досчатому мосту и прешь с грузом. А он гнется и трещит, вот-вот в воду свалишься... Работали по двенадцать—четырнадцать часов, а то и просто от солнца и до солнца».

Увы, мемуарист, скорее всего, не преувеличивал. Портовые работы ни приятностью, ни легкостью отнюдь не отличались.

Кстати, именно на пристани Ростова-на-Дону в 1901 году изобретатель Александр Степанович Попов смонтировал первую в нашей стране радиостанцию.

Предшествовало этому любезное письмо, направленное господину А. Попову Комитетом донских гирл (то есть водных рукавов): «Комитет для содержания и исправности донских гирл... при обсуждении проекта углубления судоходного канала гирл, а следовательно, и его углубления обратил внимание на то обстоятельство, что оптическая сигнализация с плавучего маяка, стоящего у выхода из канала в Азовское море на лоцмейстерский пост, находящийся на берегу, на острове Перебойном становится все затруднительнее и ведет иногда к нежелательным ошибкам, а поэтому комитет решил заменить эту сигнализацию более совершенной системой беспроволочного телеграфа, отдав при этом предпочтение системе русского изобретателя, т. е. Вашей».

Попов предложение принял, и вскоре жизнь донских гирловиков стала намного проще.

Неудивительно, что набережная Ростова-на-Дону стала одним из самых романтических мест в городе. Здесь, например, Евгений Шварц сделал весьма своеобразное предложение руки и сердца молодой актрисе Гаянэ Халаджиевой. Корней Чуковский об этом писал: «Однажды, в конце ноября, поздно вечером шли они в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что по первому слову выполнит любое ее желание.

– А если я скажу: прыгни в Дон? – спросила она.

Он немедленно перескочил через парапет и прыгнул с набережной в Дон, как был – в пальто, в шапке, в калошах. Она подняла крик, и его вытащили. Этот прыжок убедил ее – она вышла за него замуж».

А вот известный физиолог Иван Павлов понимал романтику иначе. Его невеста Серафима Крачевская вспоминала о том: «Стояли лунные вечера. Внизу серебристой лентой блеснул Дон. Цветущие акации наполняли воздух своим ароматом. Свет луны придавал всему таинственное освещение. Речи же Ивана Петровича, красочные, яркие, возвышенные, уносили меня далеко от земных дел и забот. Он говорил о том, что мы вечно и дружно будем служить высшим интересам человеческого духа, что наши отношения прежде всего и во всем будут правдивы... Наше поколение было увлечено идеей

служения народу. Мы считали себя должниками перед ним, и это возбуждало наш энтузиазм».

Рисковать своим здоровьем Павлову не требовалось – было достаточно речей.

* * *

Во второй половине позапрошлого века водный транспорт все больше и больше терял актуальность. Причина простая – развитие железных дорог. На «машине» (как в то время называли паровоз) выходило гораздо быстрее.

Первое время этот транспорт был, конечно, непривычным. Особенно сложно было приспособиться к нему простым мещанам и крестьянам, «не из образованных сословий». Дежурный по вокзалу, например, звонил в свой колокол и громко объявлял:

– Господа, первый звонок к поезду Самара – Москва! Пожалуйста на посадку!

Услышав это приглашение, крестьяне лишь протягивали:

– Вишь, это не нам пока что. Это – господам.

Затем дежурный объявлял:

– Господа, второй звонок к поезду Самара–Москва! Занимайте свои места!

Крестьяне вновь стояли неподвижно.

В конце концов дежурный не выдерживал и обращался к ним совсем не по уставу:

– Черти! Олухи! Поезд отходит! Садитесь быстрее!

– Вот, это уже нам, – смекали землепашцы и на ходу заскакивали на подножку.

Сложности случались самые непредсказуемые. Однажды, например, через Самару в город Томск ехали господа из Бузулука. Им нужно было по делам остановиться в городе всего лишь на день, однако же в самарском железнодорожном управлении им отказали – дескать, в подобном случае билет теряет силу.

– Как же быть? – сокрушались несчастные. – Надо остаться в Самаре, а если билеты пропадут, то на новые у нас не хватит денег.

На что служители дали проезжим вполне дельный совет:

– Вы садитесь в вагон и начинайте слегка так скандалить. Явятся жандармы и удалят вас с поезда. А когда удалят, то по железнодорожным правилам вам всем должны вернуть деньги на проезд от Самары до Томска. Вы обделаете здесь свои дела и спокойно поедете дальше.

Впрочем, иногда «скандалили» и служащие. Как-то раз один из пассажиров отлучился в соседний вагон – там ему показалось прохладнее. К нему подошел кондуктор и потребовал билет.

– Извините, – сказал пассажир, – мой билет у жены, а она в следующем вагоне. Давайте я с вами туда пройду.

Реакция кондуктора была довольно неожиданной.

– Врешь, хулиган! – закричал на пассажира чиновник и со всей силы ударил его. На шум прибежал охранник и, не разобравшись, начал помогать коллеге. В результате жертва прибыла в Самару с окровавленным до безобразия лицом.

Со временем, однако же, традиции «устаканились».

Поэт Афанасий Фет писал в своих воспоминаниях: «В условный день мы съехались с Борисовым в Орле и по Витебской дороге отправились к Брянску с самыми розовыми мечтами, в надежде на моего Гектора. За несколько станций до Брянска поезд что-то надолго остановился, и, не находя места от полдневного зноя, остановился и я в каком-то оцепенении посреди залы 1-го класса. Несмотря на возвышенную температуру всего тела, я почувствовал какое-то необыкновенно мягкое тепло, охватившее средний палец руки. Опустивши глаза книзу, я увидал, что небольшой, желтый, как пшеничная солома, медвежонок, усевшись на задние ноги, смотрит вверх своими сероватыми глазками и с самозабвением сосет мой палец, принимая меня, вероятно, за свою мать. Раздался звонок, и я должен был покинуть моего бедного гостя».

Медвежонок, вышедший из леса и расположившийся на отдых в станционном павильоне, – явление для того времени вполне естественное.

Новому виду транспорта не слишком доверяли. Алексей Константинович Толстой писал губернатору Брянска незадолго до начала там железнодорожного движения, в 1868 году: «Кого же ты посадишь в свой пробный

вагон? Если ты еще не решился, то советую тебе посадить со знаменем в мундире твоего чиновника особых поручений Ланского. Пусть он летит в Брянск и обратно и если вернется цел, тогда ты и сам можешь ехать; если же окажется увечье – значит, дорога не годится». Правда, когда дорогу, наконец, открыли, она искренне восхитила обывателей. Василий Немирович-Данченко (брат режиссера, известный в свое время журналист. – А. М.) писал о первом путешествии маршрутом Орел – Брянск: «Я не знаю местности более бедной и менее производительной для рельсового пути, и в то же время я не встречал дороги, роскошнее устроенной: зеркальные вагоны с сидениями, крытыми узорчатым бархатом, с потолками и дверями из цельного палисандра, со всевозможными удобствами, под конец даже несколько надоедающими».

Вот такие несуразности.

Одними из первых на дороге освоились, ясное дело, мошенники. Начальник Московской сыскной полиции А. Ф. Кошко передавал рассказ одной из «железнодорожных» потерпевших: «Мой жених оказался мужчиной ничего себе. Назвался он Гаврилой Никитичем Сониным, тверским купцом, приехавшим в Москву на месяц по делам. Показался он мне человеком степенным и аккуратным...

И вот, третьего дня состоялась наша свадьба. У него был шафером какой-то приятель, этакий красивый курчавый мужчина, у меня же мой двоюродный брат. Больше никого и не было. Прямо из церкви заехали ко мне, забрали пожитки и махнули на Николаевский вокзал. Заняли мы места, как господа, во втором классе, в купе. Я на одной скамейке, а напротив меня уселся муж, крепко держа карман с деньгами, переданными ему мною в церкви. Едем – беседуем. Истопники напустили такой жар, что я взопрела. Захотелось мне пить, я и говорю: «Гаврила Никитич, испить бы. Жарища такая!» А он отвечает: «Вот приедем в Клин, я мигом слетаю в буфет за лимонадом».

И действительно, в Клину он выскочил из вагона и побежал в буфет. Жду пять минут, жду десять – нет моего Гаврилы Никитича. Позвонили звонки, просвистел паровоз, и мы тронулись. Я, чуть не плача, кинулась ту-

да-сюда, кричу проводнику: человек, мол, остался. А проводник этак спокойно отвечает: что же, это бывает. Не извольте беспокоиться, нагонит нас следующим поездом. Как доехали до Твери, – я и не помню. Однако вылезла, села на скамейку на платформе, расставила около себя вещи и принялась ждать. Часа через полтора пришел поезд из Москвы. Гляжу по сторонам, оглядываюсь, а мужа нет как нет. Пропустила еще один поезд и думаю, что же мне делать теперь. Подумала я, подумала и сдала вещи на хранение на вокзал, а сама на извозчике прямо в полицейское управление, в адресный стол. Навожу справку, где тут, мол, у вас проживает купец Гаврила Никитич Сонин? Барышня записала и пошла справляться. Возвращается минут через двадцать и заявляет: “такого купца в Твери не имеется”. Тут сердце у меня так и упало».

Надо ли говорить, что вместе с мужем исчез бесследно и «карман с деньгами»?

Впрочем, в процессе возведения железнодорожных объектов тоже не все было честно и нравственно. Чехов, например, писал Суворину о своем родном городе Таганроге: «Вокзал строился в пяти верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление соглашалось дать только сорок; разошлись в десяти тысячах, и теперь горожане раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое в смете обходилось дороже».

Такой вот «железнодорожный» бизнес!

Впрочем, железная дорога очень быстро вошла в провинциальный быт. Правда, вокзал все же чаще был символом расставаний, а не встреч – молодежь стремилась в шумные столицы. Провинциальные девицы распевали грустные частушки:

Распроклятая машина
Дружка в Питер утащила,
Она свистнула, пошла,
Расцеловаться не дала.

Императоры и члены их фамилии продолжали пользоваться водным транспортом. Они ценили комфорт и безопасность, а обеспечить все это на част-

ном судне было проще, нежели в железнодорожном вагоне – узком и доступном для множества подозрительных людишек. Однако и они со временем перебрались на рельсы – скорость ценилась все больше, а технологии создания комфорта и отслеживания ненадежных граждан неуклонно развивались. Народ же ликовал не меньше, чем при виде белоснежных пароходов с венценосными соотечественниками на борту. Вот, к примеру, сообщение одного из очевидцев о прибытии в 1904 году на вокзал города Белгорода Николая II: «В самый день царского приезда с 8 часов утра начали собираться в железнодорожном вокзале представители города, дворян, земства, крестьянских сообществ. Ровно в 9 часов утра у перрона ст. Белгород тихо и плавно остановился царский поезд, из которого вышли государь император с наследником престола в сопровождении министра императорского двора генерал-адъютанта барона Фредерикс, военного министра генерал-адъютанта Сахарова, дворцового коменданта генерал-адъютанта Гессе, начальника канцелярии министра двора генерал-майора Мосолова, флигель-адъютантов – графа Шереметева 2-го, графа Гейдена, князя Оболенского и др. лиц. Встреченный полковым маршем почетного караула от 203 пехотного резервного Грайворонского полка, а при обходе фронта – народным гимном, при кликах “ура” вступил государь в станционный зал, где встречавшие депутации, поднося хлеб-соль, имели счастье выразить его величеству.. приветствия.. Выслушав все эти приветствия и милостиво принимая хлеб-соль, государь император благодарил каждую депутацию в отдельности за выраженные чувства».

Здесь же, естественно, царя и провожали.

В некоторых случаях вокзал был своего рода культурным центром. Ярчайший пример – город Павловск, конечный пункт так называемой Царскосельской железной дороги – первой в России. Павловский «вокзал» тоже стал первым – его торжественно открыли в 1838 году. Вокзальный комплекс состоял из вестибюля, зала для торжественных обедов, концертов и балов, двух зал поменьше, парочки зимних садов, двух гостиничных

флигелей с сорока номерами и открытой галереи «для потребления публики в летнее время».

Сразу стало ясно – строили вокзал не зря. Поэт Кукольник писал композитору Глинке: «Для меня железная дорога – очарование, магическое наслаждение. В особенности была приятна вчерашняя поездка в Павловский вокзал, вчера же впервые открытый для публики... Вообрази себе огромное здание, расположенное в полукруге с открытыми галереями, великолепными залами, множеством отдельных номеров, весьма покойных и удобных». То есть удовольствие от посещения вокзала было не меньшим, чем собственно от поездки в поезде (в те времена весьма диковинного аттракциона). Более того, целью поездки Нестора Васильевича было именно посещение вокзала, а отнюдь не парка или царского дворца.

Как раз благодаря Павловскому вокзалу в Петербурге начался невероятный дачный бум: «Павловск считается первой аристократической колонией, зато и цены там чудовищны. В улицах, прилегающих к большому саду, за три комнаты с мебелью платили 360 рублей, т. е. такую сумму, за которую в Галерной гавани можно купить целый дом». Дороговизна здешней жизни ощущалась даже в мелочах. «Иллюстрированная газета» сообщала: «Существует ли в Павловске такса для извозчиков? В апреле мы видели ее собственными глазами, прибитую у вокзала, в мае она уже исчезла. В воскресенье во время сильного дождя ни один извозчик не двигался с места меньше шести гривен, когда прежде по таксе должны были возить за 15 коп.».

Вокзал между тем набирал популярность. И в 1861 году его решили капитально изменить. «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «В Павловском вокзале сделаны разные перестройки и преобразования, которые придают ему совершенно новый вид, и будут много содействовать удобствам и удовольствию публики». Речь шла об устройстве двух постоянных эстрад, роскошной люстры, всевозможных украшений. Но и этого казалось мало. В 1869 году газета «Голос» извещала: «Вокзал увеличен прибавлением к нему новой, прекрасно отделанной в античном вкусе залы и вестибюля. За-

ла эта прекрасно меблирована и может вместить до 400 человек и служит для балов, обедов и ужинов».

Проходит 14 лет – и «воксал перестраивается заново, концертный зал расширяется, устраиваются пять роскошных гостиных и бесплатный кабинет для чтения». Впрочем, с тем «кабинетом для чтения» не обошлось без курьеза. Изначально это было начинание благое и серьезное. Были установлены даже особенные правила: «Кабинет для чтения имеет быть открыт для лиц обоюго пола, опрятно одетых, с 1 мая по 1 октября с 10 часов утра до отправления последнего поезда; в сумерки комнаты освещаются. При кабинете для чтения Общество содержит от себя прислугу и надзор за порядком лежит на полной ответственности правления. В кабинете для чтения воспрещаются все посторонние занятия, разговоры, чтение вслух и вообще все действия, которые могут отвлекать внимание читающих. Никто не может брать для чтения в кабинет более одной книги, журнала и газеты в одной папке или доске и выносить оные из комнат, определенных для чтения газет и журналов, а тем менее брать газеты или журналы домой. Никто не может портить газет или журналов, вырывать листы или вырезать статьи».

Но на деле «кабинет» выглядел несколько иначе. И управляющий города Павловска отправил в правление Царскосельской железной дороги письмо: «Так как Кабинет для чтения при Павловском воксале посещают дети, подростки и малолетние воспитанники учебных заведений, и им выдаются разные иллюстрированные журналы, не изданные для детского возраста. Полагают, что нужно запретить вход в читальную комнату при Павловском воксале всем детям и воспитанникам средних учебных заведений, о чем будет повешено объявление на дверях комнаты для чтения». О том, чтобы изъять подобные издания из обращения, конечно, не было и речи. Проще казалось устранить детей. И в скором времени при входе в кабинет действительно возникло обещанное объявление: «Вход в читальную комнату воспрещается детям и воспитанникам учебных заведений. Полицмейстер города Павловска Сыровяткин».

Однако взрослые читатели были в восторге. И даже написали соответствующее письмо: «Общество дачников и дачниц, посещающих Кабинет для чтения в Воксале, приносит свою искреннюю благодарность дирекции за прекрасное устройство библиотеки и за любезное внимание и распорядительность дамы, заведующей библиотекой». Тем более что господам читателям здесь предлагались развлечения отнюдь не детские: «В комнатах курить табак дозволяется, равно как каждый может требовать принести ему чаю, кофе, пирожков, бутербродов, вино и водку рюмками, но кушаний порциями и вино бутылками требовать нельзя».

Сам вокзал, естественно, сделался центром города. «Иллюстрированная газета» сообщала: «Галерея дебаркадера в Павловске нынче, как и в старые годы, будет наполнена разодетыми дамами и девицами, собирающимися здесь в урочные часы прибытия поездов, больше – себя показать, чем посмотреть, кто приехал. Галерея эта давно уже сделалась сборным местом павловского бомонда. К известному часу по всем павловским улицам тянется к дебаркадеру длинная вереница этого бомонда, в самых изысканных нарядах, с хвостами в несколько сажень, с шиньонами в несколько футов или растрепанных до того, будто этих дам трепали три дня сряду и не дали им вычесаться. Откровенные особы говорят прямо своим встречающимся приятельницам, что идут на “выставку” – так принято называть галерею дебаркадера в эти часы».

Сформировался особенный, вокзальный уклад: «Начиналось круговое движение вокруг скамеек, движение плавное и мерное, оживляемое беготней детей, которых являлось очень много. Места вокруг фонтана занимают исключительно няньками и кормилицами, на боковых же скамейках располагаются более солидные люди».

Один мемуарист рассказывал: «Я был с Казимирой и Сашей. Превосходно играл военный оркестр, состоящий из двухсот пятидесяти музыкантов. Публики было много – и все люди чистые и благонамеренные, особенно женщины длиннохвостой, короткохвостой и бесхвостой породы, вымытые, чистенькие, выглаженные и

выгуженные, хоть сейчас на картинку. Хорошеньких было многое множество. Все было чинно, в высшей степени благопристойно и немного скучновато. Впрочем, скука нам необходима, мы ограждаемся ею от скандалов. Был и государь, но очень недолго».

Много лет первая железная дорога оставалась привилегированной, особой. Еще бы – она находилась под патронажем самой царской семьи, и это, безусловно, отражалось на жизни самых простых обывателей. К примеру, в 1871 году великий князь Константин Николаевич и его супруга «выразили желание о назначении еженедельно в продолжение неопределенного времени экстренного поезда в 12 часов ночи из Санкт-Петербурга в Царское Село и Павловск, дабы дать возможность Царскосельским и Павловским жителям быть раз в неделю в театре». А вскоре пришло уточнение, уже от одной лишь супруги: «Чтобы такой экстренный поезд отправлялся в 12 часов ночи по пятницам, и чтобы этот поезд не был бы для нее лично, но чтобы и посторонние лица могли воспользоваться этим поездом».

Главной достопримечательностью Павловского вокзала была музыка. Все началось с цыганского хора под управлением Ильи Соколова; потом здесь играли российские и заезжие знаменитости, включая самого Иоганна Штрауса. Осип Мандельштам написал даже эссе под названием «Музыка в Павловске»: «Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске: шары дамских буфов и все прочее вращается вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин – в центре мира. В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизей, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему – тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы».

Павловск прирастал концертными площадками. «Северная пчела», к примеру, извещала: «В нынешнем году

выстроили подле вокзала балаган, или, лучше сказать, изящную концертную залу, в которой поют цыгане». Но главными оставались именно вокзальные концерты. Кстати, вход на них был исключительно бесплатный. Сам великий князь Константин Николаевич, когда Общество Царскосельской железной дороги предложило ввести здесь продажу билетов, отвечал, что он «не желает входить в обсуждение каких бы то ни было экономических вопросов внутреннего управления делами общества, с своей стороны никогда не допустит постоянного взимания с публики платы за вход на музыкальные вечера в Павловском вокзале».

Правда, осуществлялся фейс-контроль, притом весьма своеобразный. На концерты не пускали «женщин в платках на голове, а мужчин в русском котелке». «Иллюстрированная газета» возмущалась: «Почему какой-нибудь лакей навеселе, в грязном сюртуке и изломанной фуражке имеет право гулять между аристократической публикой, а просто одетая горничная или русская купчиха не имеют этого права – так же, как и купец в длиннополой сибирке. Мы помним, как однажды не пустили в вокзал нашего известного писателя Якушкина, потому что он был в русском наряде. Не объяснит ли, по крайней мере, дирекция: на каком основании она приняла такие нелогичные меры?»

Дирекция, однако, ничего не объясняла. Правила есть правила.

На павловских концертах можно было видеть всевозможных знаменитостей. Разумеется, царя с домашними – все-таки рядышком – главная загородная резиденция, а в самом Павловске – великокняжеский дворец. Но привлекали внимание не только Романовы. «Современник», например, в 1858 году писал о посещении вокзала писателем А. Дюма: «В Павловском вокзале – один из русских литераторов, сопровождавших его, представил его одной даме и произнес громко его имя. При этом имени сейчас же все заволновалось кругом, многие вскочили на скамейки и на стулья, чтобы лучше его видеть... – Что такое? Что там? – спрашивали друг друга гуляющие, бросившись туда, где стоял г. Дюма. – Что случилось? – спросил какой-то господин у

проходившего мимо мещанина. – Ничего-с, – ответил тот, – французского Дюму показывают-с».

Мемуаристы Засосов и Пызин писали о вокзальных концертах: «Приезжало немало знатоков симфонической музыки, но большинство публики составляли люди, которые считали, что вечером нужно быть в Павловском вокзале, встретиться со знакомыми, себя показать, людей посмотреть, поинтересоваться модами, завести новые знакомства. Такие люди часто делали вид, что они внимательно слушают серьезную музыку, а сами с нетерпением ждали антракта, чтобы поболтать со знакомыми».

Что поделаешь, слаб человек!

Заканчивались же вокзальные утехи за полночь: «Смеркалось. В саду замелькали огоньки. Пронзительные свистки напоминали об отходе поездов. Платформа была покрыта публикой. Местные дачники иронически поглядывали на приехавших из города на музыку, пугливо метавшихся по вагонам, ища свободного угла. Но такового не находилось, и надлежало ждать следующего поезда. Звон сигнального колокола, шум и свист локомотива, дребезжание посуды из буфета сливается со звуком оркестра, неистовыми вызовами и аплодисментами публики. От мелькания множества лиц, огней, газа и духоты зала захватывает дух и рябит в глазах. Но вот пахнуло свежим ветром, поезд трогается... Вдоль полотна тянутся длинные вереницы пешеходов. Это дачники – любители из Царского Села, Тярлева, Глазова, Комиссаровки и других соседних деревушек. Долго пестрят они дорогу вдоль полотна, но поезд, наконец, обгоняет их. Уже поздно. Белая ночь бледнеет. Предрасветные розовые и палевые полосы протянулись по небу. Веет холодный ветерок. Туман стелется над травой. Хочется спать, но поезд летит, грохочет».

Следующим же вечером все начиналось вновь.

Да и в других российских городах, обделенных концертами Штрауса и прочих знаменитостей, вокзал становился общественным центром. Герой бунинской «Жизни Арсеньева» признавался: «Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь... Полевой зимний ветер уже

доносил крики паровозов, их шипение и этот сладкий, до глубины души волнующий чувством дали, простора, запах каменного угля. Навстречу, чернея, неслись извозчики с седоками – уже пришел московский почтовый? ...Буфетная зала жарка от народа, огней, запахов кухни, самовара, носятся, развевая фалды фраков, татары-лакеи... За общим столом – целое купеческое общество, едят холодную осетрину с хреном скопцы... В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, – и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, трясусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию».

Конечно, не везде вокзалы соответствовали требованиям современности. Глеб Успенский, в частности, критиковал вокзал калужский: «Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужу грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу, ни дорог».

Вокзал ростовский также не претендовал на лавры городского культурного центра. Один из современников писал о нем: «Товарная станция в Ростове предшествует пассажирской. Уже подходя к первой – Гниловской под названием, – вы тотчас же, глядя на постройки и зажимательные заглавия вывесок, на грязь во дворах и кучи всякой дряни, красующейся тут в самом неживописном порядке, убеждаетесь, что название это удивительно верно определяет внешнюю особенность местности, ее физиономию... Вокзал очень велик и в архитектурном отношении поражает своей неуклюжестью. Недавно, как известно, был там большой пожар. Погоревший верхний и нижний этажи теперь ремонтируются и “публика” временно посещается в парадных комнатах вокзала, очень небольших и далеко не “парадных”. При приезде вас обступает масса комиссионеров, выкрикивающих, – куда энергичнее и назойливее, чем у нас, названия своих гостиниц. Тут же жандарм или кондуктор

дает благой совет, которым не мешает воспользоваться с подобающей внимательностью всем, в особенности барыням, если они желают сохранить свой багаж и ручные вещи».

Зато в смысле технического оснащения здесь все было на уровне. Больше того, по Ростовской железной дороге ходил так называемый «Владикавказский пассив», который в десятые годы XX века был признан лучшим пассажирским паровозом в мире. «Приазовский край» извещал о его замечательных свойствах: «Паровоз развивал на 6-тысячном подъеме скорость до 72 верст, а на горизонтали 86 верст в час. Достигнутая скорость для нового паровоза далеко не является предельной, и паровоз, как показали опытные испытания на Владикавказской дороге, свободно может развивать скорость свыше 100 верст в час». То есть много большую, чем та, с которой предпочитают ездить современные российские электровозы.

Отдельная тема – извозчик при станции. Ф. Куприянов, житель Богородска, так описывал подобную местную достопримечательность: «Артемий был возчиком. Он возил на станцию кипы с товаром, а обратно такие же кипы и огромные ящики с пряжей. Привезенные кипы надо было перетаскивать на спине в контору на второй этаж по наружной железной лестнице. Лестница была удобная. Но все же этаж был второй, а в кипе более 5 пудов. Артемий брал их на спину и носил без видимого напряжения. Мне же тогда казалось невозможным сдвинуть ее с места.

В свое время он служил в гвардии, был высок ростом, широк в плечах, осанист, с открытым добродушным лицом, обрамленным густой бородой. Волосы густые, черные. Красавец. Держал себя всегда спокойно и уравновешенно. С лошадьми обращался мягко, не дергал и не хлестал, и они это чувствовали.

Я уважал и, можно сказать, даже любил Артемия, хотя разговаривал с ним редко.

Большие ящики с шерстяной пряжей, полученной из Англии, хранились в кладовой у бабушки во дворе. Я любил ходить туда весной или в начале лета, когда их вытаскивали для просушки и проветривания кладовой.

На улице было уже жарковато, а из открытой кладовой веяло холодом, так что через несколько минут хотелось выскочить погреться».

Но это – возчик грузовой. Пассажиры извозчики были гораздо колоритнее. Многие из них были подсланы гостиницами, и в отличие от нынешнего времени, когда вокзальные таксисты норовят взять с пассажира раза в три побольше денег, чем другие их коллеги, те извозчики могли везти вообще бесплатно. Но в свою гостиницу. Реклама отелей снабжалась такими приписками: «Для удобства приезжающих ко всем поездам высылаются комиссионеры с экипажами. Желающие ехать на трамвае (попадались и такие, трамвай на заре прошлого века был манящим новшеством. – А. М.) легкий багаж могут передавать комиссионеру для доставки в гостиницу бесплатно. Покорнейше прошу гг. приезжающих не обращать внимания на разговоры извозчиков, так как они не получают комиссионных и потому стараются уговаривать ехать в ту гостиницу, где они получают».

И, разумеется, развитие железнодорожного сообщения влияло на роль городов, перетасовывало эти роли, словно карты. Один из ярчайших примеров – Торжок Тверской губернии, стоящей на тракте Москва – Петербург. До того как от одной столицы до другой провели железную дорогу, это был преуспевающий, богатый торговый город. Но рельсы прошли в стороне от Торжка. И в результате через десять лет о нем практически забыли.

* * *

Между тем в начале XX столетия в провинции, практически одновременно со столицами, появились новые диковинки – автомобили. Пионерами автолюбительства были люди не бедные. В частности, в Самаре первым покупателем был здешний меценат и богачей, уже упоминавшийся господин Головкин. Это случилось в 1904 году и стало событием городского масштаба. Когда «опель» Головкина вытащили из железнодорожного вагона, на привокзальной площади сразу же собралась

толпа. Всех интересовало лишь одно – поедет или не поедет. Автомобиль ехать не желал. Головкин утомился крутить заводную ручку и посулил четверть водки тому, кто справится с необычным механизмом. Вызвались два силача-грузчика и, объединив свои усилия, все-таки завели новенький «опель». После чего под свист и хохот господин Головкин направился домой в своем автомобиле.

В Калуге в 1915 году появилось сразу два «первых» автомобиля – у губернатора и председателя окружного суда. Помимо «столпов общества», покупателями автомобилей часто были предприниматели типа хрестоматийного Адама Козлевича, пытавшиеся превратить новинку в средство заработка. Таким, к примеру, был тамбовский житель, господин Герасимов. В 1912 году он приобрел французский семиместный лимузин «Деллаге». Ночью час катания стоил семь с полтиной, днем дешевле – пять рублей. Под это дело, естественно, пришлось заказать телефон, абонентский номер 417.

Нечто подобное произошло пятью годами раньше в Брянске. Купец Ветров писал в городскую управу: «Для представления жителям города, а в особенности детям, учащимся в местных училищах, удобной и доступной платы за проезд сообщения, я вознамерился открыть автомобильное движение между городом и станциями Брянск Риго-Орловской и Московско-Киевско-Воронежской железных дорог. Предполагаемый мною для сего автомобиль на резиновых шинах будет состоять из обогреваемого вагона с сидениями для 21 пассажира. Центральная стоянка его назначается против Покровского собора». Автомобиль, естественно, был грабнический, с двигателем мощностью в 25 лошадиных сил. 21 пассажир действительно могли сидеть, а шестеро – стоять. Ветров вложил в автомобиль двенадцать тысяч рублей, а за проезд брал всего лишь 15 копеек. Видимо, прибыли автомобиль не приносил – спустя два года предприятие закрылось.

Своего рода автомобильной столицей российской провинции стал город Саратов. Первый саратовский автомобиль принадлежал графу А. Нессельроде – он начал пугать лошадей и горожан в 1900 году. Автомобилей

постепенно прибывало, и уже в 1909 году саратовцы вышли на первый свой автопробег: «Группа саратовских автомобилистов совершила пробную поездку на автомобилях из Саратова в Уральск и обратно. 1000 верст были пройдены в двое суток. Развивалась скорость до 38 верст в час. В степи с автомобилями пробовали состязаться киргизы, но быстро отстали. В поездке участвовали присяжный поверенный Соколов, коммерсанты Агафонов, Лебедев и Люшинский».

Спустя год Саратов потрясает новое событие – управляющий садом «Ренессанс» г-н Ломакин выписал из-за границы так называемый «синематограф-автомобиль», который может в перерывах между рейсами трансформироваться в кинозал на 800 мест. А в 1911 году некие Иванов и Соколов открыли в городе «автомобильное депо», которое занималось продажей, ремонтом и сдачей в аренду машин. Новые предприниматели привлекали клиентов: «Всегда имеются на складе разных заводов автомобили, мотоциклетки, велосипеды, шины и автомобильный материал: масло “ойль вакуум” компании всех сортов, отпуск бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпускаются автомобили напрокат».

Дело пошло, и в скором времени предприниматели въехали в здание бывшей зеркальной фабрики, конечно, переоборудовав его и украсив фасад горельефом летящей машины и, на всякий случай, статуями ангелов-хранителей.

* * *

Практически одновременно с автомобилями русская провинция узнала самолет. Он вызывал еще большее любопытство, что подчас приводило к комичным курьезам. Вот, к примеру, какая история произошла в городе Богородске.

В 1910–1911 годах популярный летчик Уточкин систематически совершал демонстративные полеты в российских городах. Не обошел он вниманием и Богородск. В намеченный день с раннего утра жители города высыпали на поле – ждать аэроплан. Все с на-

пряжением глядели в сторону Москвы. Однако Уточкин задерживался.

Один из современников, Л. А. Терновский, сообщал: «Уже в три часа утра весь город был на поле, в домах остались только куры и цепные собаки. Все от мала до велика пришли встретить прославленного русского авиатора, приветствовать его и выразить свое искреннее восхищение. Огромная толпа напряженно всматривалась в сторону Москвы, в туманную, синеватую даль. День, на счастье, после целой недели дождей, выдался на славу. Время было уже к обеду, а летчика еще видно не было. То тут, то там было слышно, как урчат желудки. Кое-кто посмелее побежал было обедать, да вернулся – убедили, что не стоит, а то “пролетит и не увидишь”».

Ближе к обеду предприимчивые коммерсанты вынесли на поле всяческие яства. Разумеется, не обошлось без горячительных напитков. Уточкин, однако же, не появлялся.

«Все терпеливо ждали и заглушали в себе чувство проснувшегося голода. На поле приехали мороженщики, булочники, торговки с квасом, печенкой, семечками, леденцами и яблоками. Даже самовары принесли. Заиграли в разных местах гармошки, кое-кто уже все же сбегал пообедать, кое-кому принесли. Поле кипело жизнью и кишело народом. А там – вдали, за зубцами отдаленного леса в синеве небес все было спокойно по-прежнему.

– Ты не обедал? – задавал кто-то вопрос.

– Да нет, боюсь, пролетит, а ждать да ждать – смерть.

– Уж лучше бы он и не прилетал, ну его к шуту, народ только баламутят. Стой здесь целый день как проклятый...

– Да, задал уж заботу, чтоб ему ни дна ни крыши.

– Пойдем домой, – уговаривал какой-то скептик в белой рубашке и плисовых портках, – авось и без нас пролетит, эка невидаль.

– Иль ошалел, – отвечал рыжий, как медный поднос, парень, – целые, можно сказать, сутки жду и на, поди.

Толпа на поле шумела, галдела, играла, пела и ругалась. Лаяли собаки, кричали ребята. Солнце начало уже склоняться к западу, и чем позднее становилось, тем

нетерпение росло, а желание увидеть во что бы то ни стало приковывало к месту, отгоняя и голод и усталость. К вечеру кто-то напился и лежал с недожеванным бутербродом, равнодушный ко всему. Не обошлось и без драк».

Словом, про виновника этого торжества уже забыли. Но наутро, однако же, вспомнили вновь: «Едва ночь прошла и забрезжил рассвет нового дня, поле стало опять многолюдным и опять все смотрели вдаль и искали глазами долгожданного авиатора.

– Вот нагрешник-то, не было печали, так черти накачали, – ворчали ожидающие.

– Может, он и не вылетал, а пьянствовал вчера, как мы, грешные – так, только народ обманывают.

– Зачем только полиция смотрит, – ворчали другие, – всех отняли от работ, жди здесь какого-то Уточкина-Курочкина, а на кой черт он нам нужен. Ему хорошо, он поплевывает себе сверху-то, а нам каково.

– Летит, летит, – вдруг послышалось откуда-то со стороны. Все бросились вперед, толкали, сшибали друг друга, опрокинули тележку с ребенком, перевернули жаровню с печенкой, раздавили собачонку.

– Где, где? – спрашивали друг друга, но никто не отвечал, так как никто ничего не видел.

– Обманывают, черти, – злились и ругались кругом, – им шутки, а тут вон баба воет, да и кутьку раздавили.

Толпа долго не успокаивалась, кто-то утешал пострадавшую бабу, кто-то жевал подобранную печенку, кто-то смеялся, а кто-то чуть ли не плакал. Тоска захватила всех, и уверенность увидеть Уточкина у всех пропадала. Уйти же домой никто не решался, так как жалел пропущенное время. Долго еще ждали. Стал накрапывать дождь, прогремел где-то вдалеке гром».

И вдруг вконец измотанные обыватели увидели далеко в небе самолетик. Их реакция была, в общем, вполне закономерная: «Все сначала окаменели, а потом ринулись навстречу пилоту, потрясая кулаками, готовые растерзать виновника их долгого ожидания. Вот уже слышен шум пропеллера. Аппарат плавно опускается. Толпа как будто только этого и ждала. Град камней, калош, кусков земли и отборной ругани “от всего русского

сердца” полетел навстречу пилоту. Тут сказалося все: и досада, и радость, и месть за долгое ожидание».

Опытный пилот молниеносно принял нужное решение. Уточкин дернул штурвал на себя, совершил круг над полем и, развернувшись, полетел назад.

«– А, паршивый черт, испугался, голодранец, измучил народ, а не смущается, – и опять ругань, свист вдогонку пилоту.

– Держи его, лови, бей, кроши! – кричал народ и долго бежал за аппаратом.

Аэроплан тем временем поднимался все выше и выше. Шум пропеллера утихал и поле все пустело и пустело в надвигающихся сумерках».

Долго еще обманутые жители выкрикивали в воздух ругательства. Однако тот, кому они предназначались, ничего уже не слышал. Прославленный пилот, бесстрашный летчик Уточкин уверенной рукой направлял свой аппарат навстречу новым приключениям.

Впрочем, уже в 1912 году жители Богородска были с авиацией, что называется, «на ты». И перелет по маршруту Москва – Богородск – Орехово-Зуево прошел без сучка без задоринки. Газета «К спорту» сообщала: «Призы распределяются так: от Богородско-Глуховской мануфактуры первому прилетевшему в Богородск 500 руб. и от мануфактуры С. Морозова 500 руб. – первому прибывшему в Орехово-Зуево. Игра стоит свеч, и летчики готовятся в далекий и, главное, холодный путь...

В Богородске. Громадная толпа народа – несколько тысяч человек – ждут прибытия аппаратов. Разведены костры. На приготовленной для спуска площадке разостланы простыни. Полный порядок. Уже получены сведения, что летчик вылетел из Москвы и теперь близ Богородска. Все всматриваются по направлению к Москве, и через несколько минут ожидания в воздухе обрисовывается красивый и мощный силуэт “Нью-пора”. Еще несколько мгновений, и громадная стальная птица опускается на приготовленное место».

На сей раз калошами никто не кидался.

Но подобных историй, естественно, было немного. Демонстрации по большей части шли благополучно. Вот, например, как проходило первое авиашоу в горо-

де Ростове-на-Дону в 1910 году. Газета «Приазовский край» об этом сообщала: «Никогда еще ни Крепостной переулок, ни Скобелевская улица не видели у себя такой массы публики, какая запрудила вчера всю местность, прилегающую к полю... В 4 часа ни по Скобелевской, ни по Гимназической, ни по Крепостному переулку трудно было протискаться. Толпы любопытных плотной неподвижной массой стояли вокруг огорожи полигона, на заборах, воротах, крышах, балконах – словом, всюду не было ни одного свободного клочка, на котором бы не повис наблюдающий. Все платные места с двух сторон внутри огорожи были битком набиты».

Любопытствующие ростовчане были зрелищем разочарованы – один из самолетов разогнался, на несколько метров взлетел, после чего завалился вправо и благополучно приземлился. Другие участники шоу вообще не взлетали.

Однако через некоторое время действие повторилось, и на сей раз ростовчанам было на что полюбоваться: «Миновав огорожу полигона, аппарат берет несколько вправо, стремительно летит над Балабановской рощей, делает резкий, смелый поворот, огибает крест над нахичеваньской больничной церковью и возвращается обратно. Держась на высоте до 150 метров, пилот приближается к центру полигона, делает удивительно красивый поворот и снова улетает к Балабановской роще, провожаемый оглушительными аплодисментами многочисленной публики. Еще один поворот над больничной церковью, еще несколько смелых бросков ввысь, аппарат останавливается на секунду над огорожей полигона и затем плавно спускается в центре площади, против трибун».

Так что деньги, отданные жителями города за право пребывать на платных местах «внутри огорожи», были отданы не зря. Впрочем, бояться было нечего – организаторы полета обещали их вернуть в том случае, если машина будет находиться в воздухе менее трех минут.

Но это все, конечно, были шуточки. Самым надежным способом перемещения из одного города в другой долго еще оставались не самолет, а паровоз с пароходом.

В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Самая объемная глава книги по праву должна быть посвящена российскому провинциальному досугу. Первейший из которых, разумеется – сидение в кабаках и прочих заведениях, торговавших «распивочно и на вынос». Не нами сказано – «веселие Руси есть пити».

В первую очередь приходят в голову, ясное дело, рестораны. Да только рестораны – вещь столичная, в провинции не слишком популярная. Конечно, были те, кто предпочитал именно их. В Воронеже, к примеру, популярен был ресторан Шванвича. Воспоминания о нем остались самые что ни на есть приятственные: «В хрустале искрились “дрей-мадера” и “сотерн”, “бургундское” и “шато-марго”, не говоря о “рейсвине” и лафите. Что до любителей “шабли” или “гобарзама”, то и на этот предмет вам чинно отвечали, что на заказ из погребка могут извольть-с. А к вину и сладости, пожалте. А из фруктов желтые и белые гроздья крупного местного винограда “Шасля” и “Мадлен анжевин”».

В Архангельске славился ресторан под названием «Бар». Реклама завлекала: «Знаменитый ресторан-гостиница “Бар”! Только у нас бокал мюнхенского, пльзенского пива за 10 копеек! Отдельные уютно обставленные номера с телефоном и ванной. Бильярды фабрики Фрейнберга – только для вас! Ежедневно играет дамский струнный оркестр под управлением Жозефины Матыс!».

В Ярославле был «Бристоль». У него, кстати, была своя особенность. Здание ресторана настолько по-

нравилось его владельцу (и, соответственно, заказчику), что тот распорядился задарма кормить-поить построившего это здание архитектора. Ежедневно и до самой его смерти.

Но гораздо больше все же пользовались популярностью трактиры и всякого рода распивочные. В городе Екатеринбурге, например, располагалось модное общепитовское заведение – трактир «Херсон» с подачей пива, виноградных вин, а также чая, кофе, табака и шоколада (разумеется, горячего). Дабы придать «Херсону» европейский антураж, владельцы отказались от исконно русского питья – хлебного вина (то есть водки) и кваса.

Но такие фокусы, естественно, случались редко. В основном русская кухня шла в трактирах, как говорится, на ура.

В городе Саратове располагался так называемый «Народный трактир» Константина Каспаровича Деттерера. Заведение было, что называется, с душой. Над входом, например, висела надпись: «Не дай себя надуть в другом месте. Входи сюда». Время от времени хозяин устраивал выставку картин или же выступление какого-нибудь музыканта. Кроме того, у Деттерера в зале сидел попугай, который знал две фразы. Когда к очередному гостю подходил официант, тот попугай со скрипом говорил: «Пьешь сам – угости хозяина». Когда же посетитель уходил, все тот же попугайский голос напоминал ему: «Ты заплатил деньги?»

Кроме того, Деттерер был поэтом. Например, когда разыгрывался тираж внутреннего займа, он встречал своих гостей словами:

День настал. Кругом волненье.
Поднялся народ чуть свет.
И у всех одно стремленье:
Выбрать выигрышный билет.

В день же, когда в городе открылся зимний тропический сад, он уведомлял посетителей:

Ждут в саду вас развлечения
Под тропической листвой.
Хор певиц там есть для пенья
И оркестрик духовой.

Кроме всего прочего, в трактире находились бильярдная, оркестр, свежие газеты и журналы. Словом, это заведение было не столько местом для закусывания и выпивания, сколько действительно народным, но при этом в чем-то интеллектуальным клубом.

Правда, в большинстве своем распивочные заведения были попроще. Житель Костромы писал об одном из подобных мест: «На углу Мшанской и Спасской улиц когда-то стоял одноэтажный каменный дом. В нем помещалось питейное заведение, содержавшееся Дуровым. Входная дверь закрывалась с помощью бутылки с песком, повешенной на веревке через блок. Заведение было грязное, но посещалось в большом количестве, в особенности в праздник. Кроме водки подавалась там же дешевая закуска. Предприятие было частное, поэтому постоянные клиенты пользовались кредитом. Иногда случались драки, тогда входная дверь с визгом открывалась, и клиент летел по лестнице прямо на мостовую, вслед за ним летело его имущество, если таковое еще не было заложено у сидельца. Так продолжалось многие годы. Таких питейных заведений в городе было много».

А вот как выглядело характерное, опять-таки, меню одного из калужских заведений: «Щи рубленые алярус 20 к., консоме с пулярдай 20 к., перашки печерские 3 к., говядина бефиштекс по англински 23 к., маришал ряпчик с шуфлером 35 к., котлет отбифные скартофелью 23 к., антрюме пудинг изсухарей 40 к., рябчик 40 к. и пр.».

Это было явно заведение высшего разряда – судя по ассортименту и ценам.

Во многих городах были, естественно, свои особенности, обусловленные характером самих городов. Один из путеводителей по Кронштадту, к примеру, сообщал: «На противоположной стороне нынешней Флотской улицы помещались заведения “Распивочно и на вынос”, и матросы умудрялись на веревочках спускать из казарм на улицу бутылку (пустую, конечно) и стоимость водки, а из заведений выходили или хозяин, или приказчик, брали посуду, деньги и ее же привязывали на полную влагой живой; посуда быстро поднималась и исчезала в казарме. Так вот, чтобы воспретить такой

контрабандный способ доставки живительной влаги, и заложили окна служительских флигелей».

Вообще, борьба с употреблением спиртных напитков была в гарнизонном городе весьма ожесточенной. Иной раз отличались и кронштадтские дамы. В одной из газет сообщались итоги одного новогоднего праздника: «Шесть женщин были подобраны на улице в бесчувственном состоянии, из них три умерли от чрезмерного употребления спиртных напитков».

Естественно, что соответствующих заведений здесь хватало, и среди них даже попадались легендарные. Мемуаристы Засосов и Пызин писали: «Был в Кронштадте трактир под названием “Мыс Доброй Надежды”. Тайком заходили туда выпить и матросики. Бывали случаи, что и подерутся там, получают синяк под глазом. На вопрос, где его так разделали, находчивый моряк отвечал: “Потерпел аварию под Мысом Доброй Надежды”. Название этого трактира длинное, поэтому военные и обыватели называли этот трактир попросту “Мыска”».

Существовали, правда, и съестные заведения, не предназначенные для распития. К примеру, в Воронеже в 1910 году была открыта одна из первых дешевых столовых. При этом содержатели учреждения просили не облагать свою столовую налогом: «В ней готовится самая простая, дешевая и необходимая для бедных людей пища, а именно: щи, каша, картофель, печенка, дешевые сорта мяса и рыбы. Посетители этой столовой... преимущественно безработные и поденщики, стоящие на Хлебной площади, которые могут получать за 6–8 копеек горячую пищу, осматриваемую постоянно санитарным надзором».

Были в провинции и харчевни. Их описывал один из ярославцев: «В прежних так называемых харчевнях, ныне столовых, первое блюдо: щи, суп, лапша – стоили пять-шесть копеек, конечно, мясное или рыбное блюдо. И именно “блюдо”, а не тарелка. Такое блюдо готовилось очень жирным и густым, в простонародном вкусе: поставленная стояком в кушанье деревянная ложка не падала.

Хлеба посетители могли взять сколько угодно, из расчета две копейки за фунт. Чистый ржаной хлеб был

всегда мягким и очень вкусным. Были еще черные хлеба: обдирный, кисло-сладкий бородинский и еще какие-то, на полкопейки или копейку дороже обыкновенного черного ржаного хлеба в фунте.

Вином харчевни не торговали, но посетители приносили, кто хотел, с собой и выпивали “тихонько”, наливая в стаканы из кармана, где была укрыта посуда с вином; делалось это с оглядкой, чтобы не заметила полиция.

Чай в харчевнях стоил пять и даже четыре копейки “пара”; так она называлась потому, что чай подавали в маленьком чайнике, а кипяток при этом – в большом чайнике, и притом два куса сахара подавалось, от сахара и название “пара”. Кипятку подавали сколько угодно – хоть весь день пей.

Ситный (белый хлеб) стоил от четырех до семи копеек за фунт: простой, с изюмом, с маком, с анисом и другими приправами.

Так что блюдо щей – шесть копеек, два фунта хлеба черного – четыре копейки, чай – пять копеек, ситный – фунт пять копеек; итого: за двадцать копеек получалось сытное простонародное питание».

Особое же место занимали чайные. Их, как правило, открывали при обществах трезвости или при так называемых Народных домах. Распивать бодрящие напитки запрещалось там категорически. Да и вообще правила посещения были достаточно строгими. Вот, к примеру, требования, которые вменялись посетителям белгородской чайной:

«Правила, действующие в столовых и чайных общества попечительства о народной трезвости.

1. В кассах при столовых продаются: черный хлеб и марки (билеты) на получение горячей пищи (щей, борща, супа и кашицы); марки отбираются в проходах к котлам.

2. В кассах при чайных продаются: французские булочки, чай в пакетах и сахар; кипяток в чайниках для заварки чая и кружки выдаются у котлов.

3. Полученные в столовых и чайных миски, ложки, ковшики и кружки после употребления должны оставаться в большой исправности на столах.

4. Строго воспрещается производить шум, беспорядок, давку у касс, в проходах и у столов.

5. Не следует затруднять кассира разменом крупных денег».

Подобное же заведение было открыто в Тамбове. Тамошняя газета сообщала в 1901 году: «Во вторник, 10 июля, в принадлежащем городу доме, на Базарной площади, 2-й части, открыта попечительством о народной трезвости первая дешевая чайная. В час дня в присутствии его превосходительства начальника губернии Сергея Дмитриевича Ржевского, господина управляющего акцизными сборами В. А. Комарова, господина полицмейстера В. Л. Лазова и некоторых членов попечительства было совершено молебствие, после которого чайная гостеприимно открыла свои двери публике. Помещение, занимаемое чайной, довольно обширно и занимает два этажа. Все заново отделано, чисто и удобно. Стоимость чая с заваркой и двумя кусками сахара – 3 копейки. Кружка чая с одним куском сахара стоит одну копейку. К чаю можно было получить булку и лимон.

Чайная открыта с 6 часов утра до 8 часов вечера. При чайной имеется отдельная комната для библиотеки, в которой выдаются некоторые газеты и журналы».

Но господа со средствами конечно же употребляли чай в иных местах – кофейнях на манер французских. Там можно было и десерт приличный заказать, и рюмочку потребовать.

* * *

Впрочем, не одним лишь пьянством и гастрономией счастлив был провинциальный обыватель. Самым, пожалуй, элегантным развлечением был театр. С одной стороны – радость для просвещенных господ, с другой – демократичное, общедоступное мероприятие. Театр был престижен, театральными зданиями города щеголяли. А уж если была своя труппа – город сразу поднимался над другими на несколько голов.

Нравы провинциальных театров заняты. Вот, например, описание труппы таганрогского театра 1840-х годов: «Режиссером был некто Кочевский, игравший

первые роли в трагедиях и комедиях, в опере же и водевилях он был не так оригинален от неумения петь арии и куплеты. Таким образом одни и те же артисты принуждены были играть в драме и петь в опере. За Кочевским следовали: Маркс, с замечательным артистическим талантом в комическом роде; Дорошенко, игравший светских людей, любовников, денди; Михайлов, хороший в глуповатых ролях, но в трагедиях и драмах он до того, в самых лучших местах, исступляется, что неистовыми выкриками монологов приводит публику в апатичное состояние.

Далее идут Дрейхис, лучший комический актер, особенно в малороссийских вещах; Петровский, заслуженный актер на роль трагических стариков, воевод, министров, но по дряхлости лет память его ослабевает и язык начинает пришептывать; Мачихин, таланта посредственного на ролях рассудочных отцов...

Из артисток можно отметить госпожу Кочевскую... только она редко является на сцене, оттого, что серьезные пьесы мало играют в этом театре, а в водевилях очень мало достойных ролей».

Естественно, театральное начальство не ограничивалось выявлением более-менее удачных ампула, а с практичностью, присущей жителям коммерческого города, заставляло господ артистов подписывать строгие правила. К примеру, такие:

«Бенефициант обязан представить новую от себя пьесу, которой как текст, так и музыка, обращается в собственность театра, ему же представляется право списать для себя копию. Выбор пьесы доставляется на волю бенефицианта, но не иначе как с дозволения и своевременного рассмотрения Дирекцией».

«Никто из артистов не должен отказываться от назначенной ему роли в бенефисной пьесе, в чью бы пользу бенефис ни давался, лишь бы роль соответствовала ампула. Всякое отрицательство от сего вменится актеру или актрисе в преступление и виновные подвергаются строгому взысканию».

«Актер и актриса, вступившие в Таганрогскую труппу, обязаны:

– Неупустительно являться в назначенный режис-

сером или Дирекцией час к репетициям и представлениям...

– Всегда знать роль...

– Опрятно и прилично одеваться не только на сцену в ролях... но и вне театра...

– Наблюдать всегда скромное и вежливое обращение не только с начальствующими лицами, но и между собою».

Технология процесса была, можно сказать, совершенна.

Впрочем, отношение к театру было пиететным вовсе не всегда. Взять, к примеру, рыбинскую сцену. Писатель И. Ф. Горбунов рассказывал о ней: «Рыбинские купцы и мещане по-разному отнеслись к этим пьесам («Бедность не порок» Островского и «Проделки Скапена» Мольера. – А. М.). Во время представления комедии Мольера они хохотали и щелкали орехи. А комедианты лезли из кожи вон, чтобы угодить зрителям. Парадности не было, и общее впечатление осталось хорошее. Через два дня картина резко изменилась. Ставили “Бедность не порок” Островского. Публика сидела тихо и важно. Купцы то и дело гладили бороды, хмурились или улыбались. Оценивали каждое слово, сказанное артистами, следили за походкой, движениями, рассматривали костюмы. Каждый видел себя на сцене, но не признавался в этом. Спектакль прошел блестяще. Публика аплодировала, а какой-то хмельной кучер так крикнул “браво!”, что его бас заглушил аплодисменты в зале... Я страстный поклонник театра, но нигде еще не встречал столько простоты и естественности среди артистов, как в Рыбинске».

Впрочем, с участниками труппы иной раз случались и трагические случаи. Одна из актрис вспоминала: «В Рыбинск приехал молодец, говоривший, что для него нет ничего невозможного: “что хочу, то и делаю”. Начал он меня преследовать, куда ни пойду, он уж там. С-в стал ревновать меня, купец предлагал мне большие деньги за любовь мою, чем мне до того опротивел, что я его видеть не могла... Ярмарка кончилась; один раз купчик приходит ко мне во время спектакля за кулисы – я играла “Двумужницу”; подошел он ко мне, да и говорит:

– Нет, не стерпеть мне этого, не достанься ты, моя ласочка, ни мне, ни злодею моему (т. е. С-ву), прощайте!

Я кончила мою роль, переделалась, пошла домой одна, покрылась платочком, чтоб он не узнал меня. Ночь была светлая, теплая, чудная. Иду по набережной и гляжу в воду; так мне было хорошо, играла я с успехом и душой моей благодарила Бога за его милосердие. Народу на набережной всегда много, я и не боялась, и шла покойно; только я поравнялась с кофейной – она от набережной была отделена широкой улицей, – вдруг раздался выстрел, и что-то так близко свистнуло от моего лба, что меня назад отшибло, и булькнуло в воду. Ноги у меня подкосились, я упала, но не успела закричать. Народу сбежалось много, тут и полиция нашлась; мне сделалось дурно. Добрые люди меня подняли и проводили домой.

Что было с матерью – передать трудно; она захворала и тут же решила оставить меня одну, на произвол судьбы. Этого купца взяли под арест; но он откупился, должно быть, и скоро уехал из Рыбинска».

Многие, кстати, знаменитые актеры и певцы начинали свою профессиональную карьеру на провинциальных сценах. Шаляпин, к примеру, дебютировал в Уфе. «Наконец, рано утром пароход подошел к пристани Уфы, – писал он в книге «Страницы из моей жизни». – До города было верст пять. Стояла отчаянная слякоть. Моросил дождь. Я забрал под мышку мои “вещи” – их главной ценностью был пестренький галстух, который я всю дорогу бережно прикладывал к стенке, – и мы с Нейбергом (таким же волонтером, правда чуть постарше и поопытнее. – А. М.) пошли в город: один – костлявый, длинный, другой – маленький и толстый».

Затем – очередная трудная попытка проникнуть в номер к благодетелю-антрепренеру.

– Таких грязных не пускаем! – все упорствовал швейцар.

В конце концов сошлись на том, что «грязные» снимут свои заляпанные сапожищи и отправятся к Семенову-Самарскому босыми...

Он явно пользовался популярностью. Сам Семенов-Самарский вспоминал: «Шаляпин произвел на меня уди-

вительное впечатление своей искренностью и необыкновенным желанием, прямо горением быть на сцене».

А под конец гастролей вдруг произошло невероятное событие. Антрепренер позвал к себе Шаляпина и произнес:

– Вы, Шаляпин, были очень полезным членом труппы, и мне хотелось бы поблагодарить вас. Поэтому я хочу предложить вам бенефис.

– Как бенефис? – изумился певец.

– Так. Выбирайте пьесу, и в воскресенье мы ее поставим. Вы получите часть сбора.

За бенефис Шаляпин получил 80 рублей и серебряные часы. С момента его первого выхода на сцену прошло всего четыре с половиной месяца.

И уж, конечно, самой очарованной частью провинциальной театральной публики были дети и подростки. Один из уроженцев города Симбирска вспоминал о своем детстве: «Будучи 10-летним мальчиком, я впервые попал в театр на концерт капеллы Д. А. Агренева-Славянского. Я был буквально очарован их пением и исполнением. Прежде всего меня поразили их внешний вид. Все они были одеты в богатые боярские костюмы, красиво располагались амфитеатром на сцене. Сам Славянский имел живописный вид. В роскошном боярском костюме, красивый, статный старик с великолепной седой шевелюрой и окладистой бородой, он напоминал знатного боярина. Выходил он торжественно, по бокам его сопровождали два мальчика в костюмах рынд и держали в руках: один – посох, другой – “шапку Мономаха”. Это было для меня так ново, что уже до начала пения я был очарован. А пели они замечательно».

Неудивительно, ведь неискушенная публика – самая благодарная публика.

А вот столичные штучки, по обыкновению, относились к подобным театрам несколько свысока. Увы, чаще всего такое отношение имело нешуточные основания. Вот, к примеру, как описывает тульский городской театр 1853 года антрепренер Петр Медведев: «“Где театр?” – спрашиваю проходящих. Говорят: “На Киевской, рядом с аптекой”... Рядом с аптекой было какое-то узенькое, но высокое здание, чрезвычайно грязное и

запущенное, с разбитыми стеклами; с улицы к нему вела с двух сторон деревянная лестница с разрушенными перилами и выбитыми ступеньками. Когда я вошел по ним в “храм Мельпомены”, меня охватили туман, дым и сырость. Зрительный зал представлял внутренность полицейской каланчи. Сцена маленькая, низенькая. А в общем, какой-то балаган».

Но подчас пробивался неприкрытый снобизм. В частности, известный писатель Гончаров так отзывался о симбирской сцене: «Был в здешнем театре: это было бы смешно, если бы не было очень скучно. Симбиряки похлопывают, хотя ни в коем нет и признака дарования. Но я рад за Симбирск, что в нем есть театр, какой бы то ни было. Глупо было бы мне, приехавши из Петербурга, глумиться над здешними актерами и оттого я сохранил приличную важность, позевывая исподтишка».

Художник Петров-Водкин посещал театр самарский. Вспоминал впоследствии: «Долго крутил я асфальтом этажей, пока не добрался под давящий потолок, на котором синими огоньками едва светилась люстра. Внизу было темно, как в колодце. Пахло застарелым потом. “Не театр, а тюрьма”, – подумал я.. Галерка стала наполняться. Возле меня усаживалась разношерстная молодежь. Защелкали орехи. Кто-то вскрыл бутылку кислых щей, хлопнув пробкой. Очень все это мне показалось не театральным».

В конце концов художник встал и пошел к выходу. Но кто-то из зрителей сразу же схватил его за полу пиджака и со злобой прорычал:

– Чего мешаешь театром пользоваться?

Впрочем, и репертуар театра соответствовал подобным зрителям. Одна из самарских газет возмущалась: «В пятницу зарезали даму и человек с ума сошел, в воскресенье ребенку голову размозжили, во вторник человек застрелился, в среду девушку застрелили, в четверг опять застрелился человек, в пятницу снова даму зарезали и человек с ума сошел, в субботу еще одного на дуэли уколошили! Что же это, наконец, такое?»

Речь шла, разумеется, не о реальных городских событиях, а об афише драмтеатра.

Зато театр был готов к различным форс-мажорным

ситуациям. Однажды, например, в город с гастролями приехал поэт Давид Бурлюк. Перед выступлением он деловито спросил у администратора:

– А там есть задний выход?

– Есть, а что? Боятесь, что публика изобьет? – с пониманием спросил администратор.

– Конечно, – безо всякого смущения ответил стихотворец.

А как-то раз поэт Лев Мей вышел на подмостки скромного театра города Кронштадта в совершенно пьяном виде. Начал читать какое-то стихотворение, но быстренько запутался, запомнил продолжение. Прочел еще несколько раз – не выходило. В конце концов махнул рукой, пошел со сцены и громко бросил зрителям через плечо:

– Забыл.

Естественно, что эта непосредственная выходка известного поэта вызвала овацию.

А в тверском театре отличился актер Горев. Вместо подсказанной ему старательным суфлером фразы: «Однако, какой обман» – хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул:

– Однако, какой я болван!

В том же спектакле он сказал, что Тамерлана съели собаки.

– Волки, волки! – кричал бедный суфлер.

– Ну да, и волки тоже ели, – вяло согласился гастролер.

Впрочем, случались и явления ровно противоположные. В частности, воронежский театр был на хорошем счету и у провинциалов, и в российских столицах. Критик А. А. Стахович, видевший в Воронеже гоголевскую «Женитьбу», сообщает: «Вот вам и провинция и провинциальные актеры. Не мешало бы петербургским артистам, исполняющим эти роли, посмотреть, как их играют в провинции (положим, что так сыграть они не в состоянии, для этого нужно иметь дарования Колубакина и Петрова), но петербургские придворные артисты увидели бы, как добросовестно, с каким уважением в провинции исполняют произведения великого писателя, как умный и талантливый актер обдумывает каждое слово, движение своей роли».

Одновременно с этим поднимается и уровень воронежского зрителя. Ему, воспитанному на Петрове с Колюбакиным, а также избранных приезжих лицедеях, становится довольно трудно угодить. Владимир Гиляровский говорил о городе: «Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера... Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер».

«Вольности» же были приблизительно такого плана: «Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила “Гамлета”, сама же его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем».

Увы, воронежский театр под конец столетия приобретает элементы несерьезности и даже некой ярмарочности. Актер Владимир Давыдов сокрушался: «Воронежская публика в своих вкусах была очень единодушна... Все требовали веселых пьес и жутких душещипательных мелодрам. Поэтому Лаухин (купец, содержащий театр. – А. М.) строил репертуар на оперетке, водевиле и мелодраме. Серьезный репертуар почти отсутствовал. Критика бранила репертуар, указывая на то, что театр превращен в балаган, а публика всех возрастов и сословий валом валила на оперетку и совершенно игнорировала театр, когда давали “Грозу” или “Марию Стюарт”».

Давыдов жаловался на свою судьбу: «Меня в Воронеже считали за опереточного актера, так редко приходилось играть что-либо другое». Когда же он решил сыграть в свой бенефис пьесу Островского, его пытались всячески остановить:

– Ну что вы вздумали томить нас Островским? Ведь ничего не соберете!

Однако это не мешало горожанам (а тем более жителям окрестных деревень) воспринимать театр с почтением и даже с этаким священным ужасом. Александр Эртель писал об одном своем таком герое: «У театра была

выставлена афиша. Николай остановился, начал читать... Подошел офицер под руку с дамой – Николай робко отпрянул. Но соблазн был слишком велик: крупные буквы на афише гласили, что будет представлен “Орфей в аду”. Побродивши около театра, Николай мужественно отворил дверь в кассу, увидел окошечко, в окошечке пронырливый лик с золотым пенсне на ястребином носу. Господин в шинели с бобрами и в цилиндре брал билет и что-то внушительным басом приказывал кассиру. Николай с трепетом отступил назад. “Эй, тулуп! Куда же вы? Пожалуйте!” – слышалось из окошечка, но “тулуп”, пугливо и раздражительно озираясь, улепетывал далее».

Но театральные истории – это не только закулисье. Случались и в меньшей мере обсуждались события по эту сторону условной рампы. Вот в Рыбинске господин Дурдин – известный в городе бретер и скандалист – однажды, будучи в театре, выдвинул ноги так, что люди не могли пройти – им приходилось перепрыгивать через дурдинские конечности, а сделать замечание такому богачу было как-то боязно. Но не таков был зубной врач Флигельтауб.

– Уберите ноги, – произнес он тихо, но уверенно.

– Что?! Ах ты, морда, – разошелся Дурдин.

Тогда Флигельтауб спокойненько так размахнулся и смазал по лицу Ивана Дурдина две сочные пощечины. Тот сразу же вскочил, секунду постоял, после чего потрусил к выходу из зала. Естественно, под жизнерадостное улюлюканье рыбинской публики. Которая не уставала обсуждать пикантнейшую новость: а Дурдин-то – трусоват.

А некий житель города Архангельска писал: «При большом стечении народа в театре всегда случается какой-нибудь беспорядок.. кто-нибудь из посетителей райка выпьет, произведет маленький дебош и его уведут на свежий воздух для выздоровления. Но вот чтобы помехой ходу представления были посетители лож бенуара и бельэтажа, это мне пришлось наблюдать только в Архангельске».

Похоже, автор несколько преувеличивал – такие шалости в то время можно было лицезреть практически во всех российских городах.

Кстати, в провинциальных театрах ставилась не одна только классика. Время от времени в газетах, в частности симбирских, появлялись и такие сообщения: «В последний день святок, в зимнем театре праздник завершался грандиозным маскарадом-монстром, начавшимся в 12 часов ночи, в программе которого танцы, бои конфетти и серпантин, состязания плясунов на сцене, летучая почта. Приз – золотое кольцо за пляску, карнавальное шествие масок “Проводы святок”».

В костромском театре по традиции встречали Новый год: «Все наше общество, соединившись как бы в одну родную семью, встретило этот великий день в жизни человека общим собранием, единодушным весельем... Бал этот был оживлен как нельзя более непринужденным удовольствием и веселыми танцами, продолжавшимися до утра; туалеты дам были свежи, милы и даже богаты, обличая и в провинции умение одеваться со вкусом и к лицу. Пожелаем, чтобы общество Костромы навсегда сохранило свой прекрасный характер».

В ярославском в 1902 году праздновали юбилей Некрасова. Один из современников писал: «В городском Волковском театре, помню, в эти же празднества нас заставляли по нескольку раз повторять “Эй, ухнем!” и “Зеленый шум”. Особенно “неистовствовало” студенчество и вообще молодежь. “Эй, ухнем!” пели мы квартетом на авансцене, перед суфлерской будкой, а в глубине сцены были поставлены участники живой картины “Бурлаки”, по известной картине Репина. Декорация Волги, баржи и живые бурлаки – замечательно было красиво и образно».

В тамбовском проходило выступление поэта Шершеневича. Он вспоминал об этом с содроганием: «Театр был полон. Тут я растерялся. На меня глянули зверски тупые лица. Нет, я льщу, называя “это” лицами. Это были андреевские рожи.

О футуризме тут слышали что-то невнятное. О Куприне, Бунине, Б. Зайцеве и Андрееве говорили: “Молодые, подающие надежды”. Дальше познания по литературе не шли.

Я начал говорить. Слова падали в ватное пространство. Все те испытанные издевки и остроты, реакцию

которых в Москве мы знали как свои пять пальцев, здесь шли наряду с обычными фразами.

Расшевелить это болото было невозможно.

Через десять минут отчаянного ораторского напряжения я получаю первую записку. Я обрадован: значит, хоть что-то дошло! Раскрываю записку: “Будут ли после доклада танцы?”

Я позорно провалился.

Единственно, что я вывез из Тамбова, – это была кипа записок и надписей на книгах, которые я пускал в аудиторию для просмотра.

Эти записки я долго хранил. Потом они у меня пропали. Но большинство из них я запомнил на всю жизнь, как дважды два провинции:

“Все, что вы говорите, – ерунда, но вы сами очень милый. Причесывайтесь на пробор. Любите ли вы цветы? И какие?”

“Почему вы читаете стихи стоя?”

“Является ли футуризм партией, примыкающей к кадетам, или он еще левее?”

“Как можно поступить в футуристы?”

И наконец самое замечательное:

“У нас очень нехороший полицмейстер. Нельзя ли ему пригрозить футуризмом?”».

Отдельная тема – театры рабочие. Такие, как нетрудно догадаться, появлялись в городах с особо развитой промышленностью, к примеру в Ижевске. Первые спектакли начали давать прямо на территории завода, в главном корпусе. Как ни странно, это была инициатива сверху – глава ижевского завода господин Дмитриев-Байцуров сообщал, что организация театра проходила в соответствии с «секретным письмом Военного министра от 1 августа 1898 г. за № 186, коим вменяется в обязанность начальствующим лицам озаботиться о представлении рабочим с пользой и удовольствием проводить праздничные дни, дабы тем отвлекать их от разгула и вредного постороннего влияния».

Спустя два с лишним года после этого «секретного письма» открылся сам театр. Неудивительно, что авторам особо удавались всякие пиротехнические фокусы. Вот, например, одно из зрительских воспоминаний:

«Наша серая, непривычная к таким явлениям публика, за исключением интеллигенции, бледнела, вздрагивала и была близка к тому, чтобы креститься – так натурально сверкала молния».

Словом, спектакли пользовались потрясающим успехом: «В театре Васильева с большим успехом проходят спектакли, в которых участвуют любители-рабочие. При большом числе желающих получить билеты перед кассой собирается масса рабочих, происходит невообразимая давка... Получившие билеты выходят в другие двери мокрые, как из бани, истерзанные и замученные, с помятой грудью и ребрами. Рабочие недовольны еще и тем, что Соколов и другие разносят билеты по домам лицам, не имеющим права входа на завод: купцам, интеллигенции и прочим».

Правда, региональная специфика сказывалась и здесь. Один из начинающих актеров по привычке зарядил ружье не холостым патроном, а картечью – и в результате пристрелил товарища по сцене. Впрочем, произошла эта трагедия уже при новой, большевистской власти, но она вполне могла случиться и раньше.

* * *

В конце позапрошлого столетия в нашу провинцию пришел кинематограф. В Тверь, к примеру, он явился в 1896 году. «Тверские губернские ведомости» сообщали: «В последнее время всеобщий интерес вызывает новейшее изобретение, так называемый кинематограф или витограф. При посредстве этого аппарата показываются фотографические изображения различных предметов в состоянии движения, например, идущий поезд железной дороги, различные движения людей и животных, целая улица в многолюдном городе с движущимися экипажами и пешеходами и т. п. Получают такие изображения с натуры чрез последовательные и быстро повторяющиеся моментальные снимки особо устроенным фотографическим аппаратом. Имея полученную таким образом серию последовательных моментов движения данного предмета, человека, лошади и т. д., можно воспроизвести целую видоизменяющуюся

картину. Для этого ряд таких снимков быстро пропускают перед зрителями посредством электрического двигателя в так называемом волшебном фонаре, причем на экране получаются увеличенные фотографические изображения, которые, быстро сменяясь одно другим, оставляют впечатление предметов в непрерывном движении. Иногда положительно невозможно бывает заметить коротких интервалов между последовательными положениями движущихся предметов, и иллюзия получается полная».

Впрочем, к тому времени знакомство горожан с кинематографом уже произошло: «До сих пор в Твери хотя и появлялись подобия кинематографа, но это были аппараты, так сказать, игрушечные, представлявшие картины очень малых размеров и в крайне ограниченном выборе. Теперь обещают показать тверской публике усовершенствованный кинематограф, в котором картины будут воспроизводиться увеличенные, на большом экране. Необходимая для электрического двигателя энергия будет доставляться в помещение думы, где предполагается демонстрировать кинематограф, от динамо-машины, имеющейся в типографии господина Муравьева. В больших центрах, где нам приходилось видеть кинематограф, эта новинка заслуженно привлекает много публики. Само собою разумеется, демонстрация небольшого числа картин занимает сравнительно немного времени, поэтому оно соединяется обыкновенно с другими зрелищами, чтобы показывать картины во время антрактов».

О стационарных же кинотеатрах говорить в то время было еще рано: «Демонстрация кинематографа в Твери принял на себя господин Боур, устраивающий в тот же вечер спектакль. Кинематограф будет доставлен из московского театра Корша».

Со временем кинематограф из диковинки, аттракциона превращался в такую же обыденность, как вокзал или рынок. Делопроизводители все чаще сталкивались приблизительно с такими документами: «Заявление инженера-технолога А. Н. Гесслера в строительное отделение губернского правления об окончании постройки в г. Твери кинотеатра “Эрмитаж”».

Настоящим имею честь заявить, что мною закончено постройкой здание для электротeatра во владении госпожи Егорченко по Ильинскому пер. в г. Твери, какое прошу осмотреть и выдать мне разрешение на открытие действия театра.

А. Гесслер».

Но вместе с этим возникали новые проблемы – нравственного плана. Вот, к примеру, доклад так называемой редакционной комиссии Тверскому губернскому земскому собранию «О нежелательном характере кинематографических представлений в Твери», датированный январем 1915 года: «Редакционная комиссия в заседании своем... выслушала заявление некоторых ее членов о нежелательном характере многих кинематографических представлений, даваемых в г. Твери. Означенные представления, посещаемые преимущественно учащейся молодежью, нередко не только не обладают воспитательным характером, а, наоборот, по своему содержанию должны быть причислены к разряду антипедагогических. Так, одним из любимых сюжетов этих представлений являются сцены из воровского быта, а иногда они сопровождаются и сценами убийств, причем в кинематографической передаче сцены эти не только не вызывают отвращения, а наоборот, порождают у зрителей смех и даже восхищение к молодчеству действующих в них лиц».

Доходило до того, что гимназисткам запрещали посещать кинематограф, приравнивая его к самым пренебрежительнейшим местам Твери – например к главной улице. Вот какой документ увидел свет в 1916 году: «О запрещении ученицам Мариинской женской гимназии прогулок по Миллионной улице и посещения кинематографа. Педагогический совет Тверской Мариинской женской гимназии сим напоминает, что ученицам безусловно воспрещены прогулки по Миллионной улице в толпе гуляющих, где ежеминутно раздаются восклицания совершенно неприличного свойства. Ученица, идущая по Миллионной улице по делу, должна старательно избегать толпы; встреченная кем-либо из членов совета, таковая ученица должна доказать, что идет по делу. Замеченная в прогулках по Миллионной улице

ученица подвергается последовательно приглашению в гимназию в воскресенье на известный срок, уменьшению балла за поведение и увольнению из гимназии. Совет обращает особое внимание господ родителей на весь вред таковых прогулок, просит всячески воздействовать на дочерей в желательном смысле и удерживать их от гуляния в неподобающем месте.

Вместе с сим совет еще раз подтверждает запрещение посещать кинематографы – кроме тех случаев, когда разрешение дано будет начальством гимназии; за нарушение этого запрещения следуют те же наказания, что и за недозволенные прогулки по Миллионной улице.

Председатель педагогического совета В. Богачев».

Случались, разумеется, курьезы. Почти регулярно – в кинотеатре «Одеон» славного города Ижевска. Его открыл бывший регент Троицкого собора Н. А. Воробьев. Дело оказалось выгодным, и в материальном отношении Николай Александрович, конечно, выиграл. Но очень уж суетным был его новый промысел. Мало того что на заре кинематографа нравственный уровень продукции был несколько сомнительным, так еще и дурак-зритель то и дело раздражал своими глупостями. Подходили, например, после сеанса и просили, чтобы пионер-кинопрокатчик познакомил их с актрисами.

– Нет у меня тут никаких актрис, – отказывался Воробьев.

Естественно, зрители не верили. Чтобы не доводить дело до конфликта, Воробьеву приходилось подробно разъяснять им технику кинематографа.

Впрочем, не менее курьезными были распоряжения властей по поводу кинематографа. Вот, например, указ рязанского градоначальника: «Полицией, согласно приказа г. губернатора, предложено содержателям электротеатров вывесить на видных местах объявления с указанием, что дамы в шляпах впредь не будут допускаться в партер. Распоряжение это вызвано тем, что употребляемые дамами для заколки шляп длинные, острые шпильки представляют большую опасность для публики, посещающей электротеатры».

Владимирский же губернатор запрещал демонстри-

ровать во вверенном ему городе ленты «возбуждающего характера». Зато в Тамбове эти ленты были разрешены. И, к примеру, хозяин кинотеатра «Модерн» сам заботился о душевном здоровье и равновесии своих посетителей. Один из современников писал: «Мальчишкой мне довелось в “Модерне” увидеть первый в моей жизни кинофильм “Гибель Помпеи”. Впечатление было потрясающее: во время извержения вулкана рушились здания, сверкали молнии, гибли люди. Музыкальный иллюстратор, сопровождавший немой фильм на пианино, устраивал в зале невероятный грохот. Помню, что большинство картин по своему содержанию относились к драматическим, а то и к трагедийным произведениям. Поэтому владельцы кинотеатров, чтобы снять напряжение у зрителей, для желающих после сеанса показывали короткие кинокомедии, в которых играли замечательные комики того времени».

Киномеханик другого тамбовского кинотеатра, «Иллюзиона», писал: «Служащие иногда позволяли себе такие шутки. После сеанса, когда хозяин кинотеатра уходил домой, мы для своих знакомых прокручивали картины с конца. Или делали с помощью реостата так, что фильм показывался со спринтерской скоростью. Все это, естественно, вызывало смех присутствующих».

А вот ярославский колбасник Г. Либкен, открыв кинематограф, «раскрутил» его весьма своеобразным образом – тем, кто покупал в его колбасной всякой всячины на пять рублей, вручал билет в кино. Бесплатный.

Словом, культура потребления кинематографа была гораздо увлекательнее, чем само это изобретение.

* * *

Театр был развлечением изысканным, для публики по большей части интеллигентной, кинематограф интересовал практически всех, а вот в цирк ходило в основном простонародье. Журнал под названием «Самарский горчишник» (там горчишниками называли оборванцев, бродяг и вообще «деклассированный элемент») даже предлагал «Саратовскую улицу переименовать в Сапожную – поскольку там находится театр-цирк “Олимп”».

Когда в Самару приехал с гастролями Федор Шаляпин и увидел, где именно ему предстоит выступить, он заявил:

– Я в конюшне петь не буду!

Правда, концерт Шаляпина в «Олимпе» все же состоялся и, конечно, имел успех. Газеты восхищались: «Что же это было? Концерт? Нет! Это была глубокая захватывающая драма. Забываешь, что находишься в театре и слушаешь певца... Совсем не думалось о голосе, который поражал своей мощностью и объемом. Певец придавал ему временами, когда это нужно, столь мрачный и трагичный тембр, что становилось жутко, а иногда с такой изумительной легкостью переходил в нежнейшее пианиссимо и повествовал о любви, о страданиях и несчастьях людей, что все это западало в сокровенные уголки вашей мысли».

Цирк пользовался популярностью бешеной. Газета «Вятский край» писала в 1898 году: «Ижевцы бросали все, чтобы только идти в цирк-балаган, ради него позабывались обычные партнеры, не обольщал самый вист. Местные клубы оставались пустыми, общество трезвости, тогда еще молодое, потеряло свою привлекательность для публики, а между тем балаган был всегда переполнен, билеты брались положительно с бою, и содержатели балагана складывали тысячи и десятки тысяч в свои карманы».

Естественно, интеллигенция старалась обходить подобные забавы стороной.

* * *

Ближе к концу XIX века в русской провинции стали появляться музеи. Это больше не было прерогативой столичного Санкт-Петербурга с его Кунсткамерой и прочими просветительскими учреждениями. Провинция старательно пыталась наверстать упущенное.

Самый распространенный механизм создания музея – инициатива общественной организации. Таким, к примеру, был городской музей Симбирска. Датой его возникновения принято считать 30 июля 1895 года. Именно тогда в городе была учреждена Ученая архив-

ная комиссия, которая сразу же приступила к сбору коллекции и экспозиционной деятельности. Один из краеведов, П. Мартынов, сообщал: «С первых дней своего открытия Архивная комиссия озаботилась прежде всего устройством своего историко-археологического музея, так как это учреждение справедливо считается одной из наиболее действенных мер к скорейшему и наглядному ознакомлению общества с остатками местной старины. Общество весьма сочувственно отнеслось к этой отрасли деятельности архивной комиссии, обильно стали поступать пожертвования со всех концов Симбирской губернии».

Но собственного здания у комиссии, конечно, не было. Коллекция ютилась в комнатках Дворянского собрания, а после вообще перебралась на частную квартиру. Один из энтузиастов, В. Н. Поливанов, сетовал: «Помещение нашего музея совершенно недостаточно. Удаленность от центра города лишает его отчасти существенного значения служить образовательным целям местного населения. Симбирское городское управление, несмотря на все к нему обращения, не принимает в этом крайне важном для городского населения учреждении никакого участия. Тем не менее и при таких неблагоприятных условиях, в которые в Симбирске поставлен музей, последний с каждым годом продолжает пополняться».

Огромная удача, если в городе вдруг обнаруживалась некая недвижимость, словно предназначенная для устройства там музея. В идеале это был, конечно, Кремль. Так, к примеру, случилось в Ростове Великом.

Музей «Ростовский кремль» был основан в 1883 году. Правда, первое время он назывался иначе – Музей церковных древностей. Размещался он в Белой палате здешнего кремля, отреставрированной специально для музейных целей. Первым же пунктом устава музея было определено: «Ростовский кремль признается церковно-историческим памятником».

За музей взялись серьезно. Журнал «Вестник археологии и истории» писал о нем: «У нас много музеев, открытых десятки лет раньше Ростовского, еще не имеют своего описания. Ростовский музей открыт только

3 года и уже прекрасно описан». Музей разрастался. В нем то и дело появлялись новые отделы – икон, церковной утвари, картин, гравюр и фотографий, рукописей и книг, древнебытовых и этнографических предметов. Прирастал он и недвижимостью – к музею постепенно отошли Отдаточная палата, Княжьи терема, Ионинская палатка, Садовая башня, Иераршие палаты.

Скорость и видимая легкость, с которой рос музей Ростова, поражал. Москвич Н. Щапов так писал о нем: «Ростовцы любили старину; стараниями и на средства местных купцов в конце XIX века в городе был основан один из лучших местных исторических музеев. Они выпросили у какого-то ведомства в Ростовском кремле древнее строение, более ста лет служившее складом, а раньше принадлежащее ростовским митрополитам, очистили его и отделали в нем так называемую Белую палату. Это просторное для XVII века помещение служило митрополитам приемным покоем. Палата – под сводами со средним столбом; она схожа с Грановитой палатой в Московском Кремле. В ней и был основан музей, занявший потом и ряд соседних помещений. Те же любители старины и местные патриоты издали ряд описаний местных древностей, исторических путеводителей, архивных материалов по истории города».

Труды ростовских краеведов и подвижников были замечены в столице – в 1910 году Музей церковных древностей получил статус музея всероссийского значения. С этого момента средства на его развитие поступали не только от ростовских меценатов и из скудного уездного бюджета, но также из государственной казны.

Особая статья – мемориальные музеи, связанные, как правило, с посещением провинциального тихого городка первым лицом России, государем императором. Так, к примеру, возник «царский дворец» в Таганроге, в котором останавливался, а по официальной версии, и скончался Александр I. Этот скромненький, по сути, домик сделался достопримечательностью государственной величины. Уже в 1826 году генерал-адъютант князь Волконский выкупил это здание и под руководством вдовствующей императрицы устроил в нем первый в России мемориальный музей. При этом на месте кон-

чины царя устроили скромную, так называемую домовую церковь.

«Новороссийский календарь», вышедший в 1843 году, ставит «дворец» на первейшее место среди достопримечательностей Таганрога. Там же приводится и его краткое описание: «Императорский каменный Дворец простой архитектуры, окрашенный снаружи желтой краской, в котором проводил последние дни и переселился в вечность Александр I. В комнате, где последовала его кончина, устроена церковь во имя Благодарного князя Александра Невского, место перед царскими воротами, где стояла кровать его, означено на ковре белой тесьмой, под которым в нижнем этаже поставлен каменный столб в форме параллелограмма, для означения места кончины Благословенного».

Александр Павлович Чехов, брат Антона Павловича, вспоминал: «В Таганроге существует дом, называемый “Дворцом”. Это большой, угловой, одноэтажный дом с садом, принадлежавший некогда – как гласит предание – частному лицу, кажется, генералу Папкову. В этом доме жил и умер Александр I. С тех пор он и стал называется “Дворцом”, и по его панелям днем и ночью расхаживали взад и вперед с шашками наголо часовые-казаки. Одна из комнат в этом доме обращена в домовую церковь императора. Церковь – замечательно скромна и проста. Иконостас в ней – полотняный и такой зыбкий, что когда отворяются царские ворота, то он весь волнуется и дрожит. Он делит комнату на две части, в одной из которых помещается алтарь, а другая отведена для молящихся. Пол устлан старыми, потертыми коврами. Церковь эта очень долго стояла запертою, и ключ от нее хранился у смотрителя “Дворца”. Какими-то судьбами и ходатайствами ее приписали к собору и отдали в распоряжение соборного протоиерея. Последний отрядил туда одного из соборных же иереев и открыл в ней богослужение».

Кстати, Антон Павлович вместе с двумя своими братьями пел в хоре этой церкви.

Еще интереснее была судьба так называемого дома Гутмана, в городе Вологде. Здесь останавливался Петр Великий, что определило однозначно дальнейшую

судьбу этого небольшого, но приметного, выполненного в голландском стиле домика. В 1872 году, к двухсотлетию со дня рождения Петра Великого городские власти откупили у последнего владельца эту «палату каменную», и в 1885 году здесь открылся первый вологодский музей. При этом территория музея отнюдь не ограничивалась «каменной палатой». Замысел властей был более глобален – создать так называемый «Исторический уголок города Вологды». «Уголок» состоял из собственно дома Гутмана, части исторической застройки ближе к берегу реки, скверика с выставленными на обозрение различными старинными предметами и церкви Федора Стратилата (по легенде, выстроенной по приказу самого Ивана Грозного – якобы как раз на этом месте государю сообщили о рождении наследника Федора). Таким образом, «уголок» посвящался памяти сразу двух царей, Вологде наиболее близких.

Интеллигенция встретила новшество скептически. Георгий Лукомский, автор путеводителя «Вологда в ее старине», например, сообщал: «Домик не представляет, правда, почти никакого художественно-архитектурного интереса, тем более, что не так давно отделкой (новые наличники окон и покраска в шашку крыши) сметен налет той старины, которая чувствовалась сильнее лет 25 тому назад, хотя уже и тогда были внесены в первоначальную архитектуру дома некоторые изменения... Художественно-исторические предметы, входящие в состав его коллекции, не представляя в общем ничего выдающегося, все же являются весьма примечательными документами для истории быта и искусства русской провинции прошедших веков... Среди них прежде всего надо отметить большую аллегорическую картину на взятие Азова с изображением Петра Великого и цесаревича Алексея Петровича... портрет Петра I на поле битвы, религиозную картину, изображающую Иисуса Христа... портреты императрицы Екатерины I и Елизаветы Петровны, несколько отличных складней и крестов, украшенных финифтью; коллекцию книг XVIII в., где можно встретить несколько довольно редких изданий; интересный подбор стеклянных бокалов петровского, аннинского, елизаветинского, екатерининского

и александровского времен; старые нарядные люстра и фонарь и, наконец... витрины с самыми разнообразными медалями и монетами».

Были претензии и у князя-писателя М. Н. Волконского, автора либретто популярной сотню лет назад оперы «Вампука, принцесса Африканская»: «Из собора я прошел на вокзал, где встретил шведа, с которым познакомился в Архангельске, угостил его обедом и пошел показать и посмотреть дом Петра Великого. Дом каменный, с садиком и гораздо лучше содержан, чем в Архангельске, но меньше. В нем всего две комнаты: маленькая передняя и другая, позади, побольше. В комнатах собраны мебель, картины, ружья, книги, но все это в беспорядке. Книги, например, валяются просто на полках, а между тем они, наверное, представляют ценность, так как очень стары. На столе стоит шкатулка голландской работы со следующей странной надписью: *Alle hoffnung Hat vergnuht ich ruhe Iaroslav anno 1710*. В одном углу прислонено ружье весом в два с половиной пуда, из которого раньше стреляли в крепостях. В другом углу стоит горка с посудой, но, к сожалению, закрытая, так что мне не удалось узнать, какого качества. На столе книга, в которой посетители расписываются; какой-то шутник написал: «Кушайте на здоровье». За домом небольшой сад над рекой Вологдой, которая в это время года очень мелка, но берега ее высоки и красивы».

Несмотря на ироничный тон всех процитированных выше авторов, очевидно то, что «Исторический уголок города Вологды» и в первую очередь сам петровский музей был одной из основных достопримечательностей города. Недаром же дом Гутмана попал во множество путеводителей и мемуаров. Все туристы в обязательном порядке этот дом осматривали, а автор «Вампуки» еще и показывал его знакомому шведу.

Самое же любопытное (и вместе с этим самое подробное из описаний главного вологодского мемориального комплекса) оставил фельетонист Николай Александрович Лейкин: «Первым делом мы осмотрели домик, где жил Петр Великий. Он помещается на берегу реки Вологды и стоит в хорошеньком садике, опять-таки березовом. Сделано несколько клумб с цветами.

Домик и садик прекрасно содержатся. Домик этот не дворец. Он принадлежал какому-то голландцу, но в нем только жил Петр во время своих наездов в Вологду. Он каменный, одноэтажный, с массивными дверями, окованными железом, и состоит только из одной большой комнаты с прихожей».

Весьма своеобразно выглядел и кадровый состав того музея:

«— Тут инвалид в садике проживает, — сказал нам извозчик, подвезя нас к садику. — Инвалида-старичка спросите, и он вам все покажет!

Мы вошли в садик, стали приближаться к домику, выходящему на реку, и натолкнулись на старинную пушку петровских времен, а может быть, и древнейшую. Около пушки на перекладине висит медное било — доска, выкроенная в форме колокола. Тут же был и инвалид — старик без сюртука в ситцевом ватном нагруднике и форменной фуражке, который мел дорожки сада.

— Можно посмотреть домик? — спросили мы.

— Сколько угодно. Пожалуйста... Подождите малость. Я только за ключами схожу.

И старик, прислонив метлу к дереву, удалился в сторожку, помещающуюся невдалеке от домика между березами».

За неимением иных сотрудников музея пришлось прибегнуть к старому и доброму трюку с переодеванием: «Вернулся старик-сторож уже совсем в другом виде — в параде: на нем был форменный сюртук с нашивками на рукаве и с солдатскими регалиями на груди, в новом, топырящемся кверху картузе, и звенел ключами. Ключи громадные, фонтов по пяти весу и, наверное, самого Петра помнят.

— Пожалуйста, — сказал он нам торжественно, указывая на массивные двери.

— Много бывает посетителей? — задал я вопрос.

— Нельзя сказать... Но есть. Больше господ немцы.

— Какие немцы?

— Наезжающие которые ежи. Теперича они у нас по водопроводной части.

Звякнули ключи. Заскрипели на ржавых петлях две-

ри – и вот мы в домике, где когда-то жил великий преобразователь России».

А вот экспозиция на Лейкина, опять же, не произвела особенного впечатления: «В домике нельзя сказать чтобы было много что осматривать: темная дубовая тяжеловесная мебель конца XVII столетия, витрины, очевидно, позднейшей работы, с поделками из кости и рога – работа самого Петра, старинные монеты, книги, две картины масляными красками на дереве, железная колчуга Петра, подсвечники, образцы минералов, половина мамонтового клыка и прекрасно сохранившиеся деревянные сундуки, окованные железом. Есть вещи, никогда и не принадлежавшие Петру. Так, с потолка висит бронзовая люстра с гранеными хрусталиками стиля ампир. Мы тотчас заметили это.

– Ну, а это вещь ведь не петровская, – сказали мы сторожу.

– Не могу знать-с. Чиновник один пожертвовал. Все равно вещь старинная».

И последний отрывок, говорящий о том, что проблема музейных буклетов и прочей туристической литературы «на память» существовала еще в XIX веке: «Все вещи прекрасно содержатся, не покрыты слоем пыли, как это часто бывает в музеях, и всем им имеется печатный каталог, в котором описан подробно и самый домик. Мы хотели приобрести эту маленькую книжку, но у сторожа оказался всего только один экземпляр, который он бережно хранит в домике.

– Нельзя ли приготовить к вечеру? – спросили мы.

– Да нет больше, совсем нет. И у его высокородия нет, – отвечал он.

– Кто это его высокородие?

– А который заведует.

(Видимо, штат музея состоял все-таки не из одного, а из целых двух сотрудников. – А. М.)

– Так от чего же не печатают? Ведь это пустяки стоит, могли бы покупать.

– И многие спрашивают. Я только раз говорил его высокородию, что так и так, спрашивают, но вот не печатают».

Кстати, дело доходило до музея не всегда. Иной раз

ограничивалось кратковременной выставкой. Так, например, случилось в 1887 году в городе Екатеринбурге, где состоялась Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. Причин для ее проведения было немало. Один из гласных думы, например, высказывался – дескать, выставка «привлечет значительное число посетителей, а самый город, не имея высшего учебного заведения, устроит музей, который будет иметь поэтому громадное значение». Другой же гласный добавлял: «Иностранцы интересуются Сибирью, говорят, что она богата, и что они приедут на выставку непременно, и тогда Екатеринбург будет на высоте своего величия».

Экспонаты выставки были самые разнообразные, вплоть до живых людей. Профессор Д. Анучин восторгался: «Всего интереснее были остяки (ханты. – А. М.), из коих один называл себя христианином, но по-русски не говорил, а другой имел у себя кукол-богов, перед которыми и молился, но мог объясняться по-русски. У последнего была и жена, характерная представительница этого грязного и загнанного племени. В чуме имелись кое-какие вещи, стрелы, посуда, котелок, олени шкуры, грубые украшения и две-три характерных собачонки, белой шерсти, со стоячими ушами, вроде шпицев. На родине они помогают загонять оленей, четыре штуки которых, с санями и упряжью имелись и на выставке».

Впечатляла и продукция Верх-Исетских заводов: «Посредине витрины возвышается громадная составная пирамида, предназначенная изображать своими составными частями разной величины объема ежегодно добываемого заводами золота... пробы железа в виде узлов, завязанных в холодном состоянии, и штампованных вещей».

Ну чем не старая добрая ВДНХ?

Однако наибольший интерес все-таки вызывали всевозможные предметы быта: «По краям витрины находятся более крупные изделия заводов: чугунные диваны, камин, чугунные фигуры и бюсты, украшения для садов, заслонки и т. п.; далее, на изящно сделанных из металла полках, расставлена масса разных красивых, а подчас замечательно натурально вылитых фигур, групп и вещей... например, лампы, бюсты писателей, живот-

ных... избушка на курьих ножках, натуральная группа собак на стойке (сеттер с легавой); прекрасные группы лезгин и охотников, в высшей степени замечательное изображение крестьянки, едущей верхом на лошади с граблями в руках, сделанное по рисунку Лансере... В витрине есть альбом с фотографическими снимками со всех вещей и фигур, имеющихся в продаже в лавке заводов, по которому и можно ознакомиться с содержанием последней».

Впечатляла и «культурная программа». Один из пермских журналистов сообщал читателям своей газеты: «Екатеринбургская выставка, куда поехали разного рода увеселители, дала случай и возможность нашему городу прослушать и предвосхитить даже два концерта небольшого хора владимирцев на пастушеских рожках. Концерты эти заслуживают внимания по оригинальности инструментов хора и характеру музыки... Здесь мы слышали не игру, скорее превосходное пение, такие лились чистые, ясные, светлые звуки... Удовольствие усиливалось характером и мотивами народных песен, выбор которых как нельзя более удачен и нов, тем более, что в здешнем крае мотивы большинства русских народных песен или искажены, или вовсе неизвестны, да и голосом, по климатическим условиям, Бог обидел здешний люд».

Нечто подобное устраивали в Костроме. Один из современников оставил описание здешнего предприятия: «Земская Выставка занимала довольно значительную часть квартала, расположенного на берегу Волги, и простиралась от Нижне-Дебринской до Набережной улицы. Кроме того, к Выставке примыкало еще обширное пространство довольно низменного берега реки Волги, также занятое выставочными павильонами и разнообразными постройками, приготовленными для целого ряда различных кратковременных сельскохозяйственных выставок. Через Набережную улицу перекинут был висячий мост, соединявший две только что названные части обширной Выставки.

Все выставочные здания и павильоны сооружены были в древнерусском стиле, по проектам и под наблюдением художника Сологуба. Посредине Выставки,

на обширной площади, засаженной цветниками, высилась конная статуя мощного богатыря-витязя, как бы погруженного в глубокое раздумье. Здесь же, неподалеку, высокою струею бил красиво устроенный фонтан с обширным бассейном.

Все выставочные здания, как общественные, так и частных владельцев, были расцвечены национальными флагами, убраны разноцветными полотнищами, украшены гербами – Рода Романовых, Государственными и Костромской губернии. Все пространство между дорожками было заполнено роскошными коврами живых цветов. Целые цветники окружали также и отдельные павильоны Выставки».

Подобные выставки тоже пользовались популярностью.

* * *

Еще один заметный тип учреждений для «серьезного» досуга – публичные библиотеки. Они вошли в провинциальный быт гораздо раньше, чем музеи, – еще с первой половины XIX века. В частности, библиотека города Симбирска, «Карамзинская», была открыта в 1848 году. Инициатором создания библиотеки (дела по тому времени довольно необычного) был Петр Михайлович Языков. А незадолго до смерти его брат, поэт Н. М. Языков, обратился к другому поэту, Михаилу Погодину: «Не можешь ли ты провозгласить в “Московитянин” и даже в “Московских ведомостях” о Карамзинской библиотеке, открываемой в Симбирске? Провозгласить и пригласить русских писателей жертвовать в нее свои сочинения? Книги, которые ты жертвуешь, благоволи прислать ко мне: брат отправит их в Симбирск с своим обозом».

К моменту же открытия библиотеки в ней было 4000 томов, и третий брат Языков, Александр, с гордостью писал в одном из писем: «Читают уже двадцать человек дома с залогами и сорок постоянно в комнате библиотеки, Петр Михайлович пишет, что чрезвычайно удивительно и отрадно видеть в Симбирске сорок человек, сидящих вместе и читающих».

Даже философ В. В. Розанов, не слишком жаловавший общество Симбирска, восторгался: «Да будет благословенна Карамзинская общественная библиотека! Без нее, я думаю, невозможно было бы осуществления этого “Воскресения”, даже если бы мы рвались к нему. Библиотека была “наша городская”, и “величественные и благородные люди города” установили действительно прекрасное и местно-патриотическое правило, по которому каждый мог брать книги для чтения на дом совершенно бесплатно, внося только 5 рублей залога в обеспечение бережного отношения к внешности книг (не пачкать, не рвать, не трепать). Когда я узнал от моего учителя (репетитора) А. Н. Николаева, что книги выдаются совершенно даром, даже и мне, такому неважному гимназисту, то я точно с ума сошел от восторга и удивления!.. “Так придумано и столько доброты”. Довольно это простая вещь, простая филантропическая организация, поразила меня великодушием и “хитростью изобретения”».

В 1858 году открылась общедоступная библиотека в городе Рязани. Газета «Рязанские губернские ведомости» уведомляла: «Библиотека открыта для посетителей ежедневно с 11 до 15 утра и с 17 до 21 часа вечера, кроме вечера субботы, утра воскресенья и табельных дней. Одна комната назначена собственно для чтения газет и журналов, которые расположены для этого на особом столе; другая комната – вообще для чтения книг, отпускаемых библиотекарем особо для каждого посетителя».

«Отечественные записки» восторгались: «Искренне радуемся, сообщая такие известия, потому что устройство подобных учреждений ясно указывает на потребность, которой, по крайней мере в прежние годы, не замечалось, – на потребность чтения. Публичные библиотеки возникают мало-помалу в наших губернских городах; но, сколько мы помним, библиотек вроде рязанской, где бы можно было пользоваться кигами бесплатно, весьма немного, напротив, большинство их содержится частными антрепренерами с целью извлечения выгод».

Правда, бесплатным был только читальный зал. За пользование абонементом приходилось вносить пла-

ту – шесть рублей за год, или четыре рубля за полгода, или рубль за месяц.

Руководил библиотекой служащий губернской канцелярии К. П. Архангельский. Его аттестовали таким образом: «Свои обязанности исполняет с особенным старанием и знанием дела, содержит библиотеку в отличном порядке, трудится весьма добросовестно и справедливо заслуживает уважение посещающих библиотеку». «Посещающих» было немало. Физиолог И. Павлов писал: «У меня и сейчас, как живая, перед глазами стоит сцена, как несколько нас, семинаристов и гимназистов, в грязную холодную осень по часу стоим перед запертой дверью общественной библиотеки, чтобы захватить первыми книжку “Русского слова” со статьей Писарева».

Впрочем, другой читатель, академик И. Янжул, считал, что популярнейшим здесь был другой журнал: «Главным источником знакомства для нас с современной литературой являлась в Рязани публичная библиотека... Современник был любимейший наш журнал; я пользовался расположением библиотекаря г. Архангельского и всегда умудрялся являться вовремя, к приходу почты и получить в свое исключительное обладание драгоценную книгу в сиреневой обложке, еще не разрезанную и пахнущую типографией. Я медленно усаживался к окну, вооружался ножом и с наслаждением приступал к священнодействию: внимательно перечтя заголовки содержания, разрезал статьи любимых авторов; нередко я наблюдал – длинные фигуры с завистью на меня в это время поглядывали, ожидая нетерпеливо в свою очередь сделаться обладателем любимого журнала».

Спустя год была основана самарская библиотека. И вскоре сделалась одной из наиболее значительных в русской провинции. К концу позапрошлого столетия ее фонд составил 36 тысяч томов. Но деятельность этого книгохранилища памятна нам не только достижениями, но и многочисленными любопытными историями, которые случались в ее стенах.

Все началось с распоряжения губернатора К. Грота. Он велел при редакции «Самарских губернских ведомостей» открыть так называемый «кабинет для чтения».

Дело обстояло более чем скромно. «Ведомости» сообщали, что редакция «признала возможным поделиться с публикою за самую умеренную плату выписываемыми и получаемыми ею в обмен на “Губернские ведомости” периодическими изданиями. Не ища от того выгод, она избирает целью способствовать по мере ограниченных средств своим делу общей пользы... Благодаря сделанным некоторыми жителями денежным пожертвованиям, кабинет первый год своего существования может считать почти обеспеченным».

Приобщение горожан к невиданной ранее библиотечной культуре проходило не без трудностей. Те же «Ведомости» сообщали в скором времени после открытия «кабинета»: «Однажды утром, нечаянно... собрались три господина, знакомые между собою, и усевшись около стола, занялись рассматриванием иллюстрированного издания, делая свои замечания на помещенные в нем политипажи. Изображения были забавны настолько, что они позволили себе смеяться и разговаривать, вероятно забывши, что этого делать не должно по правилам, или может быть, думая, что в пустой комнате, в которой кроме них никого не было, можно дозволить такую смелость, или, наконец, может быть, они возмечтали о своем значении: но как бы то ни было, а жестоко они обманулись. В самый момент смеха вошел к ним кабинетный смотритель и подал молча (какая точность!) печатный листок правил, указывая пальцем на пункт о молчании. Три господина, взглянув друг на друга, как провинившиеся школьники, вспомнили, что находятся в заведении, где посетители должны принимать на себя обязанности траппистов, и смолкли. Случай этот, правда, неважный, но значение его знаменательно, он показывает, как отстало наше общество! Даже для соблюдения приличий, устанавлиющихся в других местах обычаем, у нас нужно устанавливать и утверждать правила!»

Ясно, что «кабинетный смотритель» поступил не по духу, а по букве указанных правил – ведь господа никому не мешали. Здесь скорее показательно другое – та покорность, с которой респектабельные жители Самары подавили свои позитивные эмоции.

Кстати, закон о тишине был очень строгим. Он гласил: «Чтобы занимающиеся в библиотеке не могли быть развлекаемы, запрещается всякий шум и громкий разговор. Если кто из посетителей вопреки напоминаниям библиотекаря стал бы упорствовать в подобном нарушении тишины, то такому лицу навсегда запрещается вход в библиотеку».

Библиотека постепенно разрасталась, совершенствовалась. Но имелись в ней и недостатки. Один из современников писал о ней: «Крошечная передняя, в которой вешается верхнее платье посетителей, служит вместе и курительной комнатой для проходящих. Направо из этой передней небольшой низенький зал, довольно, впрочем, светлый, со столами посредине. По столам разложены газеты и журналы, но эти же столы служат и тем, кто занимается каким-нибудь серьезным, ученым делом. Впрочем, для этих занятий не только нет чернильниц на столах, но даже воспрещено писать в читальном зале, хотя бы и из своей чернильницы... Так сказать, картинности, наружной представительности библиотека не имеет никакой. Шкафы низенькие, все с дверцами, что для большой, благоустроенной библиотеки и излишне, и убыточно; шкафы расставлены тесно, применительно к тесноте и неудобству помещения; некоторые шкафы даже днем плохо или вовсе не освещены, что должно крайне затруднять библиотекарей».

Зато сотрудники читальни с нескрываемым азартом придумывали новые и новые ограничения. В частности, по поводу проекта новых правил, составленного в 1876 году, гласный городской думы Петр Алабин говорил:

– О собаках не следует в этих правилах вести разговора – просто приказать швейцару не пускать собак, и только. Посетителей просят не ложиться на диван... В печатных правилах, публикуемых на всю Россию, помещать такие указания нахожу неприличным.

Нравы, царившие в библиотеке, могли обескуражить любого. Как-то раз сюда зашел Иегудиил Хламида (так подписывал свои статьи сотрудничавший с «Самарскими ведомостями» Максим Горький). С трудом нашел свободное местечко, сел за стол и сразу получил удар по голове тяжелой лампой.

– Позвольте, милостивый государь, вы сели на мою книгу! – недовольно произнес ударивший.

– Извините, – сказал господин Хламида и, естественно, поднялся.

А ударивший расхохотался и с размаху плюхнулся на освободившееся место. Естественно, там не было никакой книги.

Иегудиил опять отправился искать себе пристанище и, обнаружив его, сел... в музейную витрину. После чего решил больше не искушать судьбу и вышел в гардероб, где обнаружил, что кто-то в темноте пытается надеть на ногу его шапку, приняв ее за калошу. Отняв шапку, незадачливый писатель обнаружил, что его калоши просто-напросто исчезли.

– Где мои калоши? – спросил Хламида у смотрителя.

– Не волнуйтесь, – отвечал смотритель. – Я их положил в карман вашего пальто. Чтобы не потерялись.

Не исключено, что этот случай был вполне типичным для знаменитого самарского культурного учреждения.

Особый путь развития был у библиотеки Таганрога, которая открылась в 1876 году и поначалу включала в себя всего 2000 томов. Любопытно, что кроме серьезных изданий тут можно было увидеть юмористическую периодику – «Стрекозу» и «Будильник». Один из посетителей писал: «Я помню, в воскресенье и праздничные дни мы спозаранку собирались в городской библиотеке... и по несколько часов кряду, забывая об обеде, просиживали там за чтением этих журналов, иногда выражаясь таким гомерическим хохотом, что вызывали недовольное шиканье читающей публики».

Поначалу частым посетителем библиотеки был Антоша Чехов. После, когда он, что называется, встал на ноги, Антон Павлович стал о ней заботиться, пересылать в дар Таганрогу свои собственные книги. Сделать дар было непросто. Чехов обращался к городскому голове: «Посылаю для городской библиотеки книги, в большинстве полученные мною от авторов, переводчиков или издателей. Многие из них, именно те, которые снабжены автографами, имеют для меня особенную ценность, и это обстоятельство объясняет, почему я решаюсь

предлагать книги, которые, быть может, уже имеются в нашей библиотеке и не обогатят собою ее каталога. Прошу вас принять их и разрешить мне и впредь присылать книги, причем в следующие разы я буду направлять свои посылки непосредственно в библиотеку».

Городской голова милостиво соглашался. Но начались новые проблемы, на сей раз цензурные. Антон Павлович сетовал: «Лучшие сочинения по истории и социологии и прочие изъяты. Серьезно пострадала и беллетристика: Гаршин, Златовратский, Каранин, Короленко, Толстой с XII тома, даже Станюкович также изъяты».

Даже если книги оседали на библиотечных полках, все равно проблемы оставались, Чехов писал библиотекарю А. Ф. Иоранову: «Вы правы, каталог ужасен... Какая каша! Вагнеров пять, Никольских четыре, Плещеевых два, но все они свалены в одну кучу, отделы перепутаны; многих книг из тех, которые посланы были мною до поездки за границу, недостает. Недостает так много, что уж я собрался предложить Вам: не продолжать ли нам приобретать книги до более благоприятного времени? Ведь если книги будут пропадать так колоссально и если библиотекарь будет и впредь переплетать по пяти-шести авторов в один том, то ведь в конце концов получится не библиотека, а помещение, набитое книжным балластом, который выбросят. Из всех библиотек, которые я знаю, ни у одной нет такого каталога, как у нашей, хотя ни у одной из них библиотекарь не имеет такой хорошей квартиры и так много свободного времени».

Проблемы Чехова с библиотекой, называемой им «нашей», завершились только с его смертью. И тут случилось нечто наподобие посмертного, пусть запоздалого, но яркого подарка. Друг покойного Антона Павловича архитектор Федор Шехтель выстроил для библиотеки Таганрога новое здание (разумеется, в стиле модерн). Его пригласила специальная комиссия, созданная к пятидесятилетию со дня рождения покойного писателя. Комиссия предположила, что Шехтель «отнесется с особенным вниманием и любовью к проектированию здания, имеющего служить памятником его другу». Шехтель ответил: «Я очень польщен предложением ва-

шим... Личный труд я совсем не буду считать и попрошу возместить лишь мои расходы на помощников».

Так в городе Таганроге появился самый, видимо, полезный памятник Антону Павловичу Чехову.

А вот в Ростове-на-Дону дела с библиотеками обстояли не так гладко. Дефицит читален излагался даже в стихотворной форме:

Ростовец зрением страдает,
И просвещенья яркий свет
Его и мучит и пугает,
Уж так ведется много лет.
Библиотека прозябала
В Ростове частного лица,
Она хирела без конца –
И вот теперь ее не стало...
Бог с ней! Зачем Ростову книги –
Плоды незанятых умов?
К чему ненужные вериги,
Обременение голов?

Кстати, именно провинциальные читальни часто помогали состояться будущим великим литераторам. Иван Бунин, в частности, писал о библиотеке города Орла: «Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла она была, до чего никому не нужна. Старый, заброшенный дом, огромные голые стены, холодная лестница во второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху донизу уставленных истрепанными, лохматыми книгами залы... Я проходил в “кабинет для чтения”, круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом посередине, на котором лежали “Епархиальные ведомости”, “Русский паломник”».

Кто знает, как сложилась бы судьба писателя, когда бы не было в Орле читальни?

Формы читален были самые разнообразные. Совсем не обязательно они располагались в особых зданиях и обслуживались штатом специально подготовленных людей. Вариантов было множество. Один из них – читальня при книжном магазине. Одно из таких предприятий открыл в городе Воронеже известный поэт Иван Саввич Никитин. Он же составил ему рекламу: «Предполагая в первых числах февраля буду-

щего 1859 г. открыть в г. Воронеже книжный магазин, честь имею довести до сведения воронежской публики, что в состав его войдут лучшие произведения русской и французской литератур, преимущественно по отделам изящной словесности и истории... Он должен быть не только складочным местом старых и новых книг, назначаемых единственно для продажи, но и летучею библиотекой... С этою целью предлагается публике возможно выгодные условия за право чтения».

Разумеется, библиотеки то и дело привлекали внимание полиции. Еще бы – в книгах может быть крамола! Архангельский «Северный край» в 1906 году сообщал: «Местная администрация перед рождественскими праздниками усиливает свою деятельность: аресты и обыски ежедневно. Вчера в 2 часа дня многочисленный наряд полиции сделал визит в Герценовскую бесплатную библиотеку. Полиция получила откуда-то сведения, что в библиотеке хранится две тысячи прокламаций. Их она и явилась искать.

Долго рылись полицейские в шкафах, ящиках, столах, очень искали большую добычу... Но, к их сожалению, ничего, кроме легальных изданий “Донской речи”, в библиотеке не оказалось. Обыск производился настолько тщательно, что был даже обыскан чердак. Особенно выделялся “известный” городской Сурсков, ему больно хотелось прочесть прокламацию... Помимо помещения библиотеки полиция не забыла навестить и заведующего библиотекой И. Горшкова. В его квартире тоже полиция рылась и также ничего не нашла. После обыска, который окончился в 6 часов вечера, в библиотеке была устроена засада».

При всем при том сама библиотека далеко не процветала. Тот же «Северный край» так описывал трудности ее жизни: «Печально положение бесплатной библиотеки имени Герцена, открытой обществом для содействия народному образованию в мае месяце в закоротерской части города, на углу Предтеченской и Захаровской улиц. Число подписчиков доходит до 800 человек.

Между тем запас книг совершенно недостаточен. Вследствие этого прекращен дальнейший прием подписки на чтение. Помещение библиотеки жалкое, хо-

лодное. Комиссия при совете общества, которой вверена библиотека, распалась и бездействует.

Все дело держится самоотверженной работой И. В. Горшкова, который, будучи занят на должности сторожа за 10 рублей в месяц, фактически исполняет и обязанности библиотекаря – нужно отдать ему справедливость, очень хорошо.

В дальнейшем положение библиотеки должно оказаться еще более тяжелым вследствие того, что общество не получило на будущий год обычного значительного пособия от губернского земства, и средства, имеющиеся на содержание библиотеки в 1907 году, представляются еще более скудными.

Без широкой поддержки со стороны всех сочувствующих этому симпатичнейшему учреждению деятельность его должна до крайности сократиться, если не прекратиться совсем».

Однако же библиотека не сдавалась, действовала.

* * *

Но библиотеки и музеи – развлечения для интеллигенции. Для народа попроще существовали всевозможные увеселительные парки. Если парк был более-менее квадратной формы, то он назывался парком или садом. Если вытянутым – то носил гордое имя «Городской бульвар». Слово «бульвар» использовалось несколько в ином значении, нежели сегодня, – ни проезжих полос, ни даже тротуаров по бокам того бульвара не было.

Подобные увеселения устраивались даже в таких малых городах, как, например, Торжок. Бульвар там был наклонным, шел вдоль Ильинской горы и слыл местом притягательным и любопытным. И. Глушков писал еще в 1801 году в «Ручном дорожнике»: «Девушки новоторжские любят гулять и никогда не скрываются. В праздничный день крепостной вал (бульвар располагался на бывшем валу. – А. М.) покрыт ими, а следовательно, и молодыми мужчинами».

Самобытность нравов наблюдалась на бульваре и в середине позапрошлого столетия. А. Н. Островский об этом писал: «Недолго нужно жить в Торжке, чтобы заме-

тить в обычаях и костюме его жителей некоторую разницу против обитателей других городов. Девушки пользуются совершенной свободой; вечером на городском бульваре и по улицам гуляют одни или в сопровождении молодых людей, сидят с ними на лавочках у ворот, и не редкость встретить пару, которая сидит обнявшись и ведет сладкие разговоры, не глядя ни на кого. Почти у каждой девушки есть свой кавалер, который называется предметом. Этот предмет впоследствии времени делается большею частью мужем девушки».

Тот же Островский замечал в дневнике: «11 мая. Ходили по городу, который расположен на горах. Вид с бульвара на ту сторону Тверцы выше всякой похвалы. Был городничий. Потом был винный пристав Развадовский (рыболов). Рекомендовался так: “честь имею представиться, человек с большими усами и малыми способностями”. Замечателен костюм здешних женщин и гулянье девушек по вечерам на бульваре».

Ближе к концу века бульвар изменил свой облик. Один из очевидцев примечал: «Сегодня выйдя часу в седьмом на бульвар, я был поражен массой народа. Аллеи были битком набиты, скамьи унижены сидевшими. Головы, повязанные платками, и черные фуражки, густо перемешанные между собой, двигались одной сплошной массой. На мужчинах новые платья, чистые рубахи, вышитые шелками. Женщины в бурнусах внакидку, из-под которых пестреют ярких цветов платья. Там и сям попадает сарафан, безрукавки, кокетливо повязанный шелковый платочек; изредка мелькнет круглое личико с румянцем во всю щеку, тонкими русыми бровями и карими глазами. Взгляд этих глаз быстрый и мягкий, задорно загорающийся. “Вот она, настоящая новоторка...” – думал я, встречая такие глаза. Но, к несчастью, встречались они редко.

Всякая церемонность в обращении отсутствовала. О себе говорили: “я”, а не “мы”, “мне”, а не “нам”. “Помилуйте-с” хотя упоминали часто, но не исключительно. О “компаньонах”, “предметах” и “полюбовничках” и речи не было. Все эти термины заменил один общий: “кавалер” – во всех падежах и числах.

– Ах, какой вы кавалер... – жеманно говорит закутанная в длинный капот мещанка.

– Сегодня и кавалеров-то нету-ти... – говорит другая своей подруге, тоном слегка недовольным и презрительным».

Вот такой глобализм.

В 1852 году был открыт городской бульвар в городе Муроме. Об этом событии писали «Владимирские губернские ведомости»: «Двойное торжество празднуют в этот день жители города Мурома: как верные сыны церкви – память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, а как верные дети Отца Отечества – день рождения Его Императорского Величества Государя Императора. И то, и другое драгоценно для русского сердца.

Для этого военные и гражданские чиновники, дворянство, купечество и все сословия собрались в девять часов утра в Богородицкий собор для слушания литургии...

В шесть часов открылось первое общественное гуляние по бульвару и галерее, устроенным попечением и заботливостью начальника здешнего города князя Ивана Александровича Трубецкого, которому все здешние жители за это вполне благодарны. Хором песельников и оркестром музыки ознаменовалось призывание посетителей: вся Соборная площадь по случаю ярмарки и нового гуляния усеяна была пестрыми группами народа; город был иллюминирован; красивая галерея, великолепно украшенная разноцветными огнями, была наполнена танцующими, а на противоположном берегу Оки и на воде в симметрическом порядке горели костры и придавали очаровательный вид».

Долго не прекращались торжества. Та же газета сообщала: «Два дня спустя, по открытии булевар в Муроме, происходило катанье по Оке. Было приготовлено несколько расписных дощаников, покрытых коврами и украшенных разноцветными флагами, с гребцами, щегольски одетыми в русском вкусе, одной формы. В назначенный час музыканты на особенных лодках, отъехавши на середину реки, играли увертюры, вальсы, польки, в другой стороне пели песельники... Участвующие в этом катанье стали мало-помалу стекаться на бульвар, а потом все отправились на катеры и лодки,

искусно разрисованные, которые под дружным взмахом весел быстро носились по реке... Часу в восьмом катавшемся возвратились в галерею, построенную на оконечности бульвара. Там начались танцы и продолжались часу до второго. Плошки, разноцветные фонари испещряли весь бульвар, галерею и набережную».

Были подобные бульвары, разумеется, и в крупных городах, например в Саратове (его альтернативное название – парк «Липки»). Он был разбит в сороковые годы XIX века, во времена, когда городским головой был некто Масленников. Горожане по этому поводу посвятили старательному голове весьма ироничные, хотя и неуклюжие строки:

Любит разводить садочки,
Разные кусточки и цветочки.
Там, где прежде гуляла коза,
Там теперь гуляют господа.

Тем не менее парк «Липки» полюбился горожанам. Константин Федин посвятил ему такие строки: «В городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским сквером, с павильонами, где кушали мельхиоровыми ложечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и йогурт (йогурт, как тогда называли кефир. – А. М.). Аллеи, засаженные сиренями и липами, вязами и тополями, вели к деревянной эстраде, построенной в виде раковины. По воскресеньям в раковине играл полковой оркестр. Весь город ходил сюда гулять, все сословия, все возрасты... В новом цветнике, открытом со всех сторон солнцу, слышались пронзительные крики: “Гори-гори ясно, чтобы не погасло” и стрекотанье неутомимых языков: “Вам барыня прислала туалет, в туалете – сто рублей, что хотите, то купите, черно с белым не берите, “да” и “нет” не говорите, что желаете купить?”... В аллеях продвигались медленными встречными потоками гуляющие пары, зажатые друг другом, шлифуя подошвами дорожки и наблюдая, как откупоривают в павильонах лимонад».

Лимонад был еще в диковинку.

Кстати, название «Липки» было в русской провинции весьма популярным. Одноименный бульвар существо-

вал, например, во Владимире, а разбивали его местные гимназисты. Один из них вспоминал: «Ранней осенью в нашей гимназии совершилось радостное событие – участие в насаждении деревьев, устройство сквера напротив здания самой гимназии. До того здесь была голая площадь между соборами и зданием Присутственных мест, обсаженная лишь с северной стороны, образуя малый бульвар “Липки”, аллею их напротив гимназии, существующую здесь доселе. На этой площади, очень неровной, изрытой ямами, занесенной зимой снегом, были проложены две тропинки – к Дмитриевскому собору и присутственным местам. Летом на площади проводилось ученье новобранцев, иногда представления заезжих циркачей-канатоходцев или выступления цыганского табора. И вот бывший тогда Владимирским губернатором Н. М. Цеймерн вознамерился превратить эту площадь в городской сквер путем насаждения на ней аллеи тополей, существующей доселе. И к этому были привлечены ученики гимназии...

Помню, как сейчас, чудесный осенний солнечный день в начале нового учебного года. Нас, гимназистов, попарно вывели на эту площадь, где были уже заготовлены ямки для посадки деревьев, дали каждому по лопате, и мы постепенно, под руководством садовников и под звуки полковой военной музыки закапывали деревца тополей».

Здесьний бульвар был знаменит своим мороженым – лакомством столь же диковинным, как и лимонад. Этим десертом торговал здесь некий Иван Ходов, подписавший предварительно весьма суровый документ: «Я, Ходов, обязуюсь около своего киоска соблюдать должную чистоту и при малейшей неисправности в этом отношении обязуюсь немедленно исполнить требования властей и управы; при неисполнении же этих требований управа имеет право произвести очистку места за мой счет, и я, Ходов, не вправе жаловаться на размер уплаченного управой вознаграждения за очистку... Порча и уничтожение деревьев близ киоска, безусловно, воспрещается».

Мороженое, разумеется, шло на ура. Хотя состав его был очень даже примитивным – молоко, сахар, яичные желтки и совсем чуть-чуть ванили.

Рядом с «Липками» располагался и большой бульвар, названный именем Пушкина. Он также пользовался популярностью и, больше того, удостоился стихотворения местного поэта Михаила Бенедиктова:

Дав тень сию тебе
и в знойный день прохладу,
полезным быть во всем
я целию имел
и счастлив истинно,
коль скажут мне в награду,
что я любил тебя
и другом быть умел.

Это стихотворение, написанное как бы от лица бульвара, было размещено на одной из беседок. Сам же бульвар выглядел так: «Мы помним стоящее на краю его, обращенное к Клязьме старое здание его летнего клуба “ротонду” – круглое деревянное здание со шпилем наверху и надписи, написанной на меди и прибитой к стене перед входом в клуб. Еще в начале века, на наших глазах, сам Большой бульвар представлял собой три аллеи – широкую и две по бокам, тянувшиеся, как и теперь, с Большой улицы до обрыва к Клязьме, откуда расстился прелестный вид на Заречье... Аллеи были обсажены липами... Возле забора, установленного вдоль левой боковой аллеи, виднелись остатки бывшего здесь пруда, в котором по веснам плавали утки и мальчишки на плотках... С наступлением лета в вечерние часы молодежь устремлялась на Пушкинский бульвар... Три раза в неделю играл военный оркестр, размещавшийся в раковине, сбоку от клуба. Всюду раздавался молодой, задорный смех, встречались старые знакомые, друзья, товарищи, создавались новые знакомства. Вечера заканчивались пусками бенгальских огней, фейерверками. К 12 часам ночи все расходилось и бульвар затихал».

На одной же из скамеек кто-то гвоздиком выцарапал стихотворение, по сути – свою жизненную драму:

На вашем пальчике колечко – драгоценный сувенир,
А я страдаю без надежды, проклинаю весь мир...
Ваш папаша гонит прочь меня.
Мне все едино, когда хрюкает свинья.

Славился и бульвар в Костроме. Жители этого маленького города на Волге вообще умели радоваться жизни – а бульвар, собственно говоря, для этого и создавался. Алексей Ремизов писал о нем: «Когда стущаются сумерки и зажигается, затейливо повешенная на проволоке между рестораном и эстрадою, знаменитая лампочка, бульвар оживает. Набираются шумно городские сорванцы и гуляки, и за крикливою сворою по следам ее входит что-то подозрительное и скандальное, и бульвар принимает ту вечернюю воскресную выправку, которая сулит мордобой и участок. Одобрения и неодобрения начинают высказываться так громко и беззастенчиво, что хоть караул кричи – тут кавалер какой-то бросил барышне на колени зажженную бумажку, и та завизжала, словно перерезали ей горло, там другой кавалер ущипнул незнакомую даму, и опять крик. Крики, хохот, смешки, шутки, шалости и дурачество».

Костромич С. Чумаков рассказывал: «Летом публика ходила взад и вперед по главной аллее бульвара, в жаркие дни при большом скоплении народа поднималась пыль, так как никакой поливки не существовало. Несколько раз в неделю на бульваре играл оркестр военной музыки под управлением капельмейстера Виноградова. Для оркестра была сделана у задней стены городской управы деревянная раковина. Менее многолюдно было на малом бульваре, который шел влево от собора, спускаясь к Волге до самой беседки на ее берегу.. В начале малого бульвара стояла будка, в которой в летнее время торговал мороженым известный всей Костроме Михеич. Мороженое изготовлялось им самым первобытным способом, но было очень высокого качества и самых разнообразных сортов, почему и пользовалось большим спросом».

Впрочем, парки, скверы и сады были гораздо больше распространены – как по названию, так и по геометрической форме. Они, как и бульвары, были центром общественной жизни провинциального города. Притом центром демократичным. В частности, архангельский поэт И. Иванов описывал Гагаринский сквер своего города:

В сквере весь Архангельск в лицах:
Петр Кузьмич, артист, певица,
гласный Думы городской,
постовой, городской,
сыщик, франт, карманный вор
и газетный репортер,
канторист и коммерсант,
и бездарность, и талант,
и кухарка Парасковья —
одним словом, все сословия
с высших и до низших сфер
переполнили наш сквер.

Славился на всю страну Шехтелев сад Саратова, открытый полным тезкой и родственником знаменитого архитектора – Францем Осиповичем Шехтелем. Писатель Гавриил Гераков вспоминал: «Там, где теперь... дача Шехтеля, в мое время была голая степь. Я в детстве с товарищами своими ходил на эту степь вылавливать из нор водой сусликов, а женщины рыли здесь солодские корни для продажи; тут также паслись бараны, предназначенные на убой».

Однако в середине XIX века никто уж не помнил о несчастных баранах и сусликах. Память о них затмил летний сад, который открыл тут Франц Шехтель. Саратов тогда уже был городом крупным и шумным. Горожане, особенно летом, нуждались в загородном месте отдохновения. И Шехтелев сад, находящийся в двух с лишним верстах от тогдашнего города, пришелся саратовцам как нельзя кстати. Тем более что расстояние это было нисколько не обременительным – предприимчивый купец пустил особые омнибусы от Театральной площади до собственных владений.

Франц Осипович не претендовал на строгость и академичность. В его саду случались, например, такие представления: «В саду Шехтель. Перед отъездом компания артистов гг. Дитрихи и Сабек представят здесь небывалое зрелище, составленное из 50 персон в богатых азиатских, африканских и европейских костюмах, которые на 17 роскошно убранных верблюдах сделают шествие по главным аллеям сада и потом в богато убранном Аравийском шатре исполнят аравийские игры и пляски, в чем будет участвовать хор цыган».

Другая заметка гласила: «В театре сада Шехтеля с

большим успехом прошли гастроли американского негритянского трагика А. Ф. Олдриджа, исполнившего роли Отелло, Макбета, короля Лира». Возможно, большинство саратовцев в первую очередь заинтересовала не актерская игра известного в те времена артиста Айры Олдриджа, а сам факт выступления на сцене негра – настоящего, а не какого-нибудь там нагуталиненного Васьки с ярмарки.

Помимо выступлений здесь играли в бильярд и кегли, запускали в высокое небо «аэростатический шар» и, разумеется, танцевали под звуки оркестра. «Приятно было приехать в сад Шехтель, – писал современник, – даже не ради театра и танцев, а просто насладиться чистым воздухом и послушать музыку». Однако Шехтелям сад принадлежал недолго. Уже в конце шестидесятых годов семью постигает финансовая катастрофа. Один из свидетелей этих событий писал: «Шехтели лишились всего состояния от неудачного предприятия: они вздумали добывать в Сибири золото, почему один из братьев поселился в Красноярске. На приисках Шехтели потратили весь свой капитал и влезли в большие долги. Дома их продали с аукциона».

К счастью для саратовцев, сад и театр достались некому Э. Ф. Сервье – французу, парикмахеру, человеку, явно не чуждому изящных развлечений. Сад не только не меняет своего характера – напротив, он становится все интереснее и все милее горожанам. Артист В. Давыдов описал атмосферу известного сада в 1871 году: «Маленький деревянный театрик, весь спрятавшийся в зелени тенистого сада, совершенно не был приспособлен для сложных постановок, в нем не было даже приличных декораций... Лето было жаркое, и все с наслаждением после пыльного и палящего дня бросались в тенистый и чистенький сад. Были сделаны дорожки, беседки, скамейки. Сад усердно поливали водой, чтоб не было пыли. Вечером украшали цветными фонариками, а в праздники Медведев освещал его каким-то прибором, дававшим необыкновенно сильный и яркий огонь. Здесь же можно было в ресторанчике сытно, вкусно и дешево закусить, а прекрасный оркестр услаждал музыкой. Одним словом, это было премиленькое местечко, где приятно было отдохнуть».

Увы, в 1875 году театр сгорел. Не стало привычного увеселительного заведения, хотя и «похожего на сигарный ящик», но все равно любимившегося жителям города. Пришлось срочно отстраивать новое. Сервье не жалел своих средств, и уже в мае 1876 года «Саратовский справочный листок» коротенько отчитался: «На месте сгоревшего в саду Сервье театра открылся вновь отстроенный летний театр».

Один из завсегдатаев тогдашнего сада Сервье вспоминал: «Это был громадный тенистый сад, походивший скорее на рощу. Прямые тенистые аллеи, поросшие мелкой травой... В мелкой лесной поросли звучали трели соловья, ворковали горлинки... Высокие папоротники зеленели своими кудрявыми султанчиками, тихо покачиваясь при малейшем дуновении ветерка, а посреди этой рощи, со всех сторон окруженной вековыми благоухающими липами, возвышался большой деревянный театр, обнесенный просторной крытой террасой».

Кстати, в 1877 году здесь довелось поактерствовать известному репортеру, а тогда еще просто скитальцу без определенных занятий В. А. Гиляровскому. Об этом кратком периоде мятежной своей биографии он затем написал (как обычно, не без доли самолюбования): «Побывал у кабардинцев Узурбиевых, поднимался на Эльбрус, потом опять очутился на Волге и случайно на пароходе прочел в газете, что в Саратове играет первоклассная труппа под управлением старого актера А. И. Погонина, с которым я служил в Тамбове у Григорьева. В Саратове я пошел прямо на репетицию в сад Сервье на окраине, где был прекрасный летний театр, и сразу был принят на вторые роли... Труппа была большая и хорошая... Я жил неподалеку от театра с маленькими актерами Кариным и Симоновым».

Разумеется, Владимир Алексеевич занимался не столько репетициями и спектаклями, сколько всяческого рода хулиганством. Он, например, ходил играть с саратовскими оборванцами в орлянку – игру далеко не целомудренную. Дарил девушкам цветы (осыпав предварительно их нюхательным табаком). Драл за уши коллег-актеров, выражающих симпатии актрисе, приглянувшейся самому Гиляровскому. А актера Инсарского,

бывшего навеселе, подговорил записаться добровольцем на турецкую войну. К счастью, Инсарский очень быстро попал в лазарет, где был признан к воинской службе негодным.

Увы, в 1879 году участь Шехтеля постигла самого Сервье. Он не сумел после истории с пожаром и строительством поправить свои пошатнувшиеся денежные дела, и сад Сервье оказывается в собственности нового владельца, а спустя четыре года переходит к городской управе.

Самым же, пожалуй, странным садом был нижегородский. Странность его заключалась в том, что он расположен на весьма крутом, местами почти отвесном склоне. Виноват в этом был царь Николай I, приказавший разбить в городе парк в английском стиле.

– Но ведь русские люди – равнинные, по горам лазать не привыкли, – возразил было Бенкендорф.

– Пускай привыкают! – отвечивал самодержец.

Как ни странно, к новшеству и впрямь привыкли очень быстро. Один из современников, историк Н. Храмцовский, так его описывал: «Аллеи его извиваются по уступам горы; на одной из них устроен павильон, в котором помещается кондитерская. С начала весны до открытия ярмарки по воскресеньям и праздничным дням около павильона играет музыка; в торжественные дни сад иногда освещается на счет содержателя кондитерской китайскими фонарями и плошками. Главное гулянье в Английском саду бывает 1 числа мая и в день Вознесения».

Впрочем, бывали исключения. Все тот же автор описал, как здесь в 1850 году праздновали визит великих князей Николая и Михаила Николаевичей: «Нижний Новгород не видал до той поры ничего подобного этому гулянию. Кроме бесчисленного множества народа обоюбого пола, между которыми были жители всех концов империи и торговые гости Востока, сад вмещал в себе несколько оркестров музыки, несколько хоров песенников, русских и цыганских; акробатов, фокусников, и, сверх того, в разных местах его подгородные жители обоюбого пола в праздничном национальном наряде играли хороводами... В сумерки... сад весь горел тысячами

разноцветных огней, освещавших густые толпы гуляющих по его извилистым аллеям».

Был своеобразен Милютинский сад города Череповца. «Сердцем» его был так называемый «Соляной городок» – театр, названный по аналогии с Санкт-Петербургским. История происхождения сада такая. Однажды городской голова Иван Андреевич Милютин обмолвился:

– А что, ребята, среди неликвидированного имущества у меня остался большой двухэтажный амбар, из которого можно выкроить неплохой зал. В качестве городского головы обещаю вам всемерно содействовать заключению условий с городом о переносе здания за мой счет в общественный сад, оборудовать соответствующим устройством и мебелью при условии содержания здания по особому льготному договору.

Так оно и вышло.

Кроме театра, здесь располагался летний кинотеатр, действовал музыкально-драматический кружок, а актеры из череповецкой учительской семинарии проводили «народные чтения». Судя по отчету, выглядели они так: «Все чтения произносились лицами учебного персонала: духовные – законоучителями, исторические и литературные – преподавателями учебных заведений.

Перед первым чтением отслужен был молебен, который пел соединенный хор – семинарский и соборный – в количестве 100 певчих. После молебна перед портретами Их Императорских Величеств и царской семьи хор исполнил “Боже, царя храни”, “Слава на небе солнцу высокому”. После громогласного “ура” многочисленных слушателей было прочитано разрешение г. попечителя С.-Петербургского учебного округа, и чтения в Череповце были объявлены открытыми.

Хор певчих, то семинарский, то соборный, исполнял во время духовных чтений песнопения, во время исторических и литературных – гимны, былины и песни, соответствующие по содержанию произносимому чтению.

Во время чтений показывались световые картины и выставлялись транспаранты.

Картины и хоровое пение придавали чтениям тор-

жественную обстановку и делали их менее однообразными и утомительными».

Но гораздо больше череповчанам все же нравились здешние народные гулянья. Проходили они так: «16 августа состоялось гулянье в Милютинском саду. Сад был декорирован с большим вкусом, особенно изящно была украшена зеленью, фонариками и флагами терраса “Соляного городка”, служившая эстрадой для хора и оркестра балалаечников. Все номера пения исполнялись хором под управлением г. Шемановского достаточно стройно и выразительно, с особым же интересом слушались: известная солдатская песня “Солдатушки-ребятушки” с малюткой-запевалой и “Многие лета”. С удовольствием слушали и хорошо сыгравшийся оркестр балалаечников под управлением г. Якобсона».

Неудивительно – ведь сад в первую очередь предназначался именно для отдыха, а не образования череповчан.

Добрая репутация была у симбирского Карамзинского сквера, в первую очередь благодаря прекрасным образом подобранным и обихаживаемым растениям. Сам нью-йоркский ботаник Чарлз Гибб, посетивший Симбирск, написал в своей книге: «В Симбирском общественном сквере дикие груши являются прекрасным орнаментным деревом и, кажется, таким, которое менее всего страдает от сухости воздуха и уменьшенного количества дождя».

Впрочем, кроме груш здесь росли березы, липы, вязы и акации.

Мил был городской сад Таганрога. Один из жителей города вспоминал, как выглядел он в середине позапрошлого столетия: «Таганрожский прекрасный, редкостный, можно сказать, городской сад, в котором гимназисты устраивали свои конспирации, собрания, собирались по вечерам, совещались по поводу предстоящих экзаменов. Прекрасный городской сад вообще занимал в нашей жизни немалое место. Несмотря на то, что Таганрог вообще не беден растительностью, – в нем много обширных дворов и садов, – а большая часть улиц по обеим сторонам обсажены в два ряда тенистыми деревьями, настолько разросшимися, что закрывают

дома и представляют собой прекрасные аллеи из белой акации и тополей, проходя по которым чувствуешь себя как бы идущим в тенистом саду, – все же городской сад манит к себе, и с ранней весны и до поздней осени мы чуть ли не каждый день посещали его. Он обширен, тенист и привлекателен своей прохладой, своим покоем... Вход в сад стоил пятак. Деньга небольшая, но увы, в кармане у нас в ту пору не всегда звенел лишний пятак, а потому мы предпочитали лазать в “дырку”».

Шредерский сад города Орла (названный так в честь орловского губернатора Николая Ивановича Шредера, при котором возникла эта достопримечательность) любим был многими известными писателями – в первую очередь из-за того, что многие из них были здешними уроженцами. Николай Лесков вспоминал, как в раннем детстве ходил сюда с няней прогуливаться: «Мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети».

Украинская писательница Марко Вовчок хвасталась в письме своему мужу: «Вчера утром были в саду и в магазинах, где Богдасю очень понравились вол и четверка коней. Четверку мы и домой принесли с собою, и по саду возили городскому, шумели и смеялись».

Леонид Андреев предавался романтическим мечтам: «Все-таки в Орел очень хочется, хочется в городском саду погулять, не знаю, есть ли еще где в провинции такое любопытное место, как наш городской сад, он принадлежит только одного Орла. Бывал я в разных городах, но подобного учреждения не встречал. Коротко говоря, сад наш представляется единственным местом, где сосредотачивается орловская общественная жизнь».

А Иван Бунин вспоминал об одном из народных праздников, устроенных в саду: «Меня поразила несметная от тесноты, медленнодвигающаяся по главной аллее толпа, пахнувшая пылью и дешевыми духами, меж тем, как в конце аллеи в сияющей цветными шкаликами раковине томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр. Перед раковиной, на площадке бил раскидистый фонтан, орошая водяной пылью с очарователь-

ным запахом цветы, как я потом узнал, они назывались просто “табак”».

Словом, Шредерский сад вошел не только лишь в историю, но и в литературу, притом мировую.

А вот сад Вологды был вопиюще скромн. Литератор Лейкин так о нем писал: «Вечером мы были и в увеселительном саду, находящемся за городом, за рекой Вологдой. Эта березовая рощица нового насаждения когда-то, говорят, составляла лагерную стоянку квартировавших здесь войск. Рощица эта снята местным пожарным обществом, составляющим из себя нечто вроде клуба. В рощице имеется деревянный ресторанчик с гербом пожарного общества над входом. В рощице сделаны дорожки, поставлены скамейки, на площадке на возвышении играет военный оркестр музыки и во время антрактов и пауз музыканты обмахиваются от комаров березовыми ветками. Все с ветками. Комаров тучи. Публики в саду – человек тридцать. Около ресторана на столе самовар, и какая-то довольно многочисленная семья пила чай. Семья тоже обмахивалась березовыми ветками от комаров».

Что поделаешь – город северный, комариный.

Даже в курортном Сочи, который весь, казалось бы, представляет из себя огромный сад, тоже был свой увеселительный парк – Верещагинский. Современник писал: «Парк очень тенистый, содержится в порядке. Главное насаждение парка – это остатки того леса, который покрывал всю Верещагинскую дачу. Лес вычищен, проведены дорожки и получился старый, тенистый парк. Главная аллея вдоль морского берега обсажена розами, магнолиями и другими растениями. Возвышенная площадка засажена пальмами, бананами и т. п. южной растительностью.

В парке устроена площадка для лаун-тенниса, крокета, гимнастики. Выстроена беседка с лестницей к морю, откуда любуются заходом солнца.

В темные ночи часть парка иногда освещается фонарями.

Во время сезона раза два-три играет оркестр».

Разумеется, не обходилось без происшествий, леденящих кровь. Вот, например, письмо, направленное

в городскую думу города Ростова (Ярославской губернии) купцом Алексеем Яйцовым: «В ростовском городском саду неоднократно были весьма неприличные и даже буйственные поступки, да и недавно один член ростовской уездной земской управы избил трактирщика, а все это происходит от того, что в саду распивочное заведение спиртных напитков, а от этого заведения могут происходить в саду и более предосудительные пассажи. А поэтому я покорнейше прошу городскую думу вывести из сада эту торговлю спиртными напитками и тем дать возможность нам, семейным гражданам, пользоваться гуляньем в саду, не рисковать попасть на вышеписанный пассаж, и не быть со своими женами и дочерьми этому свидетелями, что весьма каждому неприлично».

Городская дума, разумеется, рассматривала эти предложения и принимала меры.

А впрочем, сад был вещью необязательной. Многие горожане обходились без него, совершая свои моционны где угодно. Городская прогулка – один из популярнейших досугов русского провинциала.

Места при этом выбирались спонтанные, подчас довольно неожиданные. В частности, в Таганроге гуляли по лестнице, ведущей от берега моря в центр города. Павел Свиньин писал о ней: «Лестница идет прямо в Греческую улицу, и на верху ее сделана площадка вроде открытой террасы с лавками... невольным образом отдыхаешь здесь лишние полчаса, ибо вид на рейде, особливо к вечеру, когда возвращаются лодки каботажные и замелькают огоньки в каютах, ни с чем не сравним».

Да что там лестница – в Сергиевом Посаде для прогулок вообще избрали железнодорожную насыпь: «Эта насыпь была, можно сказать, единственным местом прогулки для посадской публики, которая могла здесь при желании сделать хотя бы несколько верст на хорошем воздухе, среди лугов, полей, перелесков».

Чаще всего, однако, местом для прогулок была главная улица города. Житель Костромы С. Чумаков писал о своем городе: «Ежедневные прогулки костромичи делали зимой по Русиной улице по тротуару, идя с правой стороны от церкви Воскресения на Площадке до Бого-

словского переулка; начинались они примерно часов в пять и продолжались до семи».

Но городские парки были все же привлекательнее.

* * *

Если для большинства обывателей досуг сводился к гуляньям и посиделкам в трактире, то образованной части населения этого было мало. Она охотно вступала во всевозможные кружки и общества, непременно преследующие какую-либо благородную цель – окультурить общество, улучшить его жизнь или по крайней мере внедрить какое-либо полезное изобретение.

«Самарская газета» сообщала в 1902 году о городе Симбирске: «При отсутствии общественной жизни, в настоящем значении слова, здесь необыкновенно много всевозможных обществ: не считая многих благотворительных обществ, здесь имеются общества: пожарное, велосипедистов, музыкальное, изящных искусств, и т. д. и т. д. Правда (в Симбирске все сопровождается оговоркой), существование этих обществ часто очень оригинально. Например, музыкальное общество в былые годы дважды пыталось проявить свою деятельность, но последняя вскоре замирала. Принадлежащее этому несуществующему обществу имущество хранится у разных лиц и в разных учреждениях. Зачем оно хранится – никто не знает. Еще оригинальнее общество, посвященное уже не одной музыке, а всем изящным искусствам: оно не имело и не имеет ни одного члена.

Хотя общества, посвященные искусствам, у нас не привились, но искусства все же процветают, как и должно быть при тех успехах, которые сделаны у нас торговлей и промышленностью. Так, минувшей зимой у нас была художественная выставка, где экспонировались работы учеников местных художественных классов».

В какой-то мере это относилось и к другим российским городам. Каких только причудливых обществ здесь не было! Например, в Тамбове действовало Общество развития женского кустарного труда. Устав его гласил: «Общество изучает условия производства местных кустарных промыслов и распространяет между

женщинами-кустарями знания по этому предмету; собирает статистические сведения о местной кустарной промышленности; открывает специальные школы-мастерские, музеи, бюро и склады кустарных изделий; устраивает выставки местных изделий и награждает экспонентов за лучшие изделия денежными премиями, почетными грамотами; принимает посредничество в сбыте произведений и изыскивает кредит для кустарей; устраивает публичные чтения, издает брошюры».

В том же Тамбове собиралось Общество любителей граммофона – его члены обменивались грампластинками.

К тому времени повсеместно стали появляться и общества велосипедистов (тогдашнее название велосипедистов). В подмосковном Богородске в самом центре города выстроили велодром. Вот, например, программа одного из тамошних мероприятий: «На треке... назначены вторая велосипедная гонка и футбольный матч между сборной командой “Глухово-Богородск” и 1-й командой орехово-зюевского клуба “Спорт”, выигравшей в прошлом году в Москве переходящий кубок Фульда. Играть будут во втором и четвертом отделениях. Первое и третье отделения состоят из гонок на велосипедах... Начало музыки в 2 ½ часа, начало гонок в 3 ч. В случае ненастной погоды гонки отменяются, но футбол состоится. С 9 ч. до 12 ч. вечера танцы и демонстрация кинематографа. Гулянье будет иллюминировано».

Неудивительно, что стройные, небедные (велосипеды тогда стоили довольно дорого) и импозантные «циклисты» были желанными гостями на различных празднествах и шоу.

А в Твери велосипедов развелось так много, что городские власти были вынуждены издать для их владельцев особенные правила:

«1) Желаящие ездить в г. Твери на велосипедах должны получить из городской управы номер, с уплатой стоимости его. Полученный из управы номер должен быть укреплен позади седла велосипеда таким образом, чтобы таковой был виден для проходящих и проезжающих.

2) Каждый велосипед, во время езды на нем по городу

должен иметь звонок или рожок, которые должны издавать звуки значительной силы, а в ночное время – красные зажженные фонари, которые укрепляются спереди велосипедов на видном месте.

3) Езда на велосипедах по городу допускается при средней скорости велосипеда. Велосипедисты должны ехать по правой стороне улицы: при объезде экипажей и пешеходов, а равно и при встрече с таковыми на перекрестках улиц, велосипедисты должны давать знаки звонком или рожком, которые должны быть слышны и против ветра; в ночное же время велосипедисты обязаны предупреждать звонком или рожком и встречающихся с ними проходящих или проезжающих.

4) Езда на велосипеде по тротуарам городских улиц, бульварам и в городских садах воспрещается, а равно воспрещается в городе перегонка велосипедистов, езда в один ряд нескольких велосипедистов гуськом, без оставления перерывов; едущие один за другим велосипедисты должны соблюдать разрывы, а именно: после каждых двух велосипедистов должен быть перерыв (промежуток) не менее десяти сажень для свободного прохода пешеходов и проезда экипажей, перед которыми велосипедисты должны уменьшать скорость велосипеда».

Словом, законы для несчастных велосипедистов были гораздо строже, чем для гужевого транспорта. Извозчиков, во всяком случае, не заставляли жечь красные фонари.

А писатель Соколов-Микитов вспоминал о городе Твери: «В Смоленске завелась кем-то привитая новая забава – лыжеходство. Собрались в общество, печать заказали и по воскресеньям уходили по здоровому хрустящему снегу в лыжное катанье. А голова всему – Глебушка.

Под Смоленском горы – голову свернешь! Испугаешься, бывало, а Глебушка подоспевает:

– Э-эх, вы! – Взмахнет палками и уже внизу между кустами в снежной пыли мчится, подлетая на ухабах, крепкий, упругий, как лесной орех.

А за Глебушкой и остальные, – кто кувырком, а кто и на собственных... Мельком мелькают.

Глебушка между нами – единственный офицер, не гнушался санюлотством нашим. Придем в деревню, всех молоком угощает, – а у нас какие деньги? Все молоко в деревне рублей на пять выпьем».

Лыжи, велосипед, граммофон – символы прогресса рубежа прошлого и позапрошлого столетий.

* * *

Но клубы литераторов, спортсменов и всякого рода меломанов – ничто по сравнению с престижнейшим клубом русского провинциального города – Дворянским собранием. Одним из лучших было признано собрание Симбирска. Царедворцы К. Победоносцев и И. Бабст восхищались здешним бальным залом: «Залом и убранством ее нельзя было налюбоваться. Есть, без сомнения, в других городах залы более обширные и пышнее отделанные, но симбирская зала благородного собрания отличается изяществом постройки и пропорциональностью частей, которые не часто встречаются. Она вся белая; плафон отделан тоже белой лепною работой, нисколько не нарушающей общей простоты. Присмотревшись к физиономии многих других зал, мы были поражены видом этой, и всякий пожелал узнать имя ее строителя. Оказалось, что строил ее архитектор Бензман... Зала сама по себе изящная, была убрана с большим вкусом».

Кстати, завсегдаем этого Дворянского собрания одно время был Модест Чайковский. Он писал своему брату, композитору Петру: «Знаком я со всеми в городе и почти всегда есть куда поехать; в случае, если такового случая нет, то еду в клуб, которого я член, и который удобством и красотой своего помещения не уступает петербургскому Дворянскому собранию. Там или читаю, или встречаюсь с кем-нибудь из знакомых. Провожу время в разговорах или слежу, как играют».

А в начале прошлого столетия Дворянское собрание сделалось одним из символов прогресса. Газета «Симбирянин» извещала: «1 января 1909 года в зале Дворянского Собрания в 12 часов дня состоится съезд всех желающих обменяться взаимными поздравлениями взамен

новогодних визитов». Спустя два дня появился отчет: «1 января состоялся обычный прием в зале Дворянского собрания для обмена новогодними поздравлениями... Под звуки музыки гости входили в залу и, любезно встречаемые губернским предводителем, входили в красную гостиную, где был сервирован чай и фрукты».

Не уступало симбирскому и Дворянское собрание Самары. Оно, кстати, было по тем временам на редкость демократичным. В нем собиралась не только лишь великолепная знать. В частности, в 1859 году тут проходило очень странное и притом весьма демократичное собрание – встреча выпускников всех университетов, проживающих в губернии. Один из участников, А. А. Шишков, об этом говорил:

– Мы собрались попить, но не так, как пировали прежде, не еда и не хмель нас свели. Нас свело пробудившееся недавно чувство мысли, раскованной с недавнего времени... Всех занимающий вопрос – освобождение крестьян от крепостного права.

Словом, мероприятие было скорее антидворянским, нежели дворянским.

В 1889 году здесь демонстрировали выставку Товарищества передвижников. «Самарская газета» писала о работах, там представленных: «Пусть их будет так много, в таком обилии, чтобы каждый город устроил у себя, рядом с библиотекой и хранилище для произведений живописи и скульптуры, чтобы они могли служить наглядными школами для развития и эстетического вкуса, и гуманности в подрастающих поколениях. Всякие затраты на такие музеи и кабинеты так же благотворны и плодотворны по своим последствиям, как затраты на школы, на библиотеки. Самара совсем не прочь идти по этому пути. Это доказывает возникающий ее музей. Но Самаре еще приходится знакомиться с азбукой искусства. Всякое начало трудно. И вот в первый раз со дня основания Самары в ней открылась выставка художественных картин».

Своеобразным было вологодское Дворянское собрание. Оно изначально как бы извинялось за свое существование. Философ Павел Савваитов писал про Вологду своему другу М. Погодину: «Хотя в сравнении с Петер-

бургом или Москвой может показаться деревнею, но все же город, а не деревня. Здесь можно найти и хорошее высшее общество – аристократию, которая ставит себя едва ли не выше столичной аристократии. В продолжение нынешней зимы составилась здесь дворянский клуб, были благородные театры, балы, маскарады и разные потехи, каких нельзя найти в деревне».

В основном здесь давали балы. «Вологодские губернские ведомости» сообщали: «Эти балы... бывают каждую неделю. Тут все блистательно и изящно: и превосходная музыка, и яркое освещение, и роскошные туалеты дам»; «После проведенного в деревне лета, после томительно скучных дней осени не только приятно, даже отрадно увидеть себя среди великолепного зала, сверкающего огнями».

Но гораздо больше вологодская аристократия радовалась концертам (хотя бы потому, что они были реже). Здесь, например, выступал петербургский скрипач Афанасьев, и те же «Губернские ведомости» со знанием дела описывали его мастерство: «Пассажи не только октавами, но и децимами он выполняет с необыкновенной отчетливостью. Арпеджио и стаккато превосходны, при самом по-видимому небрежном бросании смычка; флажолеты во всех местах струны украшают его игру и в напеве, и в самых скорых переходах, а употребляемое ныне с таким успехом *pizzicato* левой рукой у г-на Афанасьева перестает быть игрушкой и приобретает самое приятное разнообразие».

Дворянское собрание было не чуждо и благотворительных задач. При этом на концертах «в пользу бедных» не возбранялось, а, наоборот, приветствовалось участие самих «героев дня». К примеру, в 1859 году (когда до демократизации «серебряного века» было еще очень далеко) газеты восхищались тем, что в подобном вечере участвовали музыканты, «принадлежащие к тому сословию, улучшение судьбы которого составляет одну из великих задач нашего времени. В этот вечер обычное сословное разделение исчезло и все артисты дружно делились между собою благодарностями публики, выражавшейся в громких и беспрестанных рукоплесканиях».

Тульское Дворянское собрание вошло в литературу. Именно здесь происходили памятные губернские выборы из романа «Анна Каренина»: «Залы большие и малые были полны дворян в разных мундирах. Многие приехали только к этому дню... Дворяне и в большой и в малой зале группировались лагерями, и, по враждебности и недоверчивости взглядов, по замолкавшему при приближении чуждых лиц говору, по тому, что некоторые, шепчась, уходили даже в дальний коридор, было видно, что каждая сторона имела тайны от другой. По наружному виду дворяне резко разделялись на два сорта: на старых и новых. Старые были большею частью или в дворянских старых застегнутых мундирах, со шпагами и шляпами, или в своих особенных флотских, кавалерийских, пехотных выслуженных мундирах... Молодые же были в дворянских расстегнутых мундирах с низкими талиями и широкими в плечах, с белыми жилетами, или в мундирах с черными воротниками и лаврами, шитьем министерства юстиции».

Впрочем, не только выдуманные истории связывали Льва Николаевича с этим зданием. В апреле 1890 года здесь была поставлена пьеса «Плоды просвещения». Правда, не обошлось без курьеза. О нем вспоминала дочка писателя Татьяна Львовна: «Отец всегда ходил в традиционной блузе, а зимой, выходя из дома, надевал тулуп. Он так одевался, чтобы быть ближе к простым людям, которые при встрече будут обходиться с ним, как с равным. Но иногда одежда Толстого порождала недоразумения... В Туле ставили “Плоды просвещения”, сбор предназначался приюту для малолетних преступников... Во время одной из репетиций швейцар сообщил нам, что кто-то просит разрешения войти.

– Какой-то старый мужик, – сказал он. – Я ему втолковывал, что нельзя, а он все стоит на своем. Думаю, он пьян... Никак не уразумеет, что ему здесь не место...

Мы сразу догадались, кто этот мужик, и, к большому неудовольствию швейцара, велели немедленно впустить его.

Через несколько минут мы увидели моего отца, который вошел, посмеиваясь над тем, с каким презрением его встретили из-за его одежды».

На самого Толстого эта репетиция произвела отнюдь не выгодное впечатление: «Вчера пошел после обеда в Тулу и был на репетиции. Очень скучно. Комедия плоха». Однако же приехавшие на спектакль корифеи – Немирович-Данченко и Сумбатов-Южин оставили более благосклонные отзывы: «Любители играли великолепно. Впечатление было жизненное и очень яркое».

Увы, в следующем, 1891 году случился более серьезный конфуз. Уже упомянутый Н. В. Давыдов решил собственными силами поставить здесь другое произведение Льва Николаевича – «Власть тьмы». Об этом происшествии Давыдов вспоминал: «Все, казалось, налаживалось великолепно, но вдруг явилось совершенно неожиданное препятствие: тульский губернский предводитель дворянства письменно сообщил мне, что не может дать залы Дворянского собрания для постановки такой ужасной и вредной пьесы, как “Власть тьмы”, что с точки зрения достоинства дворянства такая профанация дворянского дома недопустима».

В какой-то степени к элитным клубам относился и Купеческий (в некоторых городах – Коммерческий клуб или Коммерческое собрание). Во всяком случае, туда пускали далеко не всех – следовало как минимум принадлежать к соответствующему сословию. Особенно такие клубы процветали в городах торговых. В частности, в Таганроге Коммерческий клуб находился в одном из роскошнейших зданий, принадлежавших, опять же, человеку торговому – греку Алфераки.

Краевед П. Филевский писал: «Жизнь клубов решительно не отличается от таковой же в других городах: те же балы для вывоза дочерей в свет и приискания им женихов, те же скандалы из-за распоряжений танцами или столкновения за картами, в сущности, пустые, и ни о чем, кроме пустоты клубной жизни, не свидетельствующие, но получающие несколько другую окраску в глазах недалеких людей, потому только, что случились в клубе».

Господин Филевский был неправ. В Коммерческом, к примеру, клубе выступали композиторы Чайковский, Сук, Танеев и другие соотечественники, прославившиеся отнюдь не игрой в карты. Концерты западали в ду-

шу таганрожцам. Об одном из них вспоминала Фаина Раневская: «В городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, войдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услышала и увидела перед собой гения».

Но какая-то абсурдность в этом клубе все-таки присутствовала. Один из современников писал: «Как странно здесь, в обстановке старого барского уюта официанты, буфетная стойка, эти типичные физиономии игроков!»

Но особенно нелепым был, пожалуй, сад за клубным зданием – так называемый «коммерческий». Публицист В. Я. Светлов писал о нем: «Сад этот был когда-то частною собственностью... как и дом... Теперь в доме помещается коммерческий клуб с неизбежной карточной игрой, а в саду водолечебница двух предприимчивых врачей и... кафешантан довольно низкопробного свойства. Странное сочетание двух разнохарактерных учреждений! Подъезжая вечером к саду, вы обращаете внимание на вывеску: “Водолечебница”, иллюминированную разноцветными фонарями; вы входите – и попадаете в увеселительное место: днем – лечебница, вечером – кафешантан».

Карточная игра – одна из наиболее распространенных радостей Купеческого клуба. В частности, орловские купцы могли в своем досуговом учреждении за 15 рублей в год, выражаясь языком устава, «пользоваться удовольствиями» – библиотекой, бильярдом, столами для карт, а также летним театром, устроенным в летнем саду при собрании. Правда, приходилось соблюдать огромное количество сложнейших правил. Например, во время маскарада запрещалось входить в зал с зонтами, тросточками и оружием. За чужой карточной игрой возможно было молча наблюдать, но запрещалось вмешиваться и давать советы. За пребывание в собрании более двух часов приходилось платить дополнительно так называемый «штраф».

Тем не менее это учреждение было довольно популярным. Здесь, к примеру, сам гроссмейстер Ласкер давал для удовольствия просвещенных купцов сеансы шахматной игры.

Но не везде членский взнос был столь низок. Один из жителей Ростова-на-Дону писал о тамошнем Коммерческом клубе: «Здесь состоят членами все боги и полубоги местного торгового и промышленного Олимпа членский взнос 40 рублей, на дверях надпись: “кто беден – мне не пара”. Чтобы попасть в члены этого дорогого клуба, надо не столько быть отличным добродетелями, сколько доказать свою способность по приобретению “движимости и недвижимости”».

* * *

В конце столетия века по всей России стали открывать Народные дома – своего рода клубы для простонародья. Основной задачей этого движения было отвлечь городское население от неумеренного употребления бодрящих напитков. Открывали их, как правило, такие общественные организации, как «Попечительство борьбы за трезвость» и ему подобные.

Поэт Н. Заболоцкий посвятил таким домам стихотворение:

Народный Дом, курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное страсти,
Густое пекло бытия!

Страсти там и впрямь разыгрывались те еще. Ведь горожане, вопреки задумке трезвенников-энтузиастов, воспринимали Народные дома не как альтернативу, а как дополнение к кабаку. Однажды, например, в Народный дом Владимира явился пьяный в дым почетный гражданин города В. Харленков. Прямо оттуда он был перевезен в другой дом, ночлежный – поскольку документов при этом уважаемом господине не обнаружилось, а сам он был не в состоянии представиться.

И таких случаев было великое множество – разве что статус у подобных поросят был несколько пониже.

Впрочем, Народные дома действительно служили делу если и не протрезвления, то просвещения. Один из жителей того же города Владимира, М. В. Косаткин, вспоминал: «Однажды утром поздней осенью 1906 г. на уличных заборах появились большие, необычные для нас, молодежи, афиши. Они возвещали, что в ближайшие дни на сцене только что построенного Народного дома начнутся спектакли только что прибывшей на зимний театральный сезон драматической труппы под руководством артиста, режиссера и директора Глеба Павловича Ростова. И вот в начале октября театр открыл свои двери, и театральный сезон начался. Само театральное здание, только что построенное городским архитектором, впоследствии большим моим приятелем Я. Г. Ревякиным, и внутренняя отделка с претензией на модный тогда стиль ампир нас не поразили. Они остаются и теперь такими же. Но зато первые же спектакли взволновали и очаровали нас и проходили при полном зале, полном сборе. Тут были и классики: Гоголь, Грибоедов, Островский, Шекспир, Гюго, Шиллер и масса новинок, включительно до модных тогда пьес Л. Андреева, Горького, Чирикова, Чехова, Найденова, Шпажинского, Гауптмана и даже Метерлинка».

Смоленский же Народный дом давал такие объявления в местную газету:

«Во вторник, 13 января, бенефис артистки А. К. Колосовой, на сцене Народного дома поставлена классическая трагедия Шекспира “Ромео и Джульетта”».

«Где на Руси какой народ живет и чем промышляет. “Самоеды” соч. Александрова. Начало в 2 ч. дня. Вход бесплатный.»

И так далее.

Громаднейший Народный дом решили выстроить в Архангельске. Сам губернатор Сосновский рассказывал об этих планах: «Архангельская городская дума отвела безвозмездно для названного дома большое удобное место в Соломбале, где Петром I была лично основана первая русская верфь для постройки торговых судов и спущен на воду первый русский корабль, отправленный с товарами за границу.

Место это находится в непосредственном соседстве с управлением работ по улучшению порта и портовыми мастерскими, в которых сосредоточивается в летнее время значительное количество рабочих.

В проектируемом Народном доме предполагается устроить залу для народных чтений и спектаклей на тысячу человек, дешевую столовую, чайную, читальню, библиотеку, а если позволят средства, то и музей по судостроению и промысловому делу с образцами усовершенствованных судов, рыболовных снастей и орудий звериного промысла и т. п., имеющими полезное показательное значение.

Устройством такого дома было бы достигнуто серьезное улучшение быта – и не только местных портовых и других рабочих, но и пришлого рабочего элемента в лице судорабочих и матросов нашего торгового флота».

Увы, дом полностью сгорел, будучи почти достроенным.

Большое значение придавалось созданию Народного дома в Уфе. В 1908 году, когда Россия отмечала скорбный юбилей – пятидесятилетие со дня кончины писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, уфимский губернатор созвал экстренное совещание, на котором решили построить в башкирской столице Аксаковский Народный дом. Сразу же было определено, что он, во-первых, должен быть самым большим домом Уфы, во-вторых, строиться лишь на народные пожертвования, а в-третьих, совмещать в себе зрительный зал, аудитории, бесплатную библиотеку и читальню, музейный комплекс, состоящий из этнографического, исторического и естественного отделений, а также картинную галерею.

Трудности начались незамедлительно. В Петербурге был объявлен конкурс на проект этого здания, но ни один из вариантов (их было 24) не понравился уфимцам – «ввиду полного несоответствия как прямому назначению сооружаемого здания, так и местным условиям».

Тогда решили обратиться к своему родному архитектору П. Рудаковскому, который сразу же и приступил к

работам. Его проект во всем устроил специальный комитет: «По предложенному проекту Аксаковский народный дом является грандиозным, – единственным в Уфе по размерам, – зданием, длиной в 50 и шириною в 26 сажен.. По своим размерам уступает весьма немногим в России театрам и представляется вполне удобным по своему простору, по обилию воздуха, по соответствию требованиям акустики.. Все сооружения будут состоять из бетона, камня, кирпича и железобетона, следовательно, явятся вечными, вполне безопасными в пожарном отношении и не потребующими долгое время каких-либо значительных расходов на ремонт».

К 1914 году стены Аксаковского дома были полностью возведены, и мастера уж было занялись отделкой. В одном из помещений даже разместились аксаковская библиотека. Но тут началась Первая мировая война. Библиотеку снова вынесли вон, на ее месте обустроили военный госпиталь, а само «грандиозное здание» долго пугало прохожих своей диковатой заброшенностью.

Не везло этим самым Народным домам!

* * *

Одним из популярных мест провинциального «культурного досуга» были гостиницы. Они не только давали приют гостям города, но и служили местом для общения и встреч для местных обывателей. Особенно славились гостиничные рестораны – они были чище, роскошнее, хотя и дороже простых кабаков.

Рестораны входили в фольклор. В частности, в общепитовское заведение рыбинской гостиницы «Столбы» однажды заглянули знаменитые клоуны Бим и Бом.

– Можно у вас пообедать за свои деньги? – спросили они официанта.

– Конечно, – отвечивал тот.

Клоуны затеяли шикарнейшее пиршество, а когда официант принес им счет, они предложили ему всего несколько грязноватых копеечек.

– Почему вы не хотите расплатиться за обед? – грозно спросил у актеров владелец «Столбов».

– Нам сказали, что здесь можно пообедать за свои деньги, а теперь требуют больше, – под хохот других посетителей ответили обиженные Бим и Бом.

Вообще же с гостиничным делом в том Рыбинске были проблемы. Глеб Успенский писал: «Вся мебель в “номерах” расшатана неутомонными коммерсантами, все скатерти пахнут неведомо чем, и все двери в тех же номерах запираются и отпираются не без напряженных усилий со стороны проезжающего и прислуги. Проезжающему, который не может выйти из номера, так как ключ поворачивается во всех направлениях и даже выходит насквозь, внимательная прислуга советует потянуть к себе дверь, поддержать ногою одну половицу, взять ключом “этак вот в сторону”».

Деревянные счеты на комодe и следы начинавшегося пожара от опрокинутой коммерсантом после биржи и арфисток свечи, – о чем свидетельствует выгоревшее в полу около кровати место величиной с тарелку, – составляет принадлежность всякого номера, всякой гостиницы, и даже часы в Рыбинске, где счет идет по московскому, по петербургскому и еще по рыбинскому времени, также находятся иногда как бы в истерическом состоянии: в один и тот же час в разных местах показывают разное время».

В основном русская провинциальная гостиница – своего рода символ отсталости, невежества, неряшливости, хамства. В Орле, к примеру, находилась гостиница «Берлин». Князь В. А. Друцкой-Соколинский о ней вспоминал: «Ну вот мы в Орле. Носильщики выносят наши вещи и грузят их в карету, присланную из гостиницы “Берлин”, а позднее – “Белград”. Гостиница старая, достаточно грязная, с потертой мебелью и затхлым запахом плохо проветренных комнат, но она – лучшая в городе... Напившись чаю, мы с Таней подходим к окну... Напротив нашей гостиницы, как бы раздвигая улицу, возвышается здание городской думы, с каким-то странным не то куполом, не то башенкой. Перед думой – скверик с тополями. На противоположенной стороне улицы – ряд магазинов, вернее, лавок. По улице грохочут ломовые, редко проезжает легковой извозчик, снуют немногочисленные пешеходы».

Сами хозяева гостиниц, разумеется, расхваливали их без страха и упрека. Владелец тамбовской гостиницы «Национальная», некто Рябков, писал городскому начальству: «Сим довожу до сведения, что мною по приобретении здания “Национальной” гостиницы в собственность было приступлено к полному оборудованию номеров по образцу московских первоклассных гостиниц. В настоящее время номера заново отремонтированы и обмобилированы новой мебелью. В каждом номере электрическое освещение и звонки. Особое внимание обращено на кухню, прислугу и белье. Несмотря на крупные затраты, цены за номера умеренные – от 1 рубля в сутки».

Старались и хозяева «Гранд-отеля» в городе Ростове-на-Дону: «Дом четырехфасадный, окружен широкими улицами... городским садом и садом при доме, что дает возможность иметь лучший воздух и занять помещение, обращенное в желаемую сторону; при большом количестве террас, веранд, галерей и балконов – обозревать город и окрестности его. Под “Гранд-Отелем” торговый ряд занят лучшими фирмами и мастерскими; с вокзала конно-железная дорога и всегдашнее движение публики... Большой зал для ресторана, газеты и журналы – русские и иностранные, комиссионеры, говорящие на русском и иностранных языках, вина русских и иностранных лучших фирм, кулинарная часть образцовая, ванны и прочее необходимое комфортабельное, при образцовом устройстве, замечательной чистоте и опрятности».

Время от времени реклама извещала население: «Получены новости: свежая спаржа, огурцы, шампиньоны, дупеля, перепела, зайцы».

А вот реклама гостиницы «Большая Московская» (Астрахань): «Отличный ресторан. Лучшая кухня, особый надзор за припасами. Роскошная обстановка. Приличие и спокойствие. Газеты, рассылные и все прочие удобства, удовлетворяющие изысканному вкусу».

Впрочем, были и действительно образцовые гостиницы, качество которых подтверждалось постояльцами. В Вологде опытные путешественники выбирали «Золотой якорь». Федор Сологуб черкнул в своих за-

писках – дескать, остановился «в очень симпатичной гостинице “Золотой якорь”». Некий господин Фирсов оставил более подробное свидетельство о посещении того отеля: «“Золотой якорь” – старейшая гостиница в городе... помещается в прекрасном четырехэтажном каменном доме купца Ф. И. Брызгалова. В этом же доме, едва ли не самом красивом в городе, помещается и окружной суд. Цены в гостинице удивительно низки. Номера в ней – от 50 коп. до 2 руб., причем в эту плату входит стоимость постельного белья и электрического освещения; самовар стоит 10 коп., привоз с вокзала – 15 коп. За два рубля я занимал номер из трех комнат в бельэтаже с балконом; мебелировка его вполне удовлетворительная. При гостинице имеются бильярды и ресторан. В ресторане стены украшены головами кабана и оленя, в пастях которых красиво устроены электрические лампочки. К сожалению, на тех же стенах повешены и аляповатые олеографии».

Писатель Н. А. Лейкин был несколько эмоциональнее: «Гостиница прекрасная, по своей опрятности хоть Москве впору... При гостинице совсем хороший ресторан с прекрасными обедами и столовой, украшенной по стенам чучелами лесной дичи. На стене висит даже прекрасно сделанное чучело кабаньей головы, а в углу чучело белого лебедя с распростертыми крыльями».

Похоже, именно гостиничные рестораны и буфеты приносили хозяевам главный доход. Тот же Фирсов приводил довольно любопытный диалог:

«– Каким образом в таком небольшом городе, как Вологда, могут существовать три хороших гостиницы с ресторанами? – спросил я одного из буфетчиков. – Казалось бы, вы должны друг друга съесть.

– Никак нет-с. Торгуем, благодаря Богу, изрядно, жаловаться не смеем.

– Ведь не местные же жители поддерживают вас?

– Конечно, нет-с. Местные посещают нас редко, а главный доход нам дают лесопромышленники, которые наезжают сюда во множестве, особенно летом. С виду они народ серый, а между прочим деньги имеют хорошие. Купят большую партию материала, ну и пьют потом магарычи. Сами извольте знать, – ежели который

наш брат купец разопъется, что он в то время может из себя выкинуть...

– Ну, а железнодорожники, что строят Петербургскую дорогу, бывают у вас?

– Как же-с, бывают, но только больше мелкие служащие: десятники – дорожные мастера и прочие. Господа-то инженеры бывают гостями у нас редко, да и те, что бывают, более пивом прохлаждаются да удельным винцом.

– А хорошо торговали, когда строилась Архангельская дорога?

– Ах, сударь, доложу я вам, золотое тогда было для нас времечко, – и от приятного воспоминания буфетчик даже языком прищелкнул. – Да, тогда мы торговали шибко. Что одного холодненького изволили выкушать господа инженеры – страсть. Одно слово скажу: настоящие были инженеры, мамонтовские».

Легендарной достаточно быстро сделалась сочинская гостиница «Ривьера». История ее возникновения весьма своеобразна. Купец Василий Хлудов, случайно оказавшийся в здешних местах, очаровался здешними красотами, а главное, дешевизной здешней земли. Он приобрел себе весьма обширное угодье и занялся на нем сельским хозяйством. Но из-за его неопытности вино получалось скверным, а фрукты быстро портились.

Василий Алексеевич довольно быстро охладел к своей сочинской собственности и даже начал помышлять о том, чтобы продать ее. Однако покупателей не находилось. Более того, даже уехать на «большую землю» было в те времена делом проблематичным. Один из современников, купец Н. Варенцов, описывал курьезный случай, с этим связанный: «Василий Алексеевич долго жил в Сочи, пребывание ему там достаточно надоело, он стремился всеми силами уехать в Москву, но, на его несчастье, все время было бурное море, пароходы в Сочи не останавливались. В то же время жил там другой господин, тоже стремящийся поскорее оттуда выбраться, но его задерживала более серьезная причина: он не мог продать свою землю в Адлере, покупателей не находилось. Он неоднократно обращался к Хлудову с просьбой купить его землю. Уговоры его были очень

настойчивы и надоедливы. Василий Алексеевич, желая переменить с ним разговор, сказал: “Поедемте-ка лучше кататься по морю, подальше отъедем, увидим, может быть, пароход”. Хотя в душе был вполне уверен, что в этот день ожидать прибытия парохода нельзя. Сели в лодку, поехали. Но надоедливый господин не унялся, опять начал упрашивать Василия Алексеевича купить у него землю. Василий Алексеевич наконец, смеясь, сказал: “Хорошо, если пароход сегодня придет в Сочи, то будь по-вашему – куплю землю у вас; а если не придет, то не куплю”. На этом кончился разговор о земле. Какое же было удивление В. А. Хлудова и радость господина, когда они через короткое время увидели дым парохода, а потом силуэт его».

Главным же украшением Хлудовской стороны была конечно же «Кавказская Ривьера», построенная в 1909 году. Сочинский путеводитель сообщал: «Курорт “Кавказская Ривьера”. Два четырехэтажные здания красивой архитектуры. Цены номерам – в 1 р., 1 р. 25 к., 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р. и 6 р. Помесячно – скидка. При номере полагается постельное белье и пользование электрическим освещением. Живущие в номерах имеют право пользоваться в читальне газетами и журналами. Газеты и журналы имеются на пяти языках. Отдельное здание ресторана и кафе. В ресторане можно иметь полный пансион за 45 р. в месяц, 60 р. и 75 р. Можно иметь отдельные завтраки из 3-х блюд – 75 коп. и обеды из 4-х блюд – по 1 р. При гостинице имеется отдельное театральное здание. К пароходам “Ривьера” высылают собственную фелюгу и комиссионера, которому можно поручить свой багаж и без всяких забот и хлопот с парохода водвориться в номер».

А реклама санатория на всякий случай уверяла публику: «Тропический сад и парк. Сезон круглый год. Полное отсутствие лихорадок».

Словом, не курорт, а рай земной.

С. Доратовский писал о «Ривьере»: «Рядом с казенной пристанью недавно выстроена... гостиница “Кавказская Ривьера”. Это целый городок на крохотном клочке земли, обрывом опускающемся к морю. Владелец так умело и остроумно использовал склон к морю и все свобод-

ные площадки, что получилась масса уютных уголков, засаженных тропической растительностью. Целая сеть тропинок к морю, и каждый шаг отмечает какое-либо ценное растение. Много пальм выписано из Италии. Стоит сюда заглянуть, чтобы полюбоваться чудным видом и необычной растительностью».

Тот же Доратовский сообщал: «Отдельное театральное здание при гостинице “Ривьера” хорошо обставлено. Масса света и воздуха. Жаль, что оно находится далеко от города, что особенно неудобно при разъезде из театра».

Кстати, эти неудобства создавали как раз те, кому по роду службы следовало бы их устранять: «Сочинские извозчики не любят свою таксу, в особенности вечером, из-за чего выходят часто различные недоразумения при разъездах из театра. Чаше всего испытываются затруднения после спектаклей в “Ривьере”, так как из “Ривьеры” приходится возвращаться через Сочинский мост нижней частью города, где плохое освещение и неудобный путь для пешеходов».

Славилась, правда в гораздо меньшей степени, сочинская же гостиница «Светлана». Путеводитель сообщал: «Пансион “Светлана” на Верещагинских участках против Ермоловского парка. 20 комнат, цена от 15 до 60 р. в месяц. Посуточно жильцы не принимаются. Полный пансион 40 р. в месяц. Пансион состоит: утром чай или кофе с хлебом, маслом, сыром. В 1 час дня обед из трех блюд. После обеда – чай с вареньем, лимоном и т. п. В 7 ч. вечера ужин из двух блюд – мясное и сладкое. После ужина – чай с вареньем, лимоном и т. п.».

Но самой, пожалуй, известной в провинции была гостиница в Торжке – та самая, с «пожарскими котлетами». Историк и искусствовед А. Греч писал: «Когда-то славился Торжок своей ресторацией, а ресторация – пожарскими котлетами. Проездом воспел их Пушкин, проездом написал К. Брюллов акварелью портрет хозяйки знаменитого путевого трактира».

Гостиница Пожарского возникла в конце XVIII века, когда ямщик Дмитрий Пожарский выстроил здесь постоялый двор. Затем тот двор дорос до звания гостиницы (естественно, с трактиром), а в 1811 году это пока

еще ничем не примечательное заведение унаследовал сын Пожарского Евдоким Дмитриевич. И в скором времени все хлопоты и по гостинице, и по трактиру взяла на себя Дарья Евдокимовна, внучка Дмитрия и дочка Евдокима.

П. Сумароков восторгался: «Кому из проезжающих не известна гостиница Пожарских? Она славится котлетами, и мы были довольны обедом. В нижнем ярусе находится другая приманка – лавка с сафьяновыми изделиями, сапожками, башмаками, ридикюлями, футлярами и др. Женщины, девки вышивают золотом, серебром, и мимолетные посетители раскупают товар для подарков».

Заметки Сумарокова были написаны в 1830-е, однако лавочка вошла в историю еще в 1826 году – Пушкин купил здесь пояса для Веры Федоровны Вяземской и отослал их ей с витиеватым сообщением: «Спешу, княгиня, послать вам поясы. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры, но мадригал и чувство стали одинаково смешны».

А спустя неделю Александр Сергеевич отправил письмо другу Соболевскому, которое, собственно говоря, и послужило для гостиницы началом ее славы: «Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса, и приехал на перекладных. Дорогою бранил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы (сего священного чувства) посылаю тебе мой *itineraire* (путевой дневник. – А. М.) от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Потом

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери!
С пармезаном макарони
Да яичницу свари.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (имянно котлет)
И отправься налегке...»

Сомнительные комплименты в адрес ресторатора Гальяни были оставлены русской интеллигенцией без внимания. А вот рекомендация насчет котлет пришлась довольно-таки кстати.

В 1834 году Евдоким умирает, а спустя еще четыре года оставляет свет его супруга Аграфена. В ее завещании сказано: «Все то, что только после смерти моей окажется в содержимой мною гостинице и службах при оной в принадлежащем дочери моей Дарье Евдокимовне доме, равно в лавке, состоящей в оном же доме в нижнем этаже, весь сафьянный товар».

Дарья Пожарская становится единственной и полноправной владелицей гостиницы. Название, однако, не меняется. Это «Гостиница Пожарского», а не «Пожарской» – бренд настолько раскручен, что нет смысла менять его.

Между тем дело покойного Пожарского все набирает обороты. Писательница А. Ишимова записывает в 1844 году: «В богатом Торжке и гостиницы богаты и особенно одна, которую содержит вдова Пожарского (здесь явная ошибка – дочь, а не вдова. – А. М.). Мы удивлены были, вошедши в ее комнаты. Вообрази... высокие и огромные залы с окнами и зеркалами того же размера, с самою роскошною мебелью. Все диваны и кресла эластически мягки, как в одной из самых лучших гостиниц Петербурга, столы покрыты цельными досками из цветного стекла, занавески у окон кисейные с позолоченными украшениями. Но хозяйка не выдержала до конца характера изящной роскоши, какую хотела придать своим комнатам: все это великолепие окружено стенами не только не обитыми никакими обоями, но даже довольно негладко вытесанными...

Но главная слава этой гостиницы заключалась не в убранстве ее; нет, ты, верно, не угадаешь в чем, любезная сестрица. В котлетах, которые известны здесь под именем Пожарских. Быть в Торжке и не съесть Пожарской котлетки, кажется делом невозможным для многих путешественников... Ты знаешь, что я небольшая охотница до редкостей в кушаньях, но мне любопытно было попробовать эти котлетки, потому что происхождение их было интересно: один раз в проезд через Торжок Им-

ператора Александра дочь содержателя гостиницы Пожарского видела, как повар приготавливал эти котлетки для Государя, и тотчас же научилась приготавливать такие же. С того времени они приобрели известность по всей Московской дороге, и как их умели приготавливать только в гостинице Пожарского, то и называли Пожарскими. Мы все нашли, что они достойно пользуются славою, вкус их прекрасный. Они делаются из самых вкусных куриц».

Впрочем, по поводу происхождения этих котлет есть и другая версия. Якобы Николай I как-то раз проездом из Санкт-Петербурга остановился у Пожарского. Меню было заранее оговорено, в нем значились котлеты из телятины. Однако же телятины, – о ужас! – в нужный момент не нашлось. Евдоким Пожарский (он тогда еще был жив), на страх и риск, распорядился, чтобы готовили котлеты из курятины. Эти котлеты неожиданно понравились царю, и он распорядился, чтобы им присвоили название «пожарских».

А английский писатель Лич Ричи не понял вообще ничего: «В Торжке я имел удовольствие есть телячьи котлеты, вкуснейшие в Европе. Всем известны торжокские телячьи котлеты и француженка, которая их готовит, и все знают, какую выгоду она извлекает из славы, распространившейся о ней по всему миру. Эта слава была столь громкой и широкой, что даже сама императрица сгорала от любопытства их попробовать, и мадам имела честь быть привезенной в Петербург, чтобы готовить котлеты для Ее Величества».

Кстати, к хозяйке гостиницы относились по-разному и отзывались о ней не всегда лицеприятно. Некто Н. Р-в в «Очерке Торжка» писал о Дарье Евдокимовне: «Простая, но хитрая ямщица, под видом простоты умела втираться в милость к проезжавшим вельможам и пользоваться их благосклонностью. Это придавало ей значительный вес в Торжке, тем более, что она охотно бралась устраивать разные дела и делишки в Петербурге, где бывала довольно часто и, благодаря обширному знакомству, нередко успевала в своих ходатайствах».

Доктор А. Синицын утверждал, что «это была женщина большого ума, чрезвычайно властолюбивая и хорошо знавшая людей, а потому умевшая пользоваться ими

для достижения своих целей. Она сумела приобрести расположение императора Николая Павловича, хорошо поняв его характер. В своих переездах из Петербурга в Москву он всегда останавливался в ее гостинице. Пожарская встречала его у подъезда с хлебом-солью, под его ноги от кареты до крыльца она расстилала в виде ковра дорожную соболью шубку. Это внимание чрезвычайно трогало императора, и, приняв хлеб-соль, он любил беседовать с ней о разных разностях».

Пожарская умела вставить комплимент в самом, казалось бы, неподходящем месте. Пушкин писал своей жене Наталье Николаевне: «Толстая *M-le Pozbarsky*, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица, что я встретя ее ахнула. А надобно тебе знать, что *M-le Pozbarsky* ни дать ни взять *M-le George* (известная французская актриса того времени. – А. М.), только немного постаре».

Словом, гостеприимства и радушия этой «ямщичке» было, что называется, не занимать.

В 1854 году Дарья Пожарская скончалась. Знаменитая гостиница продолжила свое существование, однако же, увы, она была уже не та. Историк И. Колышко, побывавший здесь в 1884 году, рассказывал: «Пишу эти строки в просторной высокой комнате одного из номеров знаменитой гостиницы Федухина-Пожарского. Массивные стены, высокие потолки, громадные двери, широкие окна и в простенках, в дубовых рамах, зеркала – все это громко говорит еще о былом величии и о богатстве, о былом значении этой гостиницы».

Но при всем при том: «Ветхая мебель, более чем го-меопатически разбросанная в этих обширных стенах, помятые обои (следовательно, обои все же появились. – А. М.), тусклые стекла в окнах и зеркалах – печать неряшества везде, кругом, все это еще громче кричит о запустении, об убогости нынешних дней».

Но самое ужасное – котлеты: «Я был предупрежден еще в Твери насчет этой гостиницы и ее происхождения, и поэтому, приехав, сейчас заказал себе порцию пожарских котлет. Через час они торжественно по-

явились. Но увы! Каких размеров! Какого свойства!.. Как ни бились, как ни трудились офицеры стоявшего здесь гвардейского кадра над обучением повара, тот, видно, не внял ни их мольбам, ни угрозам, ни грозной тени самой ямщицки Пожарской.. Воображаю, с каким ужасом взирает она с портрета, как ее воздушные котлеточки превращаются в гигантские котлетища и как неуклюже и неаппетитно сии последние плавают в весьма сомнительного свойства жире».

Естественно, конфузы могли происходить еще при жизни Дарьи Евдокимовны. Сергей Аксаков вспоминал о том, как они вместе с Гоголем в 1839 году заехали в гостиницу Пожарского: «Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы.

Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по несколько десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что верно повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготавливал его, потряхивая своими белокурыми кудрями.

Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового:

“Волосы-с? Какие жы тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.”. В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты».

Но конечно же подобные истории при Дарье Евдокимовне были только лишь досадным исключением.

Дальше все пошло хуже. Новые владельцы открыли при гостинице так называемый «летний театр» с садом. Афиша гордо сообщает: «В театре совершенно новые декорации и обстановка. Театр и сад освещаются электрическим светом... Во время антракта будет играть оркестр музыки пожарного общества».

Ставили же здесь всякие пошленькие водевильчики. И хотя гостиница «была электрифицирована путем устройства собственной динамо-машины, помещенной в специально для этого построенном деревянном здании», от бывшего радушия никакого следа не осталось.

* * *

На этом мы и завершим рассказ о быте старого провинциального русского города. Нельзя дважды войти в одну реку – и той атмосферы уже не вернуть.

Будут ли спустя столетие-два наши далекие потомки с тем же щемящим чувством вспоминать о современной жизни городов России – большой вопрос. Но ответ на него мы никогда не узнаем.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Будина О. Р., Шмелёва М. Н. Город и народные традиции русских. М., 1989.

Инюшкин Н. М. Провинциальная культура: взгляд изнутри. Пенза, 2004.

Куприянов А. И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII – первая половина XIX века. СПб., 2007.

Лотман Ю. М. Беседа о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX в. СПб., 1999.

Мир русской провинции и провинциальная культура. СПб., 1997.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1–2. СПб., 1999.

Очерки городского быта дореволюционного Поволжья. Ульяновск, 2000.

Очерки русской культуры XIX в. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1998.

Павловская А. В. Образование в России: история и традиции. М., 2003.

Перхавко В. Б. История русского купечества. М., 2008.

Петровская И. Театр и зритель провинциальной России: Вторая половина XIX века. Л., 1981.

Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913): статистические очерки. М., 1956.

Русская провинциальная культура XVIII–XX веков. М., 1993.

Русская провинция. Культура XVIII–XX вв.: реалии культурной жизни. Пенза, 1995.

Русская провинция: Миф – текст – реальность. М.; СПб., 2000.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
<i>Глава первая.</i> Мой дом – моя крепость	21
<i>Глава вторая.</i> Городское хозяйство	51
<i>Глава третья.</i> Хождение во власть	93
<i>Глава четвертая.</i> «От чистого служивого сердца»	126
<i>Глава пятая.</i> В заботе о сырых и убогих	159
<i>Глава шестая.</i> «Арестантские роты особого рода»	183
<i>Глава седьмая.</i> Именем Божиим	247
<i>Глава восьмая.</i> Под вой фабричного гудка	289
<i>Глава девятая.</i> Великолепное торжище	325
<i>Глава десятая.</i> «И уныло по ровному полю...»	381
<i>Глава одиннадцатая.</i> В вечерний час	429
Краткая библиография	510

Митрофанов А. Г.

М 67 Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке: пореформенный период / Алексей Митрофанов. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 511[1] с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03558-4

Повседневность русской провинции XIX века блестяще описана в произведениях Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова, Горького. Но нарисованная классиками картина неизбежно остается фрагментарной, не совпадая с трудами историков и статистическими данными. Совместить оба этих взгляда – литературный и исторический – призвана новая книга известного журналиста и телеведущего Алексея Митрофанова, увлекательно рассказывающая обо всех сферах жизни губернских и уездных городов, о быте и нравах их жителей, о постепенных изменениях в городском хозяйстве и укладе в период между реформами 1860-х годов и революцией 1905 года. Привлекая самые разные источники – мемуары, газетные очерки, полицейские отчеты, художественные произведения, – автор соединяет их в единую многоцветную мозаику провинциальной России.

УДК 94(47)“18”

ББК 63.3(2)52-22

знак информационной
продукции **16+**

Митрофанов Алексей Геннадиевич

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ГОРОДА В XIX ВЕКЕ: ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД**

Редактор **В. В. Эрлихман**

Художественный редактор **Н. С. Штефан**

Технический редактор **М. П. Качурина**

Корректоры **Л. С. Барышникова, Т. И. Маляренко**

Сдано в набор 06.07.2012. Подписано в печать 15.10.2012. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Garamon». Усл. печ. л.
26,88+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1212000.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва,
Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dse1@gvardiya.ru

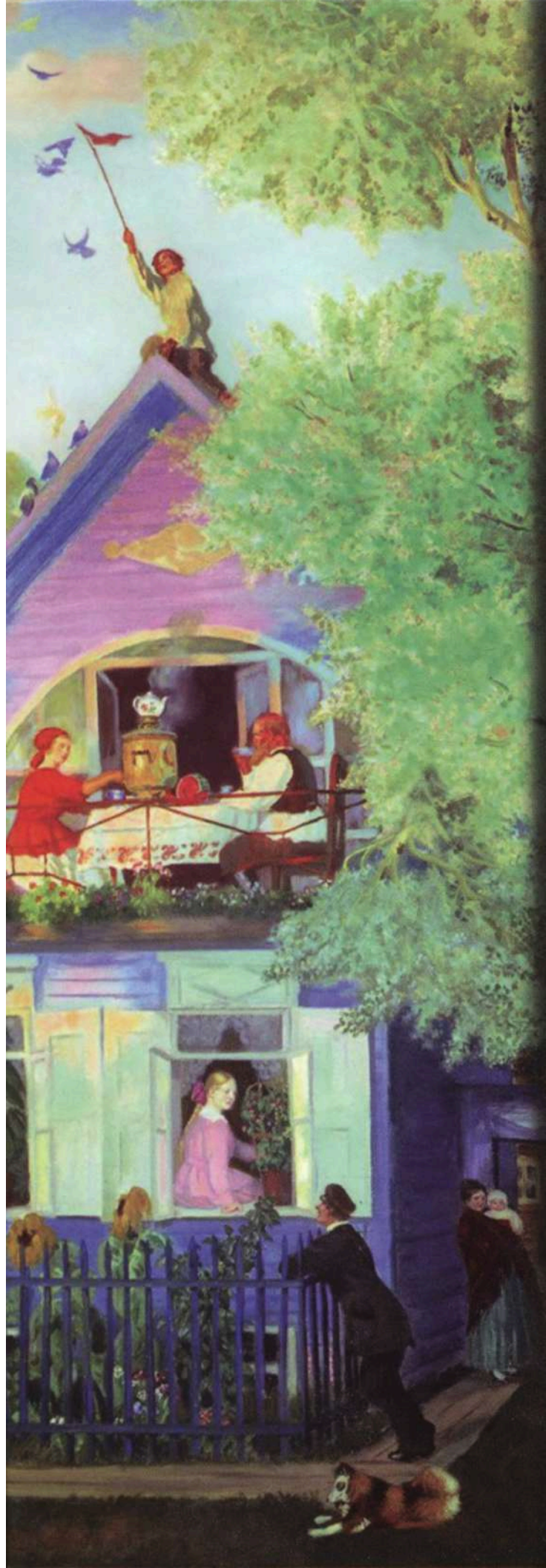
arvato
япк

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03558-4







СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

С. Шокарев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ
МОСКВЫ

Е. Акельев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВОРОВСКОГО МИРА
МОСКВЫ ВО ВРЕМЕНА
ВАНЬКИ КАИНА

С. Экштут

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В XIX ВЕКЕ

Л. Петрушенко

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЕВРОПЫ

Жан Поль Креспель

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ИМПРЕССИОНИСТОВ.
1863—1883

ISBN 978-5-235-03558-4



9 785235 035584 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ